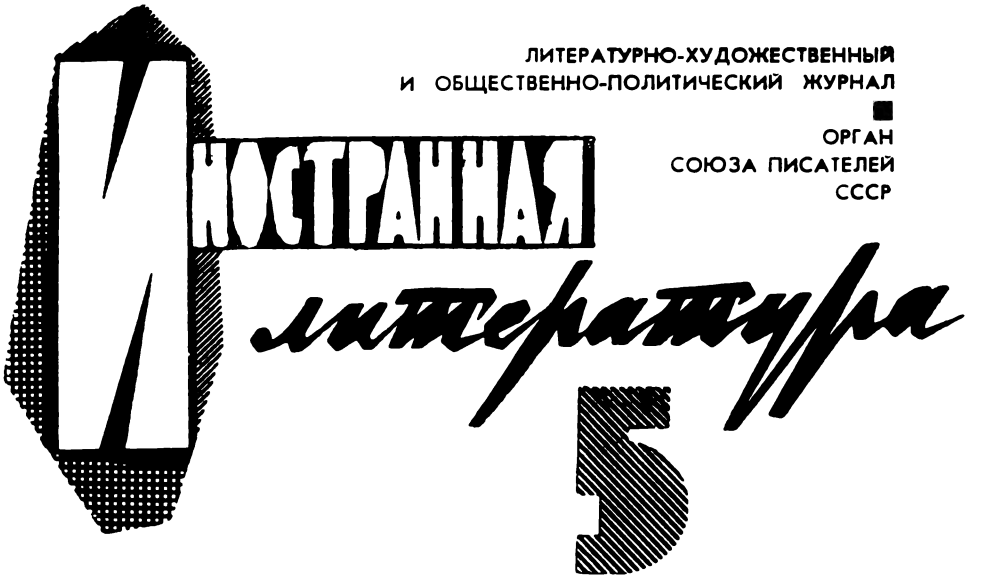
Иностранная литература

5 1970

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ОРГАН
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ
СССР



Издательство «Известия»
Москва

МАЙ
1970

СОДЕРЖАНИЕ

ВИТЕЗСЛАВ НЕЗВАЛ — Ночной гость. *(Стихи)* 3
ХЕНРИК КАЙШ — В свободу надо прыгнуть *(Рассказ)* 9
НИКОЛАЕ ТЭУТУ Remember *(Стихи)* 29
БЕРНАР КЛАВЕЛЬ — Плоды зимы *(Роман)* 30
МАКС ЦИММЕРИНГ Площадь Ленина в Берлине *(Стихи)* 112
МАРГАРЕТ ШЕДД Вечный свидетель *(Рассказ)* 114
МУХАММЕД АЗИЗ ЛАХБАБИ Стихи 122
ЭМИЛИЯН СТАНЕВ — Легенда о Сибине, князе преславском (Послесловие Ефима Дороша) 126

Критика

В. ИВАШЕВА — Современный английский философский роман 190
И. ФРАДКИН — «Вечно вчерашние» — сегодня (Заметки о неофашистской литературе ФРГ) 203

Публицистика

К 25-летию победы над фашистской Германией

ЗАРУБЕЖНЫЕ ПИСАТЕЛИ О ПОДВИГЕ СОВЕТСКОГО НАРОДА 218
ЭРИКА РУНГЕ — Ботропские показания 227

Анкета «Иностранной литературы»

БЕТТИ КОЛЛИНЗ. КАМЕН КАЛЧЕВ. МАРИЯ БАНУШ. ПААВО РИНТАЛА 238

Отклики, встречи, впечатления

П. ТОПЕР — На писательской встрече в Берлине 241
ФРИЦ ЗЕЛЬБМАН — Задача, которая стоит перед нами 242
ЛИГЕ ЛЕВЫХ ПИСАТЕЛЕЙ КИТАЯ 40 ЛЕТ 247

Культура и современность

Заметки на полях зарубежных газет и журналов

Л. ЯГОДОВСКИЙ — Большой и откровенный разговор . . 249
Г. ЗЛОБИН — «Рай рядом», или История одного авангардного театра 252

Наши гости

Е. МАЛЫХИНА — Главное — жизнь, человек (Венгерские писатели в «Иностранной литературе») 257

Среди книг

Издано в СССР

И. Рабинович — В бою нет старости ◇ А. Горбунов — Новая поэтическая серия. ◇ К. Атарова — Ничем себя не теша 261

Издано за рубежом

С. Шерлаимова — Традиции чешской марксистской критики ◇ Ю. Кожевников — Поэт неутомимого сердца ◇ Л. Зонина — Перпетуум-мобиле 265

Из месяца в месяц (Хроника) 272

Авторы этого номера 287

■

На обложке: фрагмент витража художника ВАЛЬТЕРА ВОМАЦКА (ГДР).

ВИТЕЗСЛАВ НЕЗВАЛ

К 70-летию СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

Ночной гость

■

Перевод с чешского Д. САМОЙЛОВА

Витезслав Незвал... Пожалуй, нет надобности давать биографическую справку или набрасывать его портрет, как того требует встреча с новым писательским именем. Опыт общения советского читателя с чешским поэтом уже достаточно велик, чтобы имя его вызвало вполне определенные представления о человеке увлекающемся и страстном, бесконечно любившем жизнь, поэзию, свою страну. Имя Незвала, автора прославленных «Песен мира» и «Эдисона», автора лирических стихов, пьес, поэм, вызывает представления о поэзии сверкающей и яркой, где столько же воодушевления и теплоты, пьянящих запахов и ливней, проникновенной тишины и солнечного света, как и в славном месяце мае.

Май был тройным праздником для Незвала. Как время манифестаций пролетарской солидарности. А Незвал всегда подчеркивал солидарность поэтов и рабочих. Как время освобождения родины от фашистской оккупации. Май 1945 года, когда Чехословакия сбросила тяжесть прошлых лет и родилась новая, народно-демократическая республика, стал могучим импульсом творчества поэта, временем свершившихся надежд.

И, наконец, май — месяц, когда поэт праздновал свой день рождения. 26 мая 1900 года в доме деревенского учителя из моравского села Незвал и мир впервые взглянули друг на друга.

Чуть отстав при появлении на свет от сверстника своего, двадцатого века, Незвал в процессе творчества следует за ним по пятам, удерживая в стихах все, что достойно емкой человеческой памяти.

Неугомонная незваловская поэзия торопится испытать свою власть над буднями и праздниками, над любовью человека и его детством. Ей становится мало опыта одной человеческой жизни, и она нарушает сон веков, отправляясь в глубины прошлого за опытом народов и поколений. Ей становится тесно на старых улицах Праги и на холмистых перелесках Моравии, и она устремляется на набережные Парижа, площади Москвы или к берегам океанов. Там, где не ступала нога поэта, свободно разгуливает его фантазия. Но в калейдоскопе времен, дней, красок, сюжетов и стилей многообразной и разноритмичной незваловской поэзии всегда слышится ритм эпохи, ее голос, «сигнал времени».

«В противоположность поэзии индифферентной, которая зиждится на иллюзии о том, что поэт и поэзия могут жить в пустоте, вся великая современная поэзия, мировая и отечественная, является партийной в том смысле, что ведет борьбу за мир, за лучшего человека, за счастливое будущее»,— сказал Незвал на II съезде чехословацких писателей в 1956 году.

После войны, создавая стихи о новой Чехословакии, о борьбе за мир, о любви и детстве, о прекрасных и тяжких мгновениях, из которых складываются будни, Незвал часто вспоминает погибших. Они продолжают жить в его памяти, а значит, в стихах. Красный адвокат Иван Секанина, писатель Владислав Ванчура, отважный редактор «Творбы» Юлиус Фучик... Товарищи по партии, по «Левому фронту», друзья с двадцатых годов, сверстники и соратники...

Последний раз Незвал встретился с Фучиком весенней ночью 1942 года у себя на квартире. Фучик, член нелегального ЦК, пришел к поэту за материалом для «Творбы». И в своем послевоенном стихотворении «Ночной гость» Незвал точно, скрупулезно, отдаваясь волнующим воспоминаниям, восстанавливает минуты тех канувших в вечность часов.

«Всей жизнью своею он свел воедино долг и дерзанье»,— сказал Незвал об одном из своих героев. Это относится и к самому поэту. Удивительный кудесник, озарявший волшебным светом фантазии все, к чему прикасался его взгляд, Незвал всегда преследовал одну цель — как можно ярче, объемнее, избегая надоевших коллизий и штампов, выразить действительность и ее сложное восприятие человеком. Отстаивая право художника на творческий риск, он никогда не упускал из виду конечную цель своих исканий — создавать стихи, которые могли бы принести человеку радость, вооружить его энергией, вылечить от моральной депрессии. «Человек рожден для счастья»... Эти слова независимо и по-своему звучали в творчестве Незвала. Борьбой с тем, что мешает осуществлению этого естественного человеческого права, определялось все — и долг, и дерзание.

За революцию я отдал голос свой.
Я, ощутивший неизбежность счастья,—

написал Незвал в 1924 году, вступая в коммунистическую партию. И через двадцать два года повторил на писательском форуме: «Поэт, испытывающий неодолимую жажду счастья, свойственную людям, сознательно, как воин, становится в ряды тех, кто сводит счеты с бедою, в которой был виноват старый социальный строй, желавший какого-то проблематичного счастья лишь для горстки избранных за счет целых народов, наций, человечества».

Жизнь Незвала остановилась в 1958 году. А его сверстник, двадцатое столетие, не стоит на месте. Привычно сомкнувшись над одной человеческой судьбой, время продолжает свой бег. И вместе с ним продолжают свой путь в будущее минуты и мгновения одной человеческой жизни. Навсегда оставшиеся в стихах минуты волнения, радости, боли и счастья.

Л. БУДАГОВА

В сорок втором году, дней за семь перед пасхой,
Ко мне явилась молодая гостья.
Она когда-то появлялась часто,
А после вышла замуж.
Она была того же круга, что и мы,
Из тех, кто выступал за новое искусство
И коммунизм.
Она пришла
Со скромным саквояжем, полным книжек,
Так вроде бы удобней,
Коли наскочишь на гестапо,
Сказала мне, что хочет привести
Того, кому я буду рад,
Спросила, нет ли слежки.

Нет слежки, вот смешно!
За кем из нас нет слежки.
Да нас же — тьма,
У них же — тьма в башках,
Опаснее их холуи из здешних,
Здесь по соседству проживает немка, к которой шляется эсэс,
Мне слышится порою скрип дивана.
Нет слежки, вот смешно!
Всегда готовишься к тому, чтобы услышать роковой звонок,
И все же мы друг к другу ходим,
Пускай и тот придет, кому я буду рад,
Пусть в сумерках придет, а ночью может скрыться.

И сразу после пасхи,
В какой уже не помню точно день,
Я у себя был наверху, на пятом этаже,
Его по уговору ожидали
Внизу.
Смеркается,
Трамвайный грохот заглушает лифт.
Звонок,
И входит молодая гостья
И кто, вы думаете, с ней?
Юлиус Фучик,
Произношу внезапно,
Хотя как будто я о нем не думал.
Он входит,
Темные очки, густая борода, широкий плащ.
Да, я его таким когда-то видел.
Мы обнялись, аж кости захрустели.
Он входит в кабинет,
Он и она и с ними провожатый.

Да, именно таким его я видел когда-то, до войны,
На Вацлавской, возле табачной лавки.
Мужчина видный — темные очки, густая борода,—
Знакомое лицо.
Но, может, я ошибся?
Нет, рядом с ним Густина.
Ты ли это?
Нет, сударь, вы ошиблись!
Вот так так, но почему с тобой она?
Мы, говорит, встречались, и нередко,
А я его не узнавал,
Знакомое лицо,
Конечно где-то мельком мы встречались.
И вовсе не из страсти к приключеньям.
Еще перед войной прикрыл он странной маской
Лицо голубоглазого и молодого человека,
В которого влюблялись,
Который обожал стихи,
Которого хотели заточить в тюрьму
За то, что правду говорил всегда — на сходках, на заводах,
За то, что он любил Страну Советов, жизнь, стихи.
Он прятался от полицейской своры —
Мужчина видный, темные очки, густая борода.

Мы как-то встретились в Москве, в отеле «Метрополь»,
В тридцать четвертом, в сентябре.
Он перешел рубеж, чтобы вздохнуть свободно.
И сразу в парикмахерской оставил обманный облик.
Его лицо взошло, как солнце,
Как солнце над внезапно рухнувшей дремучей чащей,
Лицо артиста, что сыграл героя драмы
И забежал в кафе, чтоб посидеть с друзьями.

Так много лет подряд бывал он среди нас,
И мельницей поэзия шумела,
И каждый раз мы открывали шлюзы,

И воды времени лились по желобам, вращая новые колеса,
Колеса истории.

Он приходил к нам с митингов, с заводов,
Из «Руде право»,
Из закавказских городов,
Всегда готовый к славным поединкам,
Отважный рыцарь, умеющий сражаться до конца,
Отважный рыцарь, не покидавший поле битвы и
не бросающий щита!
Однажды он привел в кафе отца,
В тот раз он был особенно счастливым,
Ведь он гордился не только тем, кто породил его,
А тем, кто был на сцене словно дома.
Все сыновья могли бы взять пример
С него, готовившегося к великой цели,
Всей жизнью приуготовлявшегося к ней.

Он входит в кабинет, очки снимает,
Глаза его сияют,
Он не дает повесить плащ в прихожей,
Кладет на стул у моего стола.
Присаживается за круглый столик, а на дворе уже почти
что ночь.
Пражане затворяют ставни, задвигают шторы,
Как заговорщики, прислушиваясь к звукам,
Садятся за столом, около радио, иль в кухне,
Или вокруг пылающих воспоминаний о тех, кто умер или
заточен в тюрьму.

Усаживаемся и мы.
Ночь воет за окном, как оборотень-волк,
Ночь с рысьими глазищами эсэс,
Ночь, заминированная народным гневом,
Ночь — трясина,
В которой светляками мерцают материнские надежды
И чаянья сынов,
Ночь — мясная муха,
Которая учуивает жертву.
Он знает обо всем, к нему сошлись все нити,
Умеет он распутывать узлы.
Он мне вручает книжку о Божене Немцовой
И номера газеты «Руде право»,
Рассказывает, как, скрываясь от погони, он выпрыгнул в окно,
И потому хромает,
Всей жизнью он соединил дерзанье с долгом,
И думаю, что ждет того же от искусства!

Сказал, что, может быть, когда-нибудь напишет книгу,
Когда-нибудь — на это нужно время —
Не очерк, не статью и не памфлет,
А книгу,
И синей молнией глаза блеснули под низким абажуром.

Ко мне пришел он попросить стихи,
Жаль, что псевдоним раскрыт мой — Ро́берт Да́вид,
Он мог бы снова сослужить мне службу,

Пора вступать в решающую битву,
Народ обязан воевать, иначе ему достанется лишь стыд,
Стыд перед теми, кто добудет победу миру, свет и радость.

Пьем чай, я разливаю красное вино,
Дрожит мой кабинет в табачном дыме — вот-вот взорвется,
Часы идут порой назад, порой вперед,
Ночь стонет за окном трагическим кларнетом,
Приходят мысли о великом и о малом,
О книгах и о самом важном в жизни дне.
Тот день был для него, когда
Вступил он в партию.
Был поворот судьбы,
Он это понимает,
В тот день он понял, что готов к любому испытанью,
Текла вода времен, и двигалась история.

Тот, кто лишен воображения и страсти,
Не может будущее разглядеть в ночных прожекторах,
Парить в его огнях,
Как люди на одной шестой планеты,
Не может в чешском и словацком небе расправить радугу
И видеть на земле счастливцев,
Мужчин и женщин, что только по любви принадлежат друг
другу.
За это вот грядущее и жертва —
Не жертва,
За это вот грядущее и смерть —
Не смерть,
Вся комната моя в незримом освещенье,
Звенят бокалы и звучит хорал.
Ночь-оборотень рядом скалит зубы.

Себя обречь великой цели — значит
Уметь так радоваться,
Чтобы всем была доступна радость,
Чтоб выдержать любое испытанье,
Чтоб струйка крови даже и на дыбе журчала песней
и надеждой,
Чтоб никогда не иссякал родник отваги,
Чтобы вступить с победным войском в Прагу,
Чтоб вдохновенье и одушевленье преодолели леность
и безверье,
И все это не ради славы и монументов из прочнейших
сплавов.
О люди, будьте бдительны, я вас любил,
Нет лучше книги, нет важнее дня.

Светает,
Свет двойной струится в щели затемненья,
Апрель сорок второго года,
Рассеялось беседы волшебство,
Пора надеть очки, накинуть плащ,
Отягощенный пистолетом.
Так вот произошло однажды,
Когда пришли за ним и все было при нем,
Когда не оставалось ничего, лишь выдержать

И вызволить из пыток немного времени,
Когда не оставалось ничего — лишь написать ту книгу,
Книгу-судьбу.

В ту ночь мы многого еще не знали,
В ту ночь, где было все на волоске,
В ту ночь, в незабываемую ночь.
Пусты бокалы, выкурен табак, не распахнуть окно.
Дом спит, и путник низко надвигает шляпу.
И провожатая готова в путь.
С ним что-то вроде посоха слепого,
Чтобы пройти сквозь оборотня-ночь.
Еще мы напоследок обнялись,
Ну, до свиданья, только — до свиданья!
И что бы ни случилось — до свидания
Сегодня или завтра,
А может быть, уже на берегу ином той волчьей ночи,
На берегу, который есть само
Грядущее,
На берегу, где реет наше знамя,
Твое, наш знаменосец,
То знамя, что водружено надеждой.
Дом спит, мой гость запахивает плащ.

Пусть будет все висеть на волоске,
Сегодня, завтра иль перед расстрелом,
Мир будет полон, как всегда, огней,
Как в ту чумную ночь,
Когда по Праге с маленькой связной шел Фучик Юлиус,
Как будто шел не на смерть, а в луга,
Во имя тех, кто победил,
Во имя тех, кто победит.

ХЕНРИК КАЙШ

В свободу надо прыгнуть

■

Перевод с немецкого Е. КАЦЕВОЙ

Меня очень радует, что мой автобиографический рассказ представлен советскому читателю в дни, когда мы празднуем 25-ю годовщину освобождения от фашизма.

Так становится зримой внутренняя связь различных фронтов единой борьбы: связь социалистического патриотизма и интернационализма. Она соединила во время последней войны немецких антифашистов и участников французского Сопротивления, а их вместе — с героическим советским народом.

АВТОР

Вокруг журчит и булькает. Нечто струящееся, слегка подталкивая, обволакивает меня. С усилием открываю глаза, это «нечто» зеленовато-серого цвета, прозрачное, но все же не настолько, чтобы я в самом деле мог сквозь него видеть. Я в нем плыву. Правда, ноги мои отталкиваются вяло, руки работают слабо, но я ведь знаю, что значит плавать,— если у меня имеются достижения по какому-либо виду спорта, так это по плаванию. «Нечто» вокруг меня — вода, конечно, вода. Но почему же мне так невыносимо жарко, почему я весь в поту, если я в воде, даже — как я только что обнаружил — под водой? Непостижимо. И неприятно, очень, очень неприятно. Боль в груди, состояние отвратительное, отчего это? Дышу с трудом. И плечо, оно тоже болит, черт побери. Мне совсем скверно. Надо выбираться. Надо подняться на поверхность, быстрее, никто не может выдержать так долго под водой. Надо вынырнуть.

Как будто удалось, вынырнул. «Нечто» становится светлее, прозрачнее, я сам — легче. Ну вот, теперь я наверху. Голова моя высвободилась. Кругом воздух. Журчание и бульканье прекратились, внезапная тишина подобна взрыву. Перед глазами потоки света, не такого, как прежде, более мягкого,— золотисто-белая пелена. Я вижу пелену, вижу и то, что́ она скрывает. Сперва большую раму, в ней аккуратно вырезанный кусок синевы, с краю прорванный чем-то темным, мохнатым. Ага, дерево. Я доволен, что по ветвям и листве узнаю дерево. Ведь дерево — это что-то близкое, почти родное, оно не журчит и не булькает. Да нет же, дурак, разве ты никогда не вслушивался — дерево журчит, и еще как! Да, но все же иначе, совсем по-другому. Одним словом, рама — это открытое окно, синий проем — часть неба, а я — в комнате. Лежу в постели. Постель белая. Пока все верно. Но что это на моей руке — прикреплено к ней и словно вросло в меня? Что это за резиновый шланг, торчащий из меня и опущенный другим концом в стеклянный баллон?

«Очень хорошо, он пришел в себя,— доносится голос издалека.— Это главное. Теперь ему нужен покой, сестра. Продолжать вливание

физиологического раствора». Итак, физиологический раствор,— а почему, собственно? Меня мучает жажда. «Пить!» — «Он хочет пить»,— говорит другой голос. «Нельзя,— отвечает предыдущий,— разве только совсем капельку». Что-то влажное просовывается между губами. Ах, как хорошо. Я сосу пропитанный водой кончик тряпки. Пелена теперь тоньше, сквозь нее лучше видно. Слева от окна какая-то фигура. Мужчина. Мундир, темно-синее сукно, серебряные пуговицы. На столе цилиндрической формы жесткая, с плоским козырьком, тульей вниз, фуражка того же сукна. Такие форменные фуражки здесь называют кепи. Смешное ублюдочное слово. Ясное дело, немецкая кепка, но на французский лад. Я уже давно собирался заняться вопросом, в каких случаях, при каких обстоятельствах, каким образом те или иные слова переходят из одного языка в другой, например немецкие во французский. Чрезвычайно интересный культурно-исторический феномен, тема для исследования. К сожалению, так и не смог собраться, другие заботы одолели. Откуда взялось здесь кепи и вообще этот человек в форме? По-видимому, полицейский, во всяком случае, похоже, что так. Полицейский? Тут уж не до шуток, неужто полицейский? Проклятье! Только полицейского не хватало! Где я? Как я сюда попал, что вообще со мной случилось?

Вода! Я ведь выбрался из воды. Река под освещенным луной ночным небом, устрашающе широкая, хотя все же не такая, как Рейн в том месте, где я мальчишкой — давно это было! — впервые ощутил, что, гребя руками и ногами, держишься на поверхности и даже движешься вперед, а значит — какое торжество! — я уже умею плавать, я, кому говорили, что сначала надо подрасти; конечно, менее широкая, чем Рейн там, на моей родине, но все-таки достаточно широкая, чтобы броситься в нее было не так-то просто. Почему же, если это не так-то просто, я бросился в нее среди ночи? Из-за света, который где-то далеко на противоположном берегу прорезал темноту ночи. Я должен добраться туда, там мое спасение. Но с этим тебе, брат, не справиться при твоем состоянии. Кроме того, это только мерцанье, едва заметное издалека. А если тебе и удастся добраться до другого берега, впереди еще долгий путь, да и чего ты в конце концов достигнешь, откуда известно, что или кто ждет тебя там. Все равно, мне надо туда. Свет — это надежда. Может быть, там найдутся люди, которые мне помогут. Как она хлещет из дыры, эта кровь! Стекает по груди вниз, за пояс, ничем ее не остановишь. Я стянул с себя рубашку, она тоже продырявлена, перевязал наискосок плечо и грудь, но кровь просачивается и сквозь повязку. И это только спереди. А на спине такая же дыра. Я это чувствую при дыхании. Вместо того чтобы наполнять легкие, воздух и спереди и сзади вырывается наружу со зловещим глухим свистом. Правда, сзади свист меньше, зато боль сильнее. Так и полагается, я слышал, что выходное отверстие огнестрельной раны почти всегда болезненней входного. Стрелял прямо в грудь, подлый нацистский мерзавец! Хладнокровно прицелясь, пристрелил с двухметрового расстояния, как пристреливают зайца. Он мог без труда водворить меня на прежнее место, я ведь поднял руки, я уже понял, что потерпел неудачу, что прыгнул зря. Думал, сейчас он схватит меня и втолкнет в вагон. Ждал и побоев. Но нет, он вскидывает винтовку, я падаю, он машет рукой солдатам, которые бегут вдоль поезда или высовываются из окон и что-то кричат, вскакивает на ступеньку вагона, другие следом за ним, паровоз взвизгивает и поезд отправляется. Я, мертвый, остаюсь лежать на щебне в лунном свете. Начальник поезда составит докладную: эшелон с заключенными из отделения гестапо в Гренобле согласно приложенному списку прибыл в полном составе за исключением одного человека. Последний хотел по дороге задать стрекача, откланяться по-французски, ха-ха, здорово ска-

зано, верно, господин майор? Итак, все, за исключением одного, застреленного при попытке к бегству. Расход боеприпасов — 1 патрон, прописью: один. Других происшествий не было.

Нацистского мерзавца, застрелившего меня при попытке к бегству, я бы узнал везде и всюду. Симпатичный, крепкого сложения парень, широкий череп, короткие жесткие светлые волосы. Бухмаер его фамилия. Целый день, с раннего утра до полуночи, пока мы медленно, с многочисленными остановками, катили на север, он сидел справа от меня на деревянной скамейке, так что я успел его изучить. Первые несколько часов обе стороны, мы и он, соблюдали дистанцию. Но потом начали переговариваться. Кто бы он ни был — нацистский ли солдат или арестованный антифашист,— человеку свойственна потребность в общении, в знакомстве друг с другом. Отсюда возникает своего рода взаимное притяжение. То, что французский заключенный, которого он должен эскортировать, говорит по-немецки, нисколько не удивляет ефрейтора Бухмаера. Немецким должен владеть каждый, это уж само собой. А я теперь мог пойти на риск. Следователи гестапо — тут уж я изо всех сил старался, чтобы они не узнали во мне немца,— передали меня дальше, для последующей — какой? — обработки. Занесенный ими в ведомость как француз, следствие по делу которого закончено, я мог теперь безбоязненно разговаривать с ефрейтором Бухмаером по-немецки. Я и разговаривал, хотя далеко не с таким легким сердцем, как он. Добродушно поглядывая вокруг, с карабином между колен, он охранял нас, семерых порученных ему заключенных, держась при этом и по-товарищески, и с неколебимым сознанием своего долга, которое наверняка проявилось бы и в том случае, если бы мы были солдатами его роты, отправляемыми на гауптвахту за просрочку отпуска. «Я ничего не имею против вас»,— сказал он, и это приблизительно означало: «Вы такие же жалкие свиньи, как и мы». Затем он добавил: «Только не вздумайте устраивать мне неприятности!» Когда поезд остановился на очередном перегоне,— это происходило очень часто, и всякий раз я страстно желал, чтобы из засады выскочил партизанский отряд, штурмом взял откос и отбил нас,— так вот, когда поезд остановился, я сделал заранее и тщательно обдуманный ход. «Ну, а сейчас я нажму на ручку двери — и был таков!» — сказал я. Нас везли в вагоне старой конструкции, двери восьмиместных купе выходили прямо наружу. И в каждом купе — часовой, охранявший семерых заключенных. Когда я сказал свое «и был таков», мой часовой поглядел на меня, ничуть не смешавшись и без тени улыбки: «Эй вы, не валяйте дурака! Эта штука у меня не для забавы». Он похлопал по карабину. Думал ли он то, что говорил? Были причины, по которым мне хотелось выяснить это совершенно точно. «И вы в самом деле пустили бы его в ход?» — «А как же!» — ответил он совершенно спокойно. Я: «Несмотря на то, что мы так славно подружились?» Он зажег сигарету. «Ты думаешь, дружище, мне неохота вернуться с войны целым и невредимым?» Он собирался сунуть пачку в карман, передумал, вытащил еще сигарету и протянул мне: «Можешь не сомневаться, я выстрелю, иначе мне самому несдобровать!»

Сомнений нет, фигура за столом у окна — полицейский. Теперь уже ясно, что он, ясно также, что все это означает. Это означает: прыжок оказался бесполезным. Бесполезно было и все, что случилось после прыжка. Многое произошло после прыжка,— вот только что именно? Воспоминания сгрудились в кучу, сбились в клубок, как мне распутать его? У полицейского за столом широкий череп ефрейтора Бухмаера. Вот он встает, подходит, рассматривает меня, бухмаеровская голова сливается воедино со стеклянным баллоном, они почти одинаковой формы.

«Ну,— слышу я,— как дела?»

Я что-то сказал? Или только шевельнулся? «Спокойно, спокойно,—

говорит он,— вы все время дергаете шланг, нельзя этого делать!» С трудом мне удается пробормотать: «Физиологический раствор!» Я не узнаю своего голоса, так глухо он звучит. «Верно,— говорит Бухмаер, мой убийца Бухмаер.— Физиологический раствор. Чтобы возместить потерю крови. Вы меня понимаете? Доктор вами доволен. Вы выкарабкаетесь». Вот как, я выкарабкаюсь. Бухмаер застрелил меня, а я выкарабкаюсь, можно на это надеяться. Я и хочу надеяться. Но как же так, ведь это полицейский сказал, что я выкарабкаюсь, и почему, почему у него голова Бухмаера?

Ефрейтор Бухмаер — разве я не обратил на него внимание еще на вокзале в Гренобле, когда нас загоняли в вагоны? Там гестапо нас передало группе караульных, в состав которой входил и он. Чтобы перевезти из тюрьмы на вокзал, нас затолкали в закрытые грузовики. Но мне не трудно было догадаться, каким путем мы едем. Несмотря на глухие стены, я при каждом повороте ясно представлял себе невыразимо прекрасные, такие близкие альпийские горы — вид на них открывался с главных улиц города. Даже под марширующими или фланирующими нацистскими сапогами, чьи обладатели в прошлом году не просто сменили здесь ставших ненадежными оккупантов, доставленных с другой стороны Альп, бывших итальянских союзников, но после многодневной перестрелки заключили их под стражу в казармах,— даже под нацистскими сапогами эти улицы сохраняли красоту и своеобразие. Обладатели сапог, марширующих или фланирующих, понимали так же хорошо, как и местные жители, что улицы переходят в дороги, а дороги всего лишь через несколько километров — в горные тропы, крутыми изгибами ведущие к высокогорному плато, к естественной оборонительной системе. Там, наверху, власть оккупантов кончалась. Там, наверху, еще задолго до освобождения разрабатывались планы государственного устройства освобожденной Франции. Теперь, к началу пятого военного лета, там властвовали партизаны, оттуда, из маки, они все чаще обрушивались на долины, вступая в бои, совершая диверсии. Немецкие фашисты прекрасно знали о маки, но ничего не могли поделать: руки были коротки. Однажды я сам слышал, как один из них говорил об этом другому. К комиссару гестапо, как раз допрашивавшему меня, пришел его коллега. Они побеседовали две-три минуты. Как я уже упоминал, гестаповцы были убеждены, что я не понимаю немецкого языка, и без стеснения делились своими заботами. Виллар-де-Ланс, например,— местечко, расположенное на высоте 1000 метров, известное теперь многим по корреспонденциям о зимних олимпийских играх (оттуда же, кстати, и знаменитый мед),— итак, Виллар-де-Ланс, сказал один, кишмя кишит не только подозрительными людишками, но явными коммунистами, террористами, евреями. Там можно заполнить врагами рейха целый эшелон, стоит только взяться, да некому, нет нужных людей, приходится воздержаться. Так оно и было на самом деле. Лишь позднее, как я потом узнал, немцам после длительной подготовки удалось наступление на маки в департаменте Веркор, но эта их удача уже не имела никакого стратегического значения, убийствами и поджогами они лишь мстили за свое прежнее бессилие, а потом им пришлось отступить — не только из предгорья Альп, но из всей Франции.

Нужно попытаться обуздать свои мысли. Обрывки воспоминаний вертятся в голове без всякой логической связи, надо привести их хоть в какой-то порядок. И пусть мой полицейский, который снова уселся за стол с газетой в руках, тоже не маячит перед глазами. Я еще вернусь к нему, вернусь к вопросу, что бы это значило, что у него череп ефрейтора Бухмаера. А сейчас речь пойдет о подлинном Бухмаере, о моей первой встрече с ним в то утро на вокзале в Гренобле. Комиссару гестапо, сопровождавшему наш эшелон, конвойные солдаты, большей частью

молодые, кажется, не внушали особого доверия. Он этого не скрывал. Я его уже довольно хорошо знал. Все его называли Большой Чарли,— так он сам, хрипло посмеиваясь, представился мне при первом же допросе. И, широко размахнувшись, стукнул меня кулаком по лицу, без видимого возбуждения или усилия, так сказать, по привычке: «Моя визитная карточка, мосье, понимаете? Я Большой Чарли. Чтоб вы сразу запомнили меня». Его французская речь была неуклюжа, он спотыкался, но все же вполне мог обходиться без переводчика. Я еще не раз получал от него такие визитные карточки, да и не только визитные карточки.

В то утро ранним летом на гренобльском вокзале Большой Чарли переживал свой еженедельный звездный час: отправку эшелона с заключенными, которых он арестовал, которых он допросил, приказы о пересылке которых он подписал. В приказах значились Компьень или Дранси — два пересыльных пункта перед Бухенвальдом, Маутхаузеном, Освенцимом. Большой Чарли, надо думать, подписывал приказы немецким именем, которого я не знаю, да и откуда мне было знать. В то время я даже не имел представления, куда следовал эшелон, об этом я узнал позже, когда стало известно обо всех ужасах, связанных с теми местами. Но и тогда я уже знал, что фашистские концентрационные лагеря — это преисподняя. Для того, чтобы вынашивать в себе твердую решимость бежать при первой же возможности или хотя бы предпринять попытку к бегству, вовсе необязательно быть исполненным героического духа и отважно презирающим все опасности рыцарем Ланцелотом,— отправляемому в концентрационный лагерь узнику надо лишь, трезво взвесив весь риск, ухватиться за малейший шанс к спасению. В течение целого месяца, с тех пор как я попал в руки к фашистам, я день за днем повторял, внушал себе, твердил: терять нечего, выиграть можно все! При первой, при первейшей возможности, при малейшей надежде на успех — я попытаюсь! Как ни мал будет шанс, он все равно велик по сравнению с тем, что я выберу, если обреку себя на бездействие. И когда возможность вдруг представилась, раздумывать было нечего, колебаться не пришлось, все давно было решено. Я мгновенно готов был к действию. Лишь немедленно использованный шанс вообще мог быть шансом, несколькими секундами позже он уже переставал им быть. К тому же я вовсе не убежден, что будь у меня время основательно обдумать ситуацию — все возможности, все опасности,— не убежден, что и в этом случае совершил бы прыжок. Схватившись за ручку двери, я исходил из задолго до того осознанной необходимости, из раз и навсегда предписанного себе правила поведения. Приемлемое вообще, оно должно было быть приемлемо и в данном случае. На это я и положился. Вправе ли я был так поступить? И чего я достиг? Полицейский с большой головой ефрейтора Бухмаера, которой, однако, принадлежит французская форменная фуражка, полицейский около кровати, где я лежу простреленный и беспомощный, своим присутствием подтверждает: мой прыжок и то, что было потом,— все это ни к чему. Я прыгнул из одной тюрьмы в другую. Ведь существует столько экземпляров ефрейтора Бухмаера, моего убийцы!

Итак, на Бухмаера — вернемся к нему — я обратил внимание еще при отъезде. Большой Чарли самолично выстроил отряд конвоиров, принявших нас на вокзале и , видимо, не внушавших ему особого доверия, в две сплошные, ощетинившиеся карабинами и автоматами, шпалеры; сквозь этот строй нас под его наблюдением прогнали по перрону к вагонам среди потока пугливо отводящих взор пассажиров. Он ни на секунду не терял нас из виду и лишь тогда скрылся в здании вокзала, когда мы все погрузились и он удостоверился, что в каждом купе — часовой на посту с винтовкой наперевес. Тут я впервые и обратил вни-

мание на Бухмаера, моего убийцу Бухмаера. Хотя на призыв Большого Чарли к бдительности по отношению к семи вверенным ему террористам он ответил бодрым «Есть!», вслед за этим, намного тише, но вполне внятно для моих ушей, последовало процеженное сквозь зубы и заимствованное отнюдь не из девичьего альбома крепкое словцо. «Э,— подумал я,— да ты бунтовщик». Меньше чем через двадцать четыре часа я смог убедиться, что бунтарство ефрейтора Бухмаера полностью исчерпывалось подобным словесным протестом, который вдобавок относился не к заданию, а к неверию в то, что он сумеет выполнить его безупречно.

Так что же мой полицейский? Хочу поглядеть в его сторону. Поворачивая голову и слегка приподнимаясь, чтобы в поле зрения попали окно и стол, я осознаю, что эти движения причиняют боль вполне терпимую. Это ново для меня. Вообще ново, что я могу шевелиться. Что-то изменилось. Я уже не плыву под водой, отчаянно борясь за жизнь. Пространство и свет уже не обволакивают меня, как волны и как пелена. Я уже не тот, кому подбадривающе говорят: он выкарабкается, я тот, кто сам чувствует. выкарабкиваюсь! А раз так — будь добр, на два слова, господин полицейский: ты тут зачем? Кому ты подчиняешься, чего мне ждать от тебя? Тоже будешь стрелять в меня?

Странно, моего полицейского подменили. У прежнего был — кажется, я уже упоминал об этом,— бухмаеровский череп, у этого же голова как голова, обыкновенное человеческое лицо. Разница становится еще более заметной, когда он подходит к подставке, на которой укреплен стеклянный баллон. А где же резиновый шланг, соединяющий меня со стеклянным баллоном?

Мой полицейский улыбается. «Не нужно больше физиологического раствора»,— говорит он. И тут бесшумно вплывает черная фигура, увенчанная белым треугольником, под треугольником пара глаз, больших и кротких. «Я думаю, сестра, теперь он действительно выкарабкался»,— говорит мой полицейский черной монахине. А она: «Да, ведь сегодня уже третий день». Чья-то рука касается моего затылка, поддерживая его, другая — рука монашки, запястье утопает в широком черном рукаве,— подносит к моим губам поильник. «Выпейте»,— слышу я. Не знаю, что я пью, что-то тепловатое и пресное, но мой организм всасывает это всеми своими фибрами. Рука отстраняется, моя голова снова падает на подушку, монахиня уходит, полицейский пялит на меня глаза. «Что вы здесь делаете? — спрашиваю я.— Вас подменили?» Он кивает: «Мы сменяемся каждые восемь часов. Утренняя смена, вечерняя смена, ночная смена — по часовой стрелке. Возле тебя приятно дежурить, парень, никакой мороки, спокойно, одно удовольствие, нечего бояться, что ты сбежишь». У него череп не бухмаеровский, но теперь я вижу, что он тоже Бухмаер. Он засовывает большие пальцы за кожаный ремень и расправляет плечи. Из кобуры, болтающейся на ремне, выглядывает рукоятка пистолета. «Вы меня охраняете?» — спрашиваю я. Он удивляется: «А что же еще?» — «Почему?» Он поднимает плечи и почти параллельно к ним поднимаются его брови, выражая неподдельное изумление. «Нам дают приказ, и никаких объяснений. Ты уж сам знаешь, кто тебя продырявил и за что. Как-никак это по нашему ведомству, ты не находишь?» Вон оно что. Вон оно что. Они предполагают нечто уголовное: драма в преступном мире, бандиты сводят счеты, неизвестный преступник стреляет в сообщника. Все это слишком уж просто. Я должен разъяснить ошибку. Но как? Какое безобидное объяснение может дать продырявленный человек тому факту, что он продырявлен? Сказать правду? Но не им же! Наш поезд, я точно знаю, в какой-то вечер пересек границу между южной и северной зоной. Ефрейтор Бухмаер, довольный, что значительный этап путешествия уже позади, сообщил нам об этом. С первого взгляда как будто никакой разницы. По обе стороны грани-

цы — немцы, обе зоны оккупированы, и тем не менее различия существуют. На юге они не держат под таким уж жестким контролем всю систему управления,— доброй воле патриотов предоставляется известная свобода действий. Но здесь мы на севере, у Лаваля, фашиста и ультраколлаборациониста. Здесь все непосредственно подчинено немцам — все правительство, каждое учреждение, каждый служащий, тем более полиция! Они ни в коем случае не должны пронюхать, откуда я, иначе это будет означать, что я попал из огня да в полымя!

Из огня да в полымя, из одной неволи в другую. Напрасен прыжок, бесполезно все, что было потом. От Бухмаера к Бухмаеру, кто бы мог подумать! А поначалу все складывалось так благоприятно. Вдруг представился шанс, неожиданно, именно в тот момент, когда его меньше всего можно было ожидать. Ночью что-то изменилось в ритме движения поезда, и это заставило меня пробудиться от полусна, в который я погрузился, кое-как пристроившись на неудобной узкой деревянной скамейке. Совершенно очевидно — поезд замедлил ход. В этом нет ничего необычного, в течение дня так бывало десятки раз. Паровоз пронзительно свистнул. Ночь, но ночь лунная, почти неправдоподобно светлая, я различаю каждое лицо, каждый предмет в купе. С такой же четкостью вижу сквозь окно залитую молочно-белым светом равнину. Рядом и напротив — шестеро наклонившихся вперед или прислонившихся во сне друг к другу товарищей по путешествию и судьбе. До сих пор я не видел никого из них, только один раз недолго пробыл в общей камере, все остальное время — в одиночке. Дня, который мы провели вместе в этом купе, предаваясь одинаковым размышлениям, отламывая каждый свой кусок хлеба от одной принесенной нам ковриги, задавая друг другу одни и те же осторожные вопросы и осторожно отвечая на них — ведь ефрейтор тут же, и нам неизвестно, насколько он все-таки нахватался французских слов,— дня было достаточно, чтобы связать нас друг с другом. Не все мои попутчики — люди того склада, что расплачиваются этим путешествием в неизвестное, или слишком хорошо известное, за нечто реальное, имеющее определенное название: Сопротивление. Немцы, давно уже потерявшие ясное представление о масштабах Сопротивления, во многих местностях ставшего всенародным, сплошь да рядом действовали вслепую. Во время облав они хватали людей, никогда и не помышлявших предпринимать что-либо против оккупантов. Они делали это наугад, для запугивания и устрашения, или, сознательно применяя издевающуюся над всякими нормами уголовного права теорию допустимых ошибок,— в расчете на хороший улов. Так рыбаки иной раз забрасывают сеть. Пусть ценной окажется лишь небольшая часть улова, но ради нее стоит поймать в сеть рыбы побольше. Рыба, не представляющая интереса для рыбака, в лучшем случае выбрасывается обратно в море, или дохнет, или — так уж тщательно ни один рыбак не сортирует улов — перерабатывается вместе со всей добычей. Это дело удачи, разум и тем более справедливость тут ни при чем. Когда я — очень недолго — находился в камере не один, у меня был там товарищ, голубевод, ревностный член общества по разведению почтовых голубей, удостоенный многократных наград за победы на соревнованиях. Он мог без конца говорить о голубях, о них он знал решительно все. На такие слова, как война, оккупация, Сопротивление, он не реагировал, они не вызывали в нем никакого отклика, и это отнюдь не была осмотрительная, конспиративная сдержанность — вполне допустимая даже по отношению к товарищу по заключению,— нет, то было подлинное, абсолютное равнодушие ко всему, что его лично и непосредственно не касалось. И вот к этому человеку гестаповцы нагрянули в пять утра, все перерыли в его домике, убили голубей, угрожали семье, арестовали его самого. Потребовалось немало времени, пока он понял, почему его так

покарала непостижимая судьба: его заподозрили в том, что с помощью голубей он по воздушному пути, обходя цензуру, минуя контроль, оказывал курьерские услуги одной из организаций Сопротивления. Кому-то пришла в голову идея, что нечто подобное вполне возможно, и на основании этого арестовали лучших членов его общества.

Голубевод был не в моем купе. Но двое других, там, у окна, наверняка так же ни к чему не причастны, как он. Третий, молодой человек, схвачен патрулем во время прогулки с невестой по лесу. Незадолго до этого в лесу нашли тайник с оружием, этого было достаточно. Судя по его рассказу, возможно, он и в самом деле ничего не знал о существовании оружия. У фашистов было столь же мало доказательств его вины, как и вины доброй дюжины других гуляющих, которых они схватили и уже не выпустили. Их система основывалась на теории вероятности: из десятка арестованных по крайней мере один — это уж во всяком случае — действительно участник Сопротивления. Он тем самым обезвреживается, причем даже не требуется обнаружить его и уличить. Я попал в сети гестапо таким же образом. Это произошло второго мая во время поездки в автобусе; накануне мы скромно, применительно к обстоятельствам, но полные веры в будущее, праздновали в горах Первое мая. Пели, шутили, провозглашали тосты за близкую победу. О ней я и думал, сидя в автобусе. Известия, которые я ежедневно прослушивал для нашего переписываемого от руки и тайно распространяемого бюллетеня, не могли быть более благоприятными. Каждый раз мне приходилось продвигать вперед булавки, которыми на висящей в моей комнате карте был отмечен Восточный фронт. Советская Армия отовсюду гнала врага на запад. Монте-Касино, ключ к северной части Италии, где фашисты многие месяцы упорно держались, должно было вот-вот пасть, и давно обещанная, с нетерпением ожидаемая высадка западных союзников теперь действительно — это понимал каждый — должна была произойти со дня на день. Она будет для всех нас, для всего французского Сопротивления сигналом к переходу в решительное наступление. Да, победа близка... И вдруг завизжали тормоза, громыхающий автобус остановился. Немецкие солдаты преградили путь. С винтовками наперевес они заставили нас выйти из автобуса — раз-раз! живо-живо! вещи остаются на месте! В то время как несколько человек осматривали автобус и вещи, другие выстроили нас шеренгой на пашне вдоль шоссе, спиной к их автоматам. Неподвижно и молча, с поднятыми руками, мы должны были ждать, пока они допросят и обыщут каждого из нас. На все вопросы «откуда» и «куда», о семейном положении и профессии, местожительстве, доходах, отношении к трудовой повинности, о предназначении той или иной взятой с собой вещи, о том или ином найденном в бумажнике документе или фотографии,— на все это мало кто смог дать удовлетворительный ответ. Я тоже не смог, слишком многое из содержимого моих карманов плохо подходило к объяснению, будто я еду в деревню к знакомым, пригласившим меня на пару дней. Так я застрял в закинутой наугад сети — не очень большая, но все же, кажется, представляющая собой некоторый интерес рыба. Именно случайность моего ареста, которая, казалось бы, облегчала дело, парадоксальным образом являлась в последующие недели предметом моих самых жгучих забот. Ведь друзья и товарищи по партии могли предположить, что я стал жертвой предательства, стало быть, среди нас есть шпик и необходимо оборвать все контакты, прекратить работу. Так предписывают правила нелегальной борьбы. Только я один знал, что в данном случае нет никаких причин следовать им. Никто на меня не донес, и было чрезвычайно важно, чтобы мои товарищи узнали об этом. Я долго думал, как бы известить их. Но так ничего и не придумал.

Поезд совершенно явно с каждой секундой замедляет ход. Если

прыгать сейчас, когда он так ползет, почти не рискуешь нанести себе увечье. Прыгнуть согнувшись, пружинящим расслаблением голеностопных и коленных мышц амортизировать удар, свернуться в клубок, обхватить руками голову и покатиться в заданном толчком направлении — вот примерно то, что надо делать, вот в чем искусство падения при движении, такова — я где-то читал — техника работы специалистов, дублеров, снимающихся вместо кинозвезд в головокружительных сценах приключенческих фильмов. Так надо действовать. Вот только Бухмаер здесь, я и пикнуть не успею, как он меня схватит. Неудачное выражение, совсем не к месту, я хотел сказать: не успею нажать на дверную ручку. Да, Бухмаер. А почему, собственно, ты считаешь, что Бухмаер здесь? Где? Где же Бухмаер?

Бухмаер не сидит там, где сидел. Не верю своим глазам, тыкаюсь рукой в то место, где он только что был. Никого! Не время раздумывать, куда он девался: пошел ли в соседнее купе к своему коллеге, или в уборную, или еще куда-нибудь. Бухмаера нет, купе без охраны, поезд медленно ползет, стоит только нажать на ручку... Благоприятный момент, о котором ты мечтал, вот он! Или ты не верил, что он может настать? Он настал. Не раздумывай долго, давай прыгай! Прыгай, друг!

Я смотрю на своих спящих попутчиков. Нет времени будить их, сказать о возможности побега, подробно обсудить, стоит бежать или нет. Через секунду Бухмаер может вернуться, прыгай! Это твое право. Но одного, хотя бы одного я все-таки хочу спросить, не попытается ли и он. Например, вот этого, сидящего рядом со мной. Он уже не молод, часовщик по профессии, мало рассказывал о себе в течение дня, но по этому немногому можно разгадать остальное, я чувствую: он близок мне. Слегка толкаю его. Он просыпается не сразу, сперва только меняет положение, потом открывает глаза, смотрит на меня в замешательстве. Я прикладываю палец к губам — тсс! — другой рукой показываю на пустующее место Бухмаера, на дверь, на ручку, изображаю жестом полет. Он не сразу соображает, что к чему, сначала принимает все за шутку, потом догадывается, что мне не до шуток. На миг все в нем напрягается, кажется, вот-вот вскочит... Но тут же он откидывается назад, слабо качает головой. Он не готов. Ладно, товарищ, ты сам должен знать, что тебе делать, так же как я знаю, что делать мне.

Я дотрагиваюсь до его плеча, в ответ он чуть поднимает руку с зажатым в кулаке большим пальцем. Салют, желаю, мол, удачи. Я поворачиваюсь к двери, берусь за ручку. Со времени моего пробуждения прошло, вероятно, две-три секунды.

Ночь светла, я никогда не видел такой светлой ночи. Прыгаю. Отчетливо видно, куда ступить ногой, каждый камень различим. Тени катящихся вагонов бегут по земле около поезда, образуя полосу с метр шириной. Какой же четко очерченной может быть лунная тень! Я прыгаю на тень, падаю на нее, малая скорость движения делает излишними все подсмотренные в приключенческих фильмах артистические трюки. Лежу плашмя, прижимаясь к земле. Я не получил никаких повреждений, мог бы сразу подняться и побежать. Но на освещенной луной открытой местности меня легче заметить с поезда. Поступаю иначе — продолжаю лежать у самых рельсов, в тени поезда, может быть даже в невидимом из окна мертвом уголке. Пережду, пока последний вагон не скроется из виду. Я удивительно спокоен, действую обдуманно, хладнокровно принимаю решения, отлично справляюсь с создавшимся положением. А оно складывается в полном соответствии с моим замыслом.

Но вот оно, кажется, начинается — отклонение от задуманного. Мимо проехали два или три вагона. Грохот колес, катящихся рядом, гудит у меня в ушах. Но не ослабевает ли он, не затихает ли? Я еще не хочу признаться себе в этом, я еще отвергаю эту возможность, но в

глубине души уже знаю: поезд, и прежде шедший достаточно медленно, еще больше замедлил ход. Поезжай скорее, поезд! Поезжай скорее, поддай пару, прибавь ходу! Исчезни из моего поля зрения! Я прижимаю лицо к земле, чтобы слиться с тенью, ничего не вижу, только прислушиваюсь к звукам. Скрип тормоза перекрывает грохот, переходит в шипение и наконец полностью замирает — поезд остановился. Он стоит! Что теперь будет? Во внезапно наступившую тишину врывается сигнал тревоги. Звучат команды. Я поднимаю голову, смотрю. Из окон высовываются жестикулирующие солдаты, некоторые, взмахивая ружьями, выпрыгивают из вагонов. Бегут туда, сюда. Один направляется прямо ко мне. Я узнаю Бухмаера. Алло, ефрейтор, ты сам виноват, что я устроил тебе неприятность. Где ты был в тот момент, когда тебе полагалось встать между мною и моим шансом? А теперь не делай такого бешеного лица, все ведь кончилось хорошо,— разумеется, для тебя,— ты не предстанешь пред военным судом за неисправное несение караульной службы, ты вернешься с войны целым и невредимым, раз умеешь так устраиваться, чтобы перед стволом твоей винтовки всегда был безоружный враг вроде меня, в России тебе сейчас пришлось бы худо, и ты радрадехонек, ты сам мне говорил, что здесь, в прекрасной Франции, тянуть лямку оккупанта сравнительно легко, во всяком случае, так было до сих пор, впрочем, теперь уж ненадолго, это факт. Не делай такого бешеного лица, нечего злиться, что я ухватился за свой шанс, попытка к бегству — исконное право всякого узника, ты можешь только помешать воспользоваться этим правом, но не злиться. Да я уже встаю. Что ты там кричишь? «Руки вверх!»? Пожалуйста, подниму и руки. Сдаюсь. Прыжок был напрасным, вынужден это признать, придется нам обоим продолжить путешествие — до конца. Ты вскидываешь винтовку? Какая в этом надобность? А, понимаю, на тебя смотрят твои товарищи, твой офицер, и тебе следует разыграть маленький спектакль, чтобы забыли о забвении тобою долга, вот ты и изображаешь яростное возмущение безмерной коммунистической наглостью, попыткой так коварно провести честного немца, полагающегося на взаимное доверие. Поверь, я тебя понимаю, ты ведь, в сущности, жалкая свинья, из нас обоих, ефрейтор Бухмаер, жалкая свинья ты, а не я, хоть ты думаешь обратное.

«Свинья ты!»

Ефрейтор Бухмаер в нескольких шагах от меня. Его лицо искажено яростью, в неправдоподобно ярком лунном свете я отчетливо вижу, как трясутся его губы, когда он кричит: «Свинья ты!». Возле меня он останавливается. Прицеливается из карабина, который я весь день видел у него в руках, эта штука ему дана ведь не для забавы, я уверен: он думал то, что говорил. Вспышка молнии, сухой треск бича, остро и горячо вонзающегося мне в грудь, справа, ближе к плечу, и опрокидывающего меня навзничь. Что же это? Он действительно выстрелил, мой симпатичный ефрейтор Бухмаер? Нацистская сволочь, проклятый фашистский боров, ах, я никогда не умел как следует ругаться, есть же совершенно великолепные, такие выразительные ругательства, в которые можно вложить всю свою разрывающуюся от злости и ненависти душу, мне они никогда не приходят на ум, волнение заставляет меня в лучшем случае заикаться, у меня нет ничего посильнее для тебя, Бухмаер, чем вот это: ты подлейшая нацистская свинья, и я страстно надеюсь, что скоро с тобой кто-нибудь расквитается за все.

«Спокойно, спокойно! Вам нельзя так метаться, вы сорвете бинты! Что случилось? Неприятный сон приснился?»

Это, наверно, доктор. Тот же голос, который раньше говорил о физиологическом растворе. Теперь он говорит, что я выжил. Что я уже вне опасности. Это вы так говорите, доктор, потому что думаете только о тех опасностях, которые можно преодолеть с помощью ваших хирур-

гических инструментов. Но до тех пор, пока там, за столом, сидят полицейские, сменяясь каждые восемь часов,— кстати, опять появился новый, сколько их, собственно, уже перебывало здесь, все сплошные бухмаеры,— до тех пор я не могу быть вне опасности.

Да, полицейская охрана. Доктор кажется немного смущенным.

«Таково было распоряжение, тут уж ничего не поделаешь. Когда в больницу доставляют кого-нибудь с огнестрельным ранением, мы обязаны сообщить куда следует. Это ведь не только личное дело, не правда ли? Впрочем, и прежде был такой порядок. Скверно лишь, что теперь этим занимаются немцы. Распоряжение охранять вас, мой друг, поступило из комендатуры, я говорю все, как есть. Они занимаются расследованием всех подобных случаев, не трудно догадаться, что́ их тут интересует,— конечно же, не снижение французской уголовной статистики. Они нервничают, господа немцы. Все время что-то случается,— каждый день, в особенности каждую ночь. Такой уж этот сонный провинциальный город Мелэн. Вы здешний? Нет? Так я и думал. Все коммуникации, соединяющие Париж с югом, Лионом и Средиземным морем, сосредоточены здесь — железнодорожные линии, шоссейные дороги, судоходный путь через Сену. Здесь мосты, сортировочные станции, административное управление. Мы находимся достаточно близко от Парижа, в пятнадцати километрах, чтобы представлять интерес для центра, и достаточно далеко, чтобы иметь самостоятельное значение. Это ясно немцам, но и некоторым другим людям тоже, не так ли? Да кому я рассказываю все это? Простите, я не хочу тем самым приписать вам что-либо. Я даже не знаю, что вообще с вами случилось, знаю только, что в нынешние времена тот, в кого стреляли,— не обязательно подозрительная личность. По мне, можно было бы обойтись и без донесения. Я кое о чем догадываюсь. Но о том, что вас сюда доставили, сразу же узнали десятки людей. Это слишком много. Не хочу сказать, что кто-нибудь выдаст нас. Супружеской чете, которая вас подобрала, вы бесспорно обязаны жизнью,— им-то зачем доносить? И все же, амбулаторный персонал, больничный сторож, персонал хирургического отделения, остальные пациенты — многовато посвященных. Ну, не надо волноваться. До сих пор ни один немец не справлялся о вас. Если что-нибудь изменится, вы об этом так или иначе узнаете. Пока что вы еще совсем не транспортабельны. С медицинской точки зрения почти чудо, что вы живы. Знаете ли вы, где лежите? Это палата безнадежных пациентов, для которых летальный исход неизбежен. Теперь мы могли бы вас перевести отсюда, но, я думаю, лучше оставить вас пока тут, сюда меньше заходят, и это безопаснее».

Супружеская чета, которая подобрала меня,— что это значит? Как это было? Маленький дом на краю далеко растянувшегося селения, закрытые ставни, злобно лающая собака. Я падаю от изнеможения на что-то мягкое, может быть, на навоз, верхний слой которого высушили солнце и воздух. Но раньше ведь было что-то с водой, я плыл к мерцающему огоньку. А еще раньше — я должен, должен вспомнить! Бухмаер стреляет в меня, свинья эдакая. Я падаю навзничь, в голове мелькает то, что я слышал или читал о психологии умирающих. В миг смерти, утверждают умные люди, вся жизнь молниеносно проносится перед нашим умственным взором. Пытаюсь следовать этому. Не получается. Я во власти одной-единственной, всепоглощающей мысли: проклятье, умереть после всего, что не могло сломить меня, и как раз теперь, когда скоро все будет иначе, лучше, разумнее, когда мы могли бы быть счастливы, когда я опять мог бы быть вместе со своими близкими, о которых ничего не знаю,— где они, живы ли, которые не знают, где я, и никогда не узнают, как я умер. Вот что промелькнуло в моей голове, в самом деле молниеносно, хотя и не в соответствии с утверждениями тех умных

людей. Затем — провал. Потом я пришел в себя. И первое, что я осознал,— по коже расползается что-то липкое, я коротко и учащенно дышу, с трудом втягиваю воздух, и он не наполняет легкие, а со свистом выходит наружу. Поставить себе диагноз было не трудно: прострелено легкое. В том, что это означает, я не отдавал себе отчета. Но мне казалось совершенно невероятным, чтобы человеку, решившему с расстояния в несколько шагов застрелить другого, не удалось осуществить свое намерение. Выстрел несомненно смертельный. Я умру, в ближайшие секунды или минуты. Остается только одно: ждать, пока умру. Удивительно, что я лишь слабо ощущаю боль. Я думал, умирать страшнее. Если бы только не эта тяжесть в голове, если бы кровь не растекалась так неприятно по коже. Может быть, попытаться остановить ее? Не имеет смысла. Конечно, не имеет, и я вовсе не потому хочу попытаться, что надеюсь выжить. Просто чтобы кровь так не растекалась. Как все это вообще выглядит? Я слегка приподымаюсь, вот уже сижу, осматриваю себя, но мало что вижу. На мне пиджак, его удается сбросить. Берусь за рубашку. Ах так, она продырявлена, пиджак, наверное, тоже, так и должно быть. Вижу свой живот, он измазан кровью. Как выглядит спина, могу себе представить. Скручиваю рубашку в скатку, обвязываюсь ею— справа через плечо, слева пропускаю под рукой. Кажется, теперь закрыты места, откуда вытекает кровь, и она течет не так сильно. Это я сделал неплохо. Конечно, не для того, чтобы выжить. Нет? А почему, собственно, нет? Где это сказано, что выстрел, которым хочет тебя прикончить какая-то нацистская свинья, непременно должен быть смертельным? Нигде не сказано. Пока ты жив, незачем доставлять своему убийце удовольствие, думая о себе как о мертвом. И вот еще что: извини, но в порядке исключения я заговорю о принципах, может быть, даже чуточку патетично: ты не имеешь права сдаваться, пока в тебе теплится хоть искра жизни, ты коммунист, а коммунист не сдается, никогда!

Ладно уж, я понял. Перекатываюсь в сторону, острый щебень врезается в колени и руки. Пытаюсь встать. Это удается не сразу и не легко, но все же удается. Вот я уже стою на обеих ногах — шатаюсь, но стою. Оглядываюсь вокруг. Рельсы в лунном свете, по одну сторону изгородь, по другую — лес. Куда? Поворачиваю к изгороди. Делаю шаг, другой,— вопреки ожиданию, это мне удается, и я становлюсь увереннее. Теперь уже почти можно назвать ходьбой то, что я делаю. Почему я выбрал изгородь? Не знаю. Там можно пролезть. С другой стороны дорога. Через дорогу — стена. Высотой в человеческий рост, она мешает увидеть, что за ней. Могу пойти направо, могу пойти и налево. Но, может быть, за стеной дом, где мне помогут. Я скажу людям, что бежал от немцев, этого будет достаточно, они помогут мне. Я должен добраться туда. Нет, невозможно! Слишком высоко для человека, который и по ровной земле с трудом передвигает ноги. Но я должен туда добраться. Ты спятил, ты фантазируешь, у тебя лихорадка. Шатаясь, бреду вдоль стены. Ворота. Они заперты, можешь трясти их сколько угодно. Но решетка состоит из поперечных прутьев, смотри-ка, по ним можно взобраться и спуститься. Ты не сможешь ни взобраться, ни спуститься, отступись. Я не отступлюсь, коммунист никогда не отступается.

Как я перебрался? Парк. Аллея. Лужайка. И дом — светлый, похожий на замок, загородный дом. Ни одного освещенного окна; разумеется, люди спят. В центре фасада вход, двустворчатая дверь. Странно, она открыта. Любой может вломиться. Холл. Пусто, вернее, почти пусто, вразброд стоят софа, несколько ящиков. Эй! Эй! Есть тут кто-нибудь? Помогите! Голые стены отбрасывают мой крик. Не узнаю собственного голоса. Эй кто-нибудь! Молчание.

Позднее на выложенном плиткой полу холла нашли большое коричневатое пятно — остатки высохшей кровяной лужи. По-видимому, я до-

вольно долго пролежал там без сознания. В доме никто не жил, но лишь последние два дня. В течение нескольких лет он был занят немцами. В нем квартировала караульная часть, охранявшая расположенные поблизости железнодорожные пути. В последнее время налеты бомбардировщиков на дорожные сооружения, в особенности на мост через Сену, участились (был конец мая — начало июня), и, оглядываясь назад, легко установить связь между этим обстоятельством и предстоящей вскоре высадкой союзных войск в Нормандии. В поисках людей, которые помогли бы мне спастись от фашистов, я вслепую забрел туда, где только что было логово зверя,— сейчас оно пустовало потому, что часть перевели на постой в менее опасное место. Очнувшись после нового обморока, я, разумеется, ни о чем не догадывался. Безмолвная пустота дома, в которой было мое счастье, вызвала во мне разочарование. И ожесточение, яростное ожесточение: теперь-то уж ни за что не сдамся! Пока я в силах держаться прямо, не позволю себе упасть. Пока в состоянии двинуться с места, пойду дальше, буду искать спасения, хотя и не знаю, существует ли оно и где. Спотыкаясь, я выбрался из дома, на дорогу в парк. Некий автомат во мне — испорченный, дребезжащий автомат — ведет меня куда-то. Дорога обрывается, поворот — и тут открывается вид на спокойную, сверкающую водную гладь. Я стою на берегу реки. Дальше податься некуда, здесь граница мира. Кончено, наконец-то покой. я сделал, что мог, а мог больше, чем предполагал. Большего уже требовать нельзя. Вот он, покой. Что это за река? Откуда мне знать! Постой, давай попытаемся представить себе карту. Рек такой ширины не много в местности, которой достиг наш поезд за восемнадцать или двадцать часов пути. Как ты думаешь: может быть, это Сена? — она ведь течет с юго-востока к Парижу. Она широка. Не так широка, как Рейн на моей родине, а я когда-то славился тем, что переплывал его. Но ты ведь не думаешь, что смог бы сейчас переплыть Сену? Конечно, нет, в моем-то состоянии! Хотя, с другой стороны, чем я рискую? Пролетариям нечего терять, кроме своих цепей, приобрести же они могут весь мир. Ты ведь знаешь, откуда эта цитата. На другом берегу, там, вдалеке, светит огонек. Если б я мог добраться до него, я, может быть, приобрел бы мир. Я, конечно, фантазирую. Но что это, лодка? Да, лодка, лодка с веслами! Правая рука довольно сильно болит, но левой я мог бы, пожалуй, грести. Надо попробовать. Черт возьми — цепь, лодка привязана цепью. Катанье на гондоле при лунном свете отменяется. Тогда отправлюсь вплавь. Не справлюсь я, что ли, с этой тихой водичкой,— даже смешно. Стоп, не торопись так, сними по крайней мере ботинки, без них легче плыть. Ну вот, готово. А твои часы, они водонепроницаемы? Нет? Видишь, обо всем надо подумать. Сними их, засунь в карман брюк, там они будут в большей сохранности. А теперь — в воду. Холодно? Да, конечно, не очень тепло. Оттолкнись ногами, повернись на правый бок и спокойно делай левой рукой широкие движения опытного пловца. Вот видишь, получается совсем неплохо. Течение почти не ощущается. То есть немножко меня все-таки относит в сторону, огонек, к которому я направляюсь, все больше и больше отклоняется вправо. Тем не менее я двигаюсь вперед. И, если не ошибаюсь, даже легче дышу. Но спокойно делать широкие движения пловца — это ты, милый мой, хватил лишку. Я рад, что получаются хоть какие-то движения. Нет, долго это продолжаться не может. Столько сил у меня все-таки нет. Я, собственно, изрядно устал. По правде сказать, я больше не могу, совсем не могу больше. Далеко ли еще до берега? Нет, этого мне не одолеть. Вернуться? А назад далеко? И назад не ближе, хоть это и кажется невероятным. Ах, все равно, пусть это случится здесь, застрелен или утонул — какая разница. Я действительно больше не могу. Конец, сейчас пойду ко дну, это мое последнее мгновение, жаль молодой жизни.

«Да,— говорит доктор,— такое бывает. Воля к жизни. Спасение или гибель иногда зависят от нее. Рассказывают про тяжелораненых, которых воля к жизни наделяла прямо-таки неслыханной, труднопостижимой силой и небывалой духовной энергией. Так это, очевидно, было и с вами, и сейчас еще воля к жизни помогает вам. Что же касается безумной идеи переплыть Сену, то вы не могли придумать ничего более разумного, более целесообразного. Это совершенно ясно: холодная вода сперва, так сказать, закупорила дыры от пули, а потом заставила свернуться выступающую кровь. Не будь этого, поверьте мне, вы очень скоро истекли бы кровью».

Холодная вода — мое спасение! Слышишь, Большой Чарли, маленький умишко? — а ты рассчитывал на совсем другое действие холодной воды. Вот что называется — перст судьбы. Можно и по-научному сказать: диалектика жизни! Жизни, а не смерти. Вода, которая должна была быть моим врагом, стала моим другом. Правда, она предо мной в долгу и обязана предоставить мне компенсацию. Она сослужила службу Большому Чарли, сыграв скверную шутку со мною. Тем не менее я не мог ожидать, что она столь блистательно себя реабилитирует. Большой Чарли, потерпевшее поражение ничтожество, твои орудия начинают действовать против тебя. Скоро тебе конец.

Конец еще не наступил. Щелкают задвижки на двери камеры, всовывается ключ в замочную скважину, открывается дверь. Здание, где я нахожусь, прежде, видимо, было жилым домом или конторой. Семь или восемь этажей — мне оно знакомо до шестого,— все они приспособлены или перестроены для нужд отделения гестапо в Гренобле. Одна лишь тюрьма занимает два этажа. Построили перегородки, обили двери листовым железом, огородили решетками проходы — в общем, сделали вполне пригодную тюрьму. Не хватает только дворика. Но здесь не выводят на прогулку. За две с лишним недели я только один раз покинул свою камеру, чтобы вымыться в душевой. Как я установил, когда меня, очень редко, водили на допрос, место моего заточения — шестой этаж. Это достаточно высоко, чтобы ощущать покачивание дома, когда английские летики сбрасывают поблизости бомбы. Мы довольно часто слышим гудение их самолетов, обычно они летят дальше, говорят, в Северную Италию. В таких случаях люди в городе вздыхают с облегчением, и я могу их понять. Сам же я испытываю разочарование. Я мечтаю о налете, при котором весь дом превратился бы в развалины и все нацисты погибли бы, а мы, сорок или пятьдесят заключенных, оставшись в живых, пробили бы себе дорогу к свободе. Я лежу на нарах, день за днем, и сжимаю кулаки. Что они собираются со мной сделать? Только в самом начале заключения меня несколько раз вызывали на допрос; всякий раз допрашивал другой, всякий раз вопросы были те же, но все это делалось без особого старания. Большого Чарли, при поступлении вручившего мне свою визитную карточку, я потом не видел. Его заместители — так, по крайней мере, могло показаться — вовсе не желали тратить силы на дело, которое не останется в их руках. Даже пощечины, которыми они награждали меня, были, так сказать, ритуальными. Однажды один из них приказал мне лечь животом на стул и несколько раз ударил палкой по заду. Конечно, было больно, но боль была не такая, какую представляешь себе при слове «пытка». Было чувство унижения, оно жгло, но неужели это действительно все? Потом обо мне, казалось, забыли, и это, пожалуй, было хуже жестоких допросов. Вскоре я по звукам научился различать, что происходит в коридоре. Каждый день, не исключая воскресенья, заключенных выводили из камер — на допрос, на различные работы, для отправки. К моей же двери никто не подходил. Наконец, вывели и меня, но, к моему удивлению, лишь для того, чтобы впихнуть в большую и без меня

битком набитую общую камеру. Спустя короткое время без видимых причин снова перевели в одиночку. В другой раз в мою камеру подселили новичка, в нем с его растерянностью я увидел себя таким, каким был в первый день. Однако вечером я опять остался один. Во всем этом нельзя было уловить смысла, по-видимому, действовали не в соответствии с обдуманными намерениями и целями, а назначали или отменяли изоляцию в зависимости от того, имелось или не имелось свободное место, а если бывали заняты чем-то другим, незаконченные дела маринова-ли до тех пор, пока для них снова не находилось время.

Но вот, кажется, обо мне вспомнили. Меня это устраивает, очень устраивает. Я хочу знать, что меня ожидает. Ничто так не ужасно, как ожидание ужаса. Если то было не просто головотяпство или импровизация, если Большой Чарли намеренно так поступил, чтобы вымотать меня, он не просчитался. Ожидание стало невыносимым. Я почти стремлюсь к уготованному мне. Посмотрим, что будет. Кто пришел за мной? До сих пор всегда приходили солдаты старшего призывного возраста, вся охрана состоит из таких, они еще не наихудшие — орут, требуют строгой дисциплины, однако я ни разу не видел, чтобы они кого-нибудь били, и если в неположенное время стучишь в дверь, чтобы выпустили в умывалку, они, правда, ругаются, но отпирают. На сей раз позади солдата стоял кто-то более молодой, в штатском. «Это он?» Спросил по-немецки, но с явным французским акцентом. Ага, гангстер. Гестапо, испытывавшее, как я уже говорил, нехватку персонала, имело в своем распоряжении вспомогательный отряд из местных фашистов. Подобного рода типы знакомы каждому, кто в довоенные годы видел американские гангстерские фильмы: вылощенный изверг, расфранченный зверь, кабацкий щеголь. Это подонки общества, про них говорят, что они еще хуже немецких гестаповцев, которые сами презрительно называют их гангстерами,— господа комиссары облегчают себе жизнь, они рады возможности использовать наемных палачей для грязной работы, вызывающей у них, вероятно, нечто вроде предубеждения, скорее эстетического, нежели морального характера.

Мой гангстер хватает меня за руки. Щелк — наручники замкнулись. «Пошли!» — говорит он. Коридор, обнесенный решеткой проход, железная дверь этажа. Мы на лестничной площадке, комнаты для допросов находятся на втором этаже. Мой гангстер ленив, он хочет вызвать лифт, нажимает кнопку. Но ожидание кажется ему слишком долгим, и он толкает меня к лестнице. Пятый этаж, четвертый. Ах, вот почему не поднялся лифт! У открытой двери стоит Большой Чарли с двумя своими коллегами. Они болтают. Большой Чарли, кажется, в хорошем настроении. Он иронически приветствует меня: «Как дела? Сегодня мы поговорим. Извините меня, пока, я скоро приду». Он отводит моего гангстера в сторону, шепотом о чем-то договаривается с ним. Мой гангстер кивает.

Третий этаж. Я хочу спуститься на второй, как в прошлые разы, но тут мой гангстер преграждает мне путь и толкает к двери. Здесь она просто деревянная. Мой гангстер нажимает кнопку, жужжит электрический открыватель, мы входим. Мещанские апартаменты, пропитанные трудно определимым духом караульного помещения; пахнет непроветренными одеялами, кожей, вином. Несколько человек, все вроде моего гангстера, играют в карты, курят. Я уже забыл вкус сигареты. Один из тех, кто меня допрашивал, протянул мне однажды свою пачку. Когда я хотел взять из нее сигарету, он отдернул руку: «Я не благотворительное учреждение. Выкладывайте, тогда будет другое дело». Несколько этих типов лениво подходят ко мне. Это и есть тот парень, который вообразил, что выберется отсюда, не ударив палец о палец? Ну, ничего, одумается. Видали мы таких. Он и пяти минут не выдержит. Давай раздевайся. Ах так, сними-ка пока с него наручники. А теперь долой барахло.

И поживее. Эй, свинья, как ты смеешь появляться нам на глаза в такой грязной рубашке! Да он вовсе не мужчина, у него почти безволосая грудь. Но в других местах, где полагаются волосы, там они у него еще есть, ха-ха-ха. И все остальное тоже на месте, по крайней мере до сих пор, как оно потом будет выглядеть, кто знает, ха-ха-ха.

Жалкие остряки, вы совсем не оригинальны. Все это уже было в эсэсовских подвалах. Вас нетрудно раскусить. Запугать, морально уничтожить хотите вы меня. Это мы еще поглядим. Но раздеться догола — вот к этому я не был готов. Подлый трюк, действительно. Чувствуешь себя таким поруганным, таким беззащитным, таким слабым! И вот они начинают бить. Разыгрывают негодование, делают вид, будто я их провоцирую. Что ты так смотришь на меня, скотина, ты что, не в своем уме? Какая наглость, этот парень думает, что сумеет нас одурачить. Ну, выкладывай, где ваш передатчик? Мы и без тебя знаем, хотим только услышать еще раз. Не слыхал ни о каком передатчике? Так ведь ты радист! Да, ты радист, нам точно известно. Где ты живешь? Не о том речь, что значится в твоих документах, говори, где ты на самом деле живешь? Передатчик спрятал там? Вот твоя записная книжка. Что означает это: семнадцать тридцать Дютийель? Кто такой Дютийель? Твой напарник, что ли? Твой оптик? Ремонтировал твои очки? Расскажи это своей бабушке. А где они, твои очки? Тут забрали? Уж не хочешь ли ты сказать, что у нас крадут очки? Берегись, милейший, не задевай нашу честь. Ты вообще не носишь очки, вот что. А этот ублюдок на фотографии, он ведь твой? Где он? Если не твой, почему же ты таскаешь фотографию в бумажнике? Племянник, говоришь? Ты, наверное, считаешь нас круглыми идиотами, если морочишь голову такой брехней!

Как долго это продолжается? Одновременно с вопросами, на которые, видимо, и не ждут ответа — они должны лишь настроить на нужный лад,— со всех сторон сыплются удары кулаками, ремнями, резиновой дубинкой. Сапогами по бедрам. Боль и теперь не так уж невыносима. Но я ощущаю растущее оцепенение. Мои рефлексы притупляются, я начинаю что-то бормотать. Надо следить, чтобы не потерять контроль над собой. Вдруг они останавливаются, словно по сигналу. Окружают меня. «Он строит из себя сильного человека»,— говорит один. Другой: «Тогда пусть покажет, насколько он силен». Они вталкивают меня в дверь. Ванная! Вполне нормальная, обыкновенная ванная, довольно большая, посередине ванна, наполненная водой. Спотыкаясь, добираюсь до умывальника, опираюсь на его край, они отдергивают мои руки. Щелк — опять я в наручниках. Зачем четырем заковывать одного, да к тому же и голого, в наручники? «Садись!» Куда мне садиться? Удар опрокидывает меня на пол, на холодные каменные плитки. Двое завладевают моими ногами, на них тоже надевают кандалы. Двое других привычными приемами, совершенно неожиданными и исключающими всякую мысль о сопротивлении, усаживают меня на корточки. Чего они хотят? Кладут мои руки, соединенные в запястьях стальными скобами, на согнутые колени. Потом просовывают под колени палку, обыкновенное древко от метлы. Теперь мне не шевельнуться. Я — куль белого мяса на переносном шесте. Двое берутся за концы древка от метлы, поднимают их, взмах — и я падаю в ванну. Меня пронизывает дрожь — вода, наполняющая ванну до краев, ледяная. Я почти полностью погружен в нее, только лицо чуть выступает, но для этого нужно напряженно вытягивать и голову, и ступни. Концы древка лежат на краях ванны. Какая холодная вода, ужасающе холодная!

Четверка радуется. Ловко сработано, ничто не срывается у хорошо сыгранной команды. Они выстраиваются вокруг ванны — двое по бокам, двое у ног. Ну, приятель, вот это уже ближе к делу. Ты ничего не слышал про наше маленькое прелестное изобретение? Нет? А ведь о нем

как будто ходят толки. В таком случае смотри, оно действует совсем просто. Один из палачей слегка стучит пальцем по моему лбу. Естественное состояние равновесия, в котором, как маятник, повисло под водой мое скованное тело, позволяет только дышать и смотреть. Легкий нажим на лоб сдвинул маятник — чуть-чуть, но этого достаточно, чтобы лицо погрузилось в воду. Я лишился воздуха, к тому же холод совсем захлестнул меня. Этот холод, пожалуй, страшнее удушья. Ох нет, он страшен, конечно, но без воздуха, брат, ты выдержишь несколько секунд, а потом захлебнешься — и все! Мое тело хочет вздыбиться, однако кандалы не пускают, все кончается резким, но бессильным рывком. Открывается рот, вопреки воле я поддаюсь желанию глотнуть, вода попадает мне в горло. Захлебываясь, кашляя, отплевываясь, я с трудом выныриваю. Надо мной склоняется ухмыляющаяся физиономия. Ну как, хватит? Прекрасное изобретение, немецкий патент. Чисто, экономично, сберегает силы, вполне применимо во всяком современном домашнем хозяйстве. Ванна — средство развязать язык, сделать разговорчивым. Успех гарантирован даже с завзятыми молчунами. Нажим постепенно увеличивается, пока пациент не заговорит. Между нами, загвоздка тут все-таки имеется. Этот метод требует тонкого чутья, чурбану с ним делать нечего. Нужно точно знать, сколько пациент в состоянии выдержать. Одной чашкой воды больше проглотил — и отдает концы, а это противоречит замыслу изобретателя. Такое уже случалось. Советую тебе, не бери слишком много на себя, не думай, что выдержишь. Перегнешь палку — и поминай как звали. Тебе-то, может быть, все равно, а нам нагоняй. Так что не делай глупостей, будь благоразумен. Лучше начинай выкладывать. Тайный передатчик мы все равно нашли, оставим это. Расскажи-ка о посадочных площадках. О каких посадочных площадках? О посадочных площадках для парашютистов, почтеннейший. И для сбрасывания оружия. Это твое особое задание, признавайся, чего уж тут, в твоей записной книжке ряды цифр, они тебя выдают. Давай говори код! Окунем его разок, чтобы он мог поразмыслить. Или хочешь говорить?

Ледяной вал. Вокруг меня журчит, внутри меня булькает. Нет, вряд ли то, что было до сих пор, можно принимать всерьез, они только начинают. Отвечать я не стану, этого они не дождутся, собаки. Даже если будут спрашивать о безобидных вещах. Цифры можно было бы в крайнем случае объяснить, собственно, мне не следовало их и записывать: это расписание рейсов и пересадок на некоторых автобусных линиях. Но тогда они спросят, часто ли я езжу, и зачем, и куда именно. Лучше вовсе ничего не говорить, не обнаруживать слабого места, кто знает, к чему это приведет. Пускай они меня прикончат. Если я что-нибудь скажу, если они заметят, что могут что-то выколотить из меня, хоть и совсем безобидное, они уже не остановятся. Наверняка доконают. Чертовы свиньи. Даже не немецкие, нет, французские нацисты. Сплошь преступники, сутенеры, вот именно гангстеры. Проклятье, я больше не выдержу. Воздуха, воздуха!

Ах, воздух. Я снова дышу. Но этот холод! И опять надо мною лица. Значит, код. Давай говори код. «Крокодил вымыл ноги» — ты же знаешь сообщение лондонского радио, его четыре раза подряд передавали, это ваш пароль, правильно? Признавайся. Где место, куда сбрасывают контейнер? Где спрятано оружие? Я понятия не имею, о чем они говорят. Я ничего не знаю. Они задают вопросы наобум. Просто забрасывают удочку, авось клюнет. Нет, я не попадусь в ловушку. Я сам поставлю ловушку. Мальчишкой я любил нырять. Помню один трюк. Не просто сделать глубокий вдох и погрузиться в воду, а по меньшей мере с полминуты дышать по-особому — глубоко и медленно вдохнуть, глубоко и медленно выдохнуть. Создается резерв кислорода для крови, выдер-

жать можно дольше. В то время как мои гангстеры думают, что я выбиваюсь из сил, я создаю резерв для своей крови, делаю глубокие и медленные вдохи и выдохи. Нырнув следующий раз, я чувствую, что не зря старался. Но резерв должен пойти на пользу мне, а не им. Я не стану дожидаться, пока силы иссякнут, я начну барахтаться и дергаться, пусть думают, что я больше не выдержу, что надо дать мне вынырнуть. Расчет оправдывается, и на этот раз, когда нажим на мой лоб ослабевает, я еще не совсем обессилен. Вот я и одурачил вас, негодяи! Если б только не холод— чувствую, как коченею.

Среди моих четырех мучителей появляется пятый. Большой Чарли! Ну, как дела, добились вы чего-нибудь от него? Пока нет, шеф. Закоренелый, гад! Прирожденный мученик, так и норовит подохнуть. Ну и пускай. Если позволите, шеф, мы в два счета прикончим его. Все равно пора обедать. Да, вы так полагаете? Что ж, у вас есть опыт. Если вы находите, что из него ничего не вытянешь, не возражаю. В самом деле, нельзя же канителиться с ним целую вечность.

На эту удочку — будто по недостатку интереса ко мне вы прикончите меня — я не попадусь. Комедию разыгрываете, вероятно, не только со мной, с каждым. К тому же у меня есть свои резервы. Пущу их в ход, когда вы вообразите, что я уже на том свете. Нет, не верю, что вы сегодня уже утопите меня. Но холод — это все-таки самое худшее. Он может меня доконать. Хорошо, что им это, кажется, не приходит в голову. Ушел ли Большой Чарли? Тогда они опять примутся за меня. Да ну, это еще что такое? Почему он вытаскивает пробку из сточного отверстия? Заседание ведь еще не окончено? Ах, если б оно все-таки было окончено, а испытание выдержано! С фырканьем и всхлипами стекают остатки воды. Но тот, кто вытянул пробку, снова втыкает ее, затем открывает кран — что бы это значило? Широко распахнутая металлическая пасть выплевывает широкую струю, ванна быстро наполняется заново. Свиньи, свиньи, свиньи! Если спущенная вода казалась мне холодной, до окоченения холодной, то что сказать о новой? Это невыносимо, невыносимо! Тот, что открыл кран, скалит зубы. Да, приятель, чтоб тебе не было слишком жарко. Когда вода нагревается, мы ее выпускаем, таково наше правило обслуживания клиента: абсолютно свежая и прохладная вода, прямехонько из водопровода. Не желаешь ли выразить благодарность? Сделай одолжение, вырази, нас интересуют твои контакты. С кем ты работал? Где ваши явки? Или еще проще: с кем ты общался, с кем дружил? Назови несколько имен, два имени, одно!

Что может быть холоднее льда? Эта вода холоднее льда. Я уже давно дрожу всем телом, теперь начинаю стучать зубами — неистово, неудержимо, челюсти становятся взбесившимися кастаньетами. Если бы я и захотел сейчас говорить, то не смог бы. К счастью — потому что начинаю терять власть над собой. Стоящий слева гангстер берется за посудину, обыкновенную алюминиевую кастрюльку. Он зачерпывает воду и выливает ее мне на голову. Ощущение мучительное, но первый раз это все-таки только вода, дополнительная порция воды. Второй раз — укол в мозг. Третий и все последующие разы — удары молота, от которых разламывается череп. Дьяволы, как могли они придумать такую пытку? Но они и не то еще придумали. Один из гангстеров берет в руки палочку, не увесистую дубинку, нет, какую-то ерундовину, не тяжелее дирижерской палочки, и начинает ударять ею по подошвам моих ног, совсем не сильно, зато равномерно. И это ужаснее всего. Охлажденное тело стало настолько чувствительным, что слабые удары я воспринимаю так, словно вбивают гвозди в голое мясо. Безумная боль, исходящая от ног, где-то во мне соединяется с болью, исходящей от головы, образуя какую-то систему раздирающих меня на куски вращаю-

щихся кинжалов и впивающихся в меня раскаленных клещей. Я погружаюсь в Ничто.

Но разве может погружающийся в Ничто человек плыть, загребая руками воду? О, человек может многое. И я тоже могу больше, чем предполагал. Ко мне возвращается туманное полусознание. Вокруг меня вода, но это вода широкой реки, она блестит в лунном свете, и мне не холодно, а жарко. Разве я не утонул посередине реки? Берег, к которому я стремился,— вот он, передо мной. Непостижимо. И все же достижимо. Никто никогда не объяснит мне, каким образом я добрался сюда. Еще несколько вялых движений, и я у причальной сваи рыболовной верши, уходящей немного в реку. Повиснув на верше, перебирая руками, добираюсь до берега. Огонек, где же он, тот огонек надежды? Я карабкаюсь на откос, бреду через луг, шлепаю через ручей — все к моему огоньку. Действую с решительностью сомнамбулы. Шоссе. Ни единого человека. Но огонек уже совсем близок. Железнодорожная дамба, надо еще перелезть через нее, за ней дом, откуда исходит свет. Взобравшись наверх, я цепенею: свет вовсе не из дома, а со столба на краю железнодорожной линии. Много таких столбов через равные промежутки окаймляют дамбу, но они не освещены, освещен только этот один, он-то и манил меня. Я сказал, что при виде его оцепенел? Это неточно, я скорее замер, я умер — в который раз уже за эту ночь? И в который же раз ко мне возвращается угасавшая жизнь? Вот и опять надежда: с высоты железнодорожной дамбы за пашнями и полями виднеется группа домов, одинаковых поселковых домов, симметрично расположенных вдоль дороги. Далеко ли до них? Слишком далеко. Мне не добраться. Село безмолвно, не просто по-ночному безмолвно, как всякое спящее село,— нет, безмолвно, как безмолвны мертвецы. Его не пробудит зов, дерганье за шнур звонка, стук, сотрясение двери. Окна подобны ослепшим глазам. Все село безлюдно. Позже я узнал: эвакуировано из-за бомбардировок. Целиком эвакуировано, за исключением одной-единственной семьи, задержанной случайностью. Они тоже на следующий день покинут свой дом, самый последний в ряду. И вот к этому последнему дому, где обитатели его перед уходом проводят свои последние часы, бредет, качаясь, человек, измеривший селение из конца в конец, в одних промокших штанах и наискосок обхватывающей верхнюю часть туловища измазанной кровью скатке. Перед этой последней дверью он падает без чувств на что-то мягкое, низкое, успев услышать вселяющий надежду звук: собачий лай.

«К вам гость»,— говорит монахиня в дверях. Мой полицейский — это шестой или седьмой Бухмаер — делает озабоченное лицо, в его инструкции, наверное, ничего не сказано о гостях. Но монахиня уже вводит в палату какого-то человека. «Старина! — говорит вошедший, протягивая мне обе руки.— Я так рад, старина!» По нему видно: он говорит то, что чувствует, и весь светится радостью и удовлетворением. Но кто он? «Это тот,— объясняет монахиня,— кто подобрал вас и доставил сюда».

Мой спаситель. До сих пор еще в моих воспоминаниях не нашлось для него места. Слишком много обломков надо вытащить из развалин памяти, чтобы с трудом соединить их в единое целое. Теперь и эта брешь заполнится. Лунной ночью надо мной склонился человек. «Старина, что с тобой, откуда ты взялся?» Он пытается поднять меня, ничего не получается, бережно укладывает вновь на мягкое, смотрит на свои руки. Что-то живое, влажное у моего лица, взволнованное повизгивание. «Смирно, Ада, пошли!» Удаляющиеся шаги. Что это, неужто оставит меня здесь подыхать! Не крови ли на своих руках он испугался?

«Но ты ведь не мог всерьез поверить этому, старина? Кто же бросает человека подыхать без помощи! Ты что-то бормотал, очень тихо,

едва внятно, но я понял: что-то об эшелоне заключенных, о прыжке из поезда, выстреле при попытке к бегству. Я служу на железной дороге, знаю, что за грузы перевозят время от времени по лионскому направлению. Один я не мог тебя перенести, мы вместе с женой втащили тебя в дом. Остаток ночи просидели на кушетке, на нашей кровати лежал ты. Жене потом пришлось немало повозиться, чтобы вывести кровяные пятна. Ты бредил, хорошо, что никто из нацистов этого не слышал. Много сделать мы не могли, только обвязали тебя простыней, все-таки повязка, на худой конец. Требовался врач. Но была ночь, а до шести утра запрещено выходить из дома, в последнее время они стреляют без предупреждения. Около шести я пустился на велосипеде в город, тут всего несколько километров, но дорога вся в колдобинах. У первой же врачебной вывески начал трезвонить. Врач выслушал меня и покачал головой. Не может, не хочет, не смеет. Посоветовал вызвать «скорую помощь» и отправить раненого в больницу. В полвосьмого «скорая помощь» стояла у дверей. В пути, когда мы ехали по изрытой, ухабистой проселочной дороге, ты застонал, кровь толчками стала проступать сквозь простыню, санитар пожал плечами. Рана, сказал он, еще не самое скверное, плохо, когда такая большая потеря крови. Здесь, в больнице, они держались молодцами, ничего не скажешь. Когда тебя выгружали, сразу же пришел врач. сделали какие-то уколы, обработали рану, включили вот эту штуку, говорят, физиологический раствор, в общем все обошлось благополучно, не расспрашивали, кто ты, откуда. Только на успех они мало надеялись. Ну, а ты все-таки выкарабкался. До чего ж я рад, старина!»

Спасибо большое, старина, благодарю тебя, мой спаситель! Но в самом ли деле ты спас меня? Я ведь снова у них в руках, вон там сидит полицейский, мой очередной Бухмаер, готовый, как и первый, стрелять. Кстати, где он? Вышел — из деликатности, наверное. Нет, вот он опять. Распахнул дверь, выглядит совсем иначе, чем прежде, сияет, чуть ли не пляшет, за ним толпятся монахиня, доктор, какие-то люди в пижамах и повязках на голове или на руке, все сияют и говорят, перебивая друг друга. Что случилось, что с ними, чего им надо?

«Они здесь! — кричит мой полицейский, уже совсем не Бухмаер.— Они высадились! Сегодня утром они высадились в Нормандии, на всем побережье, из Англии! Они высадились! Теперь конец бошам, они уже убрались из России, теперь уберутся из Франции, мы свободны — ты свободен, друг!»

Шестое июня 1944 года. Они высадились, наконец-то высадились! Пройдет еще почти целый год, пока победный клич моего полицейского прозвучит для всех, кто остался в живых. Для миллионов павших он раздался слишком поздно. И я в этот день тоже еще не свободен. Нет, в этот день я уже свободен. Свобода — это рывок, это всплеск, это действие, это дерзание. В свободу надо прыгнуть.

НИКОЛАЕ ТЭУТУ

■

Перевод с румынского МИХ. МАТУСОВСКОГО

*Remember**

Знаешь, все мне кажется ночами, будто тот солдат на пьедестале,
Что стоит на побережье моря,
Вдруг как будто снова оживает, вырвавшись из вечности и бронзы,
Стряхивает со своей шинели дождевые капли и росинки
И свои ладони опускает
В воду моря.

И стоит он, слушая с волненьем, как звучит во мраке хор нестройный,
Как поют влюбленные на пляже
О свиданьях, на каких он не был, о любви, какой не испытал он,—
В час, когда, накатываясь, море полирует ракушки, и камни,
И следы орудий, проезжавших
Этим пляжем.

Так похож парнишка этот русский на ребят из нашего селенья,—
Вот уже устал он слушать песню,
Вот он положил свой лоб горячий на степную землю Бэрэгана,
И луна спешит укрыться в тучах, чтоб не потревожить сон солдата,
И, чтоб не спугнуть молчанье ночи,
Смолкла песня.

Но заря, едва забрезжив в небе, застает его на пьедестале,
Он один встречает утро мира,
Снова он стоит, закован в бронзу, охраняя счастье всех влюбленных,
И следит за тем, чтоб над землею не загрохотала канонада,—
Он опять несет свое дежурство
В этом мире.

---

* Помни *(англ.)*.

БЕРНАР КЛАВЕЛЬ

Плоды зимы

РОМАН

Перевод с французского
И. ТАТАРИНОВОЙ и Я. ЛЕСЮКА

Памяти тех матерей и отцов, чьи имена не сохранила История, ибо их незаметно убили тяжкий труд, любовь или войны.

Б. К.

...От слов, что высказать им не было дано,
так тяжелы в гробах тела умерших.
Анри де Монтерлан

Часть первая

Тележка

1

Первого октября 1943 года отец проснулся еще задолго до света. Он плохо спал. Тупая боль железным обручем сжимала ему голову и отпускала только на короткие мгновения. Несколько минут он напряженно вслушивался в ночь. С улицы не доносилось ни звука, и западный ветер, дувший три дня кряду, как будто утих, не нагнав дождя. Отец медленно сел в постели, повернулся, спустил ноги на холодный пол и стал искать ночные туфли.

— Уже встаешь? — спросила жена.

— Я думал, ты спишь.

— Нет, я давно проснулась. Чего ты поднялся ни свет ни заря? Еще темно.

— Голова болит.

— Ложись, я спущусь и принесу тебе таблетку.

— Нет. Все равно пора вставать.

Она вздохнула. Отец начал в темноте натягивать одежду. Мать спросила:

— Ты это из-за дров беспокоишься?

— Беспокоиться не беспокоюсь, но так или иначе, а место приготовить нужно. Еще вчера надо было, да я побоялся, дождь пойдет, и поспешил с работой в саду, она-то не ждет.

Он услышал, как скрипит матрас, и понял, что жена тоже встает.

— Тебе сейчас незачем идти вниз.

Она не ответила, и отец ощупью добрался до двери спальни. В коридоре мутным пятном обозначилось слуховое окно, выходившее на крышу, но очертания его были расплывчаты. Отец не затемнил его черной бумагой, как все остальные: оно было над лестницей, которая не освещалась, а пользовались они лестницей, только когда шли спать. Вряд ли свечу, зажженную на какую-то минуту, могли заметить с самолета. Окошко с улицы не было видно, да и кто станет обращать внимание на одинокий дом в глубине сада. К тому же папаша Дюбуа не верил разговорам о противовоздушной обороне. Ну, что самолетам бомбить в Лон-ле-Сонье? Немцев, занявших казарму Мишель и Педагогическое училище? Но немцы стоят повсюду. В любой деревушке. Не могут же американцы бомбить все деревушки?

На кухне отец зажег свечу. Через полчаса рассветет, зажигать керосиновую лампу не стоило. Мать тоже спустилась в кухню.

— Плиту топить будем? — спросил он.

— Для двух чашек не стоит, да только у меня почти не осталось спирта, в этом месяце не выдавали.

— Собачья жизнь, им наплевать, ежели мы околеем.

— Для кофе хватит и нескольких бобовых стеблей.

— Знаю, да только ими печь не натопишь.

— Твоя печка нас обоих в гроб вгонит.

— От тебя только это и слышишь.

— Но это же правда!

Мать занялась топкой. Она соскребла с решетки в поддувало золу и достала две обгоревшие головешки. Затем смяла и положила у переднего края топки пол-листа газеты и наломала сухих стеблей, на которых еще сохранилось несколько листьев.

Отец растворил в полстакане воды таблетку аспирина, следя за всеми движениями матери. Подумать только, до чего дожили! Экономим кусок старой газеты и обогреваемся тем, что раньше бросали в яму для перегноя. Да, уж конечно, печка и все здесь в доме переживет их! Особенно если и дальше так пойдет. В семьдесят лет нельзя работать от зари до зари и почти ничего не есть при этом.

Огонь под жестяной кастрюлькой начал гудеть, а вскоре и кастрюля завела свою песенку.

— Не давай ему кипеть,— сказал отец.

— Да я не отхожу. Стою тут — не беспокойся, не убежит!

— Тебе нельзя ничего сказать.

Мать стояла у плиты, ссутулясь, опустив плечи. Поверх длинной, до пят, белой ночной рубашки она накинула большой черный шерстяной платок. Когда кофе согрелся, она сняла кастрюлю, положила чугунную конфорку на плиту, в которой догорало несколько красных стебельков. Отец сел на свое место, спиной к окну, а мать поставила на стол две чашки, положила две ложки, нож и кусок серого, плохо пропеченного хлеба. Еще не садясь, она спросила:

— Может, открыть ставни, как ты думаешь? Чтобы есть — света хватит, и огарок сэкономим.

— Верно! Что масло мимо хлеба пронесем, бояться не приходится.

Он встал и открыл ставни, а жена задула свечу. Над крышами и деревьями в саду Педагогического училища вставал белесый рассвет. Справа чуть вырисовывался холм Монтегю. Небо казалось куском серой ткани, низко натянутой над землей от края до края. На востоке серое небо чуть побледнело, но и там не проглядывало ни единой по-настоящему светлой полоски.

Отец закрыл окно.

— Западный ветер из сил выбился, а дождя не надул,— сказал он.— Но дождь еще может пойти... Он недалеко.

— Ты прав: поясница и спина дают себя знать.

Отец принялся за еду. Он тоже чувствовал боль. Особенно в кистях рук, в плечах и лодыжках. Иногда просто нестерпимую. Такую ломоту, будто ему сверлили кость. Но говорить об этом не хотел. Он и без того устал. Какой толк повторять одно и то же? Да и жена устала. Она на четырнадцать лет моложе, но работа и лишения наложили на нее свою печать. Она часто упрекает его в эгоизме. В конце концов, она, может, и права, но если он возмущается, если жалуется на трудную жизнь, так ведь это не только из-за себя, но и из-за нее. Ей, правда, всего пятьдесят шесть. Он в ее возрасте был еще хоть куда. Может, она слишком к себе прислушивается? Женщины все немного неженки, они столько говорят о своих хворобах, что в конце концов и вправду начинают считать себя больными. Ревматизм, конечно, у нее есть, это видно по опухшим суставам, по скрюченным пальцам, которые ей иногда трудно разогнуть,— но все же разве в пятьдесят шесть лет имеешь право чувствовать себя старухой?

— Хочешь еще? — спросила мать.

— Нет. Уж очень невкусно. Ты заварила только ячмень?

— Ну да, я еще ничего не получала за октябрь.

— Говорю тебе: они нас уморят.

Он отодвинул на середину стола недоеденный хлеб.

— Как подумаю, какой хлеб в свое время выпекал я!

— Ты это каждый день повторяешь, да только от этого не легче...

Он перебил ее:

— Да. Повторяю и буду повторять, сколько захочу. Больше сорока лет выпекать хлеб, да еще какой — за десять километров за ним приезжали, и дожить до того, чтобы на старости лет есть эту замазку, нет, я не...

Приступ кашля не дал ему докончить. Он сидел, согнувшись, прижав руку к груди, затем встал и сплюнул в топку.

— Всю жизнь мучиться, чтобы дожить до такого...— прохрипел он.

— Не ты один. Тем, у кого нет огорода, еще хуже.

— Огород обработать — это тебе тоже не шуточное дело.

Он допил кофе, мать поставила его чашку в свою. Старики встали.

Пока они ели, свет постепенно вливался в комнату, и теперь все виделось, как сквозь мутную воду: из темноты силились вырваться чугунная плита, медный прут вокруг нее, деревянная лестница, что ведет наверх, и квадратный кухонный шкаф с четырьмя большими ящиками.

— Я нужна тебе, чтобы подготовить место для дров? — спросила мать.

— Нет. Сам справлюсь. Надеюсь, Пико не подведет.

— Ну, раз он тебе обещал.

Отец устало махнул рукой.

— Что такое в наше время обещание! Будь это Пико-отец, тот бы, конечно, вспомнил, что, когда мы держали булочную, я был одним из его постоянных покупателей, но сыну на это начхать. Он предпочитает продавать дрова тем, у кого есть табак или вино.

— Хорошо, что напомнил про табак, пойду с утра, получу за первую декаду.

Отец вышел, ворча, что уже три дня ему нечего курить.

2

Открыв дверь большого сарая в конце сада, отец обернулся, чтобы поглядеть, не вышла ли вслед за ним жена. Он обошел верстак, притворил ставню на оконце, которое сделал, чтобы можно было спокойно

ковыряться тут в дождливые дни. Вернувшись к двери, он еще раз посмотрел в направлении дома, потом поставил между верстаком и окошком садовый стул, влез на него и достал с полки над окном коробку из-под печенья. На полке выстроился целый ряд коробок, в них он держал болтики, крючки, винты и гвозди, которые требовались ему не слишком часто. Он слез со стула, снял паутину, приставшую к крышке, и, прижав коробку к груди, открыл ее. Там лежали четыре пачки дешевого табака, несколько книжек курительной бумаги, фитиль, три трубочки с камушками для зажигалки и синяя картонная коробка поменьше. Отец открыл эту коробочку и поднес к свету, чтоб обследовать содержимое. Там было с полсотни окурков. Он взял три, положил на край верстака, а коробку поставил обратно. Потом отнес стул на прежнее место и стал лицом к двери у столба, подпиравшего потолочную балку. Отсюда, оставаясь в тени, он мог наблюдать за центральной дорожкой и домом. Он разломал окурки, осторожно, чтобы не просыпать ни крошки табаку, свернул жиденькую, но очень аккуратную папироску и принялся курить, медленно смакуя каждую затяжку. И почти тут же ему показалось, что головная боль проходит.

Он дважды дал сигаретке погаснуть — ему доставляло удовольствие подождать и раскурить ее снова. Он думал о табаке, который ему удалось скопить. Неплохой запасец. Если жена его обнаружит, она, уж конечно, скажет, что надо сэкономить курево, а затем обменять часть пайка на яйца или масло. Но он был спокоен — жена не найдет его тайника. Что ей здесь делать? Рыться ей тут не в чем, это его владения. Когда Жюльен был дома, он приходил сюда чинить велосипед, но сейчас Жюльен далеко, велосипед висит на чердаке, и никто им не пользуется. Шины еще в исправности. Отец знал людей, которые за одну только камеру отдали бы несколько пачек табаку. Он часто об этом думал, но не считал себя вправе распоряжаться велосипедом сына.

Не желая ссориться, они с матерью старались не говорить о Жюльене. Этим утром он подумал о нем в связи с тем, что было бы неплохо обменять шины с этого, никому не нужного, велосипеда на табак. Подумал и все. У него есть и другие заботы. Прежде всего дрова. Сейчас октябрь, а дров на зиму не запасено. Да уж, нечего сказать, положеньице. Просто не укладывается в голове здравомыслящего человека! До войны к началу холодов у него всегда оставался с прошлого года запас дров, которого хватало на всю зиму. Поэтому они и могли продержаться до сегодняшнего дня, и уж не так жались с топливом, но сейчас оставалось дров разве что на месяц, от силы на два, да и то, если зима будет не очень ранняя.

Отец посмотрел налево, где у решетчатой дощатой стены были сложены нарезанные по длине топки поленья. Две поленницы. Две уже начатых поленницы, даже не в рост человека. Раньше, когда поленницы доходили до такой высоты, рядом лежали другие, в шесть поленьев шириной, а высотою больше двух метров.

Вот ведь проклятый лесоторговец — обещал доставить в августе! На два месяца опаздывает. И дрова еще надо будет распилить и наколоть! Да и дрова-то, может, заготовки этого года, такие дрова плачут. Только дымоход испортишь!

С августа месяца мысль о дровах очень беспокоила отца. Он молчал, но эта забота не уходила, точила его, и каждый раз, как он отрывался от работы, чтобы передохнуть, она одолевала его.

Подумать только, что он построил этот сарай в 1912 году. Он отлично помнит. Себе в подмогу он взял четырех человек. Работяги вроде него самого. За два месяца справились! Сам он работал с ними только после полудня, окончив дела в булочной, а ведь он уже с одиннадцати вечера начинал трудиться в пекарне. Как-никак его трудовой день продолжал-

ся тогда восемнадцать часов. Четыре часа на сон, два — на еду, и начинай все сначала. Уставал? Как не устать! Прожить такую жизнь, провоевать четыре года на той войне, а теперь мечтать о четырех кубометрах дров и считать и пересчитывать окурки!

Господи боже мой, у людей нет больше совести, они помнят только зло! Для дров он и построил этот сарай, для дров, чтобы топить пекарню, конечно, потому что в то время он топил там печь дровами. А для лесоторговца это означало два-три воза дров каждый месяц. Пико был честным лесоторговцем, и он, папаша Дюбуа, тоже был честным булочником. Ни разу они не повздорили. За сорок-то лет поневоле сдружишься. Сына лесоторговца он знал, когда мальчишка еще под стол пешком ходил. Да разве тот помнит? Ничего он не помнит. Выгода!.. Сейчас у всех только выгода на уме. Спекуляция. Черный рынок. Что тут говорить, все прогнило! Люди стали эгоистами, готовы перегрызть друг другу горло из-за куска дрянного хлеба, который и хлебом-то назвать нельзя!

Время от времени отец вздыхал. Он ворчал, разводил руками, но сдерживался, качал головой, морщился. Всякий раз, думая о том, как они жили прежде и что приходится терпеть с начала этой войны, он не мог совладать с собой: его охватывала злость. Мерзкая злость, от которой он никак не мог избавиться. Она жила в нем. Ему приходилось загонять ее вглубь, но она не исчезала и в любую минуту могла снова подняться, сжать все внутри, как спазма, против которой нет средств.

Он боялся войны, потому что уже раз пережил ее. Боялся, как и все, но никогда он не представлял себе ее такой. Война была всюду, хотя настоящей войны и не было. Эта война не убивала, как война 1914—1918 годов, но она придавила все сущее, ввергла во мрак, который непрестанно сгущался. Каждая неделя, каждый день приносили свою порцию новостей, малопонятных, но неизменно плохих.

Творились такие дела, о которых даже и говорить-то не решались, и отец тоже болезненно переживал некоторые события, но старался не вспоминать о них.

Жена часто упрекала его в эгоизме. Удивлялась, как это его занимает главным образом то, что она позволяет себе называть «личным благополучием»: еда, табак, вино, топливо, забота об огороде и не очень уж беспокойные ночи. Он не перечит. Пусть говорит, но боль в сердце живет.

Отец не остался равнодушен к исчезновению сына, только смотрел он на это иными глазами — не так, как мать. А потом, ничего не скажешь: он действительно думает об огороде, о кроликах и обо всем прочем. Но что делать, такова жизнь. Не подыхать же из-за того, что...

Он не додумал своей мысли: за самшитом, возле угла дома, мелькнула фигура в черном. Отец уже давно докурил сигаретку, но все еще сжимал в пальцах мокрый и совсем тонюсенький окурок, погасший сам собой. Он стряхнул пепел, затем скрутил бумажку, чтобы не пропал зря остаток табака, вытащил из кармана фартука жестянку, отполированную от долгого употребления, и положил туда окурок. По центральной дорожке к отворенной двери подходила мать. Он прошел в левый угол сарая и принялся собирать луковицы, разложенные на старом брезенте. Когда мать вошла, он обернулся и спросил:

— Уже уходишь?

— Да. Надо поспеть еще до открытия, не то очень долго простоишь в очереди.

Он направился к порогу и теперь был в двух шагах от жены. Она подошла еще ближе, нахмурилась и, помявшись немного, заметила:

— Я думала, у тебя табак весь.

— Да, весь.

— А ведь ты курил?

— Ну и что? Курил, нашел на верстаке окурок и выкурил... Вот, сама посмотри, сколько у меня табаку!

Жена разозлила его. И когда он вытаскивал из кармана жестянку, руки у него дрожали. Он открыл ее и протянул жене.

— Вот, смотри, коли тебе надо все самой проверить.

Мать покачала головой и вздохнула:

— Ах, Гастон, Гастон. Такие пустяки, а ты из себя выходишь! Разве я что обидное сказала? Почувствовала, что ты курил, только и всего, и хватит об этом. Если у тебя есть табак, тем лучше.

— Нет, у меня ни крошки нет. Довольна?

Она уже повернула обратно и пошла, маленькая, какая-то вся сжавшаяся, в темном платье и черной шляпе с обвислыми, закрывавшими шею полями.

Отец остался наедине со своим раздражением, от которого чувствовал горечь во рту, портившую вкус табака.

3

Оставшись один в сарае, он снова принялся за работу. Собрал лук, положил его в три больших ящика из-под фруктов и поднял на чердак. Далось ему это путешествие нелегко. Отнеся ящик, он каждый раз останавливался, чтобы отдышаться, и смотрел на сад, такой ржавый в серой дымке. Третий ящик он поднял только до половины лестницы и тут вынужден был остановиться: упершись коленями в перекладину и держась рукой за левый боковой брус, он прислонил к правому передний конец ящика, который нес на плече. Под тяжестью ящика отец чуть не съехал вниз. Он почувствовал, что сейчас на него нападет кашель, и с большим трудом преодолел приступ.

— Вот вам...— простонал он.— Тут всего-то двадцать кило. И подумать только, что я подымал наверх мешки с мукой... Тридцать, сорок мешков, один за другим... Во что только может превратиться человек!

Он ждал, прислушиваясь к биению своего сердца, и следил за блестящими точками, которые, словно огненные мушки, летали у него перед закрытыми глазами. Постояв так сколько-то времени, он почувствовал судорогу в правой руке и пальцах, вцепившихся в ящик, и испугался, что уронит его. Медленно, не расходуя зря сил, он опять полез наверх. На чердаке ему стоило большого труда осторожно поставить ящик на шаткий пол. Управившись, наконец, отец в изнеможении опустился на большой черный чемодан и снял каскетку. Холодным воздухом сразу обдало его мокрую от пота лысину, и он поспешил обтереть носовым платком ее, а потом внутренний край каскетки. И спина тоже взмокла, а руки дрожали. Отец понял: вспотел он не столько от усилий, сколько от страха, что упадет. Тонкие губы его растянулись в сердитой усмешке, обнажившей беззубые десны и исказившей лицо. Седые усы, желтые от табака, на какой-то миг опустились к острому подбородку, поросшему седою щетиной. Двух метров от земли не будет, а он боялся упасть. И подумать только, что прежде, отбывая воинскую повинность в Жуэнвиле, он легко перелетал с одной трапеции на другую в гимнастическом зале, где пол был покрыт всего-навсего тонким слоем опилок. В глазах опять потемнело, но на этот раз не от усталости и не от страха. Он сделал глубокий вдох, как в ту пору, когда нырял с мостков в ледяную воду реки, и сразу встал. Колено хрустнуло, будто сухая ветка.

Проклятый костяк, но его надо заставить слушаться!

Он вроде норовистого коня: надо уметь показать ему кнут! Все время его подстегивать, заставить позабыть тяжелую поклажу! Отец на-

гнулся и взял из ящика крупную луковицу. Корявым большим пальцем приподнял полусухие рыжие кожурки. Их было четыре слоя, значит, приходится ждать суровой зимы и, вероятно, более ранней, чем хотелось бы. Эта примета снова напомнила ему о дровах. Нужно будет распилить и наколоть их, не откладывая, чтобы они успели если не высохнуть, то хоть немного подсохнуть.

До войны он пользовался механической пилой, но теперь она была доступна только тем, кому удавалось раздобыть горючее. Значит, придется все пилить вручную. Но нельзя забывать и об огороде, надо до заморозков покончить с посевом.

Отец положил луковицу обратно в ящик и спустился в сарай. Ему оставалось разломать на растопку пустые ящики — жарко будут гореть! — и разобрать несколько связок с подпорками для фасоли, которые можно будет пустить в дело еще на один-два сезона. Он и лесоторговцу заказал подпорки для гороха и фасоли,— но разве можно рассчитывать на этого малого?

Отец несколько раз прерывал работу и доходил до конца дорожки, которая вела на улицу между потемневшим забором его сада и каменной оградой, окружающей сад Педагогического училища. Стоя там, он вглядывался в улицу и прислушивался. Нет, это не грузовик лесоторговца, это немецкие машины во дворе училища. Ну, конечно, Пико опаздывает. Опаздывает на два месяца, а ведь обещал сегодня утром обязательно привезти.

На обратном пути в сарай отец остановился у центральной дорожки. Жена уже шла домой. Как это она успела туда и обратно? Неужели она была первой? Или, может, табака не было...

Ему показалось, что она идет быстрее обычного. Может, забыла карточки? Отцу захотелось вернуться в сарай, но, должно быть, жена его уже увидела. Он подождал еще немного, затем пошел ей навстречу.

Теперь, когда они приближались друг к другу, отец мог разглядеть под полями шляпы ее лицо. Оно показалось ему суровым, напряженным, как в дни плохих новостей. У дома, вместо того чтобы пойти ему навстречу, она свернула направо и пошла по дорожке, которая вела к крыльцу. Отец ускорил шаг, свернул на ту же дорожку и ступил на крыльцо, когда жена уже входила на кухню.

— Ну, в чем дело? — спросил он.

Она обернулась и с порога крикнула:

— Может, войдешь в дом?

По ее тону отец понял: что-то случилось, и это касается его. Он не спеша поднялся на лестницу, снял на площадке галоши и вошел в дом.

Жена сидела на второй ступеньке внутренней лестницы, упершись локтями в колени, сгорбившись и опустив голову. Она даже не сняла шляпы. По тому, как двигались ее плечи, он понял, что она запыхалась, и молча остановился. Отец слышал только собственное свистящее дыхание. Он смотрел на жену и не решался заговорить. И только когда она слегка разогнулась и приложила ладонь к груди, он спросил:

— Что с тобой? Тебе плохо?

Она медленно подняла голову. Лицо ее выражало волнение. Подбородок дрожал. Глаза из голубых стали серыми, а во взгляде застыл упрек. Он почувствовал, что только гнев удерживает ее от слез. Чувствуя неловкость, не зная, куда девать руки, он подошел на шаг и неуверенно пробормотал:

— Ну, так скажи же, наконец... Могу я узнать, в чем дело?

На лице матери появилась страдальческая улыбка, и глубокие морщины в углах ее рта обозначились еще резче. Она несколько раз пошевелила губами и только потом сказала:

— Дай мне прийти в себя... Никогда ведь не знаешь, как ты отнесешься...

Отец поднял руки и опять уронил их вдоль фартука.

— Так я и знал! Что же, начинай, придирайся... Конечно...

— Вот видишь, еще ничего не знаешь, а уже злишься,— перебила она.

— Я не злюсь,— сказал он, сдерживаясь, чтобы не закричать.— Но все-таки согласись, что ведешь ты себя довольно странно. Приходишь домой, не говоришь, что случилось, и без всякого повода ищешь ссоры.

— Без повода...

Казалось, она не в силах продолжать. Она опять как-то вся сжалась, потом, словно вновь обретя энергию, встала и, нетерпеливо дернув резинку, зацепившуюся за шпильку, сняла шляпу.

— Как тебе будет угодно, а за своим табаком ступай сам! — крикнула мать.

Она повесила шляпу на деревянную шишечку на перилах и стала расстегивать шерстяную кофту. Отец хотел спросить, в чем дело, но она заговорила сама:

— Ах так! Тебе было стыдно выйти на улицу, потому что говорят, будто Жюльен удрал к де Голлю. Ну, так теперь можешь спокойно идти... Позор смыт.

Она подчеркнула последние слова, смотря в упор на отца, у которого сжалось горло.

— Что ты еще выдумала,— пробормотал он.

Это, собственно, не был вопрос, он тут же понял, что говорить так не следовало.

— Что я еще выдумала?.. Что я еще выдумала!..— выкрикнула она.— Ах так, я выдумываю! Ну, тогда дойди до табачной лавочки и спроси у тех, кто в очереди, выдумала я или нет. И если ты не постесняешься вместе с ними стоять за табаком, значит, у тебя нет ни на грош уважения к себе, одна только страсть к куреву.

Ее вспышка взбесила отца. Он вошел в кухню вслед за матерью, которая уже стояла у окна, и ударил по столу костлявой ладонью.

— Я так и знал,— крикнул он,— что ты сразу станешь попрекать меня единственной радостью, которая мне еще осталась. Я так и знал...

— Замолчи! Не в этом дело!

На отца напал кашель, что случалось с ним при каждой вспышке гнева. Его душила мокрота, на глазах выступили слезы, он долго не мог отдышаться. Мать пошла в чулан за водой, отец медленно выпил весь стакан, сидя на стуле, опершись локтем о стол. Он чувствовал, что кашель, хоть и без его воли, вовремя пришел на выручку. Когда он, наконец, отдышался и был в состоянии продолжать разговор, он сказал:

— Вот и всегда так. Вместо того чтобы спокойно поговорить, злимся себе же во вред.

Из-под козырька своей серой каскетки он наблюдал за женой, которая стояла между столом и плитой.

— Дать еще попить? — спросила она.

— Нет... Уже прошло...

Он отлично понимал, что, несмотря на перерыв в их ссоре, мать не могла еще остыть. В конце концов она непременно выложит то, что у нее на душе. Все же хоть какая-то передышка, хоть минутка спокойствия... Он прислушался. Нет, это не грузовик. Эх, если бы Пико подоспел сейчас...

Он постарался дышать ровнее.

— Для меня это просто смерть,— проворчал он.

Жена взяла стул и тоже села.

— А мне, думаешь, легко? Пощечина, которую я получила при двух десятках свидетелей, ей-богу, не легче!

С трудом выдавливая из себя слова, хоть и стараясь говорить твердым голосом, отец спросил:

— Ну, так в чем дело? Скажи прямо, и конец.

— Конец? Больно ты скор. Конец нашим бедам наступит только с концом войны... Или с нашим концом...

На последних словах она запнулась, и отца это встревожило. В ее голосе, да и в самих словах было что-то, невольно его взволновавшее. Не в ее привычках было походя упоминать о смерти. Наоборот. Если отцу случалось сказать «лучше лежать под землей, чем жить в таком сумасшедшем мире», она его каждый раз одергивала.

— Может, конец уже недалек,— заметил он.— Никогда еще я не чувствовал себя таким вымотанным.

Теперь мать как будто заколебалась, не хотела высказывать свои упреки, вероятно, боясь опять вспылить. Отцу хотелось узнать, что произошло, и все же у него мелькнула надежда, что мать передумает и ничего не скажет.

— Как подумаю,— в конце концов вымолвила она,— как подумаю, что я из-за тебя вытерпела в тот день, когда пришли жандармы...

Он хотел прервать ее, но она повысила голос:

— И так всякий раз, как они являются сюда.

— А тебе нравится, что они каждый месяц приходят? И соседи пристают с расспросами...

Она зло усмехнулась.

— Вот теперь дождешься, что они будут приставать с вопросами и похуже. Что ты ответишь, если они, например, спросят, не связан ли ты с петеновской милицией? Хотела бы я знать, что ты тогда ответишь?

— Я политикой никогда не занимался. Тем, кто меня знает, это отлично известно.

Он сказал это громко, твердым голосом, но без крика.

— Однако твоему сыну это не помешало заняться политикой. И на улице открыто продавать фотографии этого фашиста Дарнана.

— Что ты мне еще рассказываешь?

Голос его звучал уже не так уверенно. Он это почувствовал и теперь тщетно пытался придумать, что бы еще сказать. Мать опередила его:

— Все в точности! С ним было двое из петеновской милиции в полной форме. И он продавал фотографии. Предлагал всем в очереди. А поравнявшись со мной, посмел сказать: «А вы, мать, не возьмете? Послали бы своему коммунисту». Вот что он посмел сказать. А мне... мне хотелось плюнуть ему в физиономию!

Она вся дрожала. Кровь отлила от ее лица, и, когда она умолкла, две крупные слезы скатились по впалым щекам. Отец почувствовал, что лоб у него пылает. Он с трудом проглотил слюну, и только после долгой паузы ему удалось выдавить:

— Разве мы толком знаем, что это такое — петеновская милиция?

— Если кто и не знает, так, должно быть, только ты. Потому что ты изо всех сил стараешься отгородиться от войны. От людей.

— Хоть ты и твердишь целый день, что я живу, как медведь в берлоге, это неверно. Но в политику мешаться и не хочу. Я знаю одно: милиция эта... установлена государством, а я за свои семьдесят лет ни разу не нарушал законов.

Теперь она попыталась прервать его, но отец повысил голос, чтобы докончить свою мысль:

— То, что делает мой сын, меня не касается. Ему за сорок, и он во-

лен в своих поступках. А вот ты, ты никогда не упустишь случая сказать, что это не твой сын.

— Сегодня я говорю это с особым удовольствием.

Она метнула в отца эту фразу, как стрелу. На мгновение оба замолчали, затем одновременно выкрикнули:

Он: — Ты бы лучше постаралась узнать, что делает Жюльен с тех пор, как его разыскивают жандармы.

Она: — Я предпочитаю умереть с горя, не зная, в живых ли еще Жюльен, чем умереть со стыда...

Отец замолчал первый, потому что она кричала громче, вскочив и наклонившись к нему. Она задыхалась, дрожала всем телом. Но она оборвала фразу на полуслове. Входная дверь была приоткрыта, и снизу кто-то звал их. Отец встал, а мать уже переступила порог. Когда она выходила, отец по голосу узнал Пико-сына.

— Нужны вам дрова или прикажете везти обратно, на лесосеку?

Отец почувствовал, что ссора отняла у него последние силы. Он видел, как жена вышла на крыльцо, но не сразу последовал за ней. С минуту он вынужден был постоять, опершись рукой о косяк двери, у него опять кружилась голова, как утром, когда он подымался на чердак.

4

Пико-сын был здоровый краснорожий малый с коротко остриженными, начинавшими седеть волосами. От него несло вином, табаком, потом и специфическим запахом, присущим тем, кто большую часть жизни проводит на вырубках и лесопилках. Отец пожал протянутую ему широкую заскорузлую руку.

— Старики все одно, как влюбленные — вечно бранятся,— сказал Пико.

Отец постарался улыбнуться.

— Где ты поставил грузовик? — спросил он.

— На улице.

— Чего ж ты не въехал во двор? Дорогу ведь знаешь.

— На этот раз не получится. Я на большом грузовике, только-только можно проехать. Побоялся застрять.

Отец с трудом понимал — он все еще был под впечатлением ссоры. Он никак не отозвался на слова Пико, и тот пояснил своим хриплым голосом:

— Бензин весь вышел. А большой грузовик у меня с газогенератором.

Отец снял каскетку и провел рукой по лбу.

— Покорно благодарю... Выходит, придется перевозить восемь кубометров на тележке!

Выражение лица у Пико было какое-то неопределенное — не то он сейчас рассмеется, не то его губы кривятся от чего-то другого. Но, вероятно, взял верх добродушный нрав. Пико положил свою лапищу на плечо старика, выше которого был на целую голову, и, рассмеявшись, сказал:

— Значит, ваше счастье, что я привез не все! Вам же легче!

— Не все? Да что вы? — вмешалась мать.

— Ничего не попишешь, мамаша, с дровами сейчас, как и со всем вообще,— делаешь, что можно. Я привез вам шесть кубометров, да и то по знакомству.

— Ты надо мной смеешься! — выкрикнул отец.

— Ладно,— сказал лесоторговец.— Пора сгружать, меня другие покупатели дожидаются.

Он быстро зашагал по центральной дорожке. Старики поспешили за ним. Отец громко сокрушался. Но Пико со спокойным упорством твердил свое:

— Ничего не поделаешь. Больше дать не могу. Вы ведь еще уголь получите, так что должно хватить.

— Углем мы не можем топить,— объяснил отец,— у нас плита не приспособлена, а переделывать ее нельзя, она очень старая... Господи боже мой, вот беда! Чего уж хуже, если придется мерзнуть.

Пока они дошли до улицы, отец, не привыкший так быстро ходить, совсем запыхался и не мог говорить. Прислонясь к забору и вытирая лысину, он глядел на огромный грузовик с дровами. Лесоторговец с приказчиком уже начали сбрасывать кругляки на тротуар. Отец провожал глазами каждое полено. Он не знал, что еще сказать. Теперь уже ничего не поделаешь.

Когда сбросили все дрова, отец поднял руку, указал на оставшиеся на грузовике кругляки и спросил:

— Ты никак не можешь дать мне еще два кубометра?

Лесоторговец достал из кармана кисет и набил толстую короткую трубку.

— Нет,— сказал он.— Никак не могу.

Настаивать было бесполезно. Отец опустил глаза, он следил взглядом за руками Пико, который завязывал кисет. Тот, по-видимому, это заметил. Он протянул отцу табак.

— Хотите скрутить?

Отец взял кисет, вытащил из кармана жестянку, открыл и достал книжечку с курительной бумагой.

— Сам видишь, отказываться не приходится. Паек весь.

— Берите, чтобы на день хватило.

Отец замялся.

— Да берите же, у меня на таможне приятель, он мне достает табак из Швейцарии.

Они вернулись в дом, мать отсчитала деньги за дрова и налила мужчинам по стаканчику вина.

Отец не мог просить Пико подкинуть ему еще дровец, раз тот дал ему табаку. Однако не то чтобы жалобным, но несколько дрожащим голосом он завел разговор о тех временах, когда лесоторговцы приходили к булочникам на поклон и ссорились из-за таких клиентов.

— Я ни одного полена не купил у кого другого, только у твоего отца,— закончил он.— Ни одного!

— Слушайте,— сказал Пико,— у меня есть предложение. На двух вырубках над Паннесьером у меня еще не собран хворост. Не какие-нибудь там жалкие веточки, понимаете? Хороший фашинник. Если хотите, отправляйтесь туда и берите, сколько вам нужно.

Отец повернулся к жене, которая стояла у плиты, опершись на окаймлявший ее медный прут. Они переглянулись, потом она спросила:

— А где это в точности?

Пико стал объяснять, рисуя на клеенке концом толстого, корявого пальца, ноготь которого напоминал плохо обточенный инструмент из рога. Если кратчайшим путем, это не так уж далеко. От силы пять-шесть километров, но подъем, конечно, крутой.

— А вязанки вы нам доставите? — спросила мать.

— Нет, никак не выйдет. У меня грузовики всегда полны доверху... Но грузовики вашего сына, бакалейщика, уж конечно, проезжают иногда неподалеку.

Отец опустил голову. Воцарилось молчание. Пико выпил вино и встал.

— Решайте сами,— закончил он.

Приказчик двинулся к выходу. Лесоторговец — тоже, но тут мать спросила:

— А с четырехколесной тележкой туда взобраться?

Здоровенный лесоторговец окинул взглядом двух стариков, как бы оценивая их силы.

— Можно, конечно, но если вам некому помочь, то...— Он помолчал и тут же прибавил, уже более уверенно: — Обратно я еду порожняком. Если нынче вечером тележка вам не нужна, я могу взять ее в грузовик и по дороге забросить куда надо.

Они еще поговорили, уточнили место, спросили, не утащат ли их тележку.

Отца немного пугала предстоящая работа и путь, но он еще больше боялся, что Пико и приказчик уйдут. Их присутствие давало ощущение жизни, которое было связано с ними и заполнило все эти утренние часы, и отец чувствовал, что с их уходом уйдет и оно, и останется ничем не заполненная пустота. Он то и дело взглядывал на жену, стараясь в то же время поддерживать разговор. Но лесоторговцу нужно было доставить дрова другим покупателям. Он повторил это несколько раз, уже идя к двери.

— Да и вам надо убрать дрова,— сказал он.— Поторапливайтесь, если хотите, чтобы я захватил вечером вашу тележку.

Он еще раз повторил, что оставит тележку возле барака для пильщиков и что за нее можно не беспокоиться. Объяснил также, где взять ключ от барака.

— Современных удобств там, правда, нет,— добавил он,— но если вздумаете заночевать в лесу, барак вас выручит.

Отец следил взглядом за удалявшимися Пико и его приказчиком. Он чувствовал, что жена стоит рядом. Он видел ее краешком глаза, не поворачивая головы: она была справа от него и тоже смотрела вслед лесоторговцам, дошедшим уже до конца длинной дорожки, обсаженной фруктовыми деревьями.

Старики стояли рядом, словно застыв в утренней тишине, которую вскоре нарушило глухое урчание грузовика. Они остались одни, и что-то разъединяло их, и в то же время что-то другое крепко спаивало воедино.

Когда заглох шум машины, отец повернулся к матери.

— Боюсь, будет трудно,— сказал он.

— Да. Но это уж нам решать: соглашаться или, если зима затянется, мерзнуть без топлива.

— Ну, пойду займусь дровами.

— Я тебе подсоблю.

— Эта работа не для тебя. При грыже нельзя подымать такие тяжелые кругляки.

— Там есть и поменьше. А потом вдвоем мы каждый раз сможем увезти больше.

Отец это знал. Знал он также, что она ему поможет, как помогала во всем. Но ему доставляло какое-то своеобразное удовольствие отказываться, утверждать, что он один со всем справится, хотя отлично знал, что будет выбиваться из сил. Так бывало всегда, но этим утром по дороге к сараю, где стояла тележка, он больше, чем обычно, чувствовал потребность повторять:

— Эта работа, милая моя, не по твоим силам. Надорвешься... И все.

Мать молчала. Она дошла с ним до сарая, и, когда он опустил дышло четырехколесной тележки, она уже стояла сзади, взявшись за поперечину и приготовившись помогать ему.

5

Они трудились до полудня. Работа была не из легких. К сараю вела узкая дорожка — только-только тележке проехать. Если колесо вдруг наскакивало на камень, которого отец не успевал заметить, дышлом ему ударяло по рукам и плечам, а его заносило то вправо, то влево. При этом случалось, что колесо задевало за плитку, которой были обложены грядки. Толчки бывали довольно сильные. Отец чертыхался, останавливался и, закусив беззубыми деснами губы, ехал дальше.

Сначала они попробовали воспользоваться дорожкой, которая шла параллельно саду. Она была шире, но зато менее ровная. Местами попадались плохо подсохшие лужи, и тогда ноги скользили, а колеса на железных ободьях вязли в грязи.

В каждую ездку они накладывали с десяток кругляков. Из-за подъема брать больше было нельзя. Без груза такая неровность почвы почти не ощущалась, но другое дело — с тележкой. Перед тем как въехать на горку, отец кричал:

— Взяли!

И этот крик как будто разрывал ему все нутро. Тогда оба налегали изо всех сил, ускоряли шаг, как лошади под ударами кнута, и крепче упирались ногами в землю. Иной раз колесо наезжало на ухаб, и тогда разбег, давшийся им с таким трудом, сводился на нет. Отец кряхтел, закрывал глаза, которые разъедал пот, ворчал и изо всех сил подавался вперед.

Этот подъем утомлял больше, чем весь остальной путь, в котором было все же добрых сто метров.

Перед полуднем подмастерье пекаря, вышедший на порог булочной подышать свежим воздухом, предложил им помочь. Это был здоровый малый из Бреса. Отец любил его за то, что он охотно слушал его рассказы о тех годах, когда папаша Дюбуа был молод.

— Подсобишь нам сделать одну-две ездки, для нас и это уже помощь.

Подмастерье улыбнулся доброй улыбкой.

— Отпустите мамашу готовить обед, мы и одни управимся.

Мать поблагодарила, отец посмотрел ей вслед.

— Не для нее эта работа,— сказал он,— сам знаю, но что поделаешь, она всегда меня переупрямит.

Остальные дрова перевезли за две ездки. Подмастерье впрягся в тележку и побежал рысью, отец отстал. Поспешая за тележкой, жалобно скрипевшей под тяжестью груза, отец все время твердил одно:

— Только бы он не задел за бордюр, чего доброго, сломает тележку.

Перед горкой парень сильнее нагнулся вперед, его голова и широкая спина исчезли за кладью, казалось, тележка, не замедляя хода, сама преодолевает подъем, с такой трудностью дававшийся двум старикам. Когда отец вошел в сарай, подмастерье уже сбрасывал дрова в кучу.

— Не мешайте,— крикнул он, не прекращая работы,— в два счета кончу!

— Хорошо, когда тебе двадцать пять лет,— сказал отец.

Парень, коренастый крепыш, с заплывшей жиром, но тем не менее сильной мускулатурой, казалось, работает играючи.

Если бы он мог пойти с ними в лес, если бы у него было несколько свободных вечеров, чтобы помочь ему, старику, разделать дрова... Отца разбирало желание попросить его об этой услуге. Он бы заплатил. Может, не так хорошо, как в булочной, но что-то парень все же подработал бы в свободное время. Отец колебался. А вдруг тот вздумает заговорить

о Жюльене, спросит, куда он девался, почему не дома и не помогает отцу?

Когда последняя тележка была разгружена, отец просто сказал:

— Теперь придется еще перепилить все дрова. Да притом ручной пилой. А я и без того упарился.

— Правильно говорится, что дрова греют дважды,— рассмеялся подмастерье.

— Эх, нашел бы я такого здорового парня, как ты, и пожелай он подработать малость...— гнул свое отец.

— Будь у меня время, я бы пришел. Но мне никак нельзя.

— Знаю. У всех свои дела.

Отец сказал это даже без грусти. На минуту он представил себе, что подмастерье пилит дрова, сам он их колет, а мать потом складывает в поленницы. Мысленно он уже видел, как они за несколько дней разделаются с дровами и освободят место, куда можно будет свалить целую гору здоровых вязанок, привезенных из лесу. Затем он подумал, что ничего еще не сделано, и у него заныло в груди. Работа, которую надо бы закончить до холодов, ляжет на него одного.

— Ладно,— вздохнул он,— пойдем рассчитаемся.

— Шутите!..

— Да нет, я всегда платил за работу.

Он уже собирался завести разговор о том времени, когда сам держал пекарню и подмастерьев, но парень перебил его.

— Бегу,— сказал он.— Хозяин может меня хватиться.

— Зайди хоть выпить стаканчик!

Подмастерье уже приподнял свой длинный белый фартук и заткнул его одним концом за пояс.

— В другой раз! — крикнул он, не оборачиваясь, и устремился по дорожке на улицу.

Оставшись один, отец присел на пустой ящик, достал жестянку, которую набил табаком лесоторговца, и медленно скрутил сигаретку. Он проработал все утро, не обращая внимания на крайнюю усталость. Он не желал прислушиваться к жалобному нытью спины и ног. Но теперь, когда он сел отдохнуть, упорные боли, возникая в каждом суставе, прокладывали себе дорогу по всему телу, просачивались кислотой из костей в мышцы, разъедали их, пробирались в каждую жилочку, словно у него в теле был какой-то источник боли, неиссякаемой и многообразной. И питался этот источник тысячью неуловимых недугов, которые время накопило во всем его существе. При малейшем движении боли обострялись, обретали новую силу, дававшую им возможность продвигаться дальше, расширять уже пройденный путь.

Опершись локтями о колени, понурив голову и глядя в пространство, куда-то за серый от пыли пол сарая, за траву в огороде, отец думал о себе. Он курил, делая небольшие затяжки, и подолгу удерживал дым в легких. Табак у лесоторговца был крепкий, приятный на вкус, ароматичный, куда лучше того, что так скупо выдавало государство.

Отец думал о себе, о том, каким был когда-то и каким стал после стольких трудов и лишений.

6

Он просидел так какое-то время. Усталость не уменьшилась, но словно притупилась. Она была как замерзающая вода. Кое-где еще бурлит, но течет уже не с прежней силой. Теперь мысли отца были заняты другим. Через несколько минут жена выйдет на крыльцо и позовет его обедать. Они сядут за стол, будут есть суп и вспоминать только о том, как устали и как им помог подмастерье, но в конце концов неиз-

бежно перейдут на разговор, который был прерван приходом Пико. Мать этого так не оставит. Это уж точно. И тогда все начнется сначала, опять обессиливающее злобное раздражение или не менее обессиливающая внутренняя борьба, чтобы преодолеть его. К чему все эти ссоры, когда и так уже трудно жить, трудно поддерживать свое существование, работая только для того, чтобы быть мало-мальски сытым, не продавая то немногое, что нажил? Эта война убила деньги. Во всяком случае, деньги мелких вкладчиков. Те несколько акций, с которых мать каждые полгода отрезала купоны, теперь ничего не стоят. А ведь они заплатили за них полноценными франками. Франками, которые скопили, ночами простаивая за квашней и перед устьем печи. Может, каждый отложенный сантим означал для них целую выпечку хорошего белого хлеба. Теперь, когда отец говорил об этом со сведущими людьми, они усмехались. Работа всей жизни свелась к бумажонкам, за которые никто не даст бруска масла или вязанки дров. Но власть имущим, хоть они и несут ответственность за эту катастрофу, плевать на все! У них, верно, есть золото в швейцарских банках или акции военных заводов. Им ничего не делается. Живут себе припеваючи за счет мелкого вкладчика.

Мысль отца медленно продвигалась по извилистой дороге с глубокими колеями, полными горькой воды. Время от времени он сжимал кулаки. Его обокрали. Отняли с таким трудом заработанное право спокойно дожить остаток дней, и он ничего не может сделать.

Приходится работать и выбиваться из сил ради какого-то жалкого куска хлеба, а тут еще война внесла раздор в семью. В ту войну ему тоже пришлось хлебнуть горя. Два года провоевал, потом в армейском тылу выпекал хлеб для солдат. В девятьсот пятнадцатом году умерла его первая жена, и пришлось закрыть булочную. В девятнадцатом он женился во второй раз, снова открыл дело и впрягся в работу. Не один год трудился в поте лица, чтобы скопить немного деньжат, бросить работу и на старости лет жить на доход с огорода и на то, что платят жильцы дома, где у него была булочная. Конечно, это не райское житье, но более или менее спокойное существование, а работать на воздухе ему, при его слабых легких, куда полезнее, чем дышать мучной пылью в пекарне. Да без работы он бы и не прожил. Он никогда от нее не отлынивал. Но с начала этой войны работе конца-краю не видно. Трудишься, трудишься, а все мало и ничего-то не заработаешь.

Отец все время возвращался к этим мыслям. Забота не покидала его, боялся он и той минуты, когда жена позовет его обедать. Нетрудно представить себе, что она скажет. Он заранее обдумывал ответы, хотя отлично знал, что в последнюю минуту с языка сорвутся совсем иные слова.

Он спрятал потухший окурок в жестянку; тут у сарая послышались чьи-то шаги. Отец поднял голову, это был господин Робен, один из жильцов дома, находившегося позади сарая.

— Я шел к вам и услышал, как вы кашляете,— сказал Робен.

Отец встал. Робен был человек лет тридцати, курчавый блондин с детским бледноватым лицом.

— Мы хотели покончить с дровами,— сказал отец,— и потому запоздали с обедом.

— Я принес вам газету, но вы сами знаете, много из нее не вычитаешь. Зато я поймал Швейцарию: союзники в Неаполе.

В начале сентября, когда американцы высадились в Италии, Робен сказал: «На этот раз бошам крышка». Отец воспрянул духом, но с тех пор он понял, что война может длиться бесконечно. Так легко с немцами не справиться. И больше всего он боялся, что фронт приблизится. В сороковом году при отступлении его дом уцелел, но не было никакой гарантии, что война окончится, не коснувшись департамента Юры. Однако

в данную минуту отец больше думал о непосредственно угрожавшей ему опасности, и в появлении соседа увидел новую возможность получить отсрочку.

— Пойдемте в дом,— сказал он.

— Мне не хотелось бы вас стеснять, раз вы еще не кушали.

Отец стал настаивать, и Робен пошел с ним.

Мать уже накрыла на стол и накрошила хлеба в суп.

— Я как раз собиралась тебя звать,— сказала она, поздоровавшись с Робеном.

— Присядьте на минутку, время у вас есть,— сказал отец, садясь за стол.

Сосед сел и, когда старики принялись за еду, начал рассказывать то, что услышал по радио.

— Русские тоже опять продвинулись,— сказал он.— В горах Юры, в маки, как будто доставлено оружие.

— Так я и думала,— заметила мать,— позапрошлой ночью я слышала самолеты.

— Я ничего не слышал,— сказал отец.— Но если там, наверху, зашевелятся, опять будут расстрелы, как прошлый месяц в Безансоне.

— Теперь известно, скольких людей они расстреляли,— сказал Робен.— Шестнадцать человек. Их казнили двадцать шестого сентября. В том числе юношу двадцати одного года, из тех мест, откуда моя жена. Мы видели его мать, просто не понимаю, как эта несчастная женщина не умерла с горя.

Последовало долгое молчание. Ел только отец. Мать не спускала глаз с Робена, выражение его лица было одновременно и страдальческим и гневным.

— А сколько было лет остальным? — наконец спросила она.

— Самому младшему, кажется, семнадцать, а самому старшему двадцать девять.

Робен опять замолчал. Чувствовалось, что он чего-то не договаривает, и отец задавал себе вопрос: уж не видел ли и Робен его сына в компании чинов петеновской милиции? Он придумывал, что бы такое сказать и нарушить молчание. Но Робен заговорил сам:

— Придет время, и они за все расплатятся.

— В четырнадцатом году говорили то же, а они ни за что не расплатились,— вздохнул отец.

— Чего ты все вспоминаешь старое,— сказала мать,— нам и так довольно забот.

Она сказала это твердым, больше того, решительным тоном, и отец испугался, что она начнет попрекать его поведением Поля. На минуту он пожалел, что привел Робена, но тут же одумался. Нет. Это невозможно. Жена не станет говорить о таких делах при посторонних. Он не мог себе представить, что она на это способна. Все же отец почувствовал некоторое облегчение, когда Робен встал. Мать тоже встала и проводила гостя до порога.

— Сегодня я не приду слушать Лондон. Завтра нам очень рано вставать...— Она замялась.— Надо закончить одно дело.

— Если будут важные новости, я вам сообщу,— пообещал Робен.

Мать затворила дверь, достала тарелку, на которой лежал кусок сыра — сухой и серый, как старая штукатурка,— и поставила на стол. Отец взял кусочек и сказал, как говорил каждый раз за обедом:

— И это называется сыром!

Мать подождала несколько мгновений и только потом сказала:

— Да, но твой бакалейщик, уж конечно, ест хороший швейцарский сыр.

Отец не предполагал, что она начнет разговор таким окольным

путем. Против собственной воли он реагировал на ее слова слишком резко.

— Ты опять за свое! — крикнул он.— То, что делается у Поля, нас не касается. А кроме того, так ты говоришь, а...

Отец замолчал. Это была ошибка. Он это понял, и ответ жены резанул его, как ножом.

— До сих пор простительно было сомневаться. Но теперь, когда он спелся с петеновской милицией, он сможет спокойно спекулировать на черном рынке. Никто с него не спросит... Его грузовики без бензина не останутся. А что отец должен выбиваться из сил, перевозить сучья на тележке, на это ему наплевать!

Она говорила все громче и громче и вдруг замолчала. Отец почувствовал, что бледнеет. К горлу подступила тошнота, он едва сдержался, чтобы не выйти, хлопнув дверью. Но подумал, что это было бы глупо. Жена может пойти за ним, они продолжали бы ссориться в саду, и соседи бы услыхали. Ему было тяжело. И не только из-за этих криков, нет, главным образом потому, что ему казалось несправедливым так нападать на его сына. В конце концов, не он один стал на сторону правительства Виши. Можно ли с уверенностью утверждать, что те, кто так поступил, неправы? Отец достаточно пострадал от войны и ненавидел немцев,— но что сказать об англичанах, которые бомбят французские города? Он уже давно отказался от мысли становиться на чью-либо сторону. Не очень-то он разбирается в создавшейся обстановке, у него свои заботы.

— Тебе уже сказано, что я не хочу больше слышать эти разговоры,— сказал он решительным тоном.

— Пожалуйста, потише! Мне все уши прожужжали, что Жюльен дезертировал. Не тебе требовать, чтобы я молчала.

Отец вздохнул:

— В семьях, где дети от двух браков, родители всегда воюют. А мы хотим, чтобы народы жили в мире друг с другом.

— Не старайся напрасно, все, что надо, выскажу.

Неожиданно он почувствовал, что гнев его утихает, уступает место бесконечной усталости, не связанной с утренней работой, хотя она и потребовала напряжения всех его сил.

— Ничего я не стараюсь,— пробормотал он.— Знаю, что последнее слово всегда останется за тобой.

Голос у него был совсем слабый. Матери, вероятно, стало его жаль, она как будто проглотила слова, готовые сорваться с языка. Кашлянула, на минутку замялась, затем облокотилась о стол, покачала головой и, болезненно сморщившись, сказала:

— Ты прав, не стоит ворошить всю эту грязь. Но все-таки признайся, что не очень-то приятно мне было сегодня утром.

Он только поднял руки и снова уронил их на клеенку, тяжело вздохнув.

— Бедная ты моя, бедная. Но что тут сделаешь?

— Ничего. Ничего тут не сделаешь, остается молча нести свой позор, надеясь, что это не приведет к еще худшему.

— Ну, что ты, к чему это может привести?

Она посмотрела ему в глаза, в ее взгляде как будто снова сверкнул гнев, и он пожалел о своем вопросе. Однако жена пояснила, не возвышая голоса:

— Когда мосье Робен был тут, когда он говорил о тех, кого расстреляли в Безансоне, ты не заметил, что он словно бы замялся и не договорил до конца?

— Что-то я не понимаю,— признался отец.

— Знаешь, кто их задержал?

— Откуда мне знать?

— Ну, так вот, их арестовали не немцы. А французы... петеновская милиция...

По движению ее губ отец понял, что она остановилась, не докончив фразы. Должно быть, она удержалась и не прибавила: «Такие, как те, что сегодня утром были с Полем». Он был благодарен, что она сумела вовремя сдержаться. Она его никогда не обижала ради удовольствия обидеть, это правда. Если она вскипела, то, должно быть, потому, что сцена у табачной лавки уж очень ее расстроила. И верно: чего ради Поль лезет куда не надо? Раз занялся коммерцией, нечего мешаться в политику. И нечего винить мать. Неужели Поль действительно так с ней говорил? Отцу захотелось спросить жену, что сказал Поль, когда она ушла, не купив фотографии, но он побоялся вызвать новую вспышку. Он просто сказал:

— Напрасно он так поступил. Но и ты напрасно взъелась за это на меня.

— Это был такой удар!

Отец подумал, что она сейчас расплачется, а ее слез он боялся не меньше, чем ее гнева.

— Дрова дались тебе слишком тяжело,— сказал он.— И я тоже выдохся. Если мы собираемся завтра на вырубку, надо немного отдохнуть.

— Ступай наверх. Ты же знаешь, что я никогда не сплю днем.

Отец мечтал о минуте, когда он, наконец, сможет уйти наверх, но так, чтобы не казалось, будто он бежит от жены, а теперь, когда эта минута наступила, у него не было сил встать со стула. Он смотрел на жену. Она была тут, рядом, такая же усталая, как и он, и, наверно, такая же несчастная. О чем она думает? Обычно, когда они кончали есть, мать вставала, убирала со стола, мыла посуду. А сейчас она не двинулась с места, словно придавленная молчанием, которое сгущалось, заполняло комнату, сквозь стены просачивалось наружу, обволакивало дом и изливалось на город. Неужели они так и будут сидеть, оцепенев от горя, тяжесть которого снести труднее, чем бремя предстоящей работы?

Отец глубоко вздохнул, отодвинул стул и медленно встал.

— Если я случайно просплю, разбуди меня в четыре часа, надо смазать тележку до того, как за ней заедут. А потом я приготовлю веревки и наточу садовый нож.

— Ах, Гастон, я думаю, нам, пожалуй, не следовало соглашаться, тебе уже не под силу такая работа.

Отец вдруг почувствовал облегчение. Работа опять выступала на первый план. Во всяком случае, она не так тягостна, как все остальное.

— Эх, сколько бы мы ни наработали, все-таки это лучше, чем ничего.

Он пошел к лестнице. Уже положив руку на перила, он вдруг увидел шляпу жены, висевшую там на шишечке.

— Отнести твою шляпу в спальню? — спросил он.

— Нет,— сказала она.— Оставь ее тут. В шесть часов я пойду за табаком. Самые нетерпеливые уже получили. Народу будет меньше, чем утром.

7

У папаши Дюбуа с тех времен, когда он был пекарем, сохранилась привычка спать после обеда. Он не изменял ей всю теплую пору года, предпочитая вставать со светом и работать дотемна. Но сегодня ему не удавалось заснуть. Он задремывал на несколько мгновений и тут же просыпался от неприятного ощущения, будто он только что был на дне

узкого, темного колодца. Ставни были чуть приоткрыты, и в спальню проникал унылый свет, тусклый отблеск которого ложился на зеленую металлическую перекладину кровати. Полузакрыв глаза, утонув в двух подушках, отец глядел на этот отблеск. И по мере того, как смыкались его веки, отблеск этот становился все более расплывчатым. Теперь усталость походила на стоячую воду, но отец знал: как только он встанет, вода всколыхнется и со дна подымется муть.

Жена, должно быть, на огороде. Вероятно, очищает грядки, которые он решил вскопать и засеять до холодов. Должно быть, она думает о Поле и о дурацкой утренней стычке. Она всегда недолюбливала его сына, да и тот тоже не очень ее любил. Это верно. Но злым по отношению к ней Поль никогда не был. Он жил своей жизнью, вот и все! Ну, конечно, ему не так трудно с едой, как им. Но ведь это естественно. Его торговля процветает. Он умеет устраивать свои дела. Нельзя же за это на него нападать! Он не помогает отцу? А Жюльен разве хоть раз о них подумал? Он хоть раз пошевелил пальцем, чтобы им помочь? А в двадцать лет ты уже мужчина. Мать его защищает. Она его любит — ему во вред. Вечно она его баловала. Правда, мать очень добра. Может, даже слишком добра ко всем, но сына она любит слепой любовью и потому бывает иной раз несправедлива. Когда она сердится, она всегда винит его, мужа. А при чем тут он? Ровно ни при чем! Он работает и никого ни о чем не просит. Он изнашивается, работая не покладая рук, так же, как изнашивается его лопата, из года в год вскапывая и перекапывая все ту же землю. С двенадцати лет он уже был ломовой лошадью. Лошадью, работающей, чтобы быть сытой, и только. Он начал вместе с отцом, и с тех пор, как надел этот хомут, так из него и не вылезает. За всю жизнь у него было только два хороших года — когда он отбывал воинскую повинность. Он призыва 93-го года. Ему еще повезло: он вытянул хороший номер — всего два года службы в 44-м пехотном полку. Его отправили в Жуэнвиль, потому что он был самым лучшим гимнастом в полку. Он мог бы остаться на сверхсрочной. Стать инструктором. На такой работе здоровья не испортишь, так и дослужил бы спокойно до пенсии. Он об этом подумывал, но умер отец, и выбора не было. Мать осталась одна. Как только он пришел из армии, сразу же принялся печь и развозить хлеб... Каторжная работа, да! С тех пор он не знал отдыха. Никогда не жил, как хотел,— за него распоряжалась работа. Жизнь шла на поводу у работы, и обе они крепко держали его, держали своими повседневными заботами; так проходил год за годом, принося одни только неприятные сюрпризы. И все же он умел найти радость в работе. Если, вспоминая молодые годы, он о чем и жалел, так прежде всего о долгих ночах, проведенных в пекарне, когда он выпекал хлеб, за которым приходили издалека. А по воскресеньям — бриоши! Ему вдруг почудилось, что спальня наполняется горячим и вкусным духом, идущим из печи, когда оттуда вынимают золотистые крендели, что пекут на толстой бумаге, от которой, обжигая пальцы, их отлепляют женщины. У него потекли слюнки. Он никогда не был чревоугодником, но одна мысль о тогдашнем хлебе и тогдашних бриошах взволновала его. Разве бы кто посмел сказать ему в то время, что наступит день, когда в его печи будут выпекать хлеб из отрубей и опилок? Теперь он радовался, что уже не булочник. У себя на огороде он по крайней мере выращивает настоящие овощи и в саду собирает настоящие плоды. Если бы он пек эту серую замазку и продавал ее вместо хлеба, он просто умер бы со стыда.

Последнее слово воскресило в нем воспоминание о том, что говорила жена об его сыне Поле.

Выходит, он, отец, придает больше значения своей работе, чем тому, что, возможно, делает его сын? Он почувствовал прилив гнева и задал

себе вопрос — уж не злится ли он главным образом сам на себя? Ну и что же! Что тут плохого — любить свое дело? Он всегда отдавался работе с увлечением. Никто не мог его ни в чем упрекнуть. Многие ли булочники могут похвалиться тем же?

Случалось, к нему поступали подмастерья от других хозяев — они смеялись ему в лицо, потому что он не терпел надувательства даже в малом. Такие подмастерья у него не уживались. Раз ты честен, так уж будь честен во всем!

Конечно, другие разбогатели, плутуя на чем угодно, обманывая людей. Сейчас они купаются в золоте, им наплевать на войну и зимние холода. Честность, правда, не заменит тебе хлеба и дров, но все же приятно сознавать, что ты прожил до семидесяти лет и не задолжал никому ни сантима. А вот если бы все, кто остался ему должен, хотя бы за булку, пришли сюда расплатиться, в саду было бы негде повернуться. Иногда случается встретить своих должников на улице. Есть среди них и такие, что чаще торчат в церкви, чем в кафе, и слывут образцом добродетели. А он и без церкви всю жизнь шел прямым путем и на окольные никогда не сбивался. Получалось это как-то само собой, потому что ему просто никогда не приходило в голову поступать иначе.

А сейчас. Какой он? Устал до изнеможения, вечно озабочен. Какой он сейчас? Не может заснуть, а сон вдохнул бы новые силы в его измученное тело, силы, которые ему нужны, чтобы еще какое-то время просуществовать, не сворачивая с прямого пути; просуществовать самостоятельно, как это было всегда, ни от кого не ожидая помощи, на которую он никогда всерьез и не рассчитывал.

8

В шесть часов вечера грузовик лесоторговца остановился перед их садом. Как только он отъехал, увозя тележку на вырубку, где она должна была простоять ночь без присмотра, отец забеспокоился.

— Мы не подумали,— сказал он жене,— но мне следовало поехать с ними, раз там есть барак, где можно переночевать.

— Нет,— возразила она,— ты бы простудился. Барак, верно, дрянной, его продувает насквозь.

— Что там ни говори, оставить тележку в лесу...

— Ах, Гастон, Гастон, чего ты волнуешься из-за тележки. Ну, кому охота возиться с такой рухлядью...

Мать уже надела шляпу и взяла сумку.

— Пойду за табаком,— сказала она.— И еще чего-нибудь куплю.

— Хорошо. А я займусь кроликами.

Он проводил ее взглядом. Странная все-таки она женщина. Волнуется по пустякам, а когда коснется серьезного дела, это ее нисколько не беспокоит. Он и сам знает, что тележка у него далеко не новая. Почти одного возраста с ним. Но ничего, еще послужит. Крепкая, не очень тяжелая, а когда поставишь боковые стенки, ее можно здорово нагрузить сеном или вязанками хвороста. Мать, конечно, неправа, если думает, что тележку можно без всякого риска оставить на ночь на вырубке, больше чем в пяти километрах от города. На нее любой польстится — и крестьянин и дровосек. Да там еще и веревка. Хорошая, в семь метров длиной. Тугая и прочная. Таких веревок теперь не купишь. Да, конечно, он сплоховал, отправив тележку. Надо было хоть веревку снять. Всегда что-нибудь недодумаешь. Отец чувствовал, что не будет спать спокойно. Он уже и так не уснул днем из-за истории с Полем, и ночью будет опять ворочаться с боку на бок и не спать, а ведь завтра надо подняться чуть свет. Всегда что-нибудь да испортит тебе жизнь!

Он взял мешок, который лежал сложенным на одной из кроличьих клеток у стены дома под небольшим навесом, и пошел к сараю за сеном. В сарае он посмотрел на пустое место, где утром стояла тележка. И теперь его поразило, какое оно пустое,— обычно он не видел его без тележки. Только он ею и пользовался: когда ее не было тут, не было тут и его. Так было уже много лет. Он тащил, она ехала, вместе они проделали немалый путь! Вместе возили на рынок овощи, вместе подымались на склоны холма Монсьель за травой или сеном. Вместе ездили за хворостом, за картошкой, не считая того, что в бытность его булочником они ежедневно доставляли дрова из сарая в пекарню. Никогда до сегодняшнего вечера он не думал так много о своей тележке. Она действительно занимала большое место в его жизни. Если поразмыслить как следует, так она проработала почти столько же, сколько и он. И, как он, никогда не жаловалась. Полсотни лет протаскал он ее за собой, смазывал, подкрашивал, чтобы она не изнашивалась, а тут, не подумав, отпустил ее одну на произвол судьбы в лес, где она простоит всю ночь. Да, действительно, так поступить мог только мальчишка.

Чем больше он думал, тем больше укреплялась в нем мысль, что он навсегда распрощался с тележкой. Завтра утром они отправятся на лесосеку, увидят, что тележка исчезла, будут ее всюду искать и ни с чем вернутся домой. Стоит ли собирать и связывать сучья, если не на чем будет их увезти? Мать, конечно, скажет: «Вот видишь, если бы твой сын перевез вязанки на грузовике, этого бы не случилось. Тележка была бы цела». Да, мать будет торжествовать. И, в сущности, будет права. Он это сознавал. Но разве попросишь оптового торговца бакалейными товарами ради нескольких вязанок оторвать шофера от дела, рискуя угробить машину на вырубке? Если бы он пошел к Полю с такой просьбой, тот, вероятно, ответил бы: «У моих шоферов есть работа поважнее. Вам надо делать, как делают все,— топить углем». Разве Поль может понять, какая у них жизнь? Разве он может подумать, что они боятся расходов на переделку плиты?

Отец принес мешок с сеном, покормил кроликов. Темнота медленно подымалась с земли, а он стоял около дома, поглощенный мыслью о тележке. Машина, должно быть, уже на вырубке. Когда на нее грузили тележку, позвали на помощь подмастерья булочника. Каждый взялся за одно колесо, и вчетвером они с трудом ее подняли, потому что машина у Пико высокая. Тележка хорошая, катится легко, но держать ее на весу — совсем другое дело. Там будет только Пико с приказчиком. Они, правда, обещали осторожно спустить ее на веревке, но они оба еще молоды. Для таких, как они, тележка не бог весть что. Она крепкая, хотя мать и назвала ее рухлядью, но если она сорвется и упадет на одно колесо, тогда, конечно, сломается. Правда, с поломанным колесом никто ее не возьмет,— ну, а ему что делать завтра утром с поломанной тележкой? Уже не говоря о том, что, увидя среди леса поломанную тележку, любой человек может счесть ее брошенной и унести колесо, или тормоз, или боковые стенки, или хотя бы его крепкую семиметровую веревку.

И сказать только, что у него был целый день для раздумья, а он лишь сейчас взвесил все случайности. Когда уже поздно. Тележка, верно, уже в лесу, одна, может, со сломанным колесом или дышлом. Дышло-то у нее не очень крепкое. Болты, на которых оно держится, расшатались. Он забил клинышки, но клинышки, того и гляди, выскочат. Хороши будут они с женой, если нагрузят тележку, а болты подведут!

Нет, эта затея им не по возрасту и не по силам. Они недостаточно подумали, раньше чем ее осуществить. Это может им обойтись дороже, чем уголь и переделка плиты.

Отец медленно дошел до перекрестка двух дорожек и вытащил из

кармана жестянку с табаком, который оставил ему Пико-сын. Он скрутил сигаретку и, раньше чем закурить, подержал ее в губах.

Надвигалась ночь. Тьма растекалась по черным пустым грядкам, обходя кучи ржавых листьев, которые ветер намел за последние дни вдоль грядок. Они казались островками света, позабытыми на земле. Еще не облетевшие персиковые деревья тоже светлели на фоне заволоченного неба. Отец посмотрел на закат.

За холмом Монсьель менее хмурое небо окрасилось в розовый цвет. Не чувствовалось ни малейшего дуновения, но ночью мог подняться северный ветер и разогнать тучи.

9

К тому времени, когда пришла мать, уже совсем стемнело.

— Ужинать придется при свете,— сказал отец.

— Что поделаешь, скорей не управишься. Хотела достать чего-нибудь, чтобы поесть завтра в лесу.

— И достала?

— Да, купила немного паштету и сыру. Возьмем крутые яйца и фрукты.

— Ты бы подогрела на ужин суп, что остался от обеда. Мне неохота наедаться. Я собираюсь рано лечь спать.

— Как хочешь, но тогда надо будет поплотнее поесть завтра утром, перед дорогой!

Они пошли на кухню. Мать спустила висячую керосиновую лампу, зажгла, а отец тем временем затворил ставни и окно. Подкрутив фитиль и подняв лампу, мать затопила плиту и поставила на огонь суп.

— Табак получила? — спросил отец.

— Да, две пачки на твой паек и две на мой. Если бы можно было не трогать одну, я бы попробовала обменять ее на масло.

Отец не ответил. Ему нечего было сказать. Жена имеет полное право распоряжаться тем табаком, что полагается ей. Она не курит, но он знает женщин, которые курят не меньше мужчин. В прошлом месяце Робен дал ему пачку сигарет, может, даст и в этом. С тем, что у него есть в запасе...

Суп на плите завел свою песенку, мать поставила на стол две тарелки, положила две ложки и серый хлеб, от одного вида которого с души воротит.

— Ты позаботилась о хлебе на завтрашний день? — спросил отец.

— Да, уже у меня в сумке. Я с вечера все приготовлю.

— Надо взять вещевой мешок, я положу туда же и садовый нож.

— Пожалуй, все вместе будет тяжеловато.

— Это уж не твоя забота. Ты понесешь моток проволоки.

Отец все время думал о тележке и об этом походе, который теперь представлялся ему настоящим безумием. Однако он не решался ничего сказать, боясь, что мать опять заведет разговор о грузовиках Поля.

Она подала суп, и они молча принялись за еду. По временам отец переставал жевать и прислушивался к ночи. Если подымется северный ветер, дождя можно не бояться.

Они уже доедали суп; тут мать вдруг положила ложку и выпрямилась на стуле.

— Что случилось? — спросил отец.

— Ты ничего не слышал?

— Нет. Это ветер. Значит, будет...

Она перебила его:

— Да нет, это не ветер, кто-то идет.

— Но я запер калитку.

— Верно, кто-нибудь из соседей прошел двором.

— Никогда нет покоя,— проворчал отец.

Он услышал шаги, когда нежданный гость обогнул дом и направился к крыльцу.

— Это не мосье Робен,— сказала мать.— И не мосье Дюреле.

Она встала и пошла к двери. Шаги раздались уже на лестнице.

— Все-таки это кто-то, кто знает, как пройти,— сказал отец.

Он вдруг забеспокоился. Гость в такой час не предвещал ничего хорошего. Он тут же подумал: а вдруг машина лесоторговца свалилась в овраг и кого-то прислали сказать, что тележка разлетелась вдребезги.

Мать открыла дверь в ту минуту, когда гость стоял уже у порога. По ее лицу отец понял, что гость ей неприятен. Сурово нахмурившись, она молча пропустила в кухню Поля.

— Добрый вечер! Я не помешал? — сказал Поль.

— А, это ты,— заметил отец.— Ты прошел двором?

— По вашей милости: вы слишком рано запираете калитку.

По его голосу и по блеску в глазах отец понял, что сын выпил. Он знал, что теперь это случается все чаще и чаще, и это его огорчало. Друзья не раз говорили ему: «Послушай, а ведь твой сын прикладывается к бутылке». Они говорили это шутя, но отец, который за всю свою жизнь ни разу не выпил лишнего, терпеть не мог пьяниц. Только он старался не обращать на их слова внимания. Болтовня!

Как только сын переступил порог, отец понял, что теперь война с матерью возобновится, и у него сжалось сердце, но он тут же позабыл об этом. Он смотрел на сына и думал: «Он пьян. Это точно. Мой сын начал пить. О господи!»

Поль пододвинул стул и сел.

— Доедайте,— сказал он,— суп остынет.

Отец проглотил ложку. Когда мать подошла к столу, Поль спросил:

— Как, мать, может, раньше, чем сесть, поднесете мне стаканчик, а?

Она остановилась и уже собралась идти за вином, но отец крикнул:

— Нет! Ты и без того пьян!

Поль как будто растерялся. Он сморщился, и на его скулах еще резче проступили красные пятна. Отец внимательно пригляделся к сыну и заметил, что белки у него налились кровью. Значит, он действительно выпивает.

Мать все еще не садилась и ждала, словно не зная, как поступить. Отец посмотрел на нее. Только что под влиянием гнева он одернул сына слишком резко. Теперь же он задавал себе вопрос, не было ли это ошибкой. Может, тем самым он заранее признал правоту жены и осудил сына, которого она ненавидит. Поль сдвинул на затылок небольшую коричневую шляпу с приподнятыми полями, обнажив лысеющую голову.

— Благодарю покорно! Если уж отец отказывает мне в стакане вина, значит, дожили! — вздохнул он.

— Я тебе ни в чем не отказываю,— сказал отец,— но ты и так уже много выпил, по тебе видно.

— Если я выпил, так потому, что весь день имел дело с людьми, которые нас угощали.— Он посмотрел на мать.— С людьми, которые не совсем ваших взглядов. Они не хотят продавать Францию англичанам.

Он постепенно повышал голос. Мать, все еще не садясь, повернулась к мужу. Отец был потрясен растерянностью, которую увидел в ее взгляде вместо гнева.

— Замолчи, Поль! — крикнул он — Если ты пришел сюда разводить политику, так лучше ступай проспись!

Голос отца дрожал, и он это чувствовал. Стремясь преодолеть то, что клокотало у него в груди, он глядел то на жену, то на Поля.

— Оставьте меня, наконец, в покое! — крикнул он.— Я, как каторжный, работаю целый день, а тут мне еще отравляют те несколько часов, когда я могу отдохнуть!

Как будто почувствовав, что отец сердится не на него одного, Поль осмелел. Он плотнее уселся на стуле. Сдвинул еще больше на затылок шляпу, окружившую его лицо как бы темным ореолом, и достал из кармана пачку сигарет и зажигалку. Он взял сигарету, постучал ею по краю стола, закурил, затем подтолкнул к отцу скользнувшую по клеенке пачку и заговорил:

— Не затем я пришел, чтобы вам докучать. Я пришел оказать вам услугу, а ты меня встречаешь, как собаку, забравшуюся к тебе в огород.

Отец глядел на пачку сигарет. Он старался удержать руку, которая сама тянулась к пачке. Его взгляд описывал треугольник — от синей пачки к лицу сына, а затем к лицу жены.

— Ты бросил курить? — спросил Поль.

— Нет, курю, но вечером, знаешь...

— Бери, бери.

Отец как бы нехотя взял сигарету, разломил ее на две части, достал книжечку папиросной бумаги.

— Я сам скручиваю, эта бумага все-таки не такая плохая,— сказал он, высыпая табак.

Мать, так и не присев, убрала тарелки, даже не доев супа. Вернувшись, она поставила на стол наполовину пустую бутылку вина и два стакана. Отец следил за ней. Неужели она снисходительнее, чем он? Или это потому, что Поль сказал, будто пришел оказать им услугу? Что он имеет в виду? Может, до него дошло, что они собрались за сучьями, и он предложит приехать за ними на грузовике? Если это так, мать не сможет уже говорить, что Поль и Мишлина эгоисты.

Отец скрутил сигаретку, закурил. Затянулся. За этот день он своего пайка не тронул.

Мать стала разливать вино. Она наполнила стакан Поля наполовину.

— Мне одну каплю,— сказал отец.— Ты же знаешь, я никогда не пью без еды, особенно вечером.

— Ты неправ,— заметил Поль.— Бывают дни, когда, не будь вина для поддержки сил...

— Знаешь, мне неприятно, когда ты так говоришь,— сказал отец.— За каким делом ты пожаловал к нам?

Мать поставила на стол небольшую медную пепельницу, которую отец смастерил в 1916 году из гильзы. Она села, но как-то бочком, словно боясь, что стул не выдержит ее веса. Поль выпил половину налитого ему вина, затем выпустил длинную струю дыма.

— Я пришел поговорить о том, что произошло сегодня утром...

— Послушайте...

Мать хотела его прервать, но вмешался отец.

— Дай ему сказать,— оборвал он ее.

Он видел, что мать с трудом сдерживается — ее так и подмывает заговорить и вскочить со стула.

— Так вот,— продолжал Поль.— В обед я все рассказал Мишлине. Она на меня напустилась. Говорит: «Я знаю мать, ей это больше всех неприятно. Нечего попрекать ее тем, что Жюльен поступил как дурак».

На этот раз мать привстала со стула, выпрямилась, и отец понял, что не сможет помешать ей.

— Жюльен никаких глупостей не выкидывал! — крикнула она.— Он записался в «армию перемирия», он считал, что так надо. Но в тот день,

когда немцы вступили в Свободную зону и он понял, что его могут отправить в лагерь или заставить служить немцам, он ушел. Точка, все.

Не успела она замолчать, как Поль расхохотался.

— Ушел,— сказал он.— Вы умеете подбирать слова! Он дезертировал, а это совсем другое дело. Дезертировал, вероятно, чтобы пробраться в Англию, как это делают многие дураки, не зная, что их там ждет.

— Если вы знаете, где он,— вспылила мать,— тогда вам повезло! Я, его мать, и то не знаю!

Голос ее оборвался. Она не заплакала, но, должно быть, у нее сжалось горло, на глазах выступили слезы. Последовало минутное молчание. Поль, верно, искал ответные слова в винных парах, и отец воспользовался паузой.

— Я думал, ты пришел оказать нам услугу,— вставил он.

— Вот именно. Речь идет о Жюльене. Если он еще во Франции, не мешало бы ему явиться самому, не дожидаясь, пока его сцапает полиция. Это было бы лучше и для него и для вас.

Мать встала. Она дрожала всем телом, руки, которые она положила на стол, казалось, сейчас вцепятся Полю в горло. Отец испугался. Он не успел вставить ни слова.

— Если вы пришли за тем, чтобы я выдала сына петеновской милиции,— крикнула она,— пусть меня арестуют, пусть меня расстреляют, вы ничего от меня не добьетесь!

На этот раз она подавила слезы. Ее лицо выражало только сильный гнев. Она повернулась к отцу:

— И ты позволяешь ему говорить такое у тебя в доме! Ты позволяешь ему угрожать нам и не пытаешься его остановить!

Отец чувствовал себя приниженным. Потерянным. Больным и совсем без сил. Ему хотелось быть далеко, на другом конце земли или даже под землей, где человек обретает, наконец, покой. Что сделать? Что сказать?

Мать снова села. Она была без сил, руки, которые она уронила на колени, все еще дрожали, взгляд померк.

— Вы меня не поняли,— сказал Поль спокойным, почти ласковым тоном.— Вы отлично знаете, что Жюльена ищут и что никто в этом не виноват. Можете считать, что я его ненавижу, это ваше дело. Не стану доказывать, что это не так, вас все равно не переубедить,— но неужели вы думаете, что мне доставит удовольствие его арест? Неужели вы полагаете, что это не повредит мне не меньше, чем вам?

— Иначе говоря, вы о себе думаете,— вздохнула мать.

— Ты неправа,— тихо заметил отец.

Поль остановил его движением руки.

— Предположим, что я думаю только об отце и о себе, и все же, если еще можно спасти Жюльена от тюрьмы, лучше не дожидаться, пока его арестуют. Надо, чтобы он сам пришел и сказал: «Я поступил глупо, признаю, меня на это подбили...» В общем, я, конечно, не знаю, но можно найти способ его выручить.

Отец посмотрел на мать, которая повернулась к нему. Она совсем растерялась. Поль, должно быть, почувствовал свое преимущество. Он снова заговорил:

— Оставим в стороне политику, но вам не кажется, что все-таки лучше быть на легальном положении?

Старики все еще смотрели друг на друга.

— Поверьте, лучше посоветовать ему вернуться, пока не поздно,— подождав немного, заключил Поль.

— Но, уверяю вас, что мы не знаем, где он,— сказала мать.

— Не будете же вы утверждать, что он ни разу не дал вам знать о себе?

Отец хотел было сказать, что в августе они получили открытку из Тулона, без обратного адреса, где было написано: «Все в порядке» — и ничего больше. С тех пор наступило молчание. Бесконечное молчание, которое терзало их обоих. Но он удержался и не стал говорить. Взгляд, брошенный на него женой, запрещал ему вымолвить хотя бы слово.

— В конце концов, вам самим решать,— вздохнул Поль.

— Но раз тебе говорят, что нам ничего неизвестно,— сказал отец.— Неужели ты думаешь, что нам приятно не знать даже, где он?

Поль недоверчиво усмехнулся. Он поднял руку, требуя, чтобы они замолчали, и сказал с видом превосходства, возмутившим отца:

— Я выполнил свой долг. Предупредил вас. Теперь меня никто не сможет упрекнуть, что я равнодушен к судьбе Жюльена. Он мне брат только по отцу, но это еще не значит, что я дам ему погибнуть.

Он поднялся, взял со стола свою пачку сигарет и зажигалку, надел шляпу и в заключение прибавил:

— Так, это все, что я хотел вам сказать.

Он уже направился к двери.

— Постой, сейчас возьму ключ и провожу тебя до калитки,— сказал отец.— Это проще, чем идти двором.

Мать отворила дверь. Их взгляды встретились, и отец понял, что она встревожена. Поль был уже на площадке, и отец сказал громко — так, чтобы тот мог его услышать:

— Видишь, все воображают, что мы получаем от него весточки. А ведь ничего, ничего нет. Знать бы хоть, где он!

10

Ночь была темная. Закрыв дверь, отец нащупал рукой железные перила. Он услышал, что Поль остановился, ища ступеньку.

— Осторожней,— сказал он.— Ничего не видно.

— Хоть я и редко у вас бываю, но дорогу все-таки помню.

Внизу отец задел сына плечом. В лицо ему пахнуло винным перегаром. Несколько шагов они прошли молча, потом отец, поколебавшись, спросил:

— Почему ты так напиваешься? Это вредно для здоровья.

— Со мной это не часто случается. Но сегодня мы целый день бегали по городу, чтобы пристроить эти самые фотографии.

— Я как раз хотел с тобой об этом поговорить. Ты считаешь, что твое место именно там?

Сын остановился. Остановился и он. Теперь, когда его глаза привыкли к темноте, он начал различать лицо сына — светлое пятно под темной шляпой.

— Что?! — спросил Поль.— Ты, может быть, за де Голля и за революцию?

— Я ни за кого. Я за то, чтобы как-нибудь прожить, и за то, чтобы меня оставили в покое.

Они говорили резким тоном, но не очень повышая голос.

— Вот именно, ты проживешь спокойно, если будешь с теми, на чьей стороне сила.

— А ты думаешь, что сила всегда будет на их стороне? Посмотри, что делается в Италии.

— В Италии? Ну и что? Ты отлично помнишь, как в семнадцатом году итальяшки удирали под Капоретто! Гитлер напрасно поверил им. Их армия развалилась при первом же серьезном ударе. Но эсэсовцы в два счета сбросят американцев в море.

— В семнадцатом году тоже были такие, кто не верил в помощь Америки,— заметил отец.— Однако...

Поль перебил его:

— Не думаешь же ты, что Сталин договорится с Рузвельтом и Черчиллем? Рано или поздно они передерутся, и тогда Гитлер наведет порядок — на наше счастье, не то коммунисты быстро сядут нам на шею. Тогда ты увидишь, что станется с твоими домишками и сбережениями.

Угроза коммунизма всегда пугала отца. Во времена Народного фронта он дрожал за свои сбережения, и слова сына пробудили в нем старый страх.

— Знаешь, не такой уж я крупный капиталист,— сказал он.

Поль засмеялся каким-то скрипучим, неприятным смехом.

— Крупный или некрупный — это дела не меняет. Отберут все. Все, что имеешь. И будешь доживать свой век в богадельне.

— Иногда я думаю: а может, тем, кто там, живется счастливее, чем мне. По крайней мере, им всегда обеспечен суп, им не приходится лезть из кожи вон и терпеть лишения.

Поль достал пачку сигарет. Отец угадал его движение.

— Вот хотя бы и табак...— сказал он.

— Бери,— сказал Поль, протягивая ему пачку.— Бери всю.

Отец поблагодарил. Нет, Поль не такой уж эгоист, как утверждает мать. Ему хотелось забросить удочку насчет дров, но он не решился. Он удовольствовался тем, что, вынимая из пачки сигарету, сказал:

— Понимаешь, таким старикам, как мы, сейчас не очень-то легко. Деньги теперь ничего не стоят.

Он нагнулся к Полю, тот щелкнул зажигалкой. На мгновение их лица оказались совсем рядом, прикрытые, будто крышей, полями шляпы и козырьком каскетки и отгороженные от ночной темноты ладонями, которыми они с двух сторон защищали огонек. Зажигалка погасла, и вокруг опять встала черная пустота, в которой на миг удержалось воспоминание о вспышке яркого света.

— Если тебе нужны деньги,— сказал сын,— продай один из домов.

— Продать дом?

— Ты так мало получаешь с квартирантов, продай и будешь есть досыта.

Отец был сражен. Все равно как если бы сын изо всех сил ударил его под ложечку.

— Господи боже мой! И это ты, ты даешь мне такой совет! — вздохнул он.— Ведь если я правильно понял, тебе наплевать, что все уйдет в чужие руки?

— Нет, не наплевать. Но если у вас ничего нет...

Отец закашлялся, перевел дух и медленно, останавливаясь после каждого слова, сказал:

— Капиталов у меня нет. Но у меня еще есть две руки. Вот уже шестьдесят лет они меня кормят. Прокормят и до смерти.

Отец и сын пошли дальше. Сделав молча несколько шагов, Поль сказал как бы между прочим:

— Сам знаешь, будете нуждаться, мы вас не оставим. Но если в один прекрасный день ты захочешь продать какой-нибудь дом, уж так или иначе можно будет устроить, чтобы он не ушел из семьи.

Отец не ответил. Он отлично понял, что хотел сказать Поль, но это предложение захватило его врасплох. Не так-то легко решиться продать, даже сыну, то, что строил и отстраивал всю жизнь. А потом есть мать, есть Жюльен.

Они дошли до калитки, и отец ощупью стал искать замок. Он открыл калитку и посторонился, пропуская сына.

— Во всяком случае, то, что я говорил о Жюльене, остается в силе,— сказал Поль уже за калиткой.— Если вы можете связаться с ним, постарайтесь, чтобы он вернулся как можно скорее.

— Конечно, если бы мы знали...

— У меня нет оснований не верить тебе,— перебил Поль,— но согласись, его исчезновение не может не показаться странным. Сам понимаешь, если полиция решит его разыскивать...

Поль не закончил. Отец почувствовал, что сын удаляется. Уже сделав несколько шагов по тротуару, Поль обернулся и прибавил:

— Впрочем, если бы он вам писал, полиция бы знала. За вашей перепиской, конечно, следят.

11

Когда, затушив пальцами сигарету и ощупью положив окурок в жестянку с табаком, отец вернулся на кухню, мать уже приготовила вещевой мешок для завтрашнего похода.

— Осталось только положить крутые яйца да фрукты,— сказала она.— Ты мне напомнишь, но лучше оставить их на ночь в погребе.

— Садовый нож завернула в газету? — спросил отец.

— Ну, конечно. А на ноги что наденешь?

— Башмаки, что покрепче.

— Ты давно уж не носил их. Не боишься, что будут жать?

— Нет, я надевал их на две пары носков.

— Верно, но это было зимой. А когда тепло, ноги опухают.

— А ты что наденешь, при твоих-то мозолях?

— У меня выбора нет: кроме сабо и уличных туфель осталась только одна крепкая пара.

— Не натрешь ноги?

— Думаю, не натру.

Отец искал, что бы еще сказать. Он был рад, что разговор зашел о завтрашнем походе и, таким образом, щекотливая тема не будет затронута.

— Нечего канителиться, пора спать,— не находя о чем еще спросить, сказал он.

— Ступай, я разденусь и тоже приду.

Его удивило, что она ни единым словом не обмолвилась о поведении Поля. Он поспешил взять из чулана под лестницей ночной горшок и, уже поднимаясь наверх, сказал:

— Мы, конечно, и так проснемся, но, кто его знает, все-таки лучше взять будильник.

Мать кивнула, и отец стал подыматься по лестнице, которая уходила в темноту. В спальне он поставил горшок под кровать на его постоянное место — у левой ножки и, закрыв ставни, разделся в темноте. Раз жена ничего не сказала внизу, может быть, она собирается поговорить, когда они улягутся. Он боялся этого разговора. Лучше всего было бы сразу заснуть, но он знал, что это невозможно. Слишком много случилось за этот день. Все внутри у него кипело, словно море, беспрерывно вздымаемое бурей. Он думал о дровах, убранных в сарай, о том, что их никак не хватит до конца зимы; он думал о тележке, увезенной на грузовике; о неожиданном визите сына; о другом, отсутствующем своем сыне, о котором хотелось хотя бы знать — умер он или жив. Все путалось, прибавлялось к накопившейся за день усталости, слишком тяжелой и потому не дававшей забыться. Он чувствовал, что выдохся, но ничто не предвещало быстрого наступления спасительного сна.

Мать пришла в спальню и молча улеглась. Наступила долгая тишина, слышалось только дыхание да скрип матраса, когда кто-нибудь из них ворочался, пытаясь найти более удобное положение для наболевшего тела.

Отец старался не шевелиться. Может, если он не будет двигаться, сон придет скорее, может, хотя бы, мать решит, что он задремал. Надо во что бы то ни стало избежать разговора. Отец знал: раз начавшись, разговор неизвестно когда закончится либо приведет к ссоре. Он хотел уснуть. Отдохнуть, уйти от всего, что не было его жизнью, от всего, что не связано с его работой. Он долго раздумывал над словами Поля: «Продай один из домов, и будешь есть досыта». Извольте радоваться! В семьдесят лет продать свое добро, чтобы только просуществовать! И это говорит его сын! А может, Поль действительно думает купить у него один из домов? Но для чего? Чтобы поместить капитал? Значит, правда, что он загребает деньги лопатой. Тогда мать права. Ну, что ж, если Поль здорово зарабатывает, тем лучше для него. Краснеть тут нечего, особенно если он ведет свои дела честно. Он, отец, тоже знавал времена, довольно благоприятные для торговли, так что же — упрекать его за это, что ли? Нет, конечно. Сейчас времена более тяжелые. Поль старается приспособиться, и он прав.

Его обвиняют в том, что он спекулирует на черном рынке. Но кто может похвалиться, что никогда не спекулировал? Кто может бросить в него камень в наше время, когда всякий думает, как бы уцелеть! Злые языки утверждают, что он продает и немцам. Ну и что же? Как можно отказать и не отпустить им товара, раз они за него платят? В прошлом году, когда умерло столько немецких раненых из тех, что лежали в Педагогическом, оттуда пришли за цветами. Мать весь день составляла букеты. Разве можно было отказать? И насчет этой петеновской милиции — господин Робен очень ее бранит, но господин Робен бранит все, что исходит от правительства. В конце концов это просто новый вид полиции. Кто его знает, может, ей приписывают куда больше преступлений, чем она успела совершить! Что у них, в Лоне, там служат не самые лучшие люди, это, конечно, верно. Есть со всячинкой. Но откуда знает господин Робен, какие люди в Сопротивлении? Ведь каждый-то колокол на свой лад звонит. Да Поль и не служит в этой милиции. Если петеновцы попросили его пойти вместе с ними продавать фото Дарнана, он, может, не мог им отказать, так же, как мать не могла отказать немцам в цветах. Нет, право, все это не так уж серьезно. Поль не подлец. И не такой эгоист, как утверждает мать. Доказательство — почти целая пачка сигарет, которую Поль ему дал. И дал не для того, чтобы произвести впечатление на мать, раз это было не при ней.

Чем больше отец раздумывал, тем больше жалел, что не потолковал с Полем о дровах. Уж, конечно, сын предложил бы ему свой грузовик. И если отец не попросил, то виновата в конечном счете жена. И всегда она так: не знает, а говорит. Вбила себе в голову, что Поль негодяй. А теперь, может, тележку из-за нее украли. Или разбили, или бросили в лесу. По слухам, там, в лесу, скрываются молодые ребята, уклоняющиеся от трудовой повинности, они тоже могут украсть тележку. И, конечно, не для того, чтобы ею пользоваться, а чтобы продать крестьянам и купить на эти деньги вина.

Мать приподнялась, чтобы лечь поудобнее. Отец, старавшийся не шевелиться, почувствовал, что у него затекла правая нога. Он повернулся на другой бок.

— Ты не спишь? — спросила мать.

— Нет, не сплю.

— Попробуй заснуть,— сказала она,— не то завтра будет трудно лезть в гору.

Отец вздохнул. Теперь она уже не заведет разговора. Он еще поворочался, удобнее примостил под голову подушки и, немного успокоившись, наконец заснул.

12

Проснувшись, отец сразу же нашарил зажигалку, которую всегда клал на стул возле кровати. Как только он зажег ее, мать сказала:

— Смотришь, который час? Только что пробило четыре.

Да, ей повезло, она отсюда, сверху слышит бой часов, что висят в столовой.

Они поднялись одновременно; отец поспешил выйти, чтоб поглядеть, какая погода. Небо было ясное, усеянное звездами. В листве деревьев пел северный ветер.

Когда отец вошел в кухню, там уже вкусно пахло кофе.

— Я заварила настоящий, у меня еще осталось немного,— сказала мать.— То, что не допьем, захватим с собой в термосе.

Отец потирал свои шершавые руки, онемевшие за ночь.

— Правильно сделала. Приятно будет выпить кофе после еды всухомятку.

В это утро он был не такой усталый, как накануне, он радовался предстоящему дню, который обещал быть хорошим, радовался, что они пойдут в лес, где он не был уже несколько лет. До войны он иногда ходил туда по грибы, подымался до первого плато, и теперь, увидя на столе вещевой мешок, а на перилах внутренней лестницы свою палку, он на мгновение почувствовал себя помолодевшим, и ему захотелось вновь пережить те минуты, которые оставили приятный след в его жизни. У него не бывало отпусков, продолжительных досугов, он знал только простые радости, скажем, послеобеденные воскресные прогулки на Монсьель. Школьные праздники. Или поход за грибами вместе с приятелями. Тогда они позволяли себе большую роскошь — провести часок-другой в деревенском трактире и поиграть там в кегли, пока им готовят омлет. Это, конечно, не бог весть что, но когда эти воспоминания вдруг всплывали, так, из-за пустяка — из-за вещевого мешка, палки или пары башмаков,— ему становилось как-то теплее, он ощущал прилив сил.

Поев и выпив кофе, оставив кроликам хороший запас сена, заперев двери погреба и сарая, закрыв ставни на окнах, старики Дюбуа пустились в путь.

— Вот уже много лет, как мы не оставляли дом без присмотра на целый день,— заметил отец, запирая калитку на ключ.

— А что с ним случится, с домом-то?

— Ничего не случится, но все-таки...

— Я сказала мадемуазель Марте, что мы уходим на весь день. Она приглядит.

Отец посмотрел на еще закрытые ставни во втором этаже того дома, что напротив. Мадемуазель Марта часами просиживала у окна, глядя на улицу и во двор. За такое безделье отец ее недолюбливал. Он не понимал, как женщина, даже пожилая, может целый день оставаться праздной. Для него жизнь без работы была лишена смысла. Он не любил чувствовать на себе этот взгляд, который преследовал его, куда бы он ни шел, и как будто говорил: «Ваша работа меня утомляет, мосье Дюбуа!» Однако сегодня ему стало как-то спокойнее при мысли, что никто не может войти к ним, не будучи замеченным мадемуазель Мартой.

Старики дружно шагали по Школьной улице. Палка с железным наконечником и подбитые гвоздями башмаки отца стучали по асфальту. Еще только-только рассветало. На улице не было ни души, они прошли, не оборачиваясь, мимо Педагогического училища, где в будке стоял на часах немецкий солдат.

Отец чувствовал, как при каждом шаге мешок ударяет его по спине.

Он почти не ощущал веса палки, и, когда они миновали город и парк с купальным бассейном, он удивился, что не чувствует одышки. Они молча шли ровным шагом посреди шоссе. Такая прогулка еще до восхода солнца — одно удовольствие. Дышать свежим воздухом было приятно, и по дороге в Паннесьер в душе отца зазвучал старый марш полка Самбры-и-Маазы. Он невольно пошел быстрее, с каждым шагом все сильней размахивая палкой.

— Ты идешь слишком быстро,— сказала мать.

— Уже устала?

— Нет, но при такой ходьбе ты запыхаешься, и придется остановиться.

Он замедлил шаг и посмотрел на жену. У нее уже было усталое лицо. Левой рукой она вцепилась в моток проволоки, который надела на плечо. Правой быстрым движением поправляла время от времени бандаж на животе.

— Ты бы передохнула,— предложил он.— Дорогу ты знаешь. Тебе надо прийти туда к полудню, шла бы спокойно, как на прогулке.

Она отрицательно покачала головой.

— Дай сюда проволоку,— сказал он.

— Нет, мне не тяжело.

Дорога, по которой они теперь поднимались, вначале вилась вверх довольно отлого. Отец смотрел на светлевшее впереди совершенно чистое небо, на котором вырисовывался лесистый склон, где в кружеве листьев играл ветер. Вскоре они уже были выше оставшегося позади города. Затем слева, книзу от них, стали видны деревни. Отец старался не говорить. Ему казалось, что дышать стало труднее. Все же он шел в том же темпе, только чаще и чаще оглядывался на жену, подстерегая выражение усталости на ее лице.

Когда они, миновав деревню Паннесьер, добрались до поворота, откуда была видна долина внизу, в лицо им ударил яркий свет. Из-за леса вынырнуло солнце. Отец надвинул на лоб каскетку, обнажив сзади лысину. Ощущение получилось такое, словно ему к затылку приложили холодную влажную тряпку. Он даже не заметил, что весь вспотел.

— Давай постоим минутку,— сказал он.

Жена посмотрела на него.

— Как хочешь,— не сразу ответила она.

— Все равно мне надо помочиться.

Не то чтобы ему хотелось, но под этим предлогом он мог не признаваться самому себе, что ему нужно отдохнуть. Он повернулся к лесу, а мать присела на камень у обочины.

— В четырнадцатом году, когда на плато проходили маневры, мы всегда делали первую остановку здесь,— пояснил он, возвратясь.— Затем подымались до Веви. А потом, случалось...

Она перебила его:

— Не говори столько. Отдышись. И вытри пот, ты весь мокрый.

Он снял каскетку и обтер лысину платком.

— Надо было захватить для тебя фуфайку,— сказала мать.— Придя на место, ты бы переоделся.

— Не беспокойся. В лесу холодно не будет.

Действительно, как только они сошли с проезжей дороги на лесную — сразу потеплело, а на свежих вырубках солнце припекало, как летом. Дорога была неровная, местами скалистая, с выбоинами, местами прорезанная колеями, из-под ног катились камни. Она шла то вверх, то опять вниз, задерживалась на небольшом косогоре или в лощине, снова шла вниз и снова вверх. Идти становилось трудно, отцу несколько раз приходилось останавливаться, чтобы откашляться и сплюнуть мокроту.

— Видишь, мы идем слишком быстро,— заметила мать.— Ты выдохся.

— Да нет, это от перемены воздуха.

— Лучше было идти по проезжей дороге. Это дальше, но зато легче.

— Нет. Так мы выиграем по крайней мере два километра. А вот спускаться будем по проезжей. Боюсь, что здесь мы не удержим тележки.

Они продолжали подниматься, но уже медленнее, с частыми остановками. Отец шел впереди, так как дорога местами суживалась. Он перевесил мешок на другое плечо, но отказался отдать его жене, которая по-прежнему несла моток проволоки. Ящерицы, часто невидимые под сухими листьями, спасались от них в кустарник, росший вдоль дороги. Во время одной из остановок мать спросила:

— А гадюк в этих местах много?

— Чего-чего, а этого добра хватает!

— Будь осторожней, собирая хворост, они часто прячутся в валежнике.

— Не беспокойся. Может, я и туг на ухо, но вижу пока хорошо.

Ветер все еще дул, но забегать в чащу леса он словно опасался и только мимоходом трепал верхушки деревьев, целыми охапками срывая с них ржавые листья, которые, падая, золотились на солнце.

Дорога раздваивалась, и отец остановился.

— Гм... раньше тут было по-другому,— заметил он.

— Мы заблудились?

— Нет, конечно... Но, по-моему, тропа, что идет влево, после вон того поворота возвращается обратно.

Отец умолк. Он вспоминал. Но теперь он потерял всякую уверенность. Мать, сморщившись, с беспокойством смотрела на него из-под старой соломенной шляпы, которую она надевала, работая в огороде. Лоб ее лоснился на солнце. Она провела тыльной стороной руки по бровям, в которых застряли капельки пота.

— Тебе жарко,— сказал отец.— Я же знал, что это дело не для тебя.

— Обо мне не беспокойся, подумай лучше, по какой дороге идти.

И она опять повторила, что лучше было идти по большаку; тогда отец пожал плечами и выбрал тропу, которая вела направо, хотя и не был убежден, что не ошибся.

— Ты уверен, что сюда? — спросила мать.

— Да, не беспокойся. Не могу же я заблудиться в этом лесу, раз я его вдоль и поперек знаю.

Тем не менее он пытался, не замедляя шага, разглядеть между стволами, куда ведет левая тропа, но поросль была густая, и скоро тропа скрылась из виду. Отец прикидывал, сколько времени прошло с тех пор, как они свернули с проезжей дороги, но это было нелегко. Они шли то быстрее, то медленнее, часто останавливались,— высчитать было невозможно. Из объяснений лесоторговца он понял, в каком месте по отношению к проезжей дороге находится вырубка, но сообразить это здесь было трудновато. В воспоминаниях все было очень просто, но теперь лес представлялся ему все более и более чужим. Тогда он был не такой густой. А время шло, солнце подымалось выше и жгло сильнее.

Отец долго медлил, раньше чем остановиться и снять куртку, но отдать ее жене отказался. Он набросил ее на мешок и перевесил его на другое, не натруженное лямкой, плечо.

При каждой остановке мать спрашивала:

— Ты уверен, что мы не ошиблись?

Отец не был ни в чем уверен, но упорствовал. Они прошли слишком

много, не возвращаться же назад, кроме того, он надеялся, что тропа в конце концов взберется на безлесый бугор, откуда он сможет увидеть хотя бы кусочек проезжей дороги и сориентироваться. Теперь он задавал себе вопрос — уж не идут ли они по направлению к Брио? По солнцу выходило, что так. В конце концов эта мысль прочно засела у него в голове, но он надеялся откуда-нибудь с открытого места увидеть проезжую дорогу. Он слишком упорно уверял мать, что здесь он ни в коем случае не заблудится, и потому не мог просто-напросто признаться: «Я ошибся» — и повернуть назад.

Время шло, от усталости у него подкашивались ноги и теснило грудь. Он судорожно сжимал свою крепкую палку, вещевой мешок оттягивал плечо, воздух казался каким-то тяжелым, было трудно дышать.

Дойдя до большого камня, он остановился, сел и сказал:

— Выпьем глоток вина, это прибавит нам прыти.

Он уже начал развязывать мешок, но тут мать подняла руку.

— Ты ничего не слышишь? — спросила она.

— Нет. Это ветер, вот и все.

Он слышал главным образом биение своего сердца и свое свистящее дыхание.

— Справа от нас, не очень далеко отсюда, рубят лес.

Отец прислушался, но уловил только ворчание ветра и треск ветвей.

— Я уверена,— сказала мать.— Пойду посмотрю.

Отец встал.

— Нет, пойду я, ты заблудишься, как только сойдешь с тропы.

Хоть он и сказал так, но мысль о подъеме по неровному склону пугала его.

— Я не могу заблудиться,— заметила мать.— Дорога идет в гору, потом мне надо будет спуститься, только и всего. Как тут не найти дороги!

Отец еще попытался ее удержать, но не очень настойчиво: усталость отняла у него последнюю волю. Сидя на камне, он смотрел, как она удаляется неуверенным шагом, держась за деревья, высоко подымая ноги, чтобы пробраться сквозь кустарник. Когда она скрылась из виду, отец почувствовал, что он один, совсем один в этом лесу, и пожалел, что у него не хватило настойчивости удержать ее.

После ухода из дому грустные думы, которые одолевали отца накануне, больше его не тревожили. От ходьбы он испытывал сперва удовольствие, потом усталость, но все время он был поглощен только одним: надо идти. И вдруг он снова почувствовал себя как-то неуверенно. Совсем не из-за леса, его он как-никак знал наизусть и с этой стороны мог ничего не опасаться. А из-за чего-то, что снова шевельнулось внутри.

Нет, не осилить ему этой затеи с хворостом. Поначалу все пошло так неудачно, что и дальше надо ждать неприятных сюрпризов. Когда они будут на месте, он, конечно, обнаружит, что тележка сломана или исчезла. А потом, наготовить вязанок — это тоже не раз плюнуть. Если деревья уже несколько месяцев, как срублены, они наполовину высохли, и срезать ветки будет не так-то легко. Ему ведь не двадцать лет и матери тоже. Сколько они успеют сделать за день? Десять, пятнадцать вязанок, никак не больше. Стоит ли мучиться из-за такой малости? А отправиться обратно, на ночь глядя, тоже нельзя. Нехорошо оказаться на проезжей дороге в темноте. И как еще добираться с вырубки до этой самой дороги. Пико сказал, что проехать можно, но он вывозит дрова на волах.

Отец встал с камня и пересел на другой, на припеке. Тут, в овраге, ветра, правда, не было, но все же время от времени сверху долетали холодные порывы, от которых стыла спина. Сделав несколько шагов, он понял, что устал сильнее, чем ему казалось, когда он остановился. От утомления у него горели колени, острая боль в затылке отдавалась в те-

мени. Он заставил себя дышать медленнее. Совсем не время сейчас потерять сознание. Мать с ума сойдет. Этого еще не хватало.

И куда только она делась? Ей почудился стук топора. Что, если она зашла слишком далеко и заблудилась, попала на косогор и кружит по нему, а потом сойдет с другой стороны склона?!

Отец забыл про усталость. Теперь его мучила тревога. Ему казалось, что с тех пор, как нет жены, прошла целая вечность. Дались ей эти дровосеки, из-за них только даром теряет драгоценное время. Всегда она поступает по-своему, и получается ерунда. Вот уже больше двадцати лет, что вобьет себе в голову, то и делает. И в отношении Жюльена так было, да и во всем вообще. Зря он отпустил ее одну: уйдет далеко от тропы на звук топора, а звук-то ей, конечно, только померещился. Ведь она этого леса не знает. Без привычки в лесу недолго и заблудиться. Может, она упала в яму, наступила на гадюку. Господи, что за дурацкое упрямство!

Отец долго боролся со своей тревогой. Он достал из мешка бутылку воды с вином и отпил глоток. Потом свернул сигаретку, закурил и принялся дымить, смакуя каждую затяжку, заставляя себя думать только о блаженстве, которое доставляло ему куренье. Это и вправду единственное его удовольствие. Удовольствие, с каждым днем все более скудное из-за карточной системы и необходимости экономить табак для обмена.

Понемногу его начала одолевать дремота, он встал и, держась в тени, сделал несколько шагов в том направлении, куда ушла жена. Тень, насыщенная ветром, была в непрестанном движении. Солнечные блики пробегали по земле, вытягивались на стволах деревьев. Сколько отец ни прислушивался, он не улавливал никаких звуков, кроме несмолкаемой песни ветра.

— До чего же мне надоел этот ветер,— проворчал он.— Не услышу, если она будет звать.

Он подумал, не отправиться ли на поиски жены, но сообразил, что там, где лес частый, они могут пройти совсем рядом и не увидеть друг друга. Если она вернется и найдет только вещевой мешок да куртку, оставленные на камне, то, пожалуй, испугается, снова полезет в чащу, и они могут потерять не один час.

Он прислонился к большому буку и простоял так довольно долго, закрыв глаза, потому что устал вглядываться в беспрерывное мелькание света и тени. Потом, почти против воли, сложил ладони рупором и несколько раз крикнул:

— О... го... го... го! Фернанда!.. Фернанда!

Он кричал, поворачиваясь во все стороны, но у него не было уверенности, что она его услышит. Тогда он замолчал и вернулся к тому камню, на котором сидел раньше.

Он выбился из сил. Чувствовал, словно в голове у него от этих криков какая-то пустота. В груди пробудилась боль, которая было затихла, и, схватившись за грудь, согнувшись, видя все, как в тумане, из-за слез, выступивших на глазах, он встал, чтобы откашляться и выплюнуть душившую его мокроту.

13

— Наконец-то, куда ты пропала! — вздохнул отец, увидя жену, появившуюся из-за деревьев.

— Это оказалось дальше, чем я думала,— сказала она, садясь рядом с ним.— В лесу легко обмануться.

Наступило долгое молчание. Отец еще не оправился после приступа кашля, однако он внимательно смотрел на жену, которая, видимо, со-

всем выбилась из сил. По лицу у нее катился пот, она прерывисто дышала и так согнулась, будто лес навалился всей своей тяжестью на ее худые плечи.

— Ну и как, видела кого-нибудь?

— Да...— сказала она.— Мы ошиблись дорогой.

Отец и сам догадывался об этом, но он до того устал, что ее слова не произвели на него особого впечатления. Только спустя несколько минут он спросил:

— А мы далеко зашли?

— Надо вернуться на развилку и пройти еще порядочный кусок по другой тропе.

Ему хотелось сказать: «Это слишком далеко. Вернемся лучше домой». Но как быть с тележкой? Только эта мысль и дала ему силы продолжать путь.

— Ты совсем выдохлась,— сказал он.

— Нет. Идем.

Отец встал и поплелся следом за женой. Он шел, не отрывая глаз от ее худых ног и от подола серой холщовой юбки. Значит, придется пройти обратно до конца этой тропы, а потом еще и по той.

Они шли с самого раннего утра. И сколько же они прошли зря, а все потому, что он из упрямства не повернул обратно, хотя и чувствовал, что ошибся. Жена шла за ним. Потом она еще долго, очень долго брела напрямик через лес, пока он отдыхал, а затем, вернувшись, сказала: «Мы ошиблись дорогой». Она не сказала: «Ты ошибся дорогой». Ни словом, ни взглядом не попрекнула его, а теперь идет впереди и не жалуется на усталость, даже не упоминает о ней. Конечно, она моложе, и легкие у нее в порядке, ей не трудно дышать, не то что ему, но у нее грыжа, и при каждом шаге у нее, верно, такое ощущение, будто живот тянет ее вниз.

Отец шел, отупев от усталости, и постепенно им овладевала дремота, но овладевала только головой, остальное тело не поддавалось, оно было вроде машины, которая хоть и поизносилась порядком, но по инерции еще работает. Минутами он стряхивал с себя дремоту и мысленно говорил: «Впереди-то надо бы идти тебе. Твое место там. Она и так потрудилась больше тебя». Но вслух он ничего не говорил. Ему казалось, что сейчас идти легче, но если он что-то изменит, хоть на минуту нарушит молчание и замедлит шаг,— ему уже не сдвинуться с места.

Дойдя до развилки, мать остановилась, и отец чуть не уперся ей в спину.

— Я пойду впереди,— чуть слышно сказал он.

Она обернулась, посмотрела на него и испугалась.

— Да тебя ноги не держат,— сказала она.— Постоим немного.

— Если мы еще постоим — всему крышка.

Он сказал это надтреснутым голосом, а затем на него напал кашель, должно быть, в значительной мере вызванный тем усилием, какого ему стоило удержаться от стона. Господи боже, не разревется же он! Или ему теперь и вправду грош цена? Не осталось и тени того, каким он был прежде.

Мать заставила его сесть на пень в нескольких шагах от дороги.

— Давай поедим,— сказала она.— Я уверена, что уже больше десяти. Это нас подкрепит. Не знаю, как у тебя, а у меня кружится голова.

Он понял, что это неправда. Что сказано это только ради него. Понял, но промолчал. У него не было энергии, не было сил спорить. Мысль о том, что время уходит, что еще надо собрать хворост и найти тележку, покинутую в лесу, правда, еще маячила в его сознании, но

уже где-то далеко-далеко, лежала, словно тяжелая кладь на дне ямы,— кладь, которую мало-помалу затягивает тиной. Скоро тина ее совсем закроет, и тогда сверху ляжет плотный слой усталости.

Мать открыла сумку и достала еду. Вначале отцу не шел кусок в горло. Язык плохо ворочался, во рту пересохло. Он глотал с трудом, подавляя мало ему знакомое отвращение к пище. Через некоторое время, проглотив несколько кусков и выпив полстакана вина, он признал, что жена была права. Она угадала: он устал главным образом потому, что перед уходом поел на скорую руку. Конечно, не такой уж он слабый, не такой уж немощный, как сам только что думал. Раз ты был лучшим гимнастом в полку, раз ты полжизни управлялся с мешками в сто кило каждый, тебя не свалят с ног несколько километров быстрой ходьбы с жалким мешком за спиной. Конечно, в семьдесят лет ты уже не тот, что в двадцать, но старой тряпкой тебя еще не назовешь.

Наработать столько, сколько в молодости, он, конечно, не наработает, но фашинник еще сумеет нарезать. Еще покажет он себя на вырубке. Отец посмотрел на свой садовый нож. Он тут, у его ног, лезвие истончилось от веток и точильного камня. Ручку он сам смастерил, и она так отполирована его ладонью, что, когда он за нее берется, у него такое чувство, будто она специально отлита по его руке, по его пальцам. Этот старый нож еще послужит. Отец любил свой нож за то, что у него как раз нужный вес — не слишком тяжелый, но достаточный, чтобы своей тяжестью дополнить силу того, кто им работает. Настоящий нож для хвороста. С ножом на пару они еще наготовят веток — ровных и аккуратных, таких и молодой не всякий нарежет. Конечно, он потерял больше часа, потому что ошибся дорогой, но, будьте покойны, он сумеет наверстать этот час.

Еще не остывший кофе окончательно подкрепил его. Теперь оставалось только найти вырубку, а на ней тележку, целую и невредимую, со всеми ее четырьмя колесами, тележку, готовую выдержать груз вязанок. А сам он уже готов приступить к работе.

Как только мать все уложила, он поднял свой мешок, взял палку и пустился в путь. Теперь он шел твердым шагом, совсем не похожим на шаг старого, усталого человека.

14

Дорога, которая привела их на вырубку, не показалась отцу такой уж длинной,— вероятно, причиной тому была уверенность, что они идут по правильному пути. Как только он заметил между стволами дубов и ясеней черную крышу барака, он ускорил шаг.

— Ты идешь слишком быстро,— сказала запыхавшаяся жена.

— Да мы уже пришли.

Он чувствовал, как у него колотится сердце. Еще немного, и он бы побежал. Он видел крышу из толя, бревенчатые, дощатые стены, штабеля дров, огромные поваленные стволы с необрубленными сучьями, но тележки не было. У него сильно билось сердце, и не только из-за долгой ходьбы.

— Тележка... Ах ты, черт, да где же тележка?

— Что ты сказал?

Отец, сам того не сознавая, говорил вслух.

— Ничего, ничего,— ответил он, еще ускоряя шаг.

Усталости как не бывало. Ноги уже не ощущали всей тяжести пройденного пути. В голове была одна мысль: тележка. Как только они добрались до поляны, он сошел с тропы и пустился напрямик к бараку. Он перелезал через пни, спотыкался, застревал в сушняке, ругал дровосеков за плохо очищенную вырубку. Ему хотелось, как бывало в мо-

лодости, перемахнуть через кучи дров. Сейчас он их обходил. Страх одновременно подгонял и удерживал его. С каждым шагом в нем росла уверенность, что тележку украли. Он крепче сжал палку, другой рукой судорожно впился в лямку мешка. Господи боже! Их надо поймать. Негодяи! Хватит ли у него духу дойти до конца, обогнуть барак со стороны леса?

— Ты с ума сошел! — кричала мать, голос ее доносился теперь издалека.— Не беги так!

Он не слушает. Куда там — торопится еще сильнее. И вот уже между ним и бараком только одна куча дров, он обходит ее... Ничего. Перед бараком не так замусорено, как на остальной вырубке. Земля тут истоптана. Отцу надо бы минутку передохнуть, но гнев подхлестывает его. Он идет вдоль барака, огибает его, и тут у него захватывает дух, будто весь воздух с поляны и окружающих гор вдруг заполнил ему грудь.

Он останавливается.

Она тут. Она тут, перед ним, всего в нескольких шагах. Он боится шевельнуться. Взгляд перелетает от одного края тележки к другому, от одного колеса к другому, взбирается, словно быстрый зверек, по дышлу, которое светлым крестом выделяется на затененном подлеске.

Она тут — и не поломана.

Он только-только успел произвести этот беглый осмотр, и взгляд его затуманили слезы.

Отец достал свой большой клетчатый платок и вытер глаза. Мать была у него за спиной. Он не слышал, как она подошла, скорее догадался, что она тут.

— Ты бежал сломя голову,— сказала она.— Что с тобой?

Отец подумал, что она спрашивает его насчет глаз,— ведь он их как раз вытирал.

— Это пот,— сказал он.— Пот ест мне глаза.

Он сделал несколько шагов, сбросил мешок, поднял каскетку, которую уронил, когда перекидывал через голову лямку, и медленно обошел тележку. Правой рукой он держался за край платформы, не отпускал его. Склонялся перед каждым колесом, словно выполняя древний ритуал. Осматривал ступицы, хорошо смазанные и поблескивавшие на солнце. Плевать ему на то, что мать наблюдает за ним. Он нашел свою старую тележку, а ведь как он за нее боялся. Ему хочется спросить, как она доехала, не обижали ли ее лесоторговец с приказчиком, не озябла ли она за ночь.

Голова его как будто раздвоилась. Одна половина все время твердит: «Гастон Дюбуа, ты глуп. Тебе семьдесят лет, а ты говоришь с тележкой, совсем как четырехлетний мальчонка разговаривает со своим игрушечным поездом». А другая половина головы ничего и слушать не хочет. Она занята только тележкой.

После тщательного осмотра отец отошел немного и окинул взглядом всю тележку целиком, потом повернулся к жене. Она сидит на поваленном дереве, она даже не смотрит на тележку. Повернулась к ней спиной. Не обращает никакого внимания, все равно как если бы они сами доставили ее сюда. И такое равнодушие кажется отцу просто чудовищным. Нет, эта женщина решительно ничего не понимает и не поймет. Для нее тележка — старая рухлядь, не представляющая никакого интереса. Если она и спала плохо ночью, то, уж конечно, не из-за тележки, оставленной в лесу на произвол судьбы.

Мать встает: сначала разогнулись ноги и приподняли тело, которое, кажется, не хочет расстаться с сидячим положением, словно не распрямляется поясница. Но, должно быть, это живот тянет мать книзу, потому что она держится за него обеими руками. Медленно мать

встала, оглянулась. С ее лица медленно сползла болезненная гримаса, уступая место улыбке, которая с трудом пробилась сквозь сеть морщин.

— Ну, вот мы и пришли...— сказала мать.— Видишь, они поставили тележку за барак, чтобы ее не видно было с тропы.

— Знаешь, в наше время люди разленились, вряд ли они полезли бы сюда за тележкой,— ответил он, напустив на себя равнодушный вид.

Улыбка матери стала заметнее. Уж не смеется ли она над ним?

Он пожал плечами, потом достал из мешка, который он повесил на дышло, садовый нож.

— Дело-то ведь еще не сделано,— сказал он, направляясь на вырубку.— Пора приниматься за работу.

Мать отцепила мешок, отнесла его в тень за бараком, сняла шерстяную кофту и подняла с земли моток проволоки. Отец уже остановился у большой кучи фашинника. Он поплевал на ладони, потер одну о другую и, взяв нож, принялся за работу.

15

Они долго молча трудились. Отец чувствовал себя превосходно. Крепко стоя на ногах, он вытягивал из кучи ветку и одним-двумя взмахами ножа, точно по сочленению, обрезал ее, каждый раз наискосок, каждый раз у коры ствола — он любил чистую работу. Им нужна не какая-то мелочь, а такой хворост, чтобы уголь давал. Растопки у них и своей хватает, на нее пойдет и то, что он срежет с фруктовых деревьев. Он старался, чтобы вязанки получались хорошие, чтобы в них было побольше веток толщиной в руку. Отец все время помнил о ширине тележки и подгонял под эту мерку вязанки. Он очищал от мелочи хорошие сучья, потом резал их и бросал матери. Мать подбирала их и складывала для вязанок.

— Не надо слишком большие делать,— говорил отец.— А то трудно будет грузить.

Когда вязанка была готова, мать на скорую руку скрепляла ее проволокой.

— Я потом потуже стяну,— заранее предупредил ее отец.— У тебя все равно силы не хватит.

Когда мать приготовила полдюжины вязанок, отец повесил на пояс нож, взял клещи и стал стягивать проволоку. Он ставил ногу в грубом башмаке на вязанку, носком вровень с проволочной петлей, куда продевался другой конец проволоки. И тянул изо всех сил, встряхивая вязанку, если какая-нибудь ветка выпирала. Прежде чем снова приняться за ветки, он вытащил жестянку с табаком и не торопясь свернул сигаретку.

— При такой работе мы скоро нагрузим тележку.

— Хочешь выпить глоток?

— Нет, я не устал. После попьем.

Он закурил.

— Ты бы прогулялась и посмотрела, в каком состоянии спуск к проезжей дороге,— сказал он.

Она грустно улыбнулась:

— Прогулялась? Ну, знаешь, я уже достаточно нагулялась за сегодняшнее утро.

— Бежать тебе незачем. Время есть. Но прежде чем пускаться в путь с такой поклажей, лучше знать наперед, что не застрянешь где-нибудь в колдобине.

Мать положила на готовую вязанку моток проволочных скреп, подняла ветку подлинней, чтоб опираться на нее, как на палку, и пошла.

Отец присел на минутку, чтобы докурить, и поглядел вслед удалявшейся жене. Она еле переставляла ноги, словно шла не по плотно утоптанной земле вырубки, а по грязи или рыхлой почве. Да, хоть жена и моложе, но, конечно, не крепче его. Он отметил это с известным удовлетворением, даже не подумав, что жену, наверно, одолевает усталость. Он затушил и спрятал окурок, потом снова принялся за работу.

Мать долго не приходила.

— Знаешь,— сказала она, возвратясь,— до большака, верно, будет с километр, не меньше. И дорога хуже, чем та, по которой мы шли сюда. Должно быть, лес отсюда вывозили на волах в больших повозках. Там есть рытвины глубиной сантиметров в тридцать, а в одном овражке еще и грязь стоит.

— Хочешь не хочешь, ехать все равно надо.

— Я думаю, может, лучше вернуться по старой дороге?

— С нагруженной-то тележкой? Да ты соображаешь?

Она беспомощно пожала плечами. Отец решил, что она преувеличивает. Должно быть, устала и переоценила трудности.

— А объехать эту колдобину нельзя? — спросил он.

— Нет. Деревья повалены только здесь, на вырубке, а там всюду лес стоит. Сбоку не проедешь. Да еще в том месте листва очень густая и земля не просохла.

— Если только одно такое место, набросаем веток и проедем,— решил он.

— Мне кажется, тебе надо бы сходить поглядеть.

Отец с таким удовольствием заготавливал вязанки, казалось, рука сама радовалась, работая ножом. Он чувствовал в себе столько силы, что даже не ответил. Он сюда не для прогулок пришел, а для того, чтобы заготовить вязанки, вот он вязанками и занимается. Они с тележкой и не такие виды видали. Главное — это правильно распределить груз, и незачем зря ходить взад и вперед. Он и без того уже не может себе простить, что, сбившись с дороги, потерял столько времени. Он должен его наверстать. Отец упрекал себя за минутную слабость и решил работать так, чтобы за работой позабыть об этом. Женщины всегда волнуются прежде времени. Если их слушать, ничего путного не сделаешь. А, кроме того, его жена совсем леса не знает. Она ни о чем не может судить. Ни чего стоит хорошая тележка, ни на что хватит сил у ее мужа. Думает, он дряхлый старик. А ведь уже по одному тому, сколько он наготовил хворосту, пока она ходила, могла бы понять, какую работу он способен провернуть.

— Ладно, складывай в кучи, я буду связывать,— сказал он.

Работал он споро. Равномерно, приноравливаясь к каждому удару, сразу определяя, что убрать прочь, а что оставить. Он прикидывал, на что годна та или другая ветка. Древесный уголь дает хорошее тепло, и в топке остается жар, подбросишь туда полешко, прикроешь вьюшку, и оно будет медленно тлеть. Да, этак можно будет надолго растянуть дрова. Молодец Пико, хорошо придумал с этим хворостом!

Солнце сильно припекало на поляне, защищенной от ветра, хоть он не прекращал своей заунывной осенней песни в кронах деревьев. Погода была как на заказ для такой работы. Им повезло, нельзя упускать такую удачу.

Отец оглянулся. Добрая дюжина вязанок уже лежала в ряд.

— Видишь! — крикнул он.— Дело идет!

— Слушай, давай нагружать на тележку,— предложила мать,— посмотрим, тяжело ли получится.

Он рассмеялся.

— Не беспокойся, тележка выдержит вдвое больше.

— Она-то выдержит, а мы как?

— Может, прикажешь двинуться домой с ненагруженной тележкой?

— Это как тебе будет угодно.

Мать не улыбалась. Обычно она упрекала его, что он такой невеселый, а сегодня ворчала она, в то время как он давно не чувствовал такой бодрости, такого удовлетворения.

Он опять принялся за работу. Теперь дело шло несколько медленнее из-за пробудившейся боли в запястье. Это было не страшно. Но все же ему приходилось сдерживать свой пыл. Иногда он справлялся с веткой только после двух-трех ударов ножа, а четверть часа тому назад срезал бы ее с одного маху. Может, пошли дрова посуше? Он остановился на минуту. Огляделся вокруг. Вон там на ветках как будто побольше листьев. Должно быть, те деревья срублены позже.

— Ты переходишь на другое место? — спросила мать.

— Да, там лес как будто получше.

— Придется дальше таскать вязанки.

— Да тут и двадцати метров не будет... Принеси-ка попить, а заодно возьми из сумки брусок, я поточу нож.

Он сел в ожидании жены на пень, положил нож на землю у своих ног и, крепко сжав левой рукой запястье правой, принялся сгибать и разгибать пальцы. Он чувствовал, как ходят под кожей сухожилия. Боль немного утихла, разошлась по руке до локтя и в конце концов замерла.

— У тебя рука болит?

Он не слыхал, как подошла жена.

— Нет, хочу размять пальцы.

— Ты ободрал левую руку,— заметила она.

— Э... э... пустяки.

Он обтер руку о штаны.

— Смотри, как бы чего не прикинулось.

— Не страшно. В лесу все на пользу.

Они выпили по стаканчику чуть теплой воды с вином.

— Солнце передвинулось,— сказала мать.— С мешка уже ушла тень.

Отец посмотрел на небо. Должно быть, мать угадала его мысль. Она сказала:

— Надо было все-таки взять часы, точно времени никогда не угадаешь.

— Во всяком случае, сейчас не многим больше трех. Доделаю, что осталось, и будем накладывать.

Вставая, он плотно сжал губы, чтобы не застонать. Словно нож врезался ему в поясницу. Он скрючился, и острие ножа поползло вдоль спины. Эта боль шла к слиянию с другой болью, которая началась в кистях обеих рук, пронизала его до мозга костей и добралась до затылка. Там три потока режущей боли соединились, сплелись в один узел и со страшной силой, как тремя ремнями, скрутили его тело, будто задумав сломать ему хребет.

— Господи боже мой,— прохрипел отец,— у меня что-то внутри сместилось.

Он едва дышал. Пока он сидел, тело его онемело. И когда, встав, он захотел размяться, проснулась вся накопившаяся усталость. Он сделал над собой усилие, еще раз крепко сжал левой рукой запястье правой и поплевал на брусок, чтобы наточить нож.

— Никак нельзя останавливаться... Никак нельзя.

Отец положил брусок и принялся резать ветки. При каждом взмахе его обжигало, как крапивой, кололо, как иглами. Боль нарастала, накапливалась во всем теле, волны ее схлестывались, оспаривали одна у

другой каждый мускул. Сражаясь с сучьями, он в то же время вынужден был бороться против непрекращающихся мучений.

Скоро он понял: что тут, что там резать сучья — одинаково нелегко, и наточенный нож тоже не очень-то облегчает работу. Однако он ухватился за мысль, что не стоило с таким трудом лезть сюда, в гору, чтобы воротиться домой с наполовину нагруженной тележкой, и это помогло ему собраться с силами. Он сказал матери, что они увезут две дюжины вязанок,— раз сказано, значит, так тому и быть. Однако он все чаще и чаще оглядывался назад и считал кучи веток, которые мать складывала в вязанки. Он насчитал восемнадцать вязанок.

— Может, хватит? — спросила тут мать.

— Я сказал: две дюжины,— проворчал он, едва разжимая губы.

У него лицо и все тело были в поту. Он положил нож, сбросил кепку и снял рубашку.

— Не раздевайся, простудишься,— остановила его мать.

— Нет, как раз наоборот. Я сниму фуфайку, чтобы она высохла на солнце, а потом, когда будем спускаться, надену опять.

Мать взяла мокрую фуфайку и расстелила на припеке, на дровах.

— Ты бы кончал,— сказала она.

Он надел рубашку и снова принялся за работу. Оглянувшись опять, он увидел, что жена делает вязанки поменьше. Ему хотелось крикнуть, что так она только зря тратит проволоку, но он ничего не сказал. Не мешало бы нарезать вязанки две лишние, подумал он, хотя бы для того, чтобы доказать жене, что он не попался на ее удочку; однако, когда она остановила его, сказав, что две дюжины вязанок уже есть, он глубоко вздохнул и воткнул нож в полено рядом с фуфайкой.

— А может, нарезать еще две-три?

Он спросил, но его вопрос не был рассчитан на ответ. Он знал, что скажет жена, и она в точности так и сказала:

— Положим на тележку те, что уже готовы. А там посмотрим.

Отец стянул вязанки проволокой. И это тоже было трудно, потому что после минутной передышки каждое движение отзывалось в онемевших от усталости мускулах, в мускулах, где еще дремала только притупившаяся боль. И боль эта разгоралась как жадное пламя. Обострялась с каждым движением. Отец угадывал, когда она приближалась. Чувствовал, как она нарастает, и ждал, когда она достигнет высшей точки. Он начал с ней своего рода игру, но силы были неравные. Все правила были нарушены. Сколько бы он ни говорил: «На этот раз я с тобой справлюсь», тело не слушалось, поддавалось терзавшей его боли. А ведь он всю жизнь работал. Он был не из тех, кто устает от безделья. Но каждодневная работа в саду и труд дровосека — не одно и то же. Бесконечный утренний путь, а потом эта спешка. Он хотел вернуться к тому ритму, в котором работал когда-то. Но тогда у него за спиной было куда меньше лет, и в лес он ходил только за тычинами для огорода да за кольями для забора. Он набросился на работу как лютый зверь, желая доказать себе самому, что еще молод. Но отец не рассчитал своих сил. Сначала он работал безостановочно, однако в мышцах незаметно накапливалась усталость. И когда дело было сделано, усталость сразу хлынула через край. Теперь к ней присоединился еще и страх перед обратной дорогой. Невольно вспоминалось, что мать говорила о спуске, который ведет на проезжую дорогу. А если жена не преувеличивает? Смогут ли они вдвоем вывезти отсюда, с вырубки, тележку с такой поклажей?

Покончив с вязанками, они оттащили их к дороге и пошли за тележкой.

Сначала грузить было просто отдыхом. Поднимая плотные, туго стянутые проволокой вязанки, отец приободрился. Он с удовольствием

их пересчитывал, радовался, что ни одна не торчит из-за края тележки. Любо-дорого будет смотреть, так они ее нагрузят. Вот будут они проезжать по городу, старики, увидя их, наверняка скажут: «А вязанки у папаши Дюбуа еще хоть куда. У него верный глаз. И тележка нагружена здорово».

По мере того как росла гора вязанок, работа требовала все больших усилий, большего напряжения мускулов. Кинув на тележку пятнадцатую вязанку, отец закашлялся и вынужден был остановиться. Мать поспешила принести ему попить, все же он долго не мог отдышаться.

— Мы пожадничали,— сказала она,— слишком много их наготовили.

Отец понимал, что жена права, но ничего и слушать не хотел.

— Мы придвинем тележку к этому штабелю,— сказал он.— Я влезу, а ты приставишь вязанки к дровам, я буду грузить сверху.

— Еще сломаешь ногу.

— Не беспокойся.

Ему было одинаково трудно что говорить, что работать: он боялся снова раскашляться. Матери пришлось вместе с ним подтаскивать к дровам уже тяжелую тележку. Отец стал ногой на ступицу и влез на штабель. Дрова были толстые, он утвердился на них без труда. Он обрадовался, увидав, что вязанки дошли доверху. Да, нагрузили что надо. Он правильно все рассчитал. Он слез, точным взмахом руки набросил веревку и так стянул тележку, что она скрипнула.

— Доедем до большака, стянем еще. За это время вязанки умнутся и улягутся плотнее.

Мать показала на небо.

— Прохлаждаться нечего. Скоро стемнеет,— сказала она.

И верно. Солнце стояло низко, и на поляну уже ложилась тень.

— Когда спустимся, я надену фуфайку.

Они повесили вещевой мешок на боковую стенку, отец взялся за дышло, мать стала сзади.

— Поехали,— крикнул он,— поехали!

Отец нагнулся вперед и потянул тележку, напрягая все силы и кляня неунимавшуюся резкую боль в спине и руках. Тележка тронулась с места и покатилась, подскакивая на неровностях подсохшей дороги. Дорога вела под гору, и, чтобы все шло гладко, достаточно было объезжать рытвины и большие корни.

В лес уже вошли сумерки. Там воздух был не такой свежий, и отец дышал с трудом. Ему захотелось на минутку остановиться и передохнуть, но он заметил, что спуск кончается и дальше дорога идет в гору. Чтобы взять этот небольшой подъем, лучше было воспользоваться разбегом. Склон был довольно отлогий, но все же тележка замедлила ход.

— Взяли! — крикнул отец.

Возможно, что мать толкала уже не так рьяно, как вначале. Однако отец не мог посмотреть, в чем дело: момент для остановки был неподходящий. Он потянул изо всех сил, но дорога была узкая и объезжать препятствия было трудно. Передние колеса с такой силой налетели на толстенный корень, наполовину стертый гужевым транспортом, что на мгновение отец испугался, выдержат ли у него запястья. И все же передок тележки преодолел препятствия, но ход ее настолько замедлился, что задние колеса не дошли до верха. Нагруженная тележка остановилась как бы в нерешительности, отец огромным усилием воли напружил мускулы, но тяжелая поклажа победила. Тележка подалась немного назад.

— Не отпускай! — крикнул отец.

Они дали тележке откатиться назад, пока она не задержалась передними колесами на корне.

— Нажми на тормоз, я держу! — крикнул отец.

Мать повернула ручку, и, когда железные колодки затормозили, отец отпустил дышло.

— Чертов корень! — проворчал он.

Мать, держась одной рукой за боковую стенку тележки, другой схватилась за живот, словно хотела смять, скомкать его. Она побагровела, и, хотя на лицо ее падала тень от полей шляпы, видно было, что оно все в капельках пота. Наступило долгое молчание, оба слушали только, как клокочет все у них внутри.

— Нам ни за что не проехать,— прошептала мать.

Отец, которого немного пугало наступление темноты, заупрямился.

— Надо проехать, черт подери!

Он огляделся и, отойдя на несколько шагов, поднял ветку. Обломал тот конец, что потоньше, и засунул ее между задней стенкой и вязанками.

— Если опять не въедем, ты не тормози, подложи этот сук, так будет скорей. Ну, а теперь поехали.

Он ухватился за дышло, а мать отпустила тормоз, и как только она сказала, что можно трогать, он крикнул:

— Взяли!

Общими усилиями им удалось с большим трудом преодолеть препятствие и, не останавливаясь, въехать на косогор. Несмотря на сумерки, отец разглядел, что этот спуск круче, но подъем с той стороны показался ему довольно отлогим. Значит, надо взять его с разбегу, тогда все пойдет как по маслу. Отец, которого подталкивала тяжелая кладь, припустился рысью. Тележка подскакивала, дышлом ему встряхивало руки, но он знал, что и тележка и он держатся крепко.

За несколько метров от низины отец понял, что это, должно быть, и есть то самое место, где мать видела грязь, но он слишком разбежался и уже не мог остановиться. Надо было воспользоваться таким разбегом и проскочить.

— Взяли! — крикнул он еще раз.

Ему казалось, что мать совсем не подталкивает. Как только они съехали с горы, тележка потяжелела, словно ее нагрузили свинцом. Она шла все тише, тише и остановилась, несмотря на усилия старика, хотя он и чувствовал под ногами более или менее твердую почву.

— Черт,— выругался он.— Тут не проедешь!

Он отпустил дышло и убедился, что тележка всеми четырьмя колесами увязла в боковых колеях, где дорога была куда более разъезжена, чем посредине.

— Влипли! — крикнул разъяренный отец.— Ты не могла предупредить, что это то самое место, где мы можем застрять! Я бы пошел посмотреть и заложил бы ветками эту грязищу.

На него опять напал кашель, и он замолчал. Когда он был в состоянии ее выслушать, мать объяснила:

— Это еще не самое плохое место, то гораздо дальше.

Отец с раздражением махнул рукой.

— Выходит, там просто болото. Чего же ты не сказала?..

— Я говорила.

— Ничего ты не говорила. Ты хотела, чтобы я сам поглядел. Как будто у меня было время. Но если бы мне и хотелось самому поглядеть, незачем было терять время нам обоим... Ты, что ли, готовила бы вместо меня вязанки! Нечего сказать, милая моя, в хорошенькую историю ты нас втравила... И уж, конечно, не тебе нас выручить!

По мере того как отец говорил, он начинал отдавать себе отчет в том, что он был несправедлив. Напрасно он не послушался жены, но она дважды за этот день оказалась права, а это было уж слишком. Да еще

в том, в чем он смыслит больше ее. Он сознавал, что поступает несправедливо, нападая на жену, но им владел гнев. Гнев изматывал отца до предела, и не было такой силы, которая могла бы его сдержать.

Мать не говорила ни слова. Как и всегда, она ждала, глядя в упор на мужа. И взгляд ее выражал полную покорность. Казалось, она приемлет все. Только как бы говорит: «Да замолчи же. Если тебе угодно, чтобы это было так, хорошо, согласна: я во всем виновата. Но побереги силы, не кричи, опять раскашляешься». Отец тоже знал, что гнев его оборвется кашлем, но, сам себе в том не признаваясь, рассчитывал, что кашель-то и спасет его от обидного ответа.

На этот раз приступ был длительный, и, чтобы отдышаться, ему пришлось сесть на обочину.

Когда он поднял голову, дорога уже была подернута мглой. Сквозь ветки еще белело небо, но кое-где уже мерцали звезды.

— Что нам теперь делать? — пробормотал отец.

Мать несколько раз обошла вокруг тележки.

— Ты думаешь, если положить ветки...

— Ветки надо было положить раньше. Сейчас мы увязли в грязи, и увязли прочно. Теперь ни вперед, ни назад не сдвинешься.

— Как же быть?

— Честное слово, я...

Он замолчал. Он был совсем подавлен: усталость, пустота, оставшаяся после того, как он дал волю гневу, быстро наступавшая ночь и мокрая от пота рубашка, прилипшая к телу и холодившая плечи...

— Лучше, пожалуй, вернуться домой,— предложила мать,— а завтра с утра опять подняться в лес.

Мысль о том, что надо будет дважды пройти этот путь, возмутила отца. Он опять раскричался, но потом сдержал раздражение, боясь, что новый приступ разбередит ему грудь.

— Боже мой, боже мой,— вздохнул он.— Уж лучше околеть здесь... Лечь и околеть, как собака... Такая жизнь в наши годы, ну куда это, к черту, годится... И за какие грехи бог нам такое посылает!

Отец подавил стон, по телу его пробежала дрожь, и он встал. Он озяб — и от свежего вечернего воздуха, и от земли, на которой сидел. Он очень боялся простуды и не хотел поддаться ей.

В голове у него шевельнулась мысль, что тут, можно сказать почти рядом, барак и что Пико объяснил, где лежит ключ. Говорить о бараке отец не решился, но все же заметил:

— Я уже не в силах спуститься. Да и ты еле на ногах стоишь.

— Тогда надо, пока еще светло, пойти посмотреть, можно ли устроиться на ночь тут.

Отец подумал, что дом оставлен на ночь без присмотра, что кроликов могут украсть, но он дошел до полного изнеможения и отбросил от себя эти мысли.

— Чтобы выбраться отсюда, придется разгрузить тележку...— сказал он.— Другого выхода нет.

Мать отцепила мешок, взяла одежду и пошла обратно.

— Дай-ка куртку,— сказал отец,— мне не жарко.

Она вернулась и накинула ему на плечи куртку. Затем они кое-как добрели до вырубки, еще освещенной последними лучами солнца.

16

Барак дровосеков был довольно просторным помещением, с длинным, грубо обтесанным дощатым столом на шести кольях, врытых в землю, двумя плохо пригнанными скамьями и чем-то вроде нар, покры-

тых соломой. Отец обошел помещение, держа в вытянутой руке зажигалку, а другой рукой снимая паутину, которую по углам развесили пауки. От земли тянуло запахом гниющего дерева.

— Здесь очень сыро,— сказала мать,— а нам даже прикрыться нечем.

Теперь отцу вспомнился дом и удобная постель, на которой он бы с таким удовольствием растянулся и дал покой своему усталому телу.

— Может, попробовать вернуться домой? — спросил он.

— Нет,— сказала мать.— Слишком поздно. Нам не дойти.

Отец обнаружил в углу барака старую железную печку. Труба была выведена в проделанное в крыше отверстие вдвое шире, чем требуется, через которое в барак проникало немного света.

— Надо бы протопить.

Сначала, желая убедиться, что печка не дымит, они запалили пучок соломы, и почти сразу установилась хорошая тяга. При свете горящей соломы они увидели кучу коры, оставленную дровосеками.

— Протопим помещение, дышать станет легче,— сказал отец.

— Эх, Гастон, мы ведем себя как малые дети. Сидим здесь, прикрыться нечем, есть нечего, всего-навсего горбушка хлеба осталась.

— Я не голоден.

— Все-таки поешь.

Она протянула ему три четверти оставшегося хлеба.

— А ты? — пробормотал он.

— Мне хватит.

Оба были скупы на слова. Они смотрели на огонь, протягивали к нему свои натруженные руки, онемевшие ноги, грели грязные от пыли лица в потеках пота.

— Ну и красивы же мы, ничего не скажешь,— заметил отец.

Старики долго просидели так, и постепенно тепло разморило их. Отец устроился на чурбаке, который он подкатил к печке, мать — на расшатанном ящике. Отец ни о чем не думал. Он был скован усталостью, только усталость еще и жила в его теле и в мозгу. Он долго держал хлеб в намучившейся за день и потерявшей чувствительность руке, но в конце концов все же поднес ко рту. И стал медленно жевать. Тогда мать, словно она только и ждала этого, тоже принялась за еду. Кофе у них кончился, но на дне бутылки еще осталось вино с водой. Мать налила его в стаканчик и протянула мужу.

— А ты? — спросил он.

— Мне не хочется.

Это, конечно, была неправда, но у отца не хватило воли настаивать. Он медленно выпил. И, отдавая стаканчик, вздохнул:

— Теперь ничего уже не осталось.

Мать покачала головой. В печке потрескивала кора. Пламя длинными языками, гудя, уходило в трубу, всю в крошечных дырочках.

— С такой дырявой трубой, чего доброго, еще угоришь,— сказала мать.

— Пока есть огонь, бояться нечего, другое дело, когда останется жар.

Он беспомощно развел руками и опять уронил их на колени. Умереть бы здесь им обоим, и конец всем невзгодам. Через несколько дней их нашли бы. Вероятно, сказали бы: «Им было не на что жить, вот чем вызвана эта драма». Сказали бы еще: «А ведь у них и дети есть. И кое-какое добро. А умерли, как нищие, даже глотка воды не было».

Отец достал свою жестянку с табаком.

— Не кури, захочется пить,— заметила жена.

— Нет, от сигаретки усталость пройдет.

Она горько усмехнулась:

— Мне, в таком случае, надо было бы выкурить целую пачку.

— Как подумаю, милая ты моя старушка, что мы могли бы спокойно сидеть дома, поесть горячего супа, лечь в мягкую постель... Черт знает что! Работали всю жизнь, как каторжные, и дошли до такого. Надрывались, чтобы вырастить сыновей, и остались одни.

— Если будешь нервничать, опять раскашляешься,— спокойно заметила мать.— А у нас даже глотка воды нет.

Отец сдержался. Они сидели друг против друга у огня, который освещал их и жег им лица. Они сидели тут, и между ними стояло что-то, что жгло, что палило сильнее огня. Они смотрели друг на друга. Отец знал, что мать думает о Поле и о его грузовиках. А он думал о Жюльене, молодом и сильном, о Жюльене, который мог бы вытащить тележку из грязи и довезти до проезжей дороги. Да, это так. Они оба правы. Поль черствый, он эгоист, а Жюльену плевать на то, что приходится переносить старикам. Никогда-то он не сидел дома. Появлялся только, когда ему нужно было выстирать или починить белье... А Поль еще и в политику лезет.

Да, сыновья — это вечная боль, и она мучительнее, чем усталость и нужда. Мучительнее, чем все лишения. И эта боль встала между ним и женой, она горит и разгорается, как огонь в печке, который они поддерживают, не давая ему погаснуть. Но об этой боли он даже не может говорить. Если он заговорит, то опять придет в раздражение, и одна боль повлечет за собой другую. Вот так и будут они сидеть тут друг против друга и ничего не говорить,— разве что только взглядами. Они будут сидеть, затаив в себе усталость и тоску, и ждать рассвета, который не принесет им ничего, кроме непосильной работы.

Неужели они и вправду пришли сюда, чтоб умереть, даже не высказав то, что у них на сердце?

Огонь начал угасать, мать встала и подбросила еще коры. Теперь в бараке было тепло.

— Ты бы прилег,— сказала мать,— если и не заснешь, все же отдых.

Он посмотрел на нары. В семьдесят-то лет улечься на охапке соломы, растрепанной и примятой другими ночевщиками! Да это хуже, чем на военной службе, хуже, чем на постоях в четырнадцатом году, там хоть всегда можно было разжиться водою и свежей соломой. И одеяло было и шинель — под голову подложить.

Словно угадав его мысль, мать взяла вещевой мешок и вытряхнула из него все на стол. Потом набила мешок соломой с нар.

— На,— сказала она,— вот тебе подушка.

— А ты как?

— Мне спать не хочется. Я посижу у печки.

Отец встал. И тут же на него накинулись все его боли. Он открыл дверь и вышел.

Небо было чистое, вызвездило, как в морозные ночи. Было холодно. Отец отошел на несколько шагов для естественной надобности и поспешил вернуться в барак. Он озяб, и резкий ветер мешал дышать. Он подумал, что, если они оба заснут, огонь погаснет и барак тут же остынет. Он снял башмаки и растянулся на соломе, которую мать сгребла к краю нар. Когда он улегся, мать подняла ему воротник куртки и заколола под подбородком английской булавкой. Отец не противился, он уже был во власти безмерной усталости, в которой, смешавшись с ней, растворилась мучившая его боль. Он только сказал:

— Когда захочешь лечь, разбуди меня, я буду поддерживать огонь.

— Конечно, конечно, не беспокойся,— ответила жена.

Положив под голову мешок с соломой, отец уставился на огонь. Он уже ни о чем не думал и вскоре заснул.

17

За ночь отец просыпался несколько раз и каждый раз видел жену, которая или неподвижно сидела у огня, или подкладывала в печку кору. Он открывал глаза, силился подняться и сказать: «Иди ложись, я вместо тебя послежу за печкой». Но так и не двинулся с места. Всякий раз усталость приковывала его к нарам, он был не в силах даже пальцем шевельнуть, весь во власти сна, бороться с которым ему было невмоготу.

Все же он встал еще до света, потому что ему уже давно надо было выйти. Мать, сидевшая прислонясь к стенке барака, подняла голову.

— Ты так и не ложилась? — спросил отец.

— Ложилась, ложилась, не беспокойся обо мне.

Голос у нее был хриплый и слабый.

— Ложись на мое место, я больше не лягу.

Она встала и, не сказав ни слова, растянулась на нарах. Отец вышел. Звезд уже не было, и ветер утих. Небо, верно, заволокли тучи, но было холодно по-прежнему. Вернувшись, отец сказал:

— Если начнется дождь, мы пропали.

Мать, видимо, дошла до предела усталости. Она с трудом приоткрыла глаза. Отец испугался. Лицо у нее было как у покойницы. Он постоял около нар, потом вернулся к печке и подбросил в огонь коры. Он спал, а она, верно, не ложилась всю ночь. Топлива почти не осталось. Он спал, а она поддерживала огонь. Он чувствовал себя виноватым, но искал оправдания в том, что она моложе и меньше его намучилась за день. Ему хотелось пить. Язык пересох. С минуту он колебался, но потом все же свернул сигаретку. Первые затяжки были неприятны, но вскоре он почувствовал, что от курения окончательно проснулся. Боли не исчезли, но прежней слабости уже не было. Продолжая поддерживать огонь, он время от времени вставал, открывал дверь и смотрел на небо. Как только оно стало бледнеть над верхушками деревьев, он подошел к нарам. Мать открыла глаза.

— Ты не спала?

— Немножко вздремнула.

— Скоро начнет светать.

Она отозвалась только глубоким вздохом, от которого приподнялись ее сложенные на животе руки, потом повернулась на бок и села на край нар.

— Встаю,— пробормотала она, надевая башмаки.

Она выбросила солому из мешка, положила в него нож и брусок, термос и пустую литровую бутылку. Отец удостоверился, что огонь погас, аккуратно закрыл дверцу печки и вышел первым.

— И подумать только, что у нас нет даже капли кофе,— сказала мать.

Отец упрекал себя за то, что позволил ей просидеть всю ночь. Теперь надо постараться, чтобы все пошло гладко и ей не пришлось надрываться. Когда они дошли до увязшей в грязи тележки, в лесу еще было почти темно. Отец уже взялся за веревку, чтобы развязать поклажу, но мать предложила:

— А что, если мне дойти до Паннесьера и нанять лошадь, чтобы нас вытащили?

— Если придется платить почасно за человека и лошадь, вязанки нам дорого встанут. Сам справлюсь. У нас еще целый день впереди. Только бы не было дождя.

Он чувствовал себя сильным. Не то чтобы за ночь прошла усталость, а просто он перестал предаваться думам. В голове у него была одна мысль: справиться без чужой помощи. Все его бросили. Даже соб-

ственным сыновьям все равно, что он подыхает. Ну, так он не подохнет! Он вывезет свой хворост из лесу, и вывезет сам. Мать совсем обессилела и пала духом. Но он ей еще покажет, что может сделать человек в семьдесят лет! Он уже смекнул, что тут надо сделать. Когда не хватает сил, может выручить смекалка.

Отец развязал веревку и влез на боковую стенку тележки. На его счастье, вязанки были хорошие, тугие. По крайней мере, их можно сбросить на землю и не бояться, что они развалятся.

— Отойди! — крикнул он.

Мать отошла. Всего было двадцать четыре вязанки; он отсчитал шестнадцать и сбросил их на обочину. Когда на тележке осталось восемь вязанок, он слез и сказал:

— Столько-то мы вытянем. Пошли.

— А остальные ты бросишь?

— Не беспокойся. Увидишь. Поедем, только предупреди меня заранее, когда мы будем подъезжать к тому топкому месту, о котором ты говорила.

Он взялся за дышло, поискал, во что бы ему покрепче упереться ногами, и крикнул:

— Поехали!

Мать выдохлась. Он это знал. Соображать надо ему, его голове. У матери теперь осталась только капелька силы, которая прибавится к его силе.

Он потянул за дышло, повернул его вправо, потом влево, но тележка лишь чуть покачнулась. Он выпрямился и крикнул:

— Эй, эй, не надрывайся!

— Надо сбросить еще.

— Нет. Она сдвинулась, она выедет. Ступай на мое место. Ты только направляй и немного тяни. Сзади я смогу подтолкнуть сильнее.

Мать повиновалась. Он понимал, что она сейчас безвольное существо, и потому уже не прислушивался к ее советам. Слабость жены придала ему силы.

Когда она стала к дышлу, отец налег на тележку сзади, согнул в коленях ноги и подпер плечом поперечину, будто он и вправду хотел приподнять тележку с поклажей.

— Поехали! — крикнул он.

Закрыв глаза, сжав челюсти, он напрягся всем телом и оттолкнулся ногами. Он почувствовал, что тележка медленно приподымается, что колеса вылезают из липкой грязи. У отца вырвался какой-то нутряной звериный крик:

— Взяли!

Тележка сразу оторвалась, сдвинулась не менее чем на полметра и стала.

— Гастон! — крикнула мать.— Гастон!

Отец выпрямился и побежал к передку.

— Ах, черт! Ну что же ты! Мы выехали...

Мать стояла на коленях, упершись руками в землю. Она не могла подняться, и ему пришлось помочь ей.

— Когда тележка поехала, я поскользнулась,— тяжело дыша, проговорила она.

Отцу хотелось выругаться, но при виде ее измученного лица он сдержался.

— Ты ушиблась?

— Нет, ничего... Куда я теперь гожусь, только раздражаю тебя, бедного.

Ее слова тронули его. Ему захотелось обнять жену, но он уже давно позабыл, как обнимают. Он только сказал:

— Ну, раз она вылезла, дело на мази. Но за дышло возьмусь теперь я. Для тебя это может плохо кончиться. Если колесо на что-то наскочит, эта чертовщина, чего доброго, сразу швырнет тебя на землю.

Мать снова стала сзади, и они двинулись дальше.

Дорога была нелегкая, но они без особых трудностей добрались до топкого места. Отец остановил тележку, не доезжая до небольшого ската, который вел туда.

— Думаю, проедем,— сказал он,— но если положить фашинник, будет не так тяжело.

Он взял нож и принялся срезать с ближних деревьев нижние ветки. Мать подтаскивала их к топкому месту и укладывала поперек дороги. Когда грязь была закрыта ветками, они снова взялись за тележку и благополучно проехали. Конец пути до большака был лучше: они осилили его с двумя остановками.

— А теперь,— сказал отец,— осталось сделать еще две ездки.

Жена, верно, уже догадалась о его плане, потому что нисколько не удивилась. Она посмотрела на небо, которое заволакивало тучами, и вздохнула:

— Только бы обошлось без дождя.

— Ладно, идем, вывезем все из лесу, и дело с концом.

Отец почувствовал, что силы у него теперь хватит на двоих. Раз они выдержали первую ездку, выдержат и остальные. И действительно, это им удалось. Потрудились они, конечно, здорово, но тележка шла хорошо, и старик был доволен. Будь у него что поесть и попить, он охотно нарезал бы еще несколько вязанок. Но от голода сводило живот, от жажды пересыхало в горле.

Когда все вязанки были снова плотно уложены на тележку, отец спросил:

— Деньги с собой взяла?

— Нет. Зачем? Чтобы потерять в лесу?

— Глупо. Можно было бы промочить горло в Паннесьере.

— Так-то оно так, но не могла же я знать это наперед.

Обратная дорога шла под гору до самого города. Достаточно было направлять тележку и тормозить в зависимости от крутизны спуска. Отец шагал, подпирая перекладину дышла, которая толкала его в крестец. Мать шла около тележки и нажимала или отпускала тормоз. В Паннесьере старики напились у колонки. Вода была холодная, и они смочили себе лицо.

— Ты вспотел, не пей так много,— сказала мать.

Отец стал на свое место; мать повернула ручку тормоза, и они снова отправились в путь. Сначала отец несколько раз оборачивался и проверял поклажу. Теперь это было уже ни к чему. Все в порядке. Он это знал. Его подталкивает в спину никуда не пропавшая тележка, а на ней — две дюжины хороших вязанок, которые он нарезал собственными руками с помощью своего старого ножа.

Потрудился он на славу. Все сделал честь честью, как и полагается человеку, который ничего не умеет делать наполовину. Что хлеб, что земля, что лес — ко всему надо приложить не только руки, но и душу. В теперешнее время это начинают забывать, но чего ради ему идти на поводу у моды, потворствовать лени и неряшливости. У него совесть есть. Никогда не работал он спустя рукава — так неужели же, протрудившись шестьдесят лет, изменит своим правилам? Его не касается, что делают молодые. Они остались одни, он и мать. Ладно, и одни справятся. Не нуждаются они ни в молодости и силе Жюльена, ни в деньгах Поля. Не в его характере просить милостыню. Он был прав, что не послушался жены. Если бы он пошел просить Поля помочь им, тот мог отказать, а отказ его бы обидел. Если бы Поль согласился, не пришлось бы так

надрываться, и, конечно, они привезли бы вдвое больше топлива, но все же, как сейчас,— лучше. Отец не мог точно сказать почему, но так он действительно думал. С этой мыслью он не расставался, несмотря на страшную усталость, которая толкала его под гору сильнее, чем тяжелая кладь. Даже когда спуск кончился и надо было снова тащить тележку, он продолжал цепляться за эту мысль.

В городе улица кое-где шла в гору, и не нашлось никого, кто бы им подсобил. Было около часа дня, и люди обедали. Отцу это доставляло своего рода удовлетворение, можно сказать, почти злорадное... Одни... Они одни доведут дело до конца.

Старики были уже на Школьной улице, и тут отец почувствовал на лице холодок первых дождевых капель. Дождь будто еще раздумывал, но потом сразу разверзлись хляби небесные, и на землю, словно внезапный весенний ливень, хлынули потоки воды. Сильно запахло мокрой пылью. От порыва ветра захлопал флаг со свастикой, развевавшийся над входом в Педагогическое училище, и отец увидел, как часовой в каске и в зеленом мундире спрятался в полосатую будку. Ему даже показалось, будто солдат, увидя их, усмехнулся, но плевать он хотел на смех немца.

— Тормози! — крикнул он.

Железные колодки заскрежетали на ободьях колес, и тележка поехала медленнее. Отец поставил тележку у своего забора и закрепил тормоз.

— Уберем, когда кончится ливень,— сказал он, доставая из кармана ключ от калитки.

Они поспешили к дому, но сперва отец пересчитал кроликов и подбросил им охапку сена и только потом поднялся на крыльцо.

Когда он вошел в кухню, мать уже открыла ставни. Она принесла из чулана два стакана и кувшин с водой. Старики медленно пили, смакуя каждый глоток.

Теперь оставалось растопить плиту и приготовить обед, но они не могли сдвинуться с места, прикованные к своим стульям объединявшей их усталостью.

Время от времени они глядели друг на друга. Говорить им не хотелось. Они сидели вдвоем, в своем доме, который обрели вновь. А за окном дождь яростно стучал в стекла.

Они глядели друг на друга молча, но оба знали, что тяжкий труд этих двух дней связал их, несомненно, крепче, чем связывает пережитая вместе большая радость.

Часть вторая

Долгая зимняя ночь

18

В этот вечер, незадолго до темноты, с северо-востока налетел ветер, и огонь в печке загудел. Отец подошел к окну и поглядел на сад, где по черной земле бежали сухие листья. Потом он опять сел, оперся спиной о стол, поставил ноги в толстых серых шерстяных носках на открытую дверцу топки и вздохнул:

— Да, вот теперь это настоящая зима.

Минуту-другую он прислушивался к ветру. Переводил взгляд с высокой старой груши с обнаженными ветвями, неистово метавшимися на фоне серого неба, на яркое пламя, плясавшее за решеткой топки.

Наконец, когда ветер окончательно вступил в свои права, когда он задул в определенном темпе и перекинул за линию темнеющих холмов первые беспорядочные порывы своего гнева, отец снова встал подбросить два полешка в топку и поправить вьюшку. Повесив кочергу на медный прут, он опять сел и повторил:

— Да, вот теперь это и впрямь зима.

— Ты думаешь, будет снег? — спросила жена.

— При таком ветре разве узнаешь. А вот если он стихнет, снег может повалить хлопьями. К тому идет. Я уже с утра чувствовал. У меня ноет плечо... И вот тебе доказательство, что я этого ждал: я закрыл сарай и заложил мешками крольчатник.

Отец, не всовывая ноги в шлепанцы, просто став на них, поднялся и поглядел в окно. Одной рукой он взялся за шпингалет, а другую положил в нагрудный карман своего длинного синего фартука. Козырьком каскетки он касался стекла, которое постепенно запотевало от его учащенного дыхания.

— Пожалуй, можно зажечь лампу,— заметил он.— Я закрою ставни. Потеряем на керосине, зато выиграем на топливе.

Притянув тяжелые деревянные ставни, которые он оклеил черной бумагой, чтобы затемнить щели, отец снова затворил окно, задернул цветастые занавески и сел на прежнее место. После такого усилия, после холодного воздуха, которым он надышался, ему надо было отдохнуть. Несколько минут он просидел неподвижно, положив одну руку на грудь, другой сжимая угол стола. Мать подкрутила фитиль, медленно подняла к потолку висячую лампу на скрипучих цепочках, потом, вглядевшись в лицо мужа, заметила:

— Мне кажется, тебе сегодня трудно дышать.

— Ты же знаешь, что первые холода на меня всегда так действуют. Надо опять начать пить микстуру.

— Микстуры теперь не достанешь. Нужен рецепт. Да и то еще продадут такую дрянь, без сахара, от которой тебя тошнит.

— Значит, подыхай — и все. И подумать только, что сейчас самое начало декабря, что же мы будем делать, если установятся холода!

Он говорил без раздражения. Просто констатировал факт. Все точно объединилось в стремлении поскорее прикончить таких стариков, как они, не имеющих сил сопротивляться. Он постоянно твердил одно и то же, и его слова всегда вызывали один и тот же ответ. Сейчас жена опять сказала ему:

— И другим, милый мой, живется не слаще. И другим приходится терпеть.

— Ну что ж, и другие тоже в конце концов подохнут.

— А что тут можно поделать?

Мать тоже не проявляла признаков раздражения. Вот так они и сидели оба со своими горестями, без воли к сопротивлению. Вся их жизнь была долгой борьбой, и энергия их была сломлена, остатка сил хватало только-только на то, чтобы как-то удержать ту искорку жизни, которая еще теплилась в них. Отец это чувствовал. Он ворчал на холода, и все же иногда ему казалось, что легче всего пережить именно зиму. Ночи удлинялись, дни походили на долгие сумерки, и ему не оставалось ничего другого, как посиживать дома у печки. Он сидел, весь сжавшись,— так уменьшается огонь в лампе, когда прикрутят фитиль, чтобы сберечь остаток керосина. Даже война будто задремала. События происходили где-то очень далеко, в странах, названия которых ничего ему не говорили. А у них здесь немцы вели себя как будто тише, да и комендантский час, установленный с шести вечера, зимой был не так тягостен, как летом. В общем при таком существовании за день всегда выпадал час-другой, когда все, казалось, шло, как обычно. Прошлое занимало теперь главное

место, и отец часами вспоминал свою уже прожитую жизнь, выбирал какое-нибудь событие и рассказывал о нем сам себе, во всех подробностях рисуя его в своем воображении.

Мать составила на угол плиты чугунок, от которого шел пар и вкусно пахло вареными овощами. Она сняла с него крышку, придвинула кастрюлю, поставила на нее мельничку и начала провертывать овощи для супа. Мельничка была старая. Иногда ее заедало, мать вертела ручку с усилием, напрягая спину.

— Не нажимай,— заметил отец.— Поверни ручку в обратную сторону. Если нажимать, можно сломать ручку, а новой не достанешь. Сейчас...

Она обернулась и прервала его, подняв руку. Отец уже собирался повысить голос и возразить, что он все же имеет право высказать свое мнение, но по глазам жены понял, что обернулась она не на его слова. Она стояла вполоборота к нему, подняв руку, в другой она держала над чугунком шумовку, с которой капал бульон. Взгляд ее был устремлен на дверь. Выражение лица настороженное.

Отец напряг слух, но уловил только равномерное гудение огня да пение чайника.

— Это ветер,— сказал он.

— Помолчи. Я уверена, что кто-то дергал дверь погреба.

— Пойду погляжу.

— Нет, еще простудишься.

Она положила шумовку, отец стал надевать шлепанцы, тут кто-то стукнул в ставень.

— На этот раз мне не почудилось,— сказала мать.

Отец тоже слышал. Сердце забилось сильнее. У него было такое ощущение, что сейчас в ночном холоде, охватывавшем дом, растворится уютное тепло кухни. Хорошего ждать было нечего. Уж не подбираются ли к его вину? Или кроликам? Или к дровам, сложенным в сарае?

Прошла бесконечно долгая минута. Наконец мать взяла карманный фонарик с почти севшей батарейкой и тихонько приоткрыла дверь. Направив оранжевый пучок света на крыльцо, она высунула голову и неуверенно крикнула:

— Кто там?

Отец стоял за ее спиной. Он успел схватить кочергу и теперь крепко сжимал ее в правой руке.

Что-то стукнуло о перила, и старикам, которые от волнения не улавливали сейчас даже свиста ветра, этот металлический звук из тьмы ночи показался невероятно громким.

— Это ты, мама?

Мать распахнула дверь и шагнула вперед. Хоть отец и не был уверен, что слышал голос Жюльена, он все же вышел. Пучок света скользнул по каменным ступеням и углу стены; снизу опять долетел вопрос:

— Вы одни?

— Ну, конечно, сынок. Иди. Иди скорей.

Отец отступил на два шага и посторонился, пропуская сына. Но мать не стала дожидаться, когда тот войдет в кухню,— она крепко обняла его и принялась целовать. Резкий ветер врывался в дверь. Огонь в лампе мигал, хотя и было надето стекло. Отец подождал немного, потом не выдержал:

— Да входите же, наконец! Вы настудите дом, и с улицы могут увидеть свет.

Отец в темноте не разглядел лица сына, но теперь, когда они вошли и он увидел Жюльена при свете, он только и мог прошептать:

— Господи боже мой! Господи боже мой!

Жюльен отпустил темно-русую окладистую бороду, а волосы, которые прежде стриг очень коротко, теперь были зачесаны назад и падали

на воротник пальто, на котором загибались кверху, образуя нечто вроде желоба.

— Господи боже мой,— повторил отец.— Вот уж не ожидал!

Голубые глаза Жюльена на его бронзовом от загара лице казались совсем светлыми.

Отец повернулся к жене; она словно потеряла дар речи — стояла, протянув руки, подбородок у нее морщился, на ресницах повисли слезинки.

Жюльен расцеловался с отцом, потом снова обнял мать и, приподняв ее, прижал на минуту к груди. Отец снял каскетку, почесал лысину и, покачав головой, медленно вернулся на свое обычное место. Последовало продолжительное молчание. Жюльен снял пальто и перевесил его через перила лестницы.

— А где у тебя... где у тебя чемодан? — спросила мать.

— Чемодан тут. Около погреба. Пусть пока постоит там.

Отец не мог отвести взгляд от этого бородатого лица. В первую минуту у него екнуло сердце и что-то сдавило грудь, а теперь он ощущал какую-то пустоту внутри. В голову не приходило ничего. Не было слов. Не было вопросов. И с матерью, верно, то же самое — стоит между столом и плитой, не сводит глаз с сына, а тот сидит на второй ступеньке лестницы и снимает башмаки.

Уже снова сгущалась, наползала в сад лишь на мгновение растревоженная, отогнанная за его пределы зимняя ночь, а с ней и свист ветра в старой груше, и гуденье огня, и монотонная песня воды в чайнике с медной крышкой.

Отец устало опустил плечи. Тело его медленно оседало на стуле в привычной своей полудремотной позе. Он отдыхал, положив локти на стол, вытянув на клеенке руки ладонями вверх, вынув ноги из ночных туфель, чтобы погреть их на дверце топки.

19

После нескольких бесконечно долгих минут, во время которых мать не раз вытирала глаза, она вдруг заволновалась. Забегала по кухне, задавая вопросы и тут же сама себе отвечая:

— Ты ел? Ну, ясно, не ел. Должно быть, голоден. Чем мне тебя покормить? Есть суп. Осталось несколько яиц. Если бы не так поздно, можно было бы зарезать кролика. Картошки, во всяком случае, начищу. Послушай, Гастон, может, провернешь овощи для супа?

Отец надел ночные туфли и встал. Она сходит с ума! И каждый раз, как Жюльен возвращается домой после долгого отсутствия, подымается такая кутерьма. Правда, сегодня они его совсем не ждали.

Провертывая овощи, отец то и дело оглядывался на сына, который все еще сидел на лестнице. Мать продолжала суетиться: открывала стенной шкаф, ходила в чулан, выдвигала ящик, ящик застревал, она трясла его, вдвигала обратно — ножи, вилки, ложки громко звякали. Отец начинал раздражаться. Какое-то время он боролся с желанием крикнуть жене, чтобы она успокоилась, но в конце концов обратился к Жюльену.

— Чего это тебе взбрело в голову так себя изуродовать? — спросил он.

Сын рассмеялся.

— Это я хорошо придумал,— сказал он.— Не хочу, чтобы меня сцапали, вот и принял кое-какие предосторожности.

— Ты знаешь, тебя разыскивают жандармы,— сказал отец.

— Это уж точно! Разыскивают.

— И тебя это как будто не пугает?

— Подумаешь, разыскивают-то не меня одного.

— Ладно,— вмешалась мать,— дай ему рассказать, откуда он приехал.

Отец подавил раздражение. Насмешливый тон сына задел его. Значит, сын дезертировал. Полиция его ищет. Они с матерью думали, что он в Англии, а он явился сюда да еще ухмыляется, отпустил какую-то дурацкую бороду и длинные, как у девушки, волосы. А мать, кажется, находит, что удивляться тут нечему.

Он достал со дна чугунка оставшиеся овощи, а Жюльен между тем стал рассказывать:

— Я сейчас из Марселя. Жил там у одного приятеля. Он художник. Парень что надо. Я вам не писал, чтобы не подвести вас. Петеновская милиция сейчас повсюду, и на почте тоже.

— Но что ты делал в Марселе? — спросила мать.

— Вместе с приятелем занимался живописью. Я мог бы остаться, да только с питанием там туго, в этом самом Марселе. А продовольственных карточек у меня нет.

Он замолчал. Отец повернулся к нему. Мать перестала накрывать на стол и слушала сына.

— У тебя нет карточек? — воскликнула она.

— Нет. Подложное удостоверение личности достать мне удалось, а вот насчет продовольственных карточек — это другое дело.

Отец подумал: «Вот так обрадовал. И самим-то нам не хватает!» — но не сказал ничего.

— Милый ты мой сын, да как же ты жил? — спросила мать.

— Ловчил. Только не очень-то это весело.

Она подошла к Жюльену, который уже встал со ступеньки.

— Да, ты похудел,— сказала она,— с такой бородой это не сразу заметишь, но когда приглядишься... Господи, какое счастье, что ты дома!

— Пора все же ужинать,— сказал отец,— он может рассказывать и за столом.

Отец заметил, что жена пожала плечами. Но сказать ничего не сказала, набросила на голову черный шерстяной платок, взяла ключ от погреба, электрический фонарик и вышла. Отец уже занял свое обычное место за столом, но сидел он как-то неестественно выпрямившись, не опираясь на спинку стула и не спуская глаз с сына, усевшегося напротив, на другом конце стола. Отец придумывал, что бы сказать, о чем бы спросить, и вдруг он вздрогнул: раздался крик матери.

— Что случилось? — спросил он.

Жюльен встал, как будто не зная, что делать, потом рассмеялся и направился к двери.

— Черт, я совсем упустил из виду. Она, верно, наткнулась на Серафена!

— Что ты сказал? —спросил отец.

Но Жюльен уже стоял в дверях.

— Не беспокойся, я иду. Он дядька не плохой! — заключил он.

Отец не знал, что ему делать — не то встать, не то остаться на прежнем месте. Он сидел на краешке стула и, напрягая слух, силился различить голоса жены и Жюльена. В саду разговаривали, это было ясно, но из-за шума ветра отец улавливал только смутный говор. Выходит, Жюльен приехал не один. Но что же это значит? Господи боже мой, сидели спокойно дома, двери плотно закрыты, в плите горит огонь, и вдруг весь этот трам-тарарам: хлопают двери, с улицы врывается холодный воздух, а сейчас, может, еще войдет кто-то чужой! Да еще кто это? Что за человек? Может быть, художник? Господи боже, всю жизнь гнуть спину и под конец не иметь даже нескольких часов покоя. А сказать ничего нельзя. Одно неудачное слово — и жена разозлится. Он это знает. Опять назовет его эгоистом.

Кто-то толкнулся о перила крыльца, затем толкнул дверь, она медленно отворилась. Вошла мать. В одной руке у нее были три яйца, в другой — фонарик.

— Вноси чемодан,— сказала она.— А то оставь на крыльце.

Она была бледнее обычного. Отец встал, и тут он услышал:

— Смеешься... Тогда уж лучше было оставить его в погребе.

Жюльен пнул ногой дверь и распахнул ее настежь — и отец застыл, открыв рот, одной рукой придерживая за козырек каскетку, другой опершись о стол. Он обомлел. Не знал, что сказать. Что подумать.

Жюльен вошел, держа в объятиях человеческий скелет. Череп, руки — не руки, а кости — и все это было связано тремя толстыми шнурами, да за них еще засунута свернутая в трубку белая бумага, которую скелет как будто прижимал к груди.

Жюльен поставил чемодан, и мать уже хотела затворить дверь, но тут отец голосом, как он сам чувствовал, не очень уверенным, крикнул:

— Не хочешь же ты... Сделай одолжение, выкинь ты это на улицу!

Жюльен как будто удивился.

— Почему? — спросил он.— Он ведь не грязный... Это Серафен. Он загнулся лет тридцать назад, если не больше.

— Уж не собираешься ли ты держать это в доме!

На этот раз отец крикнул очень громко. Сын на минуту замялся.

— Я могу поставить его к себе в комнату. Это мой рабочий инструмент.

— Рабочий инструмент...— пробормотал отец.

Несколько секунд в голове у него звучали только эти слова. Рабочий инструмент! Дальше ехать некуда! Он смотрел на скелет и мысленно видел квашню, лопату, свой садовый нож, тачку... Рабочий инструмент, нечего сказать, хорош инструмент!

— Послушай, Жюльен,— сказала мать,— отец прав. Таких вещей в доме не держат.

Сын, казалось, не понимал. Он переводил удивленный взгляд с одного на другого и чуть улыбался, от этой улыбки над бородой у него появилась очень светлая полоска.

— Ладно, будь по-вашему, пусть ночует на крыльце,— решил он.— Не помрет. Но бумагу я все-таки заберу, как бы не отсырела.

Он опустил скелет на пол и взял со стола нож, чтобы разрезать шнуры. Отец невольно подскочил на стуле.

— Нет, не ножом!

— Почему?

— Слушай, ведь противно. Возьми старые ножницы.

Жюльен вздохнул и повиновался.

— Не понимаю,— сказал он.— Такой же был дядя, как и мы. Ну, умер. С него счистили лишнее. И с тех пор он стоит в мастерской у моего приятеля.

Он положил бумагу на кухонный шкаф и поднял с полу скелет, болтающиеся руки которого ударились о ребра и звякнули.

— Такой ли он или из гипса, это абсолютно то же самое,— заметил Жюльен.

— Оставь его на ночь на крыльце,— сказал отец,— но завтра надо с самого утра отнести в сарай. Придет кто-нибудь, что тогда...

Жюльен вернулся на кухню.

— Знаешь,— сказал он, рассмеявшись,— он уже давно никого не кусал. А при жизни, может, был славным малым. Знать, конечно, ничего нельзя, может, был и убийцей. Приговоренные к смерти часто так кончают. Но ему голову не отрубали, это уж точно, шейные позвонки в целости. Он хорошо сохранился, знаешь...

Мать перебила его:

— Пойди вымой руки. И оставь эти разговоры: отцу они неприятны.

— Да,— вздохнул отец.— Мне они неприятны. Подумать только, так мы о нем беспокоились, а он вон какой явился. С такой... с такой физиономией да еще и с мертвецом.

Жюльен мыл руки в чулане. Он не затворил дверь, чтоб было виднее. В кухню тянуло холодом, все равно как с улицы. Плохой признак, подумал отец, затем опять вернулся к мысли о скелете.

— Ты с ним и в поезде ехал? — спросил он.

— А как же. Его-то ведь задарма катают.

— Самое подходящее дело, когда человека разыскивают и он не хочет привлекать к себе внимание.

— Точно. Как раз такой заметный человек никогда шпикам подозрительным не покажется. А потом — в удостоверении личности я значусь преподавателем рисования. Как говорит мой приятель, надо и лицом и всем своим видом соответствовать профессии.

Отец все еще не мог опомниться. Мать спросила:

— Преподавателем рисования? Ты? В твоем-то возрасте?

— Но по удостоверению мне двадцать девять.

Жюльен уселся за стол. Старики все еще стояли, не решаясь взглянуть друг на друга, они наблюдали за непонятным для них сыном, за этим странным сыном, появившимся с наступлением темноты и холодов.

Папаша Дюбуа качал головой. Сын дома. У него борода и волосы, как на некоторых изображениях Христа; он приехал из Марселя, называет себя преподавателем, притащил под мышкой мертвеца; и это его сын — тоже Дюбуа, как и он... С бородой... с мертвецом под мышкой.

20

Сын приехал, свалился как снег на голову, бородатый, с длинными волосами, настоящий художник, да еще с этим отвратительным мертвецом. Сын приехал, и мать как с ума сошла. Можно подумать, что дом горит. Все вверх дном поставила. Супу ему налила две тарелки с верхом, да еще говорит, чтоб он накрошил туда хлеба. Точно хлеб не по карточкам... Сделала ему яичницу из трех яиц. Точно яйца... А у него даже карточки продовольственной нет. Сказать? Отец боялся что-либо говорить. Он заранее знал ответ: «Это же твой сын! Можно подумать, что ты не рад его приезду!» Не рад? Ну, конечно, рад. Но все же появление сына в таком виде — это как обухом по голове. Неужели мать ослепла? Она пожирает его глазами. Ловит каждое его слово. Приехал бы Жюльен и заявил, что он совершил преступление, все равно она приняла бы его с распростертыми объятиями. А они-то думали, что он у де Голля! Оказывается, нет. Даже не это. Что же он делал после того, как дезертировал? Жюльен принялся рассказывать, уписывая суп, и яичницу, и огромные ломти хлеба. Он жил у приятеля беспорядочной жизнью художников. И говорил об этом, не краснея, как о чем-то вполне естественном. Из Марселя он уехал только потому, что уезжал его друг, а один он бы не выкрутился — он это чувствовал.

Отец долго молчал, глядя в пустую тарелку и исподтишка наблюдая за сыном, который рассказывал, и за женой, которая, одурев от восторга, слушала то, что так раздражало отца. Наконец он не выдержал:

— А теперь что ты думаешь делать?

Жюльен пожал плечами и состроил гримасу, от которой приподнялась его борода.

— Пока не решил... Какое-то время надо бы тут отсидеться.

Все трое обменялись вопросительными взглядами. Поколебавшись, Жюльен прибавил:

— У меня есть одна работа. Я мог бы закончить ее здесь.

— Ты говоришь — работа? — спросил отец.

— Да.

— А что за работа?

— Это я не могу вам объяснить. Слишком сложно.

— Ну, конечно, где нам понять, нам для этого ума не хватит.

Тут вмешалась мать.

— Послушай, Гастон, не сердись,— сказала она.— Ведь в картинах мы и в самом деле не очень-то разбираемся, а это, может, как раз и есть его работа.

— Картины? — усмехнулся отец.— Но где ж ему тут заниматься картинами? Да и какая это работа!

— Нет,— признался Жюльен,— это не картины, это... мне надо написать одну вещь. Словом...

Он замолчал, посмотрел на мать, на отца, потом вздохнул, отодвинул пустую тарелку и достал из кармана пачку сигарет и коробок спичек.

— Как,— удивилась мать,— ты куришь?

— Ну и что? Я же взрослый.

Раньше чем взять сигарету, он протянул пачку отцу.

— Вечером я не курю,— нерешительно сказал тот.

— Ну, раз-то можно.

В голове у отца теснились противоречивые мысли. Если он возьмет сигарету, он вынужден будет молчать. Но как отказаться от сигареты? Почти помимо воли рука его сама потянулась к пачке.

— Будешь всю ночь кашлять,— заметила мать.

— Брось,— сказал Жюльен.— От одной сигареты вреда не будет. Ты отлично знаешь, что у папы астма, потому он и кашляет.

— Вот потому-то и нельзя,— опять возразила мать.

Но отец уже поднес сигарету к губам и вытащил из кармана зажигалку. Мать не очень уверенно прибавила:

— Понимаешь, он и так слишком много курит.

Отец наслаждался первыми затяжками. Славно было курить так, не тайком, и не на холоде или в уборной. Наступило молчание, и так чудесно было вдыхать это молчание, жить, ощущая во рту приятный вкус табака. Однако отцу не давал покоя один вопрос. Он не раз и не два прикусил язык раньше, чем решился спросить между двумя затяжками:

— Откуда у тебя табак, раз у тебя нет карточек?

Жюльен расхохотался.

— Знаешь, в Марселе на черном рынке табак достать легче, чем хлеб или картошку. Во всех кафе официанты торгуют сигаретами. Думаю, что и здесь так.

— Не знаю,— сказал отец,— я в кафе не хожу. И во всяком случае тамошняя цена мне не по карману.

— А потом, чтобы вызвать приступ кашля, тебе вполне хватает пайка,— отрезала мать.

Отцу хотелось оборвать жену, но на язык просились другие слова. Когда он заговорил о кафе, ему в голову пришла одна мысль, но он заговорил о цене и не успел ее обдумать. Однако эта мысль не исчезла, и ее все равно надо было высказать.

— Нет,— вздохнул он,— я никогда не сиживал в кафе, но в свое время иногда заходил туда пропустить стаканчик с приятелями, когда встречал их на улице. Теперь я выхожу из дому как можно реже.

Он ждал, что Жюльен спросит, почему он теперь почти не выходит из дому, но сын молчал, поглощенный созерцанием сигареты, догоравшей у него в пальцах. Избегая смотреть на жену, отец продолжал:

— Я не хочу тебя упрекать... Ты только что приехал, верно, устал, но

в конце концов хотелось бы знать, что случилось? Ты был солдатом... дезертировал, а к нам теперь привязались жандармы!

Жюльен собрался что-то ответить, но мать опередила его:

— Нельзя сказать, что жандармы уж очень нас донимают.

— Не донимают потому, что они знают меня. Положение и так не из приятных, а сейчас, когда Жюльен тут...

Он повысил голос, но мать перебила его, заговорив еще громче:

— Приходят они не каждый день и еще ни разу не делали обыска.

— А зачем они приходили несколько раз? — спросил Жюльен.

— Да, приходили несколько раз,— подтвердил отец,— и вполне понятно, что приходили несколько раз, уж не воображаешь ли ты...

Тут его речь прервал кашель. Он встал, сплюнул в огонь, и мать подала ему напиться.

— Липовый отвар будет скоро готов,— сказала она.

— Другими словами, я могу идти спать и оставить вас в покое.

— Тебе, милый мой, нельзя слова сказать, ты на все огрызаешься. Я упомянула про отвар, потому что ты кашлял, а ты...

Жюльен рассмеялся.

— Я вижу, вы по-старому ругаетесь из-за пустяков.

Отец чувствовал: разговор грозит принять такой оборот, при котором он не сможет высказать то, что хотел. Ссориться не стоит, но выяснить все до конца нужно.

— Словом, ты должен отдать себе отчет в создавшемся положении,— сказал он.— Понять, какому риску ты подвергаешь себя... А также и нас.

— Ну, насчет риска, знаешь... Сейчас очень многие из молодежи живут по подложным документам и уклоняются от принудительных работ.

— Но ты-то ведь дезертировал.

— Дезертировал из армии, проданной фрицам, тут нет никакого позора.

Отец посмотрел на жену. Он понял, что она не на его стороне. И вполне естественно. Если он рассердится, она скажет про Поля и эту их милицию. И опять он выйдет из себя, они поссорятся, и в результате его замучает кашель, а они будут продолжать разговор.

— Отвар, должно быть, готов,— заметил он.

Мать достала чашку и сахар. Она уже собралась наливать, но тут Жюльен встал.

— Не клади сахара,— сказал он.— Подожди минутку.

Он открыл чемодан, вытащил смятое белье и какие-то бумаги, а потом горшочек меду, который он поставил на стол.

— Господи, откуда ты это достал? — спросила мать.

— Из чемодана.

— Но откуда у тебя мед?

— От дяди моего приятеля. Он живет в Провансе. Иногда он привозил ему мед. Приятель и сказал: «Слушай, отвези твоим старикам...» Знаешь, он малый во-о!

Отец смотрел на горшочек с медом. Уже больше года мед невозможно было достать по мало-мальски сходной цене.

— И мед-то еще лавандовый,— сказал Жюльен.— Бери, бери, мед хороший.

— Видишь, тебе повезло,— заметила мать,— сын о тебе думает.

По ее взгляду, по движению губ отец понял, что она не договорила до конца. И он легко догадался, что она хотела еще сказать. Если бы она не сдержалась, то прибавила бы, что у Жюльена ничего нет, а он все-таки нашел что́ привезти отцу, а Поль, хоть у него оптовая торговля и он ни в чем себе не отказывает, палец о палец не ударит, чтоб им помочь. Вот что она подумала. Отец сердился на нее за то, что она так думает, но

в то же время он был ей благодарен за то, что она ничего не сказала. Почему она молчит? Потому ли, что жалеет его? Пожалуй, скорее потому, что хочет избежать спора, который может затянуться, хочет отправить мужа спать и остаться вдвоем с Жюльеном и все ему выложить. Потому что Жюльену-то она обязательно расскажет о Поле и о том, что он путается с петеновской милицией. Оставшись с ним наедине, она сразу этим воспользуется. А Жюльен только обрадуется возможности облить помоями сводного брата, которого он терпеть не может.

Жюльен вернулся, вид у него какой-то нелепый, под мышкой мертвец, и вдруг Жюльен угощает сигаретами, ставит на стол мед. И все для того, чтобы зажать рот отцу. Да еще чтобы показать, какой он добрый. Вот и сейчас он говорит:

— Этого горшочка, если расходовать мед только для отвара, тебе на какое-то время хватит.

— А ты разве не любишь мед? — спросил отец.

— Ну, знаешь, я его там поел вволю. А ты всегда говорил, что мед полезен тебе для горла.

— Это верно,— сказал отец.

Он положил в чашку ложечку меда, медленно размешал отвар, вдыхая липовый дух, который вместе с паром шел от чашки. Мед, несомненно, был очень хороший. От него отвар стал еще душистее. Отец отпил глоток.

— Мед очень хороший,— сказал он.— А кроме того, сахар-то ведь нынче в диковинку.

Теперь все трое молча смотрели друг на друга. Небольшую кухню медленно заполнял аромат липового отвара, вытесняя запах овощного супа и жира, на котором жарилась яичница.

— Знаешь, мы очень о тебе беспокоились,— сказала мать.— Гадали, куда ты уехал — в Испанию, в Англию. По вечерам я часто ходила к мосье Робену слушать передачи из Лондона. Я думала, если ты там, может, подашь о себе весточку.

— Весточку? Какую весточку?

— Ну, не знаю, какую-нибудь, чтобы я могла догадаться.

— Не понимаю, каким образом... А потом, знаешь, Лондон — это тебе не Монморо, куда взял да уехал.

— Но, послушай, когда ты... когда ты ушел из армии, у тебя же было что-то на уме?

— Конечно. Я отправился в горы к партизанам, но все это плохо обернулось. Приятель, с которым я был, умер, а меня сцапали...

— Да,— прервал его отец,— мы узнали, что случилось. Тебя арестовали и посадили за решетку в каркассонских казармах, а ты оглушил капрала и смылся. Не знаю, отдаешь ли ты себе отчет...

Жюльен перебил его:

— Сволочь он был первосортная. Завзятый петеновец. Но чего вам не сказали, так это того, что выпутался я благодаря одному капитану. Вот это человек что надо. Он там для того, чтобы помогать маки и сообщать сведения англичанам.

Отец колебался. То ли идти спать, то ли продолжать разговор, который, вероятно, окончится ссорой. Он выпил еще несколько глотков липового отвара, затем, стараясь не раздражаться, сказал, пожалуй, даже робко:

— Стало быть, вроде как шпион.

— Если хочешь. Но такие нужны.

— Не знаю, нужны ли такие, но я бы предпочел, чтобы ты знался с другими людьми. Эти истории до добра не доведут. Я помню дело Дрейфуса...

— Ну, это уже давняя история,— вмешалась мать.— У тебя на все

старые взгляды. Ты не желаешь видеть того, что есть, а если и видишь, то в неверном свете.

— Опять ты за свое!

Отец тут же пожалел, что у него вырвались эти необдуманные слова. Жена уже выпрямилась на стуле, готовая к отпору. Однако она ничего не сказала. Они смерили друг друга взглядом. Неужели она заговорит о Поле? Поняла ли она, что муж жалеет о сказанном? Наступило продолжительное молчание, затем, откинувшись на спинку стула, мать прошептала совсем без злобы:

— Нынешняя война все опоганила... Разрознила людей. Даже там, где не сражаются, она сеет зло.

— Вот и надо постараться выпутаться целым и невредимым,— сказал Жюльен.

Отцу хотелось спросить Жюльена, не жалеет ли он о том, что дезертировал, но он не решился. Ему, правда, показалось, что из последних слов Жюльена можно сделать такой вывод, но он предпочел не выяснять. Поэтому он ограничился тем, что спросил:

— Но не можешь же ты скрываться вечно?

— Достаточно будет не попасть к ним в лапы до конца войны. Когда фрицев выгонят, я смогу объявиться.

— А ты вправду думаешь...

Отец не докончил — жена прервала его:

— Отец не в курсе того, что происходит. Он никогда не слушает радио. Газет мы не покупаем, он перечитывает «Иллюстрасьон», те номера, что вышли еще до четырнадцатого года.

— Газету мне читать незачем, ты держишь меня в курсе. Ты-то все знаешь!

— Я стараюсь не отставать от времени.

Этот разговор, в котором оба шли как бы по натянутой проволоке стараясь удержать равновесие между раздражением и мнимым миром, воцарившимся было на несколько минут, когда Жюльен достал сигареты и мед,— этот разговор был тягостнее открытой ссоры. Отец боролся с потребностью лечь спать и одновременно с желанием повысить голос и высказать то, что лежало у него на сердце.

Жить в мире — вот все, чего он хочет. Правда, всякий раз, мечтая о мире, он имеет в виду тот единственный мир, который сейчас для него возможен, семейный мир, когда его оставляют в покое здесь, в доме, и в саду. А это приводит в раздражение мать. Но, скажите на милость, кому во вред, если он старается жить как можно дальше от того, что творится вокруг? Наверно, можно было бы избежать многих бедствий, если бы все поступали так же! Если не считать комендантского часа и других ограничений, на немцев жаловаться не приходится. Надо только их не замечать. Не наступать им на ноги, и тогда они оставят вас в покое. Это как-никак уже кое-что. Но жена не желает это признать. Вечно ей надо во все вмешиваться. Ее больше волнует то, что делается вне дома, чем самые насущные их потребности. Вот и теперь, что им делать с Жюльеном, которого разыскивают жандармы?

На отца вдруг напала страшная душевная усталость. Ее даже нельзя было сравнить с тем утомлением, которое он чувствовал к вечеру, тяжело проработав весь день. Не была она сродни и той тоске, что охватывала его, когда он думал о прежних годах, об ушедшей силе и молодости. Сейчас он ощущал какую-то неимоверную пустоту. Словно приезд Жюльена изгнал из дома что-то, что не имело названия, не имело лица, но все же существовало и помогало жить, вроде того тепла, которое весь день шло от плиты и согревало кухню, где можно было уютно подремывать, пока не пройдут холода.

21

Отец предпочел не сидеть дольше и отправился спать. Он допил липовый отвар, взял ночной горшок и коптилку и поднялся в спальню, где заметил поблескивавший на обоях иней.

— Если установится холодная погода, придется перед тем как ложиться протапливать спальню...— проворчал он.— Разве тогда напасешься дров?

Он поскорее разделся и лег в постель, куда мать сунула грелку, обернутую старым чулком. Спустя немного он провел грелкой по всему телу и справа от себя — по тому месту в постели, куда ляжет мать. Но сегодня она нескоро придет. Теперь, когда она осталась одна с сыном, оба, верно, еще долго будут разговаривать, и он отлично знает, о ком они будут говорить. Он и наверх-то ушел, побоявшись ссоры. Хоть он и постарался убедить себя, что обычно уходит спать около девяти вечера,— это был только предлог. Теперь он упрекал себя, что пошел на отступление. Ведь тем самым он отдал им в руки Поля, которого мать уж конечно с грязью смешает. Должно быть, он все же смалодушничал! Поль как-никак его сын. Хорошо ли с его стороны позволять, чтобы они обливали Поля помоями, и не вступиться за него?

Он испугался, что, приняв бой, будет страдать, а теперь его мучила совесть.

Была такая минута, когда он хотел встать, тихонько спуститься вниз и послушать под дверью, о чем они говорят. Под предлогом головной боли можно даже войти в кухню и взять таблетку. Правой рукой он провел грелкой вдоль бока. Постель уже нагрелась. Отец лежал, надвинув на лоб ночной колпак, натянув одеяло до самого подбородка,— ему было тепло и приятно. От малейшего движения постель остынет. Он подумал о том, что пол ледяной, половицы скрипят при каждом шаге, что придется зажигать коптилку... а потом, если он услышит, как они ругают Поля, что ему тогда делать? Как пытаться оправдать Поля, раз он сам ничего не смыслит ни в международном положении, ни вообще в политике? Нет, все, о чем могут говорить жена с Жюльеном, не имеет значения. Важнее всего семейный мир и покой. В общем, не он один так думает, ведь и Жюльен сказал, что главное — дожить до конца войны. А мать уже делает из него героя! Хорош герой: корчит из себя художника, жил в Марселе! Ничуть он не лучше тех вояк тридцать девятого года, которые наперегонки удирали к испанской границе. Те, кто воевал в четырнадцатом году, были совсем другие. Держались крепко!

Отец глубоко вздохнул. Он опять переложил грелку, которая уже не обжигала руку. Он старался, чтобы в постель не проник из комнаты холодный воздух, и лежал, вытянувшись на спине, уйдя головой в мягкую ямку двух подушек.

Все-таки чудной у него сын. Занимается живописью и едет из Марселя в Лон-ле-Сонье с мертвецом под мышкой — ну на что это похоже! У него в семье, да и у жены тоже, все были люди разумные, вполне нормальные и жизнь вели трудовую. А вот Жюльен никогда не был вполне нормальным. Откуда у него все эти странные выходки? И мертвец... Разъезжать с настоящим мертвецом под мышкой... Нет, это надо было бы запретить.

С некоторого времени отец думал только о скелете, оставленном на крыльце. Как Жюльен его пристроил — вдоль перил положил? Или поставил стоймя в угол? Мысль о скелете не давала отцу покоя. Что это был за человек, которого, вместо того чтобы положить в гроб, так ободрали? Отец впервые видел скелет вблизи. Он знал, что они есть в музеях и в медицинских училищах, но там это одно, а здесь, дома,— совсем другое... Нет, это никак не укладывалось у него в голове.

Осторожно ли они поступили, оставив его на крыльце? А что, если жандармам взбредет в голову явиться завтра спозаранку,— что они скажут, наткнувшись на этого покойника?

Незаметно отцом овладело какое-то тревожное чувство. Хоть он и не желал в том признаться, его волновала мысль о смерти. И не только о смерти вообще, но и о своей собственной. Мертвец, что внизу, был, верно, таким же человеком, как и он, всю жизнь трудился, уставал. Может даже, он был булочником, как знать? Или крестьянином, был привязан к своему клочку земли. Может, при жизни он никуда не выезжал из своей деревни. Кто спрашивал его согласия, прежде чем превратить его в такую штуковину, которую без всякой церемонии таскают за собой, вроде какого-то зонтика? Серафен... Жюльен назвал его Серафеном. Тогда, выходит, он знает, кто это. А обращается с ним небрежно, кое-как. Когда помрешь, ничего не чувствуешь, это верно. С известной точки зрения, все одно — что быть вот этаким, что гнить в могильной яме; и все же, разве не естественно, если ты проработал всю жизнь, чтоб тебе дали наконец хоть немного отдохнуть? Положили бы на грудь камень с твоим именем, высеченным на нем. Даже если никто не остановится около, все же что-то от тебя уцелело. А кроме того, всегда есть люди, которые помнят. Отец бывал на кладбище только в канун дня всех святых да на похоронах. Ко дню всех святых он приводил в порядок могилы родителей и первой жены и приносил туда горшки с хризантемами, которые выращивал специально для этой цели. И каждый раз думал, что там, рядом с ними, и его место, и жена тоже там будет. Там они все встретятся. Может, уже не останется никого, кто бы приносил им цветы, но камень с их именами всегда будет лежать там. И еще много лет, возвращаясь с похорон, хоть несколько человек, проходя мимо могилы, остановятся и прочтут на памятнике его имя. И, может, скажут: «Гастон Дюбуа, да, он честно заработал право на отдых. Поворочал за свою сволочную жизнь немало мешков с мукой!» Люди его возраста и те, что чуть помоложе, может, вспомнят о хлебе, который он выпекал. Скажут: «Такие булочники, как он, в наше время перевелись». И от одного воспоминания у них потекут слюнки.

Мысль эта, конечно, была не бог весть что, но, во всяком случае, с ней было не так грустно сознавать, что в один прекрасный день тебя вынесут ногами вперед.

Отец думал свою думу, и все время мысль его возвращалась к этому неприкаянному покойнику, спящему так далеко от других покойников, в одиночестве, у них на крыльце, на холодном ветру. Верно, с тех пор как он, бедняга, расстался с жизнью, пришлось ему наслушаться от этих шалопаев всяких шуток да песенок. А для почтенного покойника совсем это неподходящая компания.

Когда мать поднялась в спальню, отец еще не заснул. Сперва он услышал движение в смежной комнатке, где жил Жюльен, потом отворилась дверь и совсем тихо вошла мать.

— Что же это ты без света? — спросил отец.

— Я оставила свечу Жюльену... Но ты не спишь?..

— Не сплю.

Мать разделась, потом легла в постель, впустив туда холодный воздух.

Наступила тишина, только матрас покряхтывал, когда мать ворочалась, стараясь улечься поудобнее. Наконец, уже засыпая, отец пробормотал:

— Что ни говори, надо лишиться последнего ума, чтобы привезти сюда этого покойника.

22

Уже на следующий день отец понял, что с приездом сына спокойному существованию конец. Ночью он просыпался несколько раз, и каждый раз у него перед глазами возникал скелет на крыльце. В полудремоте ему представлялось, что смерть стоит у дверей и ждет урочного часа, чтобы войти в дом.

Встав, отец оделся потеплее и вышел, чтобы унести скелет. Утро только еще занималось — серенькое утро, за которое упорно цеплялись остатки ночи. В сарае отец поднялся на чердак и спрятал скелет за кучей ящиков, которые он приготовил на растопку.

Отец воспользовался случаем и, набрав в ящик поленьев, захватил его с собой. Когда он вошел в кухню, мать уже затопила плиту и сварила кофе. Отец молча сел на свое обычное место у окна, выпил чашку кофе с молоком и стал ждать. Света было еще недостаточно, и читать он не мог. Да ему и не хотелось. Он принялся глядеть в сад. Он ждал.

Он ждал, когда проснется сын, и обдумывал то, что дал себе слово ему высказать. Готовые фразы вертелись у него в голове. И он был доволен, что не поговорил с сыном накануне. Надо все выяснить: узнать, что сын думает. Отец был убежден, что раз Жюльен приехал, значит, у него есть какая-то твердая цель. Может, он хочет повиниться? Попробовать вернуться в легальное положение? Как поступают с дезертирами? Всегда ли сажают их в тюрьму? Он вспоминал слова Поля и думал, что это как раз и может послужить поводом для их сближения. Если Поль выручит Жюльена, мать не будет больше нападать на пасынка. Не будет даже осуждать его связь с петеновской милицией, и в доме, может быть, опять установится мир.

Это утро прошло как обычно. Будто Жюльен и не возвращался. Первым делом мать выложила все из его чемодана, вынула оттуда несколько книг, два ящика с красками и грязное, измятое белье. Она запихала белье в мешок, а принадлежности для рисования отнесла в столовую. В кухне на столе остались только книги, и, поколебавшись, отец в конце концов пододвинул всю стопку к себе. Он взял одну книгу и стал ее листать. Называлась она «Цветы зла» — какого-то Бодлера. Отец надел очки, но в книге были только стихотворения, он даже не стал их читать. Положил книгу обратно, полистал остальные, потом отодвинул всю стопку. Одни стихи, и на некоторых страницах всего несколько строк, да иногда еще очень коротких. Отцу такая работа представлялась несерьезной. Вроде того, как если бы булочник недовешивал хлеб. Он считал, что покупать книги, где столько пустого места,— глупо. Чем больше он думал, тем более странным казался ему сын, непохожим на тех людей, среди которых всегда жила их семья.

Мать не говорила ни слова. Она молча делала свое дело и старалась как можно реже отворять дверь, чтобы не студить кухню. Отец время от времени поглядывал на жену. Ему казалось, будто она хочет что-то сказать и не решается. Это пришло ему в голову просто так, без каких-либо серьезных оснований.

Убрав вчерашнюю посуду, она поставила на плиту чугунок с очистками, предназначенными для кроликов. Потом высыпала из мешочка на клеенку чечевицу и стала ее перебирать.

— Помочь? — спросил отец.

— Нет, тут немного.

Опять воцарилось молчание, затем мать сказала:

— Ночью мне было холодновато.

— Да, уже и в доме холодно. Сегодня вечером надо протопить — стены немного подсохнут и воздух станет лучше.

— Дом так отсырел, что надо бы топить целый день.

— Целый день? С ума сойти! Лучше уж топить с вечера, как мы топили в большие морозы до войны. Да только с теми дровами, что у нас, и думать об этом нечего.

Мать замолчала, и отец решил, что на этом разговор окончится. Прошлой зимой они уже говорили об этом, но мать сама знает, что дрова достать слишком трудно и спальню как следует не натопишь.

Довольно долго был слышен только шорох чечевицы, которую мать перебирала по одной и ссыпала в салатник, стоявший у нее на коленях.

— Хворост, которым мы запаслись, тоже неплохое топливо,— вздохнув, сказала наконец мать.

— Хворост еще не нарезан. Ты сама знаешь, что я даже не распилил все дрова.

— Верно. Вот Жюльен и мог бы это сделать. Если он будет осторожен и незаметно пройдет в сарай.

Отец не знал, что сказать. Конечно, чего уж лучше, если Жюльен распилит и наколет дрова. Но раз мать так говорит, значит, сын решил отсидеться у них, скрываться тут, в доме, отделенном от города только садом. Мать, вероятно, подумала, что муж обрадовался услуге, которую им может оказать сын, и потому снова заговорила:

— Понимаешь, если он будет скрываться здесь, ему нельзя работать на кухне. Втроем в такой комнатушке... и потом в любую минуту кто-нибудь может прийти. А у него в комнате нет печки, значит, ему придется поставить свой стол в нашей спальне... Только... только тогда надо будет топить...

Отец сжал челюсти. Пальцами вцепился в угол стола. Его душил поток слов. С языка не слетело ни одного. Он несколько раз открывал рот, но не мог ничего произнести. То, что сказала мать, было слишком далеко от всего, на что он надеялся, и даже от того, чего он опасался. Он не мог воспользоваться ни одной из тех фраз, которые долго обдумывал на все лады. Решительно, ему никогда не понять ни жены, ни Жюльена. В жизни у них бывало всякое — и тогда, когда они жили только вдвоем, но все же общая работа сближала их, а тяжелая жизнь сглаживала многие шероховатости. Но как только появлялся Жюльен, все сразу шло кувырком, и отец уже сам себя не мог понять.

Значит, сын думает жить здесь и ничего не делать — отсидеться у печки, которую придется топить для него одного, и это в то время, когда они так берегут дрова! И мать согласна. Готова поддерживать этого лентяя, который не мог спокойно остаться в армии! Господи боже, если из него даже солдата не вышло, значит, он ничем не сможет заняться, ничего-то у него не получится!

Эта новость застала отца врасплох, он даже был не в состоянии выразить свое негодование. Он онемел, сидел и смотрел на жену и только задавал себе вопрос — что, она действительно так поглощена работой или не подымает головы, чтобы не глядеть на него?

23

Жюльен сошел вниз только в одиннадцатом часу.

— Здоров же ты спать,— заметил отец, стараясь улыбнуться,— проспал почти полсуток.

— Должно быть, обрадовался, что очутился у себя в постели,— сказала мать.— Милый ты мой, тепло ли тебе хоть было?

— Нормально.

Жюльен сел к столу.

— Молока, правда, маловато, но больше никак не достать,— сказала мать, тут же налив ему чашку кофе.

— И со всем так,— заметил отец,— у нас ничего нет. Ну просто ничего. Вот так-то.

Наступило молчание. Жюльен ел, а отец наблюдал за ним. Этот бородатый похудевший малый как-никак его сын. Он задавал себе вопрос — был ли он в этом вполне уверен накануне вечером, когда тот вошел в дом. Во всяком случае, сегодня утром он своего сына узнал. Ночью, да и потом, когда встал, отец на все лады обдумывал слова, которые он твердо решил сказать сыну, чтобы убедить его жить по-людски, вернуться на путь, по мнению отца, единственно правильный, а сейчас эта, так тщательно подготовленная речь целиком вылетела у него из головы. Глядя на Жюльена, он главным образом думал о долгих месяцах, которые они с матерью прожили, ожидая возвращения сына. Сколько раз они считали, что его уже нет в живых, и всякий раз им было очень больно. Правда, они об этом не говорили, но отец научился безошибочно угадывать, что творится в сердце жены, когда речь заходит о Жюльене. Сто раз хотел он ей сказать: «Мне тоже больно. Мне так же больно, как и тебе, когда подумаю, что его, может, уже нет в живых, а ты считаешь, что я его не люблю, что у меня нет сердца». Он так часто проглатывал эти слова, что, кажется, и произнести их уже не мог. Он это знал, но знал также и то, что ему будет очень трудно читать наставления Жюльену. Почему? Он сам задавал себе этот вопрос. Он никак не мог понять, что происходит с ним каждый раз в присутствии сына. Раздражение, которое отец разжигал в себе, пока был один, улетучивалось почти совсем, стоило появиться Жюльену. Если отцу все же удавалось пробудить в себе это раздражение, ему надо было сделать над собой усилие, чтобы накричать на сына, и почти всегда это кончалось ссорой, потому что слова не передавали в точности его чувства. Очень это сложно — столковаться с двадцатилетним парнем, столь непохожим на тебя!

И в то же время он не мог так быстро со всем примириться. Дело не только в нем, но и в их общем спокойствии. Должно быть, мать окончательно ослепла, раз не видит, как опасно держать в доме дезертира, которого разыскивают жандармы. Нельзя разрешать ему жить здесь, пока не узнаешь, что он думает делать.

И чтобы собраться с духом и заговорить, отец довольно долго старался представить себе, что может случиться. Он представлял себе жандармов здесь, у них в доме, петеновскую милицию, даже немцев; суд, позор, обыски, разграбленный, сожженный дом. Он подогревал себя самыми мрачными предположениями и наконец, не выдержав дольше, спросил слегка дрожащим голосом:

— Ну, так что ж ты надумал?

Жюльен, покончив с завтраком, закурил сигарету, подошел к отцу и предложил закурить и ему.

— Я ведь уже говорил, мне надо закончить одну работу,— сказал он.

— Ну, знаешь, остаться здесь — это все равно что лезть в пасть к волку. Не можешь ведь ты жить, как в тюрьме, так, чтобы даже носа на улицу не высунуть.

— Понимаешь, если я устроюсь работать у вас в спальне, мне там будет совсем не плохо.

Отец на мгновение задумался. Он чувствовал, что от его ответа жена может взорваться. До сих пор она ничего не говорила. Она возилась в чулане, дверь в который была приоткрыта, и, конечно, прислушивалась. Отец принудил себя рассмеяться.

— Тебе-то, может, будет и не плохо,— заметил он — но, боюсь, как бы не было плохо нашему запасу дров.

— Ну, знаешь, в таких местах, как у нас, и чтобы не было дров...

Отец хотел ответить, но тут вышла из чулана мать.

— Отец прав,— сказала она.— Мы тебе расскажем, чего мы натерпелись, чтобы обеспечить себя дровами на зиму. Очень нелегко это было, да.

Она выждала минутку, потом, повернувшись к отцу, спокойно сказала:

— Все-таки нам на зиму за глаза хватит. А ты должен понять: нельзя же ему сидеть на кухне и прятаться всякий раз, как услышит, что кто-то идет. Если он хочет работать, надо, чтобы он устроился как следует.

Отец опустил голову. Ее слова означали: «Он твой сын. Он укрылся у нас, не выгонишь же ты его на мороз. Не выбросишь на улицу. Пусть мы подохнем с холоду и голоду, потому что у него нет продовольственных карточек, все равно мы должны прятать его у себя как можно дольше. Это мой сыночек. Он тут, и я его уже не отпущу. А ты старый эгоист, вот ты кто. Я тебе это сто раз говорила и сейчас опять повторяю».

Да, отец это чувствовал. Все это читалось во взгляде матери, как в открытой книге. И сверх того, в ее взгляде была угроза, что она заговорит о Поле. О доставке вязанок, о продуктах, которые Поль и его жена продают и покупают на черном рынке, о его приятелях, о его связях, которые Жюльен, конечно, не одобрит, раз он дезертировал из армии правительства Виши.

— Я прошу вас об одном,— сказал Жюльен,— подержите меня здесь месяц, чтобы я мог закончить работу, а потом я как-нибудь выкручусь.

— Милый ты мой сын,— вздохнула мать.— Значит, ты опять уедешь... и одному господу богу известно куда!

— Ну чего ты переживаешь,— сказал сын,— чего ты переживаешь?

Отец уже готов был покориться и больше не возражать, но тут у него вдруг возникла мысль, что они, может, в сговоре. Конечно, они воспользовались вечером, когда были вдвоем, все подготовили и думают обвести его вокруг пальца. От такого предположения отец снова вспылил.

— Ладно! — вырвалось у него.— Я согласен, но неужели вы думаете, что полиция не будет его разыскивать?

Он почти кричал, и мать это как будто удивило. В ее взгляде было больше грусти, чем гнева.

— Если ты думаешь, что он будет в большей безопасности у чужих или на улице, тогда выстави его за дверь.

Она говорила спокойно, но отец догадывался обо всем, что она еще могла сказать. Неожиданно в нем началась своеобразная борьба: с одной стороны — покой, которым он мог наслаждаться с наступлением зимы, с другой — война, которая могла разразиться в семье и все перевернуть. Стоит ему произнести неудачное слово, и мать крикнет: «Ты что, его смерти хочешь? Его смерти, чтобы все досталось твоему другому сыну». Никогда она так не говорила, но отец знал: чтобы защитить Жюльена, она и на это пойдет.

Он остался один.

Опять он один. Опять спокойная жизнь под угрозой. Он еще раз посмотрел по очереди на жену и на сына, затем, опустив глаза, повернулся к ним боком, оперся правым локтем о стол и проворчал:

— По мне, делайте, как хотите, если я что и сказал, так это главным образом из-за Жюльена.

Последние слова чуть слышно слетели с его уст. Он уже положил ноги на дверцу топки, и тело его медленно оседало на стуле, непроизвольно принимая то положение, в котором он обычно отдыхал.

24

Опять медленно потянулись дни, словно зима снова обрела обычный свой ритм, прерванный на какое-то время. Жюльен вставал не раньше девяти, шел вниз умываться и завтракать, затем запирался в спальне родителей и начинал жечь дрова. В полдень всегда могли явиться нежданные гости, и потому Жюльен не спускался на кухню. Мать приносила ему обед наверх — иногда ей приходилось подниматься по два, а то и по три раза. Вечером, когда калитки уже запирались, Жюльен сидел на кухне, но все трое были настороже.

Что делает сын, сидя весь день за столом, который он придвинул к окну? Отцу хотелось это знать. Каждый раз, приходя спать, он смотрел на стол, но Жюльен оставлял там только бювар, авторучку, карандаши, словарь и пепельницу, часто полную окурков. Отец забирал несколько окурков, прятал в свою жестянку с табаком, качал головой и ложился спать. В комнате пахло дымом от сигарет и протопленной печью. Задув коптилку, отец еще долго лежал с открытыми глазами и смотрел на отсветы огня, плясавшие на потолке. В печке за слюдяным окошечком, потемневшим и расщепившимся, догорало последнее полено. Оно потрескивало в огне и плакало, как плачут сырые дрова, с шипением роняя капли сока на раскаленные угли. Слушая эти звуки, отец вспоминал лес, вспоминал, с каким трудом достались им с матерью эти дрова, которые сын палит целый день.

Но говорить об этом отец остерегался. Он знал, что жена отнесется враждебно к его словам. Он ограничился тем, что на второй день спросил:

— Но что он все-таки делает?

Мать ответила:

— Не знаю. Работает.

— Но он не рисует?

— Нет. Он что-то пишет. И по книгам занимается. Надо оставить его в покое. Времени зря он, конечно, не теряет. Надо помнить, что он ушел из школы в четырнадцать лет и поступил в ученики к кондитеру. Учился он в школе не так уж долго. А есть и такие, что до двадцати лет учатся.

Отец тогда ничего не ответил. Из слов жены выходило, что сыновья могут сидеть на шее у родителей гораздо дольше, чем был на их иждивении Жюльен. Что тут скажешь? Даже не спросишь у матери, как она изворачивается, чтобы кормить семью, как достает хлеб без талонов и каким чудом Жюльен, не имея карточки на табак, может за день выкуривать столько сигарет. Времени на приобретение продуктов мать тратила не больше, чем раньше, и в ее образе жизни ничего не изменилось. Надо было ждать, предоставить дням течь своей чередой и стараться не проявлять ни недовольства, ни удивления. Время сейчас сумасшедшее. Все делается шиворот-навыворот, значит, вполне естественно ничему не удивляться.

На четвертый день после возвращения Жюльена вдруг потеплело, ветер утих, и полил дождь.

— Я наперед знал,— сказал отец,— уже два дня у меня ноет плечо.

— Воспользуюсь переменой погоды и напилю дров,— сказал Жюльен.— В такой дождь никто не пойдет в сад. Я добегу до сарая в накидке, если какой сосед и увидит, он все равно меня не узнает.

— Я пойду с тобой.— сказал отец.

— Смотри не простудись,— заметила мать.

— Ничего. Сейчас не холодно. Я буду колоть и складывать. Если кто придет, скажешь, чтоб подождали, и сходишь за мной. В сарае Жюльен может спрятаться на чердаке.

Они проработали все утро, и отец несколько раз пытался расспросить сына, как тот жил в Марселе. Но Жюльен ограничивался рассказами о своем друге-художнике, которого превозносил до небес.

Словом, выпало одно такое утро, а потом жизнь опять вошла в свою колею. Время от времени стариков навещал кто-либо из соседей, задерживался на минуту поболтать о том о сем и уходил, рассказав, что слышно нового о войне, кого арестовали, кого расстреляли, а кто исчез и не дает о себе знать. Больше всего новостей приносил Робен, потому что он каждый вечер слушал лондонское радио. Но для отца все, что он рассказывал, звучало отголоском далеких событий. Названий тех мест он большей частью не знал, и когда, например, Робен сообщил об образовании правительства Тито, отец недоумевал, каким боком это его касается. Как-то Робен спросил у матери:

— Что-то вы не приходите слушать радио, мадам Дюбуа?

— Да не хочется выходить вечером в такой холод.

Каждый раз Робен спрашивал:

— От Жюльена по-прежнему ничего нет?

— Да, по-прежнему ничего.

Иногда Робен приносил немного масла, или кусок сыра, или же пачку табаку для отца. В таких случаях мать выходила вместе с ним.

— Пойдемте в погреб, дам вам луку, а для малыша — яблок,— говорила она.

Робен приносил также газеты, которые отец пробовал читать или просто листал и смотрел иллюстрации.

Так и текла жизнь: заходил то один, то другой сосед, неустойчивые зимние холода сменялись то туманами, то дождями.

Как-то в сумерки, когда уже начало темнеть, явился Поль Дюбуа.

— Проходил мимо,— сказал он,— и увидел, что идет дым из трубы вашей спальни. Я испугался. Подумал, уж не заболел ли отец.

— Ну что ты, нет,— пробормотал отец,— только, понимаешь...

— Последние дни все дождь шел и спальня совсем отсырела,— вмешалась мать.— Стены такие влажные, что обои отклеиваются. Вот и приходится немного протапливать. Впрочем, мы зимой всегда немного протапливаем.

— Ну, конечно,— сказал Поль,— но я знаю, что обычно вы топите только вечером, вот я и подумал, что отец слег.

— Сегодня я затопила пораньше, чтобы подсушить немного стены,— сказала мать.

— Это-то я как раз и увидел. Когда около двух я ехал на вокзал, из трубы уже шел дым. Сразу я не обратил внимания, а потом, вечером, вспомнил. И подумал: раз они топят днем, значит, что-то случилось.

Поль сидел, расстегнув габардиновое пальто, сдвинув на затылок модную коричневую шляпу из непромокаемой ткани. Он криво усмехался и поглядывал то на отца, то на мать. Потом достал пачку сигарет, взял одну и подтолкнул пачку по клеенке к отцу.

— Угощайся.

Отец колебался. Ему было не по себе. Казалось, сын пронизывает его насквозь своим взглядом.

— Понимаешь, я курю теперь все меньше и меньше,— сказал он.

Наверху что-то слегка хрустнуло. Мать закашляла, но Поль уже поднял голову. Он усмехнулся и сказал:

— Дом сушите, вот и скрипят половицы.

— Поднимусь, подброшу еще полешко,— сказала мать, вставая.

— А может, мне сходить? — предложил Поль.— Чтобы вам не подниматься. Если вы весь день топите, сколько же это раз вы наверх пропутешествуете.

— Я привыкла,— сухо возразила мать.

Она уже поднималась по лестнице. Ступеньки скрипели. У отца сдавило горло. Сквозь дым двух сигарет — своей и Поля — он смотрел на сына. Догадался ли Поль? Скажет ли он что-нибудь сейчас? Предпримет ли что-то другое? Что собой представляет на самом деле эта их милиция? Нет. Это невозможно. Он не посмеет. Не может он это сделать. А ведь если бы мать согласилась, то как раз у Поля и надо было бы попросить совета. Но теперь уже поздно. Уже поздно? А может, нет?

Все спуталось в голове у отца. Он знал, что руки у него трясутся, что лицо подергивается. Поль, конечно, это видит. Поль усмехается. Неужели он доволен? Неужели растерянность отца его радует?

— Да, матери, должно быть, трудно целый день топить наверху,— все с той же усмешкой сказал Поль.— Была бы у вас печка для угля, ее утром затопишь, и весь день она держит тепло. У меня есть такая, я мог бы на время дать ее вам.

Мать уже спускалась по лестнице. Должно быть, она предупредила Жюльена. Но отец, хоть и напрягал слух, не слышал, чтобы она закрыла дверь спальни. Может, для того, чтобы Жюльену было слышно, о чем они говорят?

Мать как будто спокойна. Она предлагает Полю стаканчик вина, он благодарит. Вот она ему наливает, рука у нее совсем не дрожит — отцу непонятно, как это она может. Поль отпил полстакана.

— Вы не думаете, что топить углем выгоднее? — спросил он.— У меня есть небольшая переносная печка, я мог бы на время дать ее вам. Я пришлю одного из моих шоферов, чтобы он ее поставил.

— Нет,— ответила мать,— топить углем спальню вредно. И угореть можно.

— Я вам же помочь хотел.

— Благодарим вас,— сказала мать,— но мы и так обходимся.

— А вот как бы ты мог нам помочь,— сказал отец.— Привези несколько мешков чурок для печки, когда одна из твоих машин поедет в горы. В токарных мастерских, должно быть, есть еще всякие обрезки дерева.

Отец выпалил это сразу, не обдумав заранее, что хочет сказать. И теперь сам был удивлен тем, что сказал.

— Я попомню,— обещал Поль.— В первый же раз, как мы повезем товар в сторону Мореза или Сен-Клода, я накажу шоферу.

Он замолчал. Казалось, он хотел еще что-то добавить. Он переводил взгляд с отца на мать. И все еще усмехался, но сейчас как-то иначе. Затем он заговорил, теперь уже тише и серьезнее:

— Обещать я ничего не могу. Когда машина едет в ту сторону, даже не знаешь, воротится ли она. Случается, что на них нападают террористы. Они не только отнимают груз, но и забирают машины. Одного шофера чуть не убили, потому что он шумел. Я своими людьми рисковать не хочу. Поэтому поставляю товар в горные районы, только если дают охрану.

Поль явно нервничал. Он повысил голос, и речь его текла уже не гладко. Он на минуту замолчал, но старики как воды в рот набрали. Поль два раза затянулся сигаретой и продолжал:

— Да, я требую охрану. Мы-то ведь работаем для того, чтобы люди не подохли с голоду. Не будь нас, поставщиков, они бы не получали даже того, что полагается по карточкам. Поэтому вполне естественно, что нам обеспечивают безопасность жандармы. А когда жандармы не могут, ну, тогда нас сопровождают немцы. Вот так-то!.. Я прекрасно знаю, что кое-кому это не по душе. Но мне на таких начхать. Я выполняю свой долг. Нравится это им или нет, для меня все одно.

Усмешка его погасла. Выражение лица стало напряженным, взгляд жестким.

Уже совсем стемнело, и надо было бы зажечь лампу. Но мать не двинулась с места. Она сидела, выпрямившись на стуле, положив руки на колени. Свет падал только на правую сторону ее лица. Отец сидел спиной к окну. Он был этому рад. Поль повернулся лицом к свету, но черты его лица были видны уже не очень четко. Только глаза еще блестели. После продолжительного молчания голосом менее громким, но вибрирующим, как металл, когда по нему ударят, Поль сказал:

— Я коммерсант, я делаю свое дело. И, можете мне поверить, это далеко не всегда весело. Мы живем в такое время, когда не борются со всякой сволочью. Попробуйте порасспросить. Тогда узнаете, что в маки у нас в Лоне ушли отъявленные мерзавцы. Всякие проходимцы, которые только и ждали случая дать волю своим дурным наклонностям, грабить и убивать. Вот что такое их так называемое Сопротивление. Нечего сказать, хорошо Сопротивление!

Он опять повысил голос, потом вдруг замолчал и рассмеялся.

— Но я не затем пришел, чтобы вам об этом рассказывать,— закончил он.— Я увидел, что из трубы вашей спальни идет дым, и пришел узнать, как вы поживаете. Никакого отношения к нашему разговору это не имеет.

— Да,— отрезал отец,— никакого, как ты и сказал. А нас все эти дела вообще не касаются.

Отец не кричал, он говорил спокойным, даже твердым голосом.

Слова эти с некоторых пор уже жили в нем и потому сразу пришли ему в голову. Они выскочили, как выскакивает втулка из бочки, где бродят яблоки для сидра. Отец вздохнул. И встал со словами:

— Пора зажигать свет и подогревать суп.

Поль тоже встал. Застегнул пальто и уже в дверях сказал:

— О Жюльене я не спрашиваю, думаю, если б вы что о нем знали, сами бы мне сказали.

25

Переступая порог, Поль насмешливо хмыкнул. Он вышел не спеша, и в кухню ворвались холодные сумерки. Дверь за Полем закрылась. Теперь старики прислушивались к его шагам, сперва по ступенькам лестницы, потом — к уже менее явственным — по мощеному двору, потом по центральной дорожке, где шаги и заглохли. У отца было такое ощущение, будто холод, заполнивший кухню, порожден насмешливой ухмылкой Поля. Ему хотелось избавиться от этого ощущения, нелепого и тягостного, но оно не оставляло его до тех пор, пока мать не сказала, опуская висячую лампу:

— Закрой ставни, я сейчас зажгу лампу.

Когда отец закрыл окно и обернулся, мать снимала нагар с только что зажженного фитиля, а Жюльен стоял в дверях кухни. Отец не слышал, как сын спустился, потому что был поглощен ставнями и, высунувшись из окна, с усилием вынимал крючок из петель. Их взгляды встретились. Сын глядел сурово и в то же время насмешливо.

— Напрасно ты спустился, пока я не заперла калитку,— сказала мать.

Жюльен усмехнулся.

— Теперь мне нет смысла прятаться,— резко сказал он.— Через час всему городу станет известно, что я здесь.

Отец опасался такой реакции и все же воспринял эти слова как пощечину.

— Что ты еще выдумываешь! — крикнул он.

— То, что есть. Если ты не понял, значит, ты туго соображаешь.

— Жюльен! — крикнула мать.— Прошу тебя!

Наступило молчание. Мать подняла к потолку лампу, и огонь перестал мигать. Все трое стояли, разделенные столом, на который падал свет от абажура.

Отец прерывисто дышал, но больше под влиянием гнева, чем от того усилия, с которым он закрывал ставни, и от холодного воздуха с улицы.

— Ты не имеешь права так говорить,— сказал он, овладев собой.— Твой брат не знает, что ты здесь. А если бы даже знал, почему ты считаешь, что он раззвонит об этом по всему городу?

— По всему городу не раззвонит, но он отлично знает, кому имеет смысл это шепнуть.

— Дурак! Почему ты думаешь, что он сделает такую глупость?

Отец уже не сдерживался. Внутренний голос еще твердил ему, что он неправ, что напрасно вспылил, но его душил гнев. Он даже не знал толком, на кого так разъярился, но уже не мог совладать с собой и должен был дать выход гневу.

— Почему я думаю? — старался перекричать отца Жюльен.— Так он же тебе сам сказал. Потому что он заодно с фрицами. Потому что они ему нужны! Потому что без них он не сможет наживаться, спекулируя на черном рынке!

— Жюльен, ты забываешься!..

На отца напал приступ кашля как раз в ту минуту, когда вмешалась мать:

— Замолчите оба. Если кто придет, вас из сада услышат... Жюльен, ступай наверх, я схожу запру калитку.

Жюльен пожал плечами. Он замялся, потом, когда мать шагнула в его сторону, повернулся и быстро пошел наверх.

Отец все еще стоял между окном и столом и смотрел на жену. По ее спине, вначале неподвижной, мало-помалу стала пробегать легкая дрожь, и отец сразу понял, что жена плачет. Он вздохнул, опустил голову и сел на свое обычное место.

Гнев его еще не прошел, но отец знал, что уже не вспылит. Он не делал усилий, чтобы сдержаться,— теперь гнев существовал как бы сам по себе. Как будто зверь, живший в отце, остывал, сжимался, превращался в тяжелый холодный ком. Почти уже не живой, но все же не дававший ему свободно вздохнуть.

Не взглянув на него, не сказав ни слова, мать накинула на плечи платок, взяла ключ от калитки и быстро вышла.

Не успела она закрыть за собой дверь, как все поглотила гнетущая тишина. Какая-то бездонная пустота, в которую отец погрузился помимо собственной воли. Какая-то густая серая муть, где потеряется, не вызовет отклика его голос, если он вздумает крикнуть. Все здесь ему враждебно. Слова, брошенные Полем. Слова, брошенные Жюльеном. Он тут один, один и не знает, за что ухватиться. И все время, пока он оставался один, он только и мог повторять:

— Война... Война все портит. Ничего хорошего от нее не жди.

26

Вернувшись, мать тут же поставила на плиту кастрюлю с супом. Отец следил за ней исподтишка, не решаясь ни спрашивать, ни встречаться с ней взглядом. Прошло несколько минут, потом мать поднялась в спальню. Отец прислушался, но не уловил ни звука. Он ждал. Казалось, дом всей своей тяжестью навалился ему на плечи. Наверху, в спальне, разговаривают жена и сын. А он один в кухне, он отлучен от всего.

Не очень понимая, по какому пути устремилась его мысль, он вдруг подумал о чердаке над сараем, где за кучей ящиков спал скелет.

Может, этот мертвец был еще более одинок, чем он? Может, у него тоже были дети? Кто его отдал или продал, кто позволил вот так таскать по миру живых?

Наверху хлопнула дверь, и деревянные ступеньки заскрипели под ногами у матери.

— Он не придет ужинать? — спросил отец, когда мать вошла.

Голос у него был самый обычный.

— Нет,— сказала она,— он лег.

— И не хочет есть?

— Нет.

— Надулся.

— Лучше оставить его в покое.

— Право же...— вздохнул отец.

Жена, выдержав паузу, сказала:

— Можешь не сомневаться, я отлично знаю, о чем ты думаешь.

— Да? Ну так скажи.

— Ты думаешь, что тебе, именно тебе нет покоя с той минуты, как мальчик вернулся.

Отец сдержался, хотя ему и хотелось крикнуть. Два раза провел ладонью по подбородку и только потом сказал:

— Это верно, нам нет покоя. И ты права: он еще мальчик. Потому что ведет он себя совсем как мальчишка и ничего не видит дальше своего носа. Но мы-то, мы не знаем покоя главным образом потому, что думаем о нем. О том, что может с ним случиться.

Мать медленно села. Скрестила руки на столе и посмотрела в упор на мужа, который сразу понял, что сейчас она опять примется за него.

— С ним ничего не случится, если никто не донесет,— медленно сказала она.

Не похоже было, чтобы она злилась, она казалась на редкость спокойной. И это ее спокойствие даже немного встревожило отца.

Опустив глаза, он пробормотал:

— Никто на него не донесет.

— Надеюсь,— сказала мать.

Потом она встала и пошла за тарелками. Когда стол был накрыт, они молча сели ужинать, и только доев суп, мать все так же спокойно объявила:

— Он уезжает.

Отец почувствовал, точно на него пахнуло свежим ветром, даже дышать стало легче. Он постарался, чтобы мать не заметила, что у него отлегло от сердца. Справился он с собой довольно быстро, потому что какая-то горечь уже сразу испортила то чувство удовлетворения, которое он ощутил от сказанного матерью. Он не мог бы точно определить, что за чувство это было, но оно примешивалось к опасению выдать себя. Он проглотил несколько ложек супа и только тогда спросил:

— Уезжает? А куда?

— Не говорит. Думаю, он и сам толком не знает. Но я...

Она явно искала слова. Говорила медленно, останавливалась перед каждой фразой.

— Но я,— повторила она,— я очень тревожусь. Не знаю, скоро ли он найдет, где укрыться. Здесь он все-таки мог бы побыть, пока не нашлось бы более надежного места... Ну, хотя бы где-нибудь в деревне.

— Никто не требует, чтобы он уезжал.

— Да... конечно... никто...

Последнее слово будто повисло в воздухе натопленной кухни. Оно уже давно замерло, но оно не исчезло, отец все еще его слышал.

Мать молчала. Должно быть, она думала, что отец догадывается, как тяжело у нее на душе. Если столько времени прожито вместе, бывают обстоятельства, когда молчание вполне понятно. Произнесешь, как бы на затравку, одно слово, и все остальное уже легко угадать.

Убрав со стола, мать принесла чашку и горшочек с медом. Она заварила в кастрюльке липовый цвет, потом, сев на прежнее место и глядя на лестницу, очень тихо сказала:

— Знаешь, он такой несчастный.

— А кто в теперешнее время счастлив!

— Знаю. Конечно, жизнь сейчас тяжелая, но у него есть еще и что-то другое, а что — он нам не скажет.

Она по-прежнему говорила вполголоса, с заминками. Однако отец, напрягавший слух, чтобы расслышать, понял, что ей надо многое сказать и что она это скажет.

— Знаешь,— сказала она,— когда он собрался в маки, приятеля, с которым они вместе ушли, по дороге убили... Мне кажется, он все время о нем думает... А потом...

Тут мать сделала очень долгую паузу, и отец подумал, что она отказалась от мысли продолжать разговор.

— Ну, а дальше что? — спросил он.

— Мне кажется, он полюбил одну девушку — и неудачно. Ты понимаешь...

— Он тебе сказал?

— Нет. Но я чувствую, что у него тяжело на душе. А в то утро, когда вы возились с дровами, я прочитала то, что он сейчас пишет.

Отец покачал головой. Побарабанил пальцами по клеенке. Несколько раз пробормотал:

— Право же... Право же...

Что тут можно сказать? Ничего. Ровным счетом ничего. У него на глазах тоже умирали приятели. Десятками. Он помнил имена, помнил лица. Но это как-никак было давно. А насчет девушки, которую полюбил сын... Но, прежде всего, полюбил — как это понимать? Он хотел на ней жениться, а она отказала? Ну, тогда ему повезло. Что бы он делал с женой в теперешнем-то своем положении? У отца была совсем другая молодость, чем у Жюльена, он не мог понять, что творится в душе сына, совсем не похожего на него. Когда он был молод, приходилось столько часов проводить за работой, что на все остальное оставалось очень мало времени. Он женился. У него родился сын. Жена умерла, оставила его одного, да еще и с пекарней на руках. Ясно, что ему было не очень весело, но он из-за этого не ушел от людей. Не заперся в комнате и не стал писать о том, как ему тяжело.

Мать, возможно, ждала от него другого ответа. После долгого молчания она подала ему липовый отвар и спросила:

— Как ты думаешь, что, если нам повидать Вентренье?

Отец, поглощенный мыслью о любовных огорчениях сына, удивился.

— Вентренье? — сказал он.— А при чем тут он?

— Он был заместителем мэра. Когда Петен стал во главе правительства, он подал в отставку, значит, он не согласен. А если он не согласен, он может знать, как спрятать Жюльена.

Отец развел руками. Все это его пугало.

— Какая ты быстрая,— заметил он.— Если ты начнешь всем рассказывать, что Жюльен тут...

Он вдруг замолчал. Он пожалел о своих словах, но того, чего он боялся, не последовало. Мать не заговорила о Поле, и он понял, что она стремилась любой ценой избежать ссоры, которая только бы осложнила положение. Он хотел было опять заговорить, но тут она, по-прежнему тихо, сказала:

— Послушай... Как бы невзначай я порасспросила мосье Робена. Он мне сказал: «Если вы узнаете что-нибудь о Жюльене, повидайте мосье Вентренье. Я уверен, что он может много для него сделать».

Отец пристально посмотрел на жену. Она не опустила глаз, однако он почувствовал, что она говорит неправду. Конечно, она уже сообщила Робену, что Жюльен вернулся. У отца не было причины не доверять этому их соседу, и все же его вдруг охватил страх. Робен даже без злого умысла мог допустить неосторожность. Мог поделиться новостью с женой, рассказать при сынишке... Все завертелось в голове у отца, картины грозящих им бед сменяли одна другую. Мозг его, подгоняемый страхом, работал быстро. Он уже видел свой дом разгромленным, сожженным и одновременно видел, как его самого волокут в тюрьму эсэсовцы, а Жюльена ведут на расстрел. Одна картина держалась упорно, одна невыносимая картина: казнь сына. Уж не накликал ли сын беды на свою голову, притащив сюда под мышкой старые кости этого мертвеца?

Отец не допускал даже мысли, что Поль может их подвести. Однако боялся этого со стороны чужого человека. Он знал, что Поль ладит с немцами, а Робен не стесняется их бранить, но это не изменило его опасений. Одно необдуманное слово — и все погибло. А люди могут подумать, что виноват Поль.

Голова гудела. Все путалось. Отец так старался внести порядок в ход своих мыслей, победить страх, от которого у него сосало под ложечкой, что ему даже стало нехорошо. Постепенно страх перешел в ярость. И совершенно непонятно почему эта ярость обрушилась на Вентренье.

— Черт меня подери! — крикнул отец.— Если Вентренье откажется помочь, значит, он последний негодяй! После того, что я для него сделал во время всеобщего бегства!

— Ты пек хлеб, потому что все булочники уехали и у нас в городе люди подохли бы с голоду,— спокойно сказала мать.— Знаю, что делать это ты не был обязан, но я не понимаю, чего ты обозлился.

Отец почувствовал, что его приступ ярости нелеп.

— Я не злюсь,— проворчал он.— Но я знаю людей. Обратиться с просьбой — это они могут. А вот оказать услугу — тут их не найдешь.

— Обратись к нему с просьбой, а потом говори.

— Обратись с просьбой! Нельзя же все-таки сейчас, вечером, бежать к нему с просьбой.

— Я уверена, что именно сейчас застану его дома.

Отец почувствовал, что половина тяжести с него снята. Мать сама пойдет к Вентренье.

Она взглянула на будильник.

— До комендантского часа времени еще достаточно. Вполне успею туда и обратно.

И, даже не дожидаясь ответа, она встала и начала одеваться.

27

Мать оделась очень быстро. Отец машинально следил за каждым ее движением, за каждым шагом. Она уходит. Она попытается убедить Вентренье помочь им. Это все, о чем он думал.

А когда она ушла, отец прошептал:

— Пошла к нему... Ах, господи, пойти-то следовало бы мне. Она не сумеет настоять... Но разве я могу, когда мне по такой погоде и ходить-то трудно!

Так он говорил, но другой, внутренний голос возражал:

«Ты не пошел, потому что не хочешь впутываться в это дело. Не хочешь заниматься Жюльеном. И за это ты тоже будешь себя казнить. И поделом, сам виноват».

Но почему? Разве он отвечает за глупости, которые выкидывает его сын? Кто воспитал Жюльена? Мать. Только мать. Она не позволяла ему вмешиваться в воспитание сына, которого испортила своим баловством.

И результат налицо. Из-за своей глупой выходки Жюльен рискует не только сам угодить в тюрьму или даже под расстрел, но, прячась здесь, он и их ставит под угрозу. Всем им вместе с домом может быть один конец! Но что сейчас важнее всего? Здрасьте, выходит, он опять думает о себе, о своих старых костях? Прежде всего надо дать Жюльену возможность спрятаться. Уйти от шпиков. Остальное неважно.

Вот что мысленно твердил отец, но его мучило и другое. Поль... Если Поль мог добиться, чтобы немцы дали охрану для его машин с продовольствием, значит, он может с ними разговаривать. Может с ними столковаться. Подумать только, достаточно ей захотеть, и все может уладиться! Но мать ни за что не согласится. А ведь тогда им всем было бы обеспечено спокойствие. Что подумают соседи? Но, во-первых, соседи ничего не узнают. А во-вторых, не все ли равно, что они могут подумать...

Отец рассматривал эту возможность со всех сторон, но по мере того как он жевал и пережевывал свою мысль, изнутри подымалась словно какая-то кислая муть. Все путалось, все приобретало тошнотворный привкус. Он вспоминал речи Поля. Вспоминал, как сын нервничал, излагая свои взгляды:

«Подумаешь — немцы!.. Чего вы все на них взъелись? Они нас побили. Ну и что? Незачем было объявлять им войну! Чего ты боишься? Что у тебя все отберут? Так это сделают не они, а большевики. А немцы защищают тебя от большевизма... Чем они тебе досадили здесь, у нас? Покупают. Расплачиваются. Создали закупочные комиссии, а могли бы прекрасным образом все отобрать, раз на их стороне сила. Я работаю с ними, потому что я коммерсант. Ты сам всю жизнь занимался торговлей. Ты что, отказывал покупателям, да? Я ни разу не видел тебя в церкви, однако это не мешало тебе печь хлеб для священников и для их школ... Если бы всякие идиоты не стреляли немцам в спину, им незачем было бы так завинчивать гайки, как они это делают. Ясно, когда убивают их солдат, они расстреливают заложников. Это естественно. Петен подписал перемирие — надо его соблюдать... Ты-то воевал в четырнадцатом году, так ты должен знать, кто такой Петен! Не будешь же ты говорить, что он изменник. А де Голля ты знаешь? Ты о нем слышал? Что это за птица? Авантюрист. Ничего больше. Да, часть молодежи пошла за ним. И наш долг разъяснить молодым, что это неразумно, вправить им мозги!»

Да, Поль говорил так, а другие, которые тоже ссылались на разумные доводы, видели в Петене изменника, а в де Голле — спасителя. Кому верить? Коли всю жизнь месишь тесто и вскапываешь землю, много ли остается времени для политики? И отец с трудом разбирался в своих чувствах.

До сих пор война не коснулась его, если не считать всех этих передряг с Жюльеном и Полем и ограничений. Это, конечно, ужасно, но это сущие пустяки по сравнению с тем, чего он насмотрелся в четырнадцатом году там, где сражались.

По временам отцу представлялось, что никто не тронет ни его сада, ни его дома. До сих пор война щадила этот клочок земли, и ему казалось, что так это и будет до конца войны. Ведь должна же она когда-нибудь кончиться! Только чтобы иметь возможность жить мало-мальски спокойно, не надо вносить в дом бочку с порохом. А сейчас Жюльен как раз та взрывчатка, от которой дом может взлететь на воздух.

У отца так трещала голова, что он несколько раз вынужден был прерывать свои размышления. Он то и дело поглядывал на будильник. Время шло. Огонь угасал. Надо или нет подбросить полешко? Можно ли лечь спать до возвращения жены? Не обвинит ли она его в равнодушии, если он не дождется ее здесь?

Он сидел, опершись локтем о стол, поставив ноги на дверцу топки. Он пытался успокоиться. Убедить себя, что все войдет в свою колею, однако по спине и шее у него пробегал холодок, а затем отец обливался потом, да таким, каким не обливался летом, когда в липнущей к телу рубашке трудился в саду на солнцепеке.

К работе упорной и тяжелой, а иногда и неблагодарной, он привык. С давних пор предельное напряжение сил стало неотъемлемой частью его жизни, но боль, которая сверлила ему голову, была в тысячу раз тягостнее.

Ночь гнетет. Он тут, на кухне. Жюльен спит как раз у него над головой. Мать идет по темной улице. Кажется, нигде, ни в чем нет жизни, кажется, все возвещает им великую беду.

28

Вернувшись, мать рассказала, что Вентренье очень хорошо ее принял. Выслушал, будто даже не удивился, а потом просто сказал:

— Хорошо, завтра утречком я к вам загляну.

Это обещание только отчасти успокоило отца, и ночью он плохо спал, то и дело просыпаясь от кошмаров.

Он встал чуть свет.

— Для Вентренье «утречком» — это, надо думать, часов около девяти,— сказала мать.— Незачем нарушать весь распорядок жизни.

— Надо разбудить Жюльена... Может, согласится хоть бороду сбрить, все-таки вид будет приличнее.

— Слушай, это ты брось.

Жюльен встал. Мать сообщила ему, что придет бывший заместитель мэра.

— Ах так, хорошо,— только и сказал Жюльен.

Затем они позавтракали в полном молчании. В тяжелом молчании, которое, казалось, сочилось с неба вместе с тусклым светом нехотя занимавшейся на горизонте зари.

Жил только огонь в плите, где все время потрескивало полешко акации.

— Раньше уважающий себя лесоторговец не подложил бы в дрова акацию,— сказал отец.— Но теперь им на все плевать.

— Благодари за то, что хоть есть чем топить,— возразила мать.

И ни слова больше. Опять молчание.

Отец наблюдал за Жюльеном, который кончил завтракать и курил. Он облокотился на стол, сцепил пальцы, опустил голову — казалось, мысли его были далеко.

Прошло довольно много времени, затем Жюльен встал и поднялся в спальню. Отец услышал, как он ходит, и понял, что сын затопил печь. Ему хотелось сказать матери, что теперь топить, может, уже и ни к чему, но он сдержался. Почувствовал, что это нелепо. Вентренье придет, но едва ли скажет Жюльену: «Пошли. Я займусь твоими делами».

Отец прислушивался к малейшему шуму. Он представлял себе, как сын подкладывает в печку поленья, как печка гудит. Даже вообразить трудно, сколько дров пожирает за день такая печь! Месяц этакой топки— и первая поленница вся.

Время тянулось бесконечно. Пасмурное утро застоялось, не желая светлеть, и словно мутной водой заливало горы.

Вентренье пришел незадолго до девяти. Войдя, он сразу снял шляпу, положил ее на кухонный шкафчик и расстегнул свое черное пальто.

— Позвольте, я возьму,— сказала мать.

Она отнесла пальто в столовую. Вентренье сел за стол. Должно быть, он очень спешил, потому что лицо у него раскраснелось. Он обтер носовым платком лоб и седые курчавые волосы.

— Ну, так где же ваше чудо природы?

Отец указал на потолок.

— Я сейчас схожу за ним,— сказала мать.

Оставшись один на один с бывшим членом муниципального совета, отец внимательно поглядел на него и только потом сказал:

— Спасибо, что пришел, Юбер. Это очень любезно с твоей стороны.

— Я пришел не из любезности, а просто потому, что надо выручать друг друга. Когда во время всеобщего бегства я попросил вас выпекать хлеб, вы же его пекли...

Отец остановил его, подняв руку.

— Ну, это дела давно минувшие,— сказал он.— И ты просил не за себя, а за других. Впрочем, они не очень-то тебя отблагодарили.

— Почему вы так думаете? Потому что я уже не в муниципальном совете? Не заблуждайтесь. Никто меня не выставлял. Я сам ушел, потому что не хочу получать приказания от правительства, которого не одобряю!

Голос его стал несколько жестче. И отец почувствовал в этих немногих словах как бы укор себе.

— Что до меня, сам знаешь, в моем возрасте политика...— пробормотал он.

— Конечно, конечно,— сказал Вентренье,— но тут не только политика...

Он замолчал. Однако отец чувствовал, что он чего-то недоговаривает. До войны Вентренье был выбран в муниципалитет от Народного фронта. Он был немногим старше Поля Дюбуа, и отец знал, что они не в ладах. О Поле, верно, и хотел поговорить Вентренье. Если это так, то уж лучше, чтобы это было с глазу на глаз, но если приход матери может помешать ему высказаться, тогда пусть бы она скорее сошла вниз. Как можно скорее.

Отец прислушивался. Тревога его росла. Вентренье сказал:

— Мы переживаем жестокое время, папаша Дюбуа. Война — это всегда не сладко. Но, мне кажется, война как война меньшее зло, чем теперешнее положение, когда французы грызутся между собой.

На лестнице послышались шаги. Вентренье замолчал, и отец вздохнул с облегчением.

Когда Жюльен вошел, Вентренье встал и пожал ему руку.

— Фу ты, черт,— сказал он, расхохотавшись,— твоя мать говорила, что ты стал художником, но не сказала, что и наружность у тебя теперь совсем как у настоящего художника.

Жюльен пожал плечами.

— Это главным образом чтобы меня не узнали.

— Я бы хотел, чтоб он сбрил бороду,— сказал отец.

— Ни в коем случае,— возразил Вентренье.— Не скажу, чтобы в таком виде он не обратил на себя внимания, но должен признаться, что, встреться он мне на улице, я бы его не узнал. Этак он совсем другой, ведь мы привыкли, что волосы у него подстрижены бобриком и походка как у спортсмена.

Отец попытался настаивать, правда, нерешительно, это, мол, ни на что не похоже, но Вентренье перебил его.

— Даже если бы он захотел расстаться с бородой,— заметил он,— я бы не посоветовал делать это сейчас. Он очень загорел, и когда обре-

ется, это сразу будет заметно. Вот тогда-то и подумают, что этот молодой человек решил изменить свою внешность.

Отец устало махнул рукой. Решительно ничего сейчас нельзя понять.

Жюльен пошел в столовую за стулом, все сели. Мать подала Вентренье рюмку виноградной водки; отпив глоток, он сказал:

— Теперь такую не часто выпьешь.

— У меня было запасено несколько литров,— сказал отец,— но боюсь, что до конца войны не дотянуть.

— Как знать! — заметил Вентренье.— В Италии и в России дела у фрицев не блестящие.

Он помолчал, потом выпрямился и посмотрел на Жюльена.

— Ну, так что же ты намерен предпринять? — спросил он.

— Пока что мне и здесь не плохо.

Вентренье покачал головой, очень медленно, раза два-три, и только потом ласково сказал:

— Нет, мальчик. Это невозможно. Нельзя жить в таком маленьком доме — в один прекрасный день тебя обязательно нащупают. Можешь скрываться где угодно, только не здесь.

— Но если никто на меня не донесет! — возразил Жюльен почти вызывающим тоном.

Вентренье грустно улыбнулся и опять покачал головой. Он вздохнул:

— Да, конечно... Но дело не только в этом. Ты, видно, немножко веришь в чудеса.

Жюльен собирался возразить, но Вентренье остановил его, подняв руку, и продолжал твердым голосом:

— Я не говорю, что кто-нибудь захочет выдать тебя со злости, но по глупости может. Или из зависти. Ты забываешь, что очень и очень многих твоих сверстников отправляют в Германию на принудительные работы. Ты забываешь, что других мобилизуют на охрану дорог или на работу здесь, на заводах. Их родители, возможно, не хотят их отпускать, и, узнав, что кто-то скрывается, они могут, пусть и не желая того, ему повредить, сболтнуть что-нибудь, не подумавши.

Он замялся, посмотрел на отца, потом на мать, а затем медленнее и тише, словно сожалея о том, что вынужден это сказать, прибавил:

— А кроме того, есть полиция и петеновская милиция... У них повсюду глаза и уши.

Отец опустил голову. Наступила долгая пауза, только потрескивали в плите дрова. Отцу хотелось крикнуть Вентренье: «Ты же все-таки не думаешь, что Поль на него донесет!..» Однако он не решился это сказать. Он только пробормотал:

— А если ему объявиться... Если сказать...

Вентренье прервал его.

— Нет, нет, папаша Дюбуа,— сказал он с усмешкой, которая больно задела отца.— Держаться от всего в стороне — этого запретить, конечно, нельзя, но не можете же вы не знать, что творится. Я не собираюсь утверждать, что все сторонники правительства Виши мерзавцы, среди них могут быть и честные, но обманутые люди. Но те, кто в ихней милиции... Нет, нет, эти...

Должно быть, он удержался и не произнес одного слова, боясь обидеть отца. Но отец понял. Он с трудом совладал с раздражением. Ему хотелось сказать, что все это его не касается, что теперь он уже не несет ответственности за действия своих сыновей. Один уже не молод. Другой всегда был далек от него. А потом, в свое время он, отец, был солдатом. Сейчас тоже война. Все правительства, весь свет — вот кто в ответе за эту неразбериху!

В мозгу у него теснились слова, они ударялись одно о другое, как орехи в корзинке, и эта сутолока была тягостна, но слова не шли с язы-

ка. Отец знал, что ему никогда не одолеть в споре такого человека, как Вентренье, привыкшего к политике и сложным рассуждениям. Он был подавлен. Сгорбился. Уставился в линялые квадраты старой растрескавшейся клеенки. Вот так теперь и все на свете — все пошло трещинами, все износилось, протерлось до основы, и ничего нельзя заменить.

Отец подавил раздражение, но, раньше чем окончательно остыть, сам того не желая, крикнул:

— Черт! Что же теперь прикажете делать — околевать?

Вентренье его слова, казалось, не взволновали и даже не удивили. Вероятно, он представлял себе, что творится в душе старика. Тот это понял, и ему стало как-то не по себе. Вентренье своим ясным взглядом пронизывал его насквозь. Отец опустил глаза и вздохнул; он понял, что, выругавшись, облегчил душу и теперь остаток его раздражения уляжется. Он понял: все, что теперь будет говориться и делаться, глубоко его не затронет. В конце концов, раз Вентренье пришел, надо думать, он может помочь Жюльену, и лучше не мешать ему говорить и действовать.

Вентренье отпил еще глоток, прищелкнул языком и сказал:

— Все эти разговоры сейчас ни к чему. Важно одно — чтобы Жюльен здесь не оставался.

Он замолчал. Наморщил лоб. Посмотрел на мать, затем на отца и только потом на Жюльена, в которого молча вглядывался несколько мгновений.

— Теперь скажи ты, что ты намерен делать,— заключил он.

Жюльен неопределенно пожал плечами и состроил гримасу, от которой приподнялась его борода.

— Выхода у тебя только два,— продолжал Вентренье.— Либо иди в маки́, либо живи в большом городе, где тебя не знают.

— В маки́...— пробормотал отец.

Вентренье посмотрел на него, и у отца слова застряли в горле. Но заместитель мэра угадал его мысль.

— Маки́ — это не совсем то, что вы себе представляете, или то, что, возможно, вам рассказывали,— пояснил он.— Это армия... Подпольная, но все же армия. Вы мои взгляды знаете, я никогда не был милитаристом. Но сейчас важно одно: как можно скорее выпроводить отсюда фрицев, дав им пинка в зад. Одни именно этим и занимаются; другие совсем к этому не стремятся, а есть... а есть и такие, которые и рады бы, но ждут, чтобы все обошлось без их участия.

На последних словах он немного замялся и замолчал. Никто ничего не говорил, тогда он допил водку, положил на стол свои большие руки и нагнулся к Жюльену. Казалось, он сам все решил за него.

— Ладно,— сказал он.— Я знаю, что случилось с тобой, когда ты однажды уже хотел уйти в маки́. Невеселая это история, и возвращаться к ней не стоит. Я не собираюсь влиять на тебя. Подумай сам. Когда примешь какое-либо решение, приходи ко мне.

Он крепче оперся о стол, наклонился вперед и медленно встал.

Надев пальто, которое мать принесла из столовой, Вентренье как будто спохватился и сказал:

— Покажи-ка, что у тебя за удостоверение личности.

Жюльен пошел наверх к себе в комнату. Не успел он выйти, как мать сказала:

— Понимаете, мосье Вентренье, маки́, мне кажется, это все-таки страшно.

— Страх ваш вполне законен, мадам Дюбуа. Но, видите ли, в городах постоянно происходят облавы, забирают всех подряд. Сажают в тюрьму, а когда нужны заложники, убивают кого попало. Поэтому, понимаете, риск...

Жюльен уже спускался, и мать быстро перебила Вентренье.

— А где-нибудь на ферме?..— спросила она.

Он поднял руку.

— Это тоже выход,— сказал он.— Но тут я не могу вам помочь.

Вентренье внимательно изучил удостоверение, которое протянул ему Жюльен.

— А еще фотокарточки у тебя есть? — спросил он потом.

— Да. Одна осталась.

— Дай сюда!

Жюльен порылся в бумажнике и подал Вентренье фотографию, которую тот сунул в записную книжку с загнувшимися углами.

— Вечером я опять зайду. А до тех пор не попадайся никому на глаза.

Потом, обернувшись к старикам, он прибавил:

— Если вас спросят, зачем я приходил, скажите, что жена осталась вам должна за овощи и я приходил рассчитаться.

Вентренье уже пожал им руки и направился к двери, но мать окликнула его:

— Господин Вентренье, у него нет продовольственной карточки.

Он обернулся и почти суровым тоном сказал:

— Знаю. Вы вчера мне это уже говорили.

Резким движением он надвинул на лоб шляпу и быстро вышел. Мать постояла на площадке, дожидаясь, пока он сойдет с лестницы, потом заперла дверь.

29

После ухода Вентренье они некоторое время молчали — все трое стояли, словно в ожидании приказа, которого так и не последовало.

Отец смотрел на Жюльена, на том были брюки, перемазанные масляной краской, и толстый коричневый свитер с воротником под самую русую бороду. Жюльен жадно курил. Он стоял ссутулившись, как старик. Отец ждал, что сын заговорит, но, простояв довольно долго на месте, тот повернулся и, не говоря ни слова, стал подниматься по лестнице.

Мать проводила его глазами, она как будто колебалась, затем, устало махнув рукой, чуть слышно прошептала:

— Господи боже мой, что нам теперь делать!

Это не было вопросом. Да отец все равно не знал бы, что ответить. Он направился к своему обычному месту, а мать поднялась к Жюльену.

Оставшись один, отец помешал в печке, сел и стал глядеть в сад. Земля, вскопанная для зимы, была черная. Голая. Напоенная влагой.

Но между отцом и этой землей, на которую он упорно смотрел, собственно, даже не видя ее, стоял Жюльен. Худой, бородатый, с длинными волосами. Печальный и обездоленный. Но обездоленный не потому, что у него не было крова, еды, денег,— нет, тут было что-то другое, непонятное. Да, это так. Отцу Жюльен представлялся обездоленным. И в то же время он вновь видел его оделенным всем тем, что было у него раньше. Оделенным силой. Здоровьем. Походкой крепкого человека. Телосложением, как у спортсмена или человека, привычного к физическому труду. Отцу казалось, что его сына подменили. Конечно, они и прежде не очень-то понимали друг друга, между ними всегда была какая-то неуловимая грань, мешавшая им свободно и просто разговаривать. И все-таки, когда Жюльен вернулся, окончив свое ученичество, со специальностью в руках, с крепкой мускулатурой заправского рабочего, отец почувствовал себя ближе к нему, несмотря на все его недостатки и странные выходки. Сейчас это был другой малый. Малый, который уедет, сам не зная куда.

«Скажи, что бы ты предпочел — чтобы Жюльен ушел в маки или чтобы он жил где-нибудь в большом городе беспорядочной жизнью художника, как в Марселе?»

Этот вопрос все время был тут, словно его настойчиво задавала голая земля сама или огонь, тихонько всхлипывавший в плите. Этот вопрос был тут, но отец отказывался на него ответить. Ему представлялось, что он должен произнести своего рода приговор, а он не признавал за собой на это права. Сложившееся у него представление о жизни художников мало-помалу порождало где-то в глубине души уверенность, что такая жизнь — самое большое зло. Как вода, которая прокладывает себе дорогу в земле и вдруг встречает на своем пути скалу, так и он, не успев отклонить для Жюльена перспективу жизни в большом городе, натыкался на свое представление о маки. И останавливался. Маки — это нелегальное положение. Риск быть пойманным, осужденным, расстрелянным или убитым во время стычки в горах. Уходя, немцы расстреливали тех, кого удалось захватить, и для острастки сжигали фермы подчас ни в чем не повинных крестьян. Разве мог отец советовать сыну стать на такой путь? Вентренье человек хороший, но слишком левых убеждений. Маки — это горсть коммунистов!

Значит, оставался третий выход — отправить Жюльена к кому-нибудь на ферму.

Обдумывая все «за» и «против», от которых у него в голове гудело, как в улье, отец в конце концов уже не видел ничего хорошего, кроме земли. Земля, только земля еще не осквернена. Война опоганила даже работу булочника — ведь теперь подмастерьям пекаря приходится замешивать такую дрянь, которую и мукой-то назвать нельзя. Война вынудила лучших работников мошенничать на всем и самых честных торговцев продавать на вес золота черт знает что. Конечно, в городе обвиняют крестьян, что они богатеют, продавая продукты на черном рынке, но, если Жюльен уедет в деревню, он станет там батраком. Продавать ему будет нечего. Он будет иметь дело только с землей, а земля так и остается землей. Лишь ее одну и не осквернила война.

Даже не отдавая себе отчета в том, что его мозг работает в определенном направлении, отец стал перебирать в уме старых приятелей, живущих в деревне, словно Жюльен уже решил укрыться у одного из них.

Он находил их повсюду. В Курбузоне, Жевенже, Кузансе, Сен-Море, Вернантуа. Постепенно перед ним разворачивалась географическая карта с обозначением друзей. Из прошлого медленно возникали лица со стершимися чертами; неожиданно всплывали другие, более четкие и такие близкие, словно он только накануне расстался с ними. Товарищи по полку или по войне, покупатели той поры, когда он на лошади развозил хлеб, виноделы, у которых он долгие годы покупал вино. И за каждым из них вставало воспоминание о первом знакомстве, воспоминание о дальнейших встречах, целая уйма незначительных событий, все подробности которых он, однако, сохранил в памяти. Жизнь-то из таких мелочей и складывается. И его жизнь до отказа ими полна, он сталкивался со столькими людьми, и все они оставили какой-то след. Их забываешь, но в один прекрасный день, по той или иной причине, они все одновременно встают в памяти. В мозгу и в сердце теснится целая толпа, как на площади Лекурба в ярмарочный день.

И тусклое утро, посыпанное пеплом зимы, посветлело. Как вода прибывает в пору таяния снегов, так из прошлого поднялась и ожила толпа людей. Зашумела, задвигалась вокруг отца. Влилась в него светлым вином. Вином, которое столь долгое время сохраняло во тьме погреба плененное солнце.

Морщины на лице у отца разгладились. Он вдруг заметил, что втягивает воздух, как делал это, откупоривая в праздничные дни одну из своих бутылок с самым лучшим вином.

30

На кухне установилось приятное тепло. Отец долго сидел там, не шевелясь. Сжавшись в комок, он предавался воспоминаниям, опасаясь лишь той минуты, когда настоящее снова заявит свои права.

И такая минута наступила, когда вниз сошла мать. Отец еще пытался как-то уцепиться за то, что ожило вокруг него, но это было уже невозможно. Присутствия жены было достаточно, чтобы спугнуть людей, вышедших из далекого прошлого для него одного.

— Ну, как? — спросил он.

— Уезжает.

— Куда он едет?

— Говорит, что знает в Лионе очень многих и найдет там пристанище. Он уверен, что там сможет работать.

Отец как раз спрашивал, о какой работе идет речь, когда сверху сошел Жюльен за чемоданом, который он поставил в столовой. Он услышал вопрос отца и сказал:

— У меня есть специальность, думаю, я устроюсь не хуже других.

Отец почувствовал, как его заливает волна тепла. Значит, Жюльен все же вернется к трудовой жизни. Займется кондитерским делом, которому обучился, хотя потом и бросил его. Но одно соображение встревожило отца.

— А ты уверен, что наймешься? — спросил он.— При нынешних ограничениях кондитерское дело не очень-то процветает.

В первую минуту сын как будто даже не понял, потом он вдруг расхохотался.

— Да кто говорит об этом! — сказал он.— Моя специальность — живопись. А кондитерское дело — да ну его к черту, тоже мне специальность.

Он взял чемодан и, все еще смеясь, стал подыматься по лестнице.

Отец не успел ответить, да, может, он и не нашелся бы что сказать, так больно задел его смех сына. Одним-единственным словом можно так обидеть человека, что он лишится дара речи. Специальность! Тоже мне специальность! Жюльен произнес это так презрительно, с таким отвращением, что отец был совсем убит. Мать потупилась.

— Пойду приготовлю ему белье,— сказала она.

Она исчезла, и отец не нашел, что сказать. Он все еще был под впечатлением слов Жюльена. Руки у него дрожали. В горле стоял ком. А затем, правда не сразу, в нем что-то словно открылось и высвободились, заполнили голову слова.

Тоже мне специальность! Господи, да что ж это? Он до такой степени презирает свою специальность? Значит, он презирает все подобные специальности! И отцовскую тоже, а ведь отец еще собирался поговорить с ним о земле. О возможности поехать на ферму. Ну и дела! Время сейчас, что ли, такое или Жюльен какой-то урод?

Поймет ли наконец мать, что ее сыну не хватает разума, здравого смысла, мужества, всего того, что дает человеку возможность до конца жизни прожить честно? А как же Поль? Но у Поля хоть специальность его. Он преуспевает.

Живопись — специальность? Хороша специальность, отрастил бороду и волосы и таскается с покойником под мышкой!

Отец все время ворчал. Он давал выход своему раздражению и по мере того, как оно испарялось, приходил к мысли, что лучше молчать. Ссора перед отъездом не приведет ни к чему. Жюльен уедет, и тогда, возможно, в доме опять наступит мир.

(Окончание следует)

МАКС ЦИММЕРИНГ

Площадь Ленина в Берлине

КАНТАТА К 100-ЛЕТИЮ
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В. И. ЛЕНИНА

Перевод с немецкого ЕВГ. ДОЛМАТОВСКОГО

1

Кто создал облик твой, Берлин?
Богач был главным здесь?
Был прусский дух — твой властелин
Иль юнкерская спесь?
Но разве и рабочий класс
Не наложил печать
На облик твой — в тот грозный час,
Когда решил восстать?

2

Ты слышал Либкнехта, Берлин!
Средь воплей о войне
Народ на площади бурлил
С Россией наравне.
Берлин учил своих сынов,
Испытанных трудом,
На ленинский октябрьский зов
Ответить Ноябрем.

3

Ты помнишь те года —
Фашистские парады.
Казалось — навсегда
Разбиты баррикады.
Но и тогда палач
Не смог убить надежду —
Огонь борьбы пылал
Под каторжной одеждой.

4

Солдаты ленинской страны
в пилотках краснозвездных,
Берлин спасая от чумы
своей атакой грозной,
По этой площади прошли,
борясь и побеждая,
И побежденную страну
в дыму освобождая.

5

Мы теперь стремимся вместе
К звездам, к солнцу, выше, выше,
И считаем делом чести
Голоса миров услышать.
Площадь Ленина в Берлине!
Здесь живут светло и ясно,
Здесь мечтают люди ныне
О грядущем, о прекрасном.

6

И площадь, и наш город весь —
Свидетельство того, что здесь
Родился в муках новый век,
И вырос новый человек,
И возмужал он и созрел
Для ленинских идей и дел.

7

Дружбы монумент —
Ленин над Берлином.
С ленинской страной
Мы в строю едином.

МАРГАРЕТ ШЕДД

Вечный свидетель

РАССКАЗ

Перевод с английского В. ИСАКОВА

Они завтракали втроем на террасе, а сонмы беззаботных птиц щебетали в саду. Кофе, сваренный в американском электрическом кофейнике, был отличным. Кусты роз посреди аккуратных кружков влажной коричневой земли безмятежно цвели на фоне розоватой, типично мексиканской стены. Шурин Мэриэн погрузился в страничку английского юмора с усердием маленького школьника, читающего занимательные истории, а Тереза, сестра Мэриэн, вполголоса весело обсуждала предстоящую поездку в Куэрнаваку на уик-энд. Ослепительная улыбка всегда отличала Терезу, и теперь, когда они вдвоем с мужем, вышедшим из призывного возраста, вели размеренную, ничем не омрачаемую, не обремененную детьми жизнь, эта улыбка отражала сущность их бытия.

Мэриэн открыла было рот, намереваясь рассказать сестре и шурину, что она делала накануне вечером, но, так ничего и не сказав, лишь молча откусила кусок бриоши. А дело было в том, что она снова и снова пыталась отыскать тот фильм, ту военную хронику, где она увидела Джерри, своего сына. Да и видела ли она его? Ей хотелось рассказать Терезе и ее мужу, что поездка в Мексику не рассеяла ее сомнений. Если бы она объяснила им, как ей необходимо увидеть этот фильм, они, возможно, помогли бы ей. Но потом она подумала — и от этой мысли, более четкой и определенной, ее уже не могли отвлечь ни беседа на террасе, ни еда, ни птицы,— что поиски фильма это только ее, ее кровное дело и она должна справиться сама, без чьей-либо помощи. Это понимал и муж Мэриэн, отпустивший ее одну: смысл поездки в Мексику как раз и заключался в том, чтобы она смогла вновь обрести себя, встать на ноги, вернуться к нему исцеленной.

В сущности, она не надеялась отыскать этот фильм, даже не представляла себе, как при своем жалком знании испанского языка она будет искать его. Но когда вчера вечером сестра и шурин впервые предоставили ее самой себе, она тут же схватила словарь, отыскала два слова — «cine» и «guerra» — и, добавив к ним вопросительный знак, обзвонила все кинотеатры подряд по списку в желтом разделе путеводителя. В одной из справочных мелодичный мексиканский голос ответил ей на

превосходном английском языке, что следует спрашивать не «cine», а «noticias», и ей пришлось заново обзвонить половину списка. Теперь она знала, более или менее точно, что военная хроника идет в трех кинотеатрах. Вероятно, какие-то кинотеатры она пропустила, но по крайней мере есть с чего начать. Она не поняла, когда начинается хроника, так что ей придется отправиться в кино и пересидеть все, что бы там ни показывали. Вероятно, ей удастся за день побывать только в одном, поскольку Тереза так настойчиво пытается помочь ей обрести душевное равновесие; вряд ли она сможет отлучиться из дому больше, чем на пару часов.

«Олимпия», «Дель Прадо» и «Синэ Мехико». На плане, приложенном к ее красному путеводителю, она отыскала точное местонахождение всех трех. Она бы могла, конечно, просто нанять такси и назвать кинотеатр, но потом она подумала, что лучше поехать на своей машине и самой управлять событиями. Возможно, именно поэтому она поехала в Мексику на машине. Муж настаивал, чтобы она летела самолетом, но она наотрез отказалась, хотя и не могла объяснить почему. И он (будучи отчимом Джерри, он был связан с ее горем сложной системою нитей, а не одной, основной, как был бы связан родной отец) кротко согласился с ее решением и проводил до самого Мемфиса. Хотя они и не говорили об этом, она знала, что муж никогда не позволил бы ей уехать, если бы ее сестра не жила в Мексике и если бы он не был твердо уверен, что ей не удастся посмотреть «тот» фильм. Но последнее соображение не доходило до сознания Мэриэн, потому что она не могла даже допустить такой мысли.

Пять месяцев назад она получила извещение, что Джерри пропал без вести. Двадцати с половиной лет от роду. Его отец погиб тоже молодым на другой войне. Джерри было тогда семь лет, и ей пришлось растить его одной, это было нелегко, порой ноша оказывалась слишком тяжелой, но она всегда любила его. Быть может, правда, недостаточно. Она вторично вышла замуж, когда ему исполнилось семнадцать, но это уже не могло восполнить отсутствие отца в трудные годы переходного возраста, когда ему было двенадцать, тринадцать, четырнадцать лет. Таким образом, когда настало время ему идти в армию, он не был к этому готов. Он был растерян и испуган. А через полгода пропал без вести.

Она лишь смутно могла припомнить, что было с ней, когда она получила извещение. Она блуждала в кошмарных снах — скорбь волочила ее по необозримым полям и холмам, усеянным умирающими. Она искала его, находила его руку с отцовским кольцом на мизинце, держала эту руку в своей, стараясь отогреть ее, а затем в холодном поту от ужаса возвращалась к тому, что было действительностью. Когда это случалось ночью, муж был рядом, и его руки обнимали ее, он прижимал ее голову к своему плечу. Но как раз в эти минуты мука ее достигала предела: ее еще мог кто-то утешить, а у Джерри — там, где он находится,— нет никого.

Так продолжалось до тех пор, пока она не увидела в первый раз фильм. Они бывали в кино довольно часто. Ее муж всегда знал заранее, что они будут смотреть, тщательно справлялся о начале сеанса, приходил к художественному фильму и избегал хроники. Она едва ли замечала его уловки и не настаивала на том, чтобы смотреть хронику. Но однажды двое неповоротливых соседей по ряду задержали их, когда они выходили, и хроника началась. Сразу пошли кадры о войне. Она снова села, крепко стиснув на коленях руки. Она забыла о муже. Она была одна. Ей показывали новейшее оружие, великолепное, сверкающее, бе-

зукоризненно сконструированное для убийства. Тот, кто вызвал к жизни и помог создать всю эту мощь, был, очевидно, совершенно уверен: смерть — это лучшее, что есть на свете, и он остался бы глух к слабым голосам матерей, чьи сыновья были детьми, прежде чем стать мишенями или героями. Ее руки и шея начали покрываться потом. Но она понимала, что, сколько ни волнуйся, это ничего не изменит.

И тут на экране появились несколько молодых солдат. Это были военнопленные. Кто-то сумел заснять их у ворот концлагеря. Худых, юных, понурых, болезненных с виду американских солдат. Она уговаривала себя, что им просто не хочется смотреть в кинокамеру: они либо сердятся, либо стыдятся, а может быть, и то и другое вместе; охранники же, наверно, говорят им — конечно, на чужом языке: «Да улыбнитесь же, вдруг ваша мамаша увидит вас». А им улыбаться не хочется. Зачем? Кто же заснял их, спрашивала она себя. Американец, получивший на то разрешение, или кто-то из «тех»? А может быть, ребята даже и не знали, что их снимают. Они стояли у ворот, возле дощатого забора. Голос диктора был полон профессионального сострадания, но он ничего не уточнял.

Она почувствовала, как кровь пульсирует у нее в висках; вот она уже стучала молотом, и грудь стеснило. Ведь здесь мог быть и Джерри. Ожидание, даже исполненное такой надежды, иной раз не сразу сбывается. Джерри тут не было.

И все же он тут был. Один из ребят стоял спиной к камере, ссутулившись, приткнувшись к столбу у ворот, и на мизинце его руки, обхватившей столб, было кольцо, которое она сразу узнала. Другого такого быть не могло. Она сама его заказывала для отца Джерри. Парень, стоявший спиной к камере, выпрямился; вот он стал оборачиваться. Но тут «сюжет» кончился.

Дальше пошли гонки на роликах. Натренированный голос, который только что так задушевно повествовал об американских солдатах, теперь, захлебываясь, скороговоркой рассказывал о спорте. Забыв о муже, она встала, вежливо извинилась перед соседями, задержавшими их, прошла в дамскую уборную, ее вырвало, и, почувствовав облегчение, она принялась лихорадочно строить планы.

Муж трижды ходил с ней вместе смотреть фильм, после чего взял с нее слово не ходить больше. Она дала слово, но сдержать его не смогла. В первый раз, когда она смотрела фильм одна, она убедила себя, что увидела больше — чуть-чуть, но все-таки больше. Она жила надеждой, а надежду надо чем-то питать.

Ее муж навел справки. В военном министерстве ответили, что у них нет сведений о том, что Джерри находится в лагере для военнопленных. Конечно, списки военнопленных, которые дает противник, не всегда точны. Ему также сообщили, что в министерстве знают о существовании такого фильма. Он был снят американскими кинооператорами с разрешения противника, который, видимо, полагал, что это будет хорошей пропагандой, но им пришлось снимать извне и только то, что удалось поймать за несколько минут. В письме из министерства говорилось, что, насколько известно, из фильма ничего не было вырезано.

Но она была уверена, что отснято было больше. Она следовала за фильмом по всему городу, объехала второсортные кинотеатры, пригороды, кино на открытом воздухе. Иногда она задерживалась и смотрела королев катанья на роликах — «Мисс Хобокен» и «Мисс Лос-Анжелес». Иногда она выходила сразу же, жмурясь от света и оставляя своих мальчиков там, в темноте. Ей казалось, они там в безопасности. Когда она

смотрела картину—возможно, это не совсем соответствовало истине, но на три четверти соответствовало,— для нее это значило, что они еще там (и Джерри тоже), а не лежат мертвые на каком-нибудь развороченном снарядами холме. Она знала их всех, и все они были для нее друзьями Джерри. И она словно слышала, как они говорят ему: «Почему ты не обернешься, парень? Мы, конечно, не думаем играть тут комедию и растягивать рот до ушей, чтобы показать, как нам хорошо, но ты бы все-таки обернулся. Твоя мать будет рада посмотреть на тебя». Но он ведь упрямый, всегда был таким и немножко медлительным, но он уже собирался обернуться. Нет, она просто уверена, что он обернулся.

Вот так все и шло. Теперь, даже если бы Мэриэн поняла, что нет никакой надежды увидеть Джерри, она все равно продолжала бы искать и искать, словно те поиски, которые велись ею в ночных кошмарах, сменились этими, и, откажись она от них, ей придется вернуться к прежним.

Почему она решила, что в Мексике будет по-другому? «Олимпия», «Дель Прадо», «Синэ Мехико». Ни один из них не был кинотеатром первого экрана, и вполне вероятно, что тут могут показать хронику полностью. Ей хотелось спросить своего шурина, скрывавшегося за газетой, как они здесь поступают с американской кинохроникой — сокращают ее еще больше? Но это было слишком рискованно. Ей могут солгать или каким-либо иным путем удержать от посещения кино.

Когда она приехала две недели назад, она попросила сестру дать ей какую-нибудь работу по дому. И Тереза поручила ей заботу о цветах. Они жили недалеко от рынка Долорес — полукружия сплошных цветов. Мэриэн ездила туда каждые два-три дня. Обычно Тереза ездила вместе с ней, а иногда подвозила ее и затем заезжала за ней. Сегодня Мэриэн сказала, что поедет одна, на своей машине.

— Ты уверена, что знаешь дорогу, Мэриэн?

— Ну, конечно: через парк и вокруг музея в обратном направлении, потом повернуть и выехать из ворот. Я прекрасно ориентируюсь.— Голос ее звучал уверенно и вполне естественно.

И все же она медлила — сначала задержалась на террасе, потом по дороге через парк. Это был решающий день. Но что он решал?

Все эти восемьдесят четыре часа, что она провела одна с того утра, когда рассталась с мужем в Мемфисе, и до того вечера, когда Тереза прилетела в Монтеррей, чтобы вместе с ней ехать в Мексику, Мэриэн продолжала надеяться, что за время долгой унылой дороги она выберется из душевной сумятицы, все станет на свои места, разрядится и уляжется; встречный ветер продует насквозь машину и развеет всю нагромоздившуюся массу неразрешимых тревог. Ей хотелось услышать твердое и решительное: да, они имели право взять его, несмотря ни на что; да, вой бомб и грохот орудий и слабый трепет мальчишеского страха, который гнездится в бункере, или в новой пуленепробиваемой куртке, или еще где-нибудь, для нее, матери, вполне приемлемое сочетание звуков. Как это может быть? Но за время переезда она пришла к единственному выводу: никто не может сказать ей «да» твердо и решительно. Где-то близ Корпус-Кристи в Техасе она убедилась, что серое облако мучительных вопросов не рассеется.

Когда погиб отец Джерри, все было ясно и четко: кольцо, присланное ей; рассказ о происшедшем; печальные звуки замирающей трубы, говорившие о том, что розовая, золотая ночь расцветающей любви кончилась. Это разбило ее сердце. Через какое-то время оно исцелилось само. Если бы она могла сейчас взять его, это сердце, обеими руками и разорвать по изломанной линии, проходящей немного в стороне от се-

редины... Может быть, она иная у матерей, чем у жен, эта река скорби, замутненная глиной, из которой создаются дети? Для матери не было ответа на этот вопрос; и это было все, что она открыла за время долгого пути.

Теперь же по дороге к цветочному рынку она подводила итоги. Она делала это медленно и вела машину тоже медленно. Внезапно она остановилась у обочины, потому что вдруг поняла (был ли это снова зов трубы или зов долга?), что ответ есть и что именно поэтому она пошла кружить по бесконечному кинолабиринту. Вся беда в том, что она никогда не могла уразуметь простую альтернативу: жизнь или смерть.

Теперь, остановившись на дороге в парке, она твердо решила, снова и снова ударяя тыльной стороной руки по ладони другой: если она найдет его, найдет этот фильм здесь, может быть, даже сегодня (не важно, сможет она его посмотреть или нет), тогда она будет знать, что Джерри жив и ей остается только ждать — ждать благоразумно и терпеливо, как положено женщине. А если она не найдет фильма в «Дель Прадо», «Олимпии» или «Синэ Мехико», она скажет себе, что Джерри умер. Потому что война — это жизнь или смерть. Надо подвести черту, и если в итоге окажется смерть, то сердце ее разобьется, хотя ей придется жить, вернуться к мужу, который терпеливо, с любовью ждет ее. Так она решила. Неопределенность наконец исчезла.

На рынке она ходила взад и вперед вдоль цветочных рядов и благодаря принятому решению видела все, как ей думалось, гораздо отчетливее. Сначала она посмотрела на цветы: анютины глазки, красные ирисы, ноготки, душистый горошек — целое море цветов, где одни похожи на перья, пушистые и безмолвные, другие — на знамена, выстроенные в ряд умелой рукой. И позади, как фон,— гладиолусы, которым можно простить претенциозность ради красок.

Потом она поглядела на людей. В самом дальнем ряду за прилавком расположилось целое семейство. Она нашла там свежие фиалки, и гладиолусы там были не такие кричащие, менее пышные, вероятно, потому, что это была бедная семья, которая не могла предложить ничего отборного или грандиозного. Лицо женщины было печально. Она была больна. Но у нее были удивительно красивые руки. И она кормила ребенка.

Мэриэн не хотелось парадных цветов — только скромных и трогательных. Она пошла к другим рядам, где были анютины глазки и пионы. Купила большой венок из красных гвоздик, немного первоцветов с нежными лепестками и блестящими темно-зелеными листьями. Она так нагрузилась цветами, что для них могло не хватить ни ваз, ни места в доме ее сестры. Наконец она повернула обратно и лицом к лицу столкнулась с человеком, который открывал дверцы автомобилей (он не успел подойти к ее машине, когда она подъехала) и теперь ковылял к обочине, чтобы услужить кому-то.

Он страдал трясучкой, и лицо его, подергиваемое нервным тиком, казалось старым и обрюзгшим. Тереза никогда не отказывалась от его услуг и всегда давала ему два песо — просто так, потому что у него тряслись руки и он не мог носить цветы, да, в сущности, не мог и открывать дверцы автомобилей. Но он всегда был здесь, и теперь Мэриэн, не сопровождаемая никем, вдруг почувствовала, что искренне ненавидит его. Отвращение и ужас, которые он ей внушал и которые она подавляла во время своих прежних посещений, сейчас выплеснулись наружу.

Он, видимо, узнал ее, хотя казался круглым идиотом. Он направился к ней и, когда она отстранилась от него, заковылял к ее машине, ко-

торая стояла возле того ряда, где торговала бедная семья с больной матерью. Он стал шарить по дверце машины, ища ручку.

— No! — сказала она резко, и ее передернуло, ей неприятно было, что его рука касается дверцы ее машины.

Кормящая мать подняла глаза. В лице ее не было осуждения, но она крикнула идиоту: «Ven, ven, Pepito!» [1].

Мэриэн стало стыдно оттого, что та женщина заметила ее отвращение, но она не могла себя сдержать. Сама не зная почему, она повернула назад — наверно, потому, сказала она себе, что было бы нелепо забирать весь этот ворох цветов и держать, возможно, несколько часов в поставленной на стоянку машине. Остановившись перед хозяйкой цветов, она поняла, что ей ничего не придется объяснять: и так ясно, что она хочет оставить цветы.

Женщина сказала: «Sí, señora, sí» [2], и милым жестом велела мужу взять цветы и поставить их в тень. Идиот в это время торчал сбоку, противно жуя огрызок кокосового ореха, подобранный в канаве.

Итак, она отправлялась в «Дель Прадо». Теперь она могла ехать, оставив на хранение цветы, которые прежде ее так тянуло купить. Она с шумом захлопнула дверцу машины, и идиот вздрогнул, но кормящая женщина подняла глаза от своего младенца и улыбнулась.

В деловой части города ей пришлось поставить машину в гараж. Ей очень не хотелось пробиваться сквозь гул, грохот, суматоху, царившие в узком проезде. Она нуждалась в покое. Все подготовлялось к этому моменту. У нее не было с собой цветов, но она несла их в своем сердце. Ей предстояло теперь узнать, что ее ждет: жизнь или смерть. Она сможет вынести и то, и другое. И снова ей не пришло в голову, что хронику, возможно, тут и не показывают.

Ее показывали.

Она застала как раз середину французского игрового фильма о любовных утехах, все действие которого происходило на широкой постели с висящим над ней зеркалом. Она задумалась о том, как это удается так передать блеск тканей, почему-то всегда сопутствующий сладострастным сценам в кино, и действительно ли это настоящий тяжелый атлас или просто какая-нибудь дешевка, которая только выглядит так на фотографии? Груди актрисы, казалось, позолочены, чтобы соответствовать сверканию окружавших ее тканей. Зрители хихикали. Какой-то парень все время смеялся на одной и той же ноте. Под конец элегантный француз в цилиндре и с тросточкой что-то пропел и тем связал все воедино, если судить по громкому смеху зрителей. Потом в зале стало темно. А через мгновение замелькали кадры и тотчас остановились — какие-то фигуры задвигались было и застыли в нечеловеческих позах; раздались свистки из публики. Наконец демонстрация началась. Она увидела слово «noticias» — оно выглядело иначе, чем она представляла себе. Она мысленно исправила ошибку.

Она вся горела, с головы до ног. Хроника сразу начиналась кадрами о военнопленных. Здесь не демонстрировали мощи оружия. Ребята сразу возникли перед ее глазами. Она и раньше не сомневалась в том, что увидит их, и все равно испугалась.

Уже давно она дала каждому имя. Худенький блондин, строгавший палочку,— это Крис. Он все время стоял в кадре — одну или две долгие, дорогие минуты. «Я всем сердцем люблю его»,— прошептала она про себя, шевеля губами, чтобы придать словам весомость. (Она знала, что любит Криса из-за своей невыразимой любви и страха за Джерри.) Не

[1] Иди, иди сюда, Пепито *(исп.)*.

[2] Да, сеньора, да *(исп.)*.

поворачивая головы, она посмотрела вправо. Теперь на экране был Уолтер, дорогой Уолтер с густой щетиной на лице, укутанный шарфом. Он простужен, подумала она и подивилась, что ни разу не подумала об этом раньше. Она молниеносно вспомнила множество средств от простуды, в том числе пары эвкалиптового масла. Когда Джерри был маленьким, он постоянно простужался, и это средство помогало лучше всего. Она почувствовала запах эвкалипта. Этот запах был для нее барьером, за который она держалась, стремясь удержать картину на месте. И, казалось, ей это удалось. Тем не менее на экране все-таки появился парень, который мог быть Джерри.

Сколько раз думала она об этом кольце: по закону средних чисел могла ли чья-то еще жена заказать точно такое кольцо для своего мужа? Могло быть, конечно, и так, что рисунок, который она снесла ювелиру, тот искусно видоизменил, сделал по нему другое кольцо, и теперь его носит кто-то другой. Перед ней была рука, обхватившая столб, и кольцо. Рука была растрескавшейся и сморщенной, не похожей на руку мальчика.

Парень с кольцом стал оборачиваться. Она прикрыла глаза, ожидая конца «сюжета», немного досадуя на то, что еще не появились бегуны на роликах, которых показывали потом и которых она знала почти так же хорошо, как ребят. Но парень продолжал оборачиваться. Впившись в него глазами, она все же увидела, как Крис на заднем плане впервые поднял глаза от своего строганья и сделал резкое движение рукой, как бы говоря: не делайте этого, не снимайте его. Лицо парня, который обернулся, заполняло теперь весь экран, и это было лицо Джерри, но пустое и так же лишенное выражения, как лицо идиота. Рот его кривился в гримасе, а рука с кольцом, взметнувшись вверх, старалась что-то поймать и удержать судорожными движениями. Его глаза смотрели прямо перед собой, и мать утонула в их отсутствующем взгляде.

Вздох ужаса пронесся по залу, а затем — озабоченное и неизменное перешептывание. И Мэриэн слышала все. Она видела все.

Потом голос мужчины, обращенный к ней:

— Могу я помочь вам, мадам? Не могу ли я вам помочь?

Она слышала свое собственное дыхание — так дышит умирающий. Мужчина, а затем женщина осторожно взяли ее с обеих сторон под руки. Она судорожно теребила пальцами рот. Помогавшая ей женщина зажала ее пальцы в своей руке, и они вывели ее на свет.

— Скажите, мадам, куда нам отвести вас? Вы не из этого отеля?

Не в силах говорить, она покачала головой.

— Может быть, позвать доктора?

— Нет, нет.— Она чувствовала, что сумеет сама позаботиться о себе. Ей хотелось сесть за руль в свою машину, найти покой в движении. Она дала им гаражный жетон. Только однажды посмотрела она на них, пока они все стояли и ждали машину, и поняла, что навсегда запомнит их и они запомнят ее. Вероятно, ей никогда уже не представится случая пробыть с ними дольше, чем эти четыре минуты в гараже, пока они ждали машину, но, видя ее боль и смятение, они не таились от нее. Ей не надо было рассказывать им о себе. Она знала их, и они знали ее.

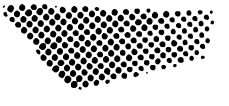
— Вы сможете, мадам, править сами? — Он произнес это «сами», точно ласковое слово, которое один заведомо чужой человек вправе сказать другому.

— Да,— сказала она и добавила: — Прощайте и спасибо вам.— И тут впервые ей захотелось расплакаться, потому что ей надо было

сказать им «прощайте». Мужчина сказал «прощайте», а женщина не сказала ничего.

Она поехала в сторону парка и некоторое время кружила там. А потом поняла, что надо куда-то приехать — бегство окончилось. А ехать было некуда — разве что к цветочным рядам. Это место она назначила себе для возвращения, и ей надлежало вернуться туда.

Она один раз объехала кругом рынок Долорес и не смогла поставить машину. Делая второй круг, она увидела свободное место — как раз напротив него, на обочине, свесив ноги в канаву, сидел идиот, который открывал и закрывал дверцы машин. Он спал, приткнувшись головой к телеграфному столбу. Руки его больше не дрожали — они беспомощно лежали на асфальте тротуара. И голова его тоже теперь не тряслась и не дергалась. Его лицо во сне было прекрасным. Он не был старым, нет, ни старым, ни обрюзгшим, каким показался ей, а слабым и беззащитным, какими бывают спящие дети; он был прекрасен — и все же это был идиот.



МУХАММЕД АЗИЗ ЛАХБАБИ

Стихи

■

Перевод с французского МИХАИЛА КУДИНОВА

Кто кого создал

До чего же мы хрупкие с вами созданья!
И хотя для Аллаха,
Для Брахмы,
Для Бога-отца
Люди были венцом мирозданья,
Однако какой-нибудь сущий пустяк —
Инфузория, жалкий микроб —
Без особых усилий
Сводит нас в гроб.

О боги из бронзы!
Творения рук человека!
По образу своему и подобию
Создавал он вас, боги.
Молитесь на человека,
Молитесь за человека,
Потому что ему вы обязаны многим.

О боги из камня!
Неустрашимых и сильных
Вас изваял человек,
Боязливый и хилый...
С высоты пьедесталов своих
Вы глядите, как мимо проходят века,
И ни время, ни бури
Не могут лишить вас величья и силы.

Так явите же милость тому, кто вам жизнь даровал,
Кто вас создал и, как говорится, поставил на пьедестал.
Он, создавший вас, любит цветы — вихри рвут их со злобой,
Он боится болезней — разносят их ваши микробы,
Дорожит своей жизнью — ее поломать вы способны шутя,
Позабыв, что извлек он вас, боги, из небытия.

Почитает он вас, очищает от грязи и пыли.
Строит пышные храмы, чтоб вы среди роскоши жили.
Оживляет и бронзу, и камень, и дерево, чтобы вы плоть
обрели
И чтобы пылкая вера
Пред вами склонялась до самой земли.

И, однако,
Во власти своих постоянных забот и тревог,
Дать вам сердце
Создатель ваш так и не смог...
По вине человека
Бессердечны вы, боги!

На скрещенье путей

Быть —
Это «нет» говорить пустоте,
«Нет» — ночной немоте,
«Нет» — абсурду дорог,
Бесконечных дорог,
Затерявшихся в темноте.

Жить —
Это быть
На скрещенье путей,
Где тепло меня греет улыбки твоей,
Где мое отраженье в глазах у людей,
Где живут, умирают,
Вступают в борьбу,
«За» и «против»,
Во власти кипящих страстей.

Пустота...
Есть дыхание в той пустоте.
Немота...
Но гармония есть и в ночной немоте.
Неспроста
Ночь огнями зажглась над абсурдом дорог,
Затерявшихся в темноте.

Втроем

Когда вулкан перестал грохотать,
Земля ожила
И покрылась опять
Колосьями,
Чьи золотистые стебли
Переплетаются,
Словно
Друг к другу ласкаются...
Ровно
Дышат они и качаются
Плавно...

Им трудно на месте стоять.

А в огромном лесу
Бродит ветер, не разбирая дороги,
И тихо
Вздрагивают ветви деревьев
В ритме сердца и в ритме его тревоги.

По осенней земле,
По осколкам молчанья
Ступают мои утомленные ноги.
И привкус одиночества вдруг исчезает,
И появляется чувство особого рода,
Непостижимое чувство,
Что теперь мы втроем:
Я,
воспоминание о тебе
и природа.

И мне не страшно:
Ведь я не один.

Рабат

О город печальный, хотя и пьяный от солнца,
Город, сыростью отягощенный!
Ты хрупкие флейты мои не слышишь,
Сердце мое здесь эхо свое потеряло,
Я на странице дрожащей пишу окровавленной
пеной.

Город горечи.
Нервов лишенный Рабат!
Ритм словам придавать
Здесь поэты себе запрещают.
Вокруг разговоры ведут
И ничего, ровным счетом,
Не говорят.
Среди гула слова умирают,
Цветы увядают,
И ветер сметает безжалостно их аромат.

Если бы люди умели смеяться,
Они б оставались всегда молодыми.

Вся вселенная

Ночь — словно порванный полог,
Из которого брызжут огни.
Во вселенной был путь их долог,
Но достигли сердца они.

Возле моря песок сверкает,
И купаются в море звезды.
Я бросаюсь в воду, плыву среди волн,
И меня опьяняют волны и воздух.

Сколько лиц человеческих — столько вселенных...
На любом повороте
Возникают мгновенно
Незнакомые, новые лица.
Я хочу, чтобы взгляд мой тепло им дарил.
Я хочу улыбкою с ними делиться.

На любом берегу
Друг меня ожидает и машет рукою.
Я хочу эту руку пожать,
Я хочу облака разогнать,
Я хочу, чтобы сумрак
Не был пропитан тоскою.

О судьба! Наша ночь, озаренная светом!

■

ЛЕГЕНДА О СИБИНЕ, КНЯЗЕ ПРЕСЛАВСКОМ, рассказанная ЭМИЛИЯНОМ СТАНЕВЫМ

Перевод с болгарского
М. МИХЕЛЕВИЧ

И азь по многу земли ходихь, и не самъ видель толико многу магесницы, како оу тая наша земля Блъгарска, и самовили и бродницы... [1]

Из старинного дамаскина [2]

ПОНЕЖЕ ВСЕЛУКАВЫЙ ВРАГ НАШ РАССЕЯЛ ПО ВСЕЙ ЗЕМЛЕ БОЛГАРСКОЙ ЕРЕСЬ МАНИХЕЙСКУЮ, СМЕШАВ ЕЕ С МАСИЛИАНСКОЮ,—ТЕМ, КОИ ЯВЛЯЮТСЯ НАЧИНАТЕЛЯМИ ЭТОЙ ЕРЕСИ,— АНАФЕМА!

ТЕМ, КОИ НАРЕКАЮТ САТАНУ ТВОРЦОМ ЗРИМОГО И РАСПОРЯДИТЕЛЕМ ВСЕГО ИЗ ЗЕМЛИ ПРОИЗРАСТАЮЩЕГО,— АНАФЕМА!

ТЕМ, КОИ ТВЕРДЯТ, ЧТО САТАНА СОЗДАЛ АДАМА И ЕВУ,— АНАФЕМА!..

ТЕМ, КОИ ГОВОРЯТ, ЧТО ЖЕНЩИНА ЗАЧИНАЕТ В УТРОБЕ СВОЕЙ БЛАГОДАРЯ САТАНЕ И ЧТО С ТОГО МГНОВЕНИЯ САТАНА ПРЕБЫВАЕТ В НЕЙ НЕОТСТУПНО ВПЛОТЬ ДО РОЖДЕНИЯ МЛАДЕНЦА,— ТЕМ, КОИ ГОВОРЯТ СИЕ,— АНАФЕМА!

ТВЕРДЯЩИМ ЖЕ, ЧТО БОГ НЕ ПРИИМЕТ ЧЕЛОВЕКА, КАЮЩЕГОСЯ В СВОИХ ГРЕХАХ,— АНАФЕМА ТРИЖДЫ!

Из синодика царя Борила

[1] «И я по многим землям ходил, но нигде не видел столько чудес, как в земле нашей болгарской, и самовил, и бродниц». Самовилы, по болгарским народным поверьям,— сказочные существа, девы, живущие в лесах и горах; бродницы — духи усопших, которые бродят по ночам.

[2] Дамаскин — рукописный сборник назидательных рассказов.

1

Воротившись с охоты, князь совершал омовение. На дворе отощалые гончие глодали разрубленные хребты серн и кабанов, сокольничие бранились с псарями, потому что соколы, уже в надетых колпачках, кричали, раздразненные этим пиршеством собак; в пристройках, где находились кухни, слуги разделывали свежину, и стук топоров едва ли не заглушал клепала городских церквей, призывавших к вечерне. На дубу у огромного колодца была подвешена вспоротая оленья туша, сочившая кровью.

Слуга Тихик со свечой в руке ожидал, когда князь выйдет из умывальни. Он держал наготове шерстяной просоп, будничный кафтан и чистое исподнее. Наконец, из-за приоткрытой двери показалась смуглая рука, князь взял просоп и исподнее, Тихик подал ему кафтан, и князь вышел — освеженный, бодрый, с лоснящимся лицом, расчесывая свою черную курчавую бородку. Заплетенные слугой четыре косички, тяжелые и мокрые, черными змеями спадали ему на плечи. Почти бегом поднялся он по каменным ступеням наверх, так что Тихик едва поспевал за ним и чуть было не загасил свечу. Эта неутомимость князя, живость и точность его движений, равно как и черный соколиный блеск его проницательных глаз, смущали Тихика, внушали ему страх. Даже сейчас, после того как князь пять дней кряду скакал верхом по лесам за псовой сворой, он шел по широким сеням прямой, как кизиловая ветвь. Тихик видел, как он мимоходом погладил лежащий в углу обломок каменной бабы. Легкое прикосновение к истертому от времени древнему идолу — движение, полное нежности и печали,— и вот уже князь за массивной дубовой дверью, окованной медными гвоздями и покрытой переплетениями орнамента. Тихик едва успел отворить ее и первым войти со свечой.

— Задуй ее! — приказал князь.

В натопленном покое от каменной печи нежащими волнами растекался сладостный запах чистоты, смешивавшийся с благоуханием лежавших на полке плодов айвы. Под мозаичной иконой Святой Параскевы горела красная лампада. Ее зыбкие отражения исполинскими ресницами трепетали на стенах и потолке.

Сияние, исходившее от князя, стало еще более зримым в красном полумраке опочивальни. Слуга улыбнулся, но заметив в глазах князя знакомую неприступность, опустил голову — он понял, что и на этот раз князь не станет задерживать его.

— Монах принес книгу, господарь. Вон она, на столе. Он просит за нее два перпера.

Тихик оставил на столе подсвечник с погашенной свечой и вышел.

Князь взглянул на книгу, но не притронулся к ней. Кожа на деревянном переплете была порвана, замаслена, бронзовые застежки сломаны. И эта книга в конце концов отправится на полку вслед за другими. В глазах висевшего на дубе молодого оленя, чья кровь стекала сейчас на грязный снег во дворе, князь прочел больше, чем во всех книгах. Не в этих ли глазах таится загадка мироздания? Обложенный собаками — после того как от зари и до заката бежал от них по насту вдоль Тичи[3],— олень попытался найти спасение в одной из прибрежных заводей. Эрмич, самый ловкий из охотников, выгнал его снова на берег, в ивняк, и олень завяз в иле. Пришлось там его и забить, потому что уже смеркалось. Занеся над ним рогатину, Сибин поймал его взгляд. Глаза оленя были красны, полны ужаса, мольбы и злобы — глаза мученика и Сатаны. Точно такими же глазами смотрит поверженный воин, когда над его го-

[3] Тича — старинное название реки Камчии.

ловой занесен неприятельский меч. Мольба и злоба, страх и ярость, благость и жестокость, смешанные воедино, возжигают тот пламень души, что светится в глазах земных существ...

После каждой охоты мысль князя становилась все более ясной. Баня успокоила и расслабила его мускулы, еще влажное тело наслаждалось покоем в натопленной опочивальне. Князь лежал на низком дубовом ложе, застланном толстым шерстяным ковром, и стоило ему закрыть глаза, как он видел красные безлистные леса, слышал лай собак, победные звуки рогов, воинственный клекот соколов. Охота вышла удачной не потому, что Эрмич, перед тем как выехать из Преслава, отнес ворожее Чане кусок кабаньего мяса и свой тяжелый охотничий лук, но потому, что толстый наст, выдерживавший тяжесть собак, проваливался под копытами серн, оленей и вепрей. И молодой олень тоже стал жертвой снежного наста, сотворенного Богом и Сатаною в первые дни февраля, перед сырной неделей, на радость охотникам и волкам, ибо несправедливо это — сотворить охотников и волков и лишить их возможности насытиться до отвала несколько раз в году. Вот о чем стоило потолковать с Тихиком. Если бы не вылетело из головы, можно было пошутить с ним. Впрочем, от этого богомила[4] вряд ли услышишь что-нибудь забавное. Снежный наст, мол, сотворен Сатаной, поелику весь мир — его творение...

Среди этих незначительных мыслей вновь прокрадывалась та, которую князь настойчиво отгонял, но она прочно засела в мозгу, подобно тому как сидит в земле камень, даже если над ним цветут цветы.

Городские клепала смолкли. Холодная тьма опустилась на Преслав; Тича, разливающаяся днем, когда снег на припеках тает от солнца, теперь рокотала, вернувшись в свое русло. Из труб поднимался дым, разнося запах дубовых дров, а городские стены в свежих пятнах известки вонзали зубцы в серое зимнее небо.

Услышав за дверью шаги, князь поднялся с ложа. Дверь отворилась, раскачав огонек лампады.

Княгиня сама светила себе, потому что в этой отдаленной части просторного дома, куда уединился Сибин, свечи в проходах и сенях зажигали редко. Серебряный светильник тонкой филигранной работы слил свой восковой свет с красным светом лампады. Князь ожидал, что мать осенит себя крестом, но княгиня даже не взглянула на икону. Она села к столу, и розовые отблески легли на ее черный плат. Глаза из-за глубоких теней казались больше, чем были.

— Требуют налог на трубы еще за семнадцать домов. Кметы[5] божатся, что уже уплачено,— проговорила она. Тонкий рот открывал белые, хорошо сохранившиеся зубы.

— Сборщик исполняет веление воеводы. Коли крестьянам не под силу, заплатим мы. Пока еще терпеть можно.

— Доколе?

— Доколе волею божьей вернется брат, либо узнаем мы, что он оставил там свои кости.

Княгиня перекрестилась.

Был ли смысл вновь говорить о злосчастье, что постигло древний их род и всю страну? В княжеском доме многоречье не было в почете, разве только среди слуг, коих старая княгиня подбирала по их проворству и послушанию, всегда отдавая предпочтение исконным болгарам[6].

---

[4] Богомильство — средневековое религиозное учение, отразившее народный протест против феодального гнета и официальной церкви.

[5] Кмет — старейшина.

[6] Исконные болгары — потомки протоболгар, племени тюркского происхождения, которое в VII в. пришло на Балканы, заключило союз со славянами и в 681 г. заложило основы славяно-болгарского государства.

— Сологун очень плох. Просит, чтоб ты принес ему убитого орла,— может, тогда полегчает,— сказала княгиня.

— Пусть пошлет сына.

— Малолеток он, еще не охотник.

Сибин насмешливо улыбнулся.

— Тогда Эрмичу велю.

Княгиня рассердилась.

— Господи, неужто во зло надумала я это?

Князь перебирал пальцами бородку.

— Не говорю, что во зло надумала, но зла в том не видишь. Его дочь богомилка.

— И что же? Разве ты столь ревностен к канону? Терпишь подле себя Тихика, что непрестанно чихает и сморкается, дабы прогнать злых духов, а к красавице девушке так нетерпим!

Князь беззвучно засмеялся. В глазах его заплясали озорные искорки, заставившие княгиню насторожиться.

— Чудна́я ты, матушка,— проговорил он.— Не выносишь моего мудреца Тихика, а прочишь мне в жены богомилку. Она ведь тоже будет чихать и сморкаться — еще почаще, быть может, нежели он. Не берешь в дом ни одной светловолосой служанки, а понуждаешь меня славянку взять в жены!

— В нашем роду тоже есть славянская кровь. А дед у нее болгарин.

— Только дед. Отчего забываешь ты проклятие нашего предка в семейной летописи? Похоже, давненько ты не перечитывала ее.

Княгиня вздохнула.

— Не может так продолжаться долее. Подумай о судьбе рода нашего. Коли, не приведи господь, твой брат сложит там голову, останется лишь женская ветвь, которая исчезнет в чужой крови.

— Не дальновидна ты, матушка. Коли хочешь поправить наши дела, присватай мне половчанку. Племянницу Борила[7], например.

Старая княгиня с грустью покачала головой.

— Я к чему речь веду? У Сологуна крепкая опора в Тырнове. Ты забыл об этом?

Борил, полагала она, смягчится, ежели князь послушается матери. Борил поймет, что они не поддерживают связи с беглецом. Протосеваст[8] убедит его в том, а Сологун согласен дать за дочерью богатое приданое. Борил перестанет отчуждать их земли монастырям, откажется от намерения вконец разорить их!

Князь терпеливо выслушал мать. После того как ни святые, ни матерь Божья, ни ктиторство — ничто не помогло ей, княгиня в одинокие свои ночи нашла иной выход, не сознавая, что он подсказан ей скорее воображением, нежели рассудком. Она думала, что если Сибин возьмет в жены дочь Сологуна, то прекратятся преследования, которым подвергается княжеский род. Невдомек ей, что Сологун стар и безнадежно болен, а после его кончины все состояние, ввиду малолетства сына, перейдет к брату покойного, тырновскому протосевасту. Бедная, не понимала она, что таким образом предает другого своего сына, вычеркивает его из списка живых, отказывается от надежды увидеть его на родине вместе с сыновьями Асена Первого[9]. Гордая, она подавляла в себе гордость, желая, чтобы последние ветви старейшего княжеского рода согнулись, дабы не быть сломленными.

---

[7] Борил — болгарский царь с 1207 по 1218 г., возведенный на престол боярами-заговорщиками, убившими царя Калояна.

[8] Протосеваст — боярский титул при болгарском дворе в XIII и XIV вв.

[9] Асен Первый — болгарский царь с 1187 по 1196 г., основатель независимого болгарского государства, так называемого Второго царства. Его сыновья были законными наследниками престола, узурпированного Борилом.

Следовало ли осуждать ее невольную низость? Ведь она ничего не искала для себя, поскольку была уже близка к могиле; она толкала его на этот шаг, чтобы продолжился род их и пришел конец унижениям. Щадя ее, Сибин постарался найти самые мягкие слова, чтобы вразумить и не обидеть:

— Отчего полагаешь ты, что Каломела согласится пойти за меня? Знаешь ведь, что она не покорна родителям. И потом, ты вовсе забываешь о брате. Представь, что тырновчане отступятся от Борила. Тогда и протосеваст уже не будет более протосевастом, а станет думать лишь о том, как спасти свою голову.

— Но Сологун не половец. А коли Борил будет низвергнут и твой брат вернется, так тем лучше... Нет, я не забыла о нем, как мог ты сказать такое! Но слишком мала надежда, Сибин.— Княгиня виновато взглянула на сына и заплакала, поняв, что в своих планах действительно принесла в жертву старшего сына.

Князь знал, что планы матери безнадежны и нет смысла толковать о них. Время должно бы все разрешить. Время?! Уже целых два столетия оно ничего не разрешило в их пользу. Оно подтачивало их и душило — неторопливо, но настойчиво и верно.

Он смотрел, как мечется по стенам тень матери — подобно душе, пытающейся вырваться из темницы. И его тень тоже металась, как метался он сам, ожидая, когда последний удар грома обрушится на их головы, не умея отвратить надвигающиеся беды.

Его сестра, Севара, ожидала их в трапезной.

Огромный дубовый стол на львиных лапах со знаками фамильного герба — конь с головой волка и натянутый лук — напоминал о былых временах, когда за ним сиживало душ по двадцать хозяев и гостей. Князь знал, что теперешняя трапезная некогда служила залой для приемов и была втрое больше размерами, что здесь хранились боевые трофеи его предков — доспехи, мадьярские бунчуки, синие и красные византийские прапоры с надписью по-гречески «Спаси, господи, люди твоя» императорских гвардейских полков Михаила Первого Рангабе, Никифора, Льва Пятого, Шестого и Седьмого, Александра и Константина Багрянородных, позолоченные мечи и сарацинские копья, дорогие седла красного сафьяна, уздища, шпоры. Некогда тут стояла и мраморная колонна, на которой были начертаны воинские обеты рода Кубиаров перед царем — письмена, высеченные золотом по узорчатому мрамору. В полуобвалившейся башне возле ворот, которая служит ныне амбаром, и посейчас валяются обломки той колонны — княжеский дом много раз горел за минувшие два с половиной столетия. Сначала при нашествии Святослава и Цимисхия, потом при набегах печенегов, при узах и половцах, в годы византийского рабства, когда, в добавление ко всему прочему, эта истерзанная земля содрогалась от страшных землетрясений. Все это было записано в семейной летописи — книге необъятной величины с пожелтевшими страницами из заячьей кожи, в массивном серебряном переплете и с серебряными застежками. При каждом бедствии, при каждом бегстве из города эту семейную реликвию берегли пуще золота, уборов и драгоценностей, пуще всего княжеского добра. Лишь в 1180 году, всего за пять лет до Тырновского восстания, отец Сибина отстроил деревянный верх на уцелевших каменных стенах, но в гораздо меньших размерах и совсем по-иному.

Князь сел напротив сестры, княгиня расположилась спиной к очагу. Любимый сокол князя, Ок, звякал прикованной к лапке цепочкой, безуспешно пытаясь сесть князю на плечо.

— Ок сердится. Ишь, как нахохлился,— сказала княжна.

Сибин улыбнулся сестре. Она и сегодня надела расшитую золотом

безрукавку на куньем меху. Гордая шестнадцатилетняя красавица в диадеме, доставшейся еще от прабабки. Князь любовался сестрой. Он любил смотреть на ее руки с длинными изящными пальцами, слегка утолщенными в среднем суставе, на дивную линию овала, на ее темные гордые глаза под слегка сдвинутыми бровями. Обычно молчаливая, задумчивая, в этот вечер княжна была весела. Неужто и она была созданием Сатаны, подобно всему, что создано из праха земного, неужто и в ее сердце таятся ростки земных грехов?

Ужины, еще более чем обеды, наводили князя на мрачные мысли. В зимние вечера, когда они втроем садились за стол, он не мог отогнать неотвязное предчувствие близящейся гибели отчего дома, и сознание собственного бессилия особенно тяготило его. В пламени очага и восковых свечей все выглядело веселее, но даже этот обильный свет, поддерживавшийся по его приказу, не мог одолеть мрачности закопченных стен и смуглых замкнутых лиц слуг — княгиня как будто нарочно подбирала их под стать сумрачному тону княжеского дома.

И огромный стол, за которым сидели только они трое, и привычный запах воска, дыма и обветшалости в пропитанной сыростью и безмолвием февральской ночи, все шептало о некогда славной, а ныне догорающей жизни. Князь, однако, не желал поддаваться черным мыслям и, дабы поддержать бодрое настроение, стал рассказывать об охоте и смешить сестру.

— Ну да, во время охоты ты обо всем забываешь. Откладываешь все, ждешь, покуда господь о нас позаботится,— обронила княгиня.

Склонившись над дымящимся супом из сушеных грибов, наполнивших трапезную ароматом леса, княжна произнесла молитву, и все опять сели.

Слуги внесли жаркое из серны, посыпанное чабрецом, свежеприготовленные колбасы из дичи, маринованный виноград, вино, мед и орехи.

2

Две огромные рыбины поддерживали спинами землю, погруженную в воды, под коими разверзлась огненная пучина. Беззвездной небесной твердью, как и землей с семью небесами над нею, где в вечном покое, свете и славе царил Бог-отец, управлял старший сын божий — Сатанаил. Сатанаил спускался с божьего престола на седьмом небе в огненную бездну оттого, что был не только правителем предвечного мира, но и создателем его. Он владычествовал над всеми ангелами, коим была даровала власть над огнем, водой, воздухом и семью небесами. Огромный и сверкающий, кометоподобный, Сатанаил неустанно летал вниз и вверх в этом бесстрастном царствии божьем, где не сотворялось ничего нового и слышны были лишь клокотанье огненного моря, журчанье вод и хвала Господу и ангелам его. Сколь велика была его скука, пока он нес свою бессмысленную службу в бесконечности времени? И сколь глупыми казались ему нескончаемые славословия Господу в предвечном мире, созданном не Господом, а самим Сатанаилом? Земные цари тоже царствовали бы в покое и безмятежности, не будь на этом свете творцов и бунтарей. И в конце концов, когда вечная Осанна окончательно опостылела ему, Сатанаил взбунтовался. Великий зиждитель возжелал сотворить нечто более осмысленное. Он внушил ангелам воды и воздуха отвернуться от самодовольного Отца, погруженного в созерцание собственной славы. Тогда разгневанный властитель неба отнял у него луче-

зарное архангельское сияние, лик Сатанаила стал багровым, как раскаленное железо, и уподобился человеческому. Несмотря на это, треть служителей божьих последовала за ним. Им тоже смертельно наскучило в предвечном мире...

Сатанаил со своим мятежным воинством сошел на земную твердь. Ангел вод вознес плавающую землю над вечным океаном, часть воды обратилась в облака, другая — в моря и реки... Тогда-то и свершился великий Водолей, о коем князь имел смутное и сладостное представление и о коем, как и о потопе, вспоминал при каждом ливне, когда небеса разверзались по велению обманутого Бога, дабы возвратить воду к ее первоисточнику. За семь веков Сатанаил создал свой новый мир — он сотворил солнце, месяц и звезды, повелел земле родить животных и растения и под конец из праха земного изваял Адама и Еву и, вселив в них души двух падших ангелов, оживил их. Однако жизнь Адама и Евы протекала бы в той же бессмыслице, что и в предвечном царстве Бога-отца, если б великий зодчий, притаившись однажды в тростниках, не обманул Еву и не совокупился с нею посредством своего хвоста. Таким образом он вдохнул в нее свою неутолимую жажду вечного движения, сотворения все новых и новых человеческих существ. Вслед за тем он искусил Адама, побудил и того совокупиться с Евой. Так был сотворен человек — из смертной плоти и духа падших ангелов. Движение началось, и окончится оно при втором пришествии, когда Бог низойдет на землю, дабы судить живых и мертвых и разрушить творение Сатанаилово.

Этот день князь провел у себя в опочивальне над книгами. Принесенная монахом книга оказалась богомильским списком, какие он уже читывал, поскольку Тихик постоянно доставлял ему эти произведения разных монахов, ныне переписывавшиеся с превеликим рвением почти во всех монастырях. Древние книги Мани и его ученика Сиса, купленные некогда в Царьграде предками князя, приносили ему большее удовлетворение. Первый человек, вступивший на стороне Бога в схватку с демоном зла, попал в плен к демону и утратил светлый дух свой. Так произошло в душе человеческой полное смешение света и тьмы, добра и зла, и кто теперь мог их разъять? Князь желал жить так, как жил прежде — не разъединяя их. Тогда чего же искал он в книгах? Объяснения тем злосчастьям, что постигали его страну и его дом? В этой всесветной распре между Богом и Сатанаилом все выглядело очень просто, и не было у человека ни силы, ни власти, чтобы изменить ход событий. Люди были игрушкой в руках обоих, Сатанаила и Бога, оружием, переходившим от одного к другому. Между тем все живое хотело жить как можно покойней и дольше: животные и люди, птицы, цветы, травы, леса. Волк раздирал серну, серна обгладывала молодые деревца, стремившиеся перерасти старые, рыбы пожирали одна другую, люди друг друга убивали. А глупый Бог взирал на это зрелище со своего престола и жил своим единоборством с Сатанаилом, как смертные живут войной, охотой, междоусобицами, своими пороками и страстями. Если б его преосвященство митрополит Доростольский проведал о том, как князь смеется над Вседержителем, чья власть казалась немощнее власти Борила в Тырнове, он давно бы уже отлучил его от церкви...

День выдался солнечный. Пелена тумана над Тичей разорвалась, сосульки роняли наземь сверкающие ледяные подвески, и вновь заалели кирпичные стены Преслава. Февральское солнце проникало в опочивальню сквозь зарешеченное окно, блестел на кровлях молочно-белый лед. Князь чувствовал, как припекает спину под коричневым кафтаном с разноцветной вышивкой на груди, как пояс с золотыми пряжками, точно женские руки, обхватывает его стан. По телу, как и всегда на другой день после охоты, разлилось сладостное ощущение покоя, ногам после

тяжелых сапог было легко в теплых домашних туфлях. Жить хорошо, даже когда тебя донимают тяжкие заботы. Откуда проистекает это чувство соприкосновения с вечностью, это желание слиться со вселенной? А голоса, что он время от времени слышит в себе,— Сатанаилово ли то обольщение или голоса Бога и ангелов? Царство светлого, божественного духа, в которое верует слуга Тихик, жажда справедливости, отвращение к злу и стремление к внутреннему совершенству жили в его сердце. Они ведомы были князю еще с детских лет, когда он начал молиться, и с той поры, когда он полюбил свою, ныне покойную жену, скончавшуюся в родах. Во время сражений он всегда ощущал присутствие каких-то незримых заступников, но вопреки всему не желал довериться им, ибо не мог принять Бога, насылавшего на его род одни лишь беды. Не меркнул ли в душе его божественный свет, не уподоблялся ли он тихому месяцу, освещающему поле брани, где поверженные стонут от ран, а победители пируют, не заботясь о том, что завтра им, быть может, суждено поменяться участями?

3

Эрмич возвратился к вечеру усталый и злой: он потерял десять стрел. Проклятые птицы летели высоко и смотрели зорко. В доказательство, что он сделал все, что мог, Эрмич показал черное маховое перо, вырванное его стрелой. Князь посмеивался. Может быть, старая княгиня отступится наконец. Сологун все равно отдаст Богу душу, возложит он себе на живот мертвечину или нет. Но княгиня стояла на своем. Можно ли отказать тяжелобольному в такой услуге? И какие они охотники после этого?

На другое утро, едва занялась заря, князь и Эрмич поскакали по дороге на Мадару. Снежный наст хрустел под копытами коней. Леса, стряхнувшие с себя снежные шапки, казались жемчужно-серыми, потому что ночь украсила их инеем. За крепостными стенами дымил своими трубами Преслав, и вороньи стаи с оглушительным карканьем устремлялись туда.

Князь был в охотничьем платье — куртка коричневого меха с красными петлицами, бобровая шапка с зеленым верхом, мягкие сапоги. Эрмич ехал позади него, зябко пряча худое лицо в воротник волчьего тулупа; пар от его дыханья и дыханья каурого жеребца вился за спиной у князя.

По дороге им встречались везшие в город дрова крестьяне с белыми, заиндевевшими бровями; углежоги, чьи лохматые лошаденки были навьючены черными мешками из козьей шерсти; потом им попались сани, в которых визжал поросенок и сутулился хозяин в бараньем тулупе. Все они молча склоняли перед князем свои заросшие бородами лица. Из селений, прячущихся в лесных чащобах, доносились звуки свадебных барабанов. Был понедельник — день, когда на дверях вывешивают сорочку новобрачной с пятнами крови, потому что без пролития крови ни пропитание человека, ни зачатие, ни рождение невозможны. Через кровь вселялся Сатанаил в женскую утробу и таким образом властвовал над людьми. Князь тоже обильно проливал кровь на охоте и на войне, не задумываясь над тем, что́ есть этот алый, горячий сок, коим Сатанаил наполнил всякую живую плоть...

Солнце поднялось выше, и снег стал оседать. Сотворивший солнце оказал благодеяние и людям и зверям, но не из любви к ним, а из боязни, что оскудеют, лишатся блеска его творения. Творение обязывает своего творца, размышлял князь, глядя, как искрится снег под лучами восходящего солнца, как весело блестит уздечка на его жеребце. Точно так же и земные цари пекутся о своих подданных не из любви к ним,

а ради собственной славы... Люблю ближнего, ибо люблю самого себя. Вот истоки сатанинской загадки...

Был уже полдень, когда Эрмич вдруг снял шапку и перекрестился: он увидал вдали Мадарские скалы. Таинственные, могучие, они желтели среди снегов и дыбящихся лесных чащ. На фоне светлого февральского неба крепость, высившаяся на их вершине, была похожа на корону.

Лишь к вечеру добрались они до монастыря Святого Михаила. Их встретил высоченный игумен, отвел им боярские покои. Забегали, засуетились служки, растапливая печи, приготовляя ужин; Сибин рассказал игумену о том, что привело его сюда.

Игумен обманулся в своих ожиданиях. Он надеялся, что князь привез монастырю дары. Ее милость, христолюбивая княгиня, всегда была благосклонна к святой обители, однако давно уже не удостаивала ее своим посещением. Быть может, прослышала, какая погань встречается среди монашьей братии. Ереси разрастаются, точно пырей, сетовал игумен, и никому уже неведомо, что есть откровение божие, а что — дьявольское обольщение и обман. Даже ученейшие монахи заражены богопротивным богомильством, и Господь каждодневно умаляет его власть, все труднее становится спасать заблудшие души, и когда он предстанет перед Всевышним, то не будет знать, что ответить ему.

Игумен осенял себя крестным знамением, размахивая широким рукавом засаленной рясы. Прости и помилуй нас, Боже, даже самые верные пастыри и чада твои стали ныне несведущими. Царю, полагал он, следует прибегнуть к суровым мерам, и есть слух, что он на пути к подобному просветлению.

Князь рассеянно слушал игумена. Сказал, что хочет убить орла, так не будет ли ему дозволено на заре пройти через скиты, что находятся выше в скалах. Надо полагать, что отшельников сейчас там нет. Кто в такую стужу станет мерзнуть в каменной норе?

— Ошибаешься, твоя милость,— отвечал игумен.— Есть святые люди, кои не желают спускаться в монастырские кельи, соседствующие с пещерой, куда Бог ниспосылает дивное тепло, ибо нечестивый так и норовит поселиться среди братии. Святые отшельники отгоняют его своими молитвами и силой духа. Великие откровения являются им, твоя княжеская милость, во время ночных бдений. Каждую ночь лицезрят они Сатану и слышат, как он скрежещет зубами.

— Это филины,— обронил Сибин.

— Возможно, княже. Но нечестивый принимает всякие обличья.

После ужина беседа в плохо протопленном покое потекла еще более вяло. Князю нетерпелось остаться одному, отдохнуть после долгого пути. Игумен был похож на старую лису, терзаемую тайными пороками,— должно быть, тайком попивает у себя в келье подогретое, подслащенное медом винцо и помышляет о женских ласках.

Сибин дал ему выговориться. Его преподобие беспокоился не о чистоте учения божьего, а о собственной власти над иноками. Сатанаил ведь не признавал никаких канонов, любил перемены, непрестанное движение, он ставил палки в колесо мироздания и вертел им по своему произволу, стряхивая одних властителей и вознося других.

Наконец, игумен распрощался, и Сибин кликнул Эрмича, тот стянул с него сапоги и покорно выслушал распоряжения на следующий день. Подняться следовало среди ночи, со вторыми петухами. Пока все.

4

Князь лег в холодную постель и закутался в тяжелое покрывало. Полчок, спавший у него под подушкой, с писком соскочил на пол и юркнул в щель. Грызун кормился остатками от боярских трапез и монастыр-

скими орехами, хранившимися в бесчисленных шкафах и шкафчиках, пропахших мышами, воском и оливковым маслом.

Сибину невольно пришли на память те майские утра, которые он некогда встречал тут со своей женой Котрой, когда расцветшие рожковые деревья, завезенные сюда монахами из афонских и царьградских монастырей, осыпáли молодую траву розовым дождем своих лепестков. Каждое утро и вечер медоносная дымка обволакивала этот райский уголок своим таинственным дыханием, а иудино дерево, подле которого иконописцы обычно изображают Нечистого с козлиными ногами, источало ядовито-терпкий аромат. Здесь все цвело и зрело: плющ и дикий хмель, бузина и лаванда, калина и самшит, каштан и арахис соседствовали в благодатном тепле, укрытые от ветра могучими скалами, перенесенными, казалось, сюда Аспаруховыми[10] богатырями из неведомой азиатской страны. При виде этих скал сердце князя наполнилось горечью и тоской, отвращением и гневом против тех, кто осквернил великую болгарскую твердыню нечистыми скитами отшельников.

«Здесь достойна была жить Котра,— размышлял князь.— Котра была схожа с этими скалами, а они схожи с ней. Они и создали мою величественную Котру. Она родила мне сына и скончалась с ним вместе, ибо таково было веление судьбы. Матушка не любила ее, но восхищалась ею и побаивалась».

В те далекие майские утра в этой самой опочивальне Котра расчесывала гребнем черный поток своих волос, сидя на низком табурете под серебряной иконой воителя божьего, чей нимб и сейчас поблескивал в киоте. Котра хранила в себе дух прадедов. Смуглая, со стройным станом и царственными бедрами, она излучала огонь, жар июньской ночи, когда на цветах раскрываются бутоны и змеи спят на голой земле.

Воспоминания о Котре приводили князя в исступление. Кто отнял ее у него, Сатанаил или византийский Бог? У него отняли воздух, будущее его крови, его рода, единственную женщину, достойную зачать от его семени, чудо, надежду его и счастье. Отняли в дни великой победы при Одрине[11], когда ожила вера в то, что вновь возродится былая слава Болгарии... Те дни оставили в мозгу его неизгладимый след. А неотделимо от них и от Котры вставало в памяти и другое. Французские рыцари...

Впервые князь увидал их под Одрином. Вечером, накануне великой битвы, четырнадцать тысяч половцев выли у костров свои волчьи песни, носились в дробных языческих плясках, а болгары пели песни о смерти Асенова брата, царя Петра: «Орел наш Петр почивает, душа его в небеса воспаряет». Князь и теперь мог воссоздать в памяти тот теплый апрельский день, наполненный всеми звуками земли, на которой бурлила жизнь; зеленую равнину в ста саженях от лагеря крестоносцев, по которой скакали до смешного крохотные фигурки легкой половецкой конницы, похожей на рой мошкары, преследуемой железным драконом; невысокие холмы, за которыми притаились главные силы грозного Калояна, выстроенные в форме большой скобы: в центре — тяжелая болгарская пехота и конница в кольчугах, по бокам — половецкие полчища с арканами наготове. Они ждали, чтобы железный дракон вполз в эту западню. Пять его батальонов были как бы позвонками спинного хребта. Синие, красные и черные плащи полыхали на ветру, дувшем с Мраморного моря, штандарты развевались, точно хоругви, земля стенала под копытами огромных, закованных в панцири коней, и далеко вокруг разносился звон доспехов. Позже, когда князь со своей дружиной вступил

[10] Хан Аспарух — предводитель протоболгар, первый правитель Болгарии (VII в.).

[11] 14 апреля 1205 г. под Одрином (Адрианополем) болгары под водительством царя Калояна нанесли жестокое поражение крестоносцам и взяли в плен латинского императора Балдуина Фландрского.

в бой, он поразился тому, что каждый рыцарь, перед тем как сразиться со своим противником, громко выкрикивал свое имя: «Анри, Анри де Мондвиль!.. Матье де Виланкур! . Ронсуа!..» Кто научил их этому? Они называли свои имена, чтобы показать, что ставят на карту свою честь. Один за другим падали они, но не отступали. Падали их сержанты, обращались в бегство наемники-туркопулы [12], греки, армяне, но сами рыцари, похожие на железные статуи, продолжали биться до тех пор, покуда держались в седле... И под конец Сибин увидел в великолепии солнечного заката, как синий плащ императора Балдуина и его сверкающие позолотой доспехи исчезли среди леса копий, мечей, секир и щитов, в затихающем грохоте боя, среди отсеченных рук и голов, валявшихся на земле вперемежку с телами убитых... Если тридцать тысяч этих людей взяли Царьград, каковы же были они у себя на родине?

Стоило притронуться к тоненькой корочке, затянувшей рану, как вновь хлынула кровь, заколотилось сердце, сон отлетел, грудь сдавило бессильным гневом и перехватило дыхание. Князь ворочался в постели, усилием воли отгоняя прочь черную стаю забот. Сатанаил проник в божью обитель, несмотря на бдения отшельников в верхних скитах, решив этой ночью истерзать его. «Коли так, отмахнусь от всех своих тревог, докажу, что не боюсь тебя,— решил князь.— Котра, царство ей небесное, давно мертва. Коль скоро она не воскреснет, к чему горевать? Клонится к гибели род мой? Пусть! Все, что есть плоть, преходяще. Но дух мой жив и не поддастся козням твоим. Что до французских рыцарей — они тоже плоть, облаченная в железо. Плоть их умрет, железо съест ржавчина...»

Князю казалось, что он говорит с самим Сатанаилом. Если хочешь сохранить спокойствие, не противоречь ему, и он оставит тебя, сраженный твоим безразличием. Всегда, когда князь бывал вынужден прибегнуть к этому средству, он горько усмехался, ибо выходило, что безразличие — лучшее средство защитить свою шкуру и свой покой. Пружины воли расслабляются, умиротворенная душа плывет, как ладья без весел и ветрил. Пусть Господь позаботится о своем рабе, пусть смилуется над ним или покарает, но оставит его в покое, ибо живет раб в вечном неведении, да и в конце концов... пора спать.

5

Эрмич пробудился в одно время с князем. Оба обладали даром и во сне отмерять часы, необъяснимым чувством времени, этим таинственным механизмом, продолжавшим безошибочно и бесперебойно работать и в спящем мозгу. Он покашлял за дверью, и Сибин позвал его, чтобы тот помог ему одеться и прикрепил к сапогам железные крючья.

— Дикие коты мяукают вовсю,— сказал Эрмич.

— Февраль — месяц свадеб,— отозвался князь и подумал: «Сатанаил сейчас играет своим хвостом, понуждая совокупляться людей и животных».

Он взял свой лук, колчан со стрелами.

В тусклом свете месяца поблескивали серебром заиндевелые перила деревянной лестницы. Покатые кровли монастыря и скитов уходили все ниже, белея коркой затвердевшего снега. Из черных труб валил дым: монахи уже вылезали из-под грязных козьих шкур и дерюг, разжигали огонь в очагах. Тропинка шла прямо вверх, потом разделилась надвое. Князь двинулся по той, что вела вправо, к кельям отшельников, и обрывалась у скалистого утеса. Он прошел мимо прикрытой рогожей ниши в скале. Отшельник еще спал. В нос ударил смрадный запах, перемешан-

[12] Туркопул — рожденный от смешанного брака гречанки и турка.

ный с дегтярным запахом дыма. Божьих угодников было тут немного — три темные ниши подряд были пусты. Перед четвертой лежали дрова, рогожа там сдвинулась, и показалась чья-то всклокоченная голова.

— Во имя Отца и Сына!

— Я человек,— сказал Сибин.

— Прочь, Сатана! — взревел пустынник.

Князь прошел дальше, обитатель кельи испуганно завыл.

На скалах синевато поблескивал лед; наверху, где вспыхивали, готовясь погаснуть, звезды, темной тенью нависали громады гор. У последней, необитаемой кельи тропинка кончалась. Князь укрылся в нише. Следовало дождаться рассвета.

Скоро забьют к заутрене клепала. Смолкнет воркованье влюбленных филинов и мяуканье диких кошек. Филины и огромные совы, отогревавшиеся на монастырских трубах, попрячутся в гнезда, а стаи ворон взлетят над скалами, облегченно крича после беспокойной ночи, сделавшей многих из их сестер добычей филинов. Куницы и дикие кошки будут дожидаться в норах, пока теплые лучи солнца обогреют их, голодные орлы начнут отряхиваться, перед тем как вылететь на охоту. Движение, вызванное Сатанаилом, не приостанавливалось ни днем, ни ночью. Оно лишь видоизменялось на свету и во тьме: те, кто спал ночью, становились добычей тех, кто бодрствовал, и наоборот. А Бог оставался лишь как утешение, уверовать в которое можно, только если счесть его великим шутником.

Перепуганный отшельник хриплым, простуженным голосом исступленно голосил тропарь. Князь терпеливо ждал рассвета, время от времени поглядывая на утес. «Пока я подстрелю орла, Сологун может уже испустить дух,— думал он.— Впрочем, я здесь не столько ради него, сколько для того, чтобы отогнать мысли о Бориле, развлечься... В самом деле, чем буду я жить, когда у меня ничего не останется? Охотой? Надеждой на брата? Ежели к его возвращению уцелеет моя голова... Да и какая это надежда? Сыновья Асена начнут резать Бориловых половцев, а половцы — нас... Проклятье висит над нашей страной. Она проклята нашими прадедами — теми, коих перебил Борис, приведя из Брегальницы свои славянские полчища».

Каждый раз, когда мысль обращалась к прошлому, князь приходил в ярость, и это мешало ему воспринять Бога. Тихонько потопывая в холодной нише, чтобы согреть ноги, он старался придумать, чем бы отвлечься. Стал пристально вглядываться в скалу, волнисто уходившую вдаль. Ему казалось, что он уже различает спящего орла. Глаза постепенно отделили силуэт птицы от камня, потом, наконец, явственно блеснула спина орла. Следовало выждать еще несколько минут и стрелять, пока еще не совсем рассвело, а то орел заметит охотника. Князь вынул из колчана длинную охотничью стрелу, натянул тетиву. Клепала в монастыре заблаговестили. Залаяли внизу собаки, закукарекали петухи, заскрипел колодезный ворот. В ущелье, среди заиндевевшего леса, молчали под снегом монастырские водяные мельницы.

Перед тем как спустить стрелу, Эрмич всегда произносил шепотом «Во имя Отца и Сына...» Князь же никогда не призывал на помощь. Он доверял лишь собственной руке и глазу.

Первая стрела пролетела выше птицы. Звон тетивы заставил ее поднять голову, и князь уже ясно различал изогнутый клюв, вытянутую в гордом возмущении шею, крутой излом крыла. Он прицелился чуть вбок от орла. Натянул тетиву, украшенные перламутром концы лука сблизились, и стрела с глухим звуком вонзилась в птицу. Орел подпрыгнул, забил крыльями и с пронзительным криком исчез в ущелье...

Эрмич, стоящий в ожидании внизу, подберет его. Князь повернул назад прежней дорогой. Когда он вступил в монастырский двор,

солнце уже совсем взошло. Перед дверью, зажав коленями еще живого орла, Эрмич безжалостно выщипывал и раздавал монахам маховые перья, которыми они станут переписывать богомильские книги и жития...

6

Падал мягкий, теплый снежок, небо стало выше и прозрачнее. Мутный солнечный диск то выглядывал из-за дымки облаков, то прятался вновь. Февральское утро, столь хмурое поначалу, когда сани, всадники и пешие слуги покидали Преслав и сердце князя сжималось от мрачных предчувствий, теперь было залито светом. Все незаметно переменилось уже к полудню, белые от снега кони и люди вдруг приободрились, словно лишь сейчас заметили и ощутили приветливость февральского дня. Даже колокольчики на упряжи боярских коней звенели радостью, весело скользили украшенные ликом Богородицы сани, в которых ехала, тихонько потряхиваясь на толстых коврах, боярышня в медвежьем тулупе. Слуги стояли на полозьях боярских саней либо бежали рядом, перебрасывались шутками, смеялись. Похрустывал снег, в высоком небе разносились весенние призывные клики диких гусей. И когда Эрмич, скакавший впереди вместе с несколькими вооруженными слугами, истошно закричал, указывая копьем на протянувшуюся по опушке серую пасму волчьей стаи, никто не испугался. Напротив, все развеселились еще пуще, а в душе князя и волчья стая, и звучавшее музыкой небо вызвали ту же радость, что вспыхнула в нем давеча при виде алого елека боярышни, краешек которого выглядывал из отворота тулупа. Уж таким был князь Сибин, что все могло заставить его поверить в добро, хотя он и знал, что и красота и само добро мимолетны. Он ехал теперь верхом впереди боярских саней, весь в снегу, и не оборачивался, не глядел, как смеется со слугами боярышня, как разрумянились ее щеки, как глаза льют голубой елей, а губы приоткрывают жемчужную нанизь зубов. Потому что еще в утренних сумерках необыкновенная красота ее вызвала в нем не только соблазн, но и какую-то неприязнь. Невероятно, что у Сологуна, с его пеликаньей головой, такая дочь. Прежде князю доводилось видеть ее лишь издали. Каломела по большей части жила в Тырнове, у дяди. Третьего дня, когда он вернулся с Эрмичем из Мадары, дома ожидал его половец-скороход. Борил приказывал явиться с малым числом людей в Тырново, и Сибин решил, что последний удар грома уже готов поразить его. Однако на следующий день дело объяснилось: царь созвал собор против богомилов. В Тырново призывали всех бояр и епископов. Епископ Преславский уже отбыл со своей свитой тому несколько дней, а накануне вечером старая княгиня сообщила весть, что вместо недужного Сологуна в Тырново отправится его дочь. Сибин должен взять ее под свое покровительство и ехать с нею вместе. Видно, Сатанаилу время от времени наскучивала спокойная гладь житейского моря и он вдруг спускал на нее вихрь. И тогда мелкие, терпимые будничные заботы внезапно сменялись шумом, схватками, кровопролитиями, гибелью одних, счастьем и благополучием других. Веселый свет, струившийся, казалось, из ангельской обители, начал пугать князя. Что предвещал он — благо иль беду?

Его искушало желание рассмотреть дочь Сологуна (матушка давно уговаривала взять ее в жены!). Он привык посмеиваться над этой еретичкой и теперь, пораженный ее красой, стремился, ради собственного спокойствия, охаять эту красу. Всего лучше, пожалуй, не смотреть на нее. Однако, когда они въехали в узкое ущелье и санные полозья заскрежетали по каменистой дороге, Каломела вздумала пересесть на своего белого коня, до тех пор трусившего на привязи позади саней. Сибин про-

должал скакать на своем вороном жеребце, не сбавляя хода. Снежинки поредели, потеплело, князь распахнул тулуп, стряхнул с рукавов снег. Боярышня у него за спиной пустила коня вскачь, жеребец забеспокоился, князь помрачнел. Она нагнала его быстрее, чем он ожидал. Белый конь поравнялся с жеребцом, лицо боярышни оказалось вровень с плечом князя, голос ее слился с перезвоном колокольчиков и стуком копыт, и Сибин сперва не разобрал ее слов. Но он совладал с собой и спокойно выслушал ее.

Разве старая княгиня не рассказывала ему о том, сколь тяжко болен ее отец? Бог едва ли смилуется над ним, и — кто знает? — воротившись из Тырнова, она, возможно, уже не застанет его в живых. Не подумал ли князь худо о ней, услышав ее смех? Столь велики невольные грехи наши, что впору отчаяться, кабы не вера в силу молитвы, коя очистит нас, если исходит от сердца.

В шутку ли говорила она или искренне верила, что Бог простит ей смех, столь же неуместный пред близкой кончиной отца, сколь и перед Бориловым судом над ее духовными братьями? Князь украдкой разглядывал ее. Она была невелика ростом, но хорошо сложена. В тяжелой медвежьей шубе она казалась сотворенной из прозрачно-белой плоти и холодного серебра. Ее кожа излучала свет, одновременно отражая свет дня. Из-под выдровой шапки выбивались русые завитки, а на затылке вместе со свисающими, красиво сшитыми звериными хвостами убегали за воротник тулупа две толстые косы. Ее голубые глаза пристально смотрели на князя, настойчивые и жесткие, убежденные в своей необоримой чистоте, и он дрогнул под их взглядом.

Слыхала она, что он много читает греческих и латинских книг. В таком случае ему ведомы внушения духа святого, ибо это он дает слову силу и откровения, дабы мы могли постичь престолы и славу небесные. Но ежели князь хочет спасти душу свою, ему следует побороть в себе охотничью страсть.

— Для чего едешь ты в Тырново смотреть на муки духовных братьев твоих? — спросил он.

Она сняла рукавицу, и белая ее рука порывисто натянула удила.

— Дух нуждается в помощи, покуда не покинет свою телесную оболочку и не воспарит к Богу,— ответила она.— Отец не мог сам исполнить царское повеление, и, помимо того, он дал мне некоторые поручения к дяде. В Тырнове произойдет чудо. Подвергнутся ли гонениям и мукам истинные христиане или же царь будет осенен духом святым — все едино: рано или поздно Сатана будет повержен и мир его рухнет. Одни спасутся и как ангелы воссядут с Сыном человеческим одесную Отца небесного, другие же вместе с Сатаною будут низвергнуты в геенну огненную.

Князь молчал. Каждое ее слово смущало и гневило его. Кому проповедовала она? Ему, чьи сердце и разум истерзаны скитаниями по горним селениям и загадками нашей многогрешной земли? И отчего не таит, что она богомилка? Не оттого ли, что Тихик уведомил ее о беседах, что вели они с князем? Вот так ересь равняет господ со слугами и расшатывает установившийся порядок. Сознает ли эта красавица, что именно устремления к Господу и порождают бунт? Сатанаил всегда использует божеские посулы и божьи цели. Как сочетает она свое высокое положение племянницы протосеваста с богомильским смирением? Сибин негодовал, продолжая хранить молчание. Но отчего ее слова находили отзвук в его душе? Голос ее омывал его сердце, как горный ручей омывает холодную скалу, обтачивая ее и облагораживая. Присутствие боярышни тяготило князя и вместе с тем было желанным. «Похоже, что я жил на лезвии меча,— думал князь,— если она может поколебать мое равновесие».

Он перебирал в памяти свои самые сокровенные думы, искал ответы, которые бы опровергли, отбросили ее слова. Тихик противопоставлял ему такие же доводы для спасения человека от власти Сатанаиловой — правда, менее красноречивые, но все же... Не оттого ли он выслушивал их, что хотел в них поверить?

Она сказала:

— Господь предназначил тебя для великих дел. Ты похож на архангела Михаила.

Он улыбнулся и взглянул на нее. Пушистая снежинка таяла у нее на носу. Лицо ее зарделось, и она потупила взор под черным пламенем его глаз. «Я должен выбить из ее головы эту апостольскую страсть»,— мелькнуло у него в мозгу, но другая, языческая и трезвая половина его существа тут же завладела его сознанием. Он почувствовал в себе это раздвоение и помрачнел. Она тоже примолкла. Опустила голову, на вид равнодушная, но в мило приподнятых уголках рта пряталась невольная улыбка.

7

Тем, кои твердят, что дьявол есть миродержавный владыка,— анафема трижды.

Не были свойственны Сибину ни душевная смута, ни расстройство разума, ибо сколь ни терзала его тайна мироздания, она все же забавляла его, питала азиатскую насмешливость его духа. Тем не менее после двухдневного совместного пути с молодой боярышней князь пробудился в одном из тырновских стоялых дворов с тягостным сознанием, что в душе его поселилось еще одно существо. Это существо завело с ним спор, стало направлять его мысли к тому миру, которым он прежде лишь забавлялся, не подозревая, что жаждет поверить в него.

Он понуждал себя забыть о боярышне, избегал встреч с нею и весь отдавался своим впечатлениям от Тырнова.

Город напоминал гигантский монастырь, переполненный священнослужителями и мирянами. Во всех стоялых дворах шумели бояре, после утренних служб в корчмы набивались пьяные монахи, слуги, бродяги, сбежавшиеся из ближних крепостей и монастырей поглазеть на судилище, устраиваемое Борилом в назидание всем, кто затаил в сердце ненависть к нему и святой церкви. На трех торжищах за городской стеной множество купцов предлагали свои товары. Генуэзцы, прибывшие из земель императора Генриха, привезли дорогие ткани, украшения, рис. Отроки [13] из ближних боярских сел развозили бочки с вином, зерно, фасоль. С понедельника сырной недели и до пятницы, когда был оглашен приговор над сеятелями богомильской ереси — Добри, Стефаном и Тодором — и патриарх заупокойным голосом провозгласил анафему под бешеный трезвон клепал, князь вынужден был неотлучно присутствовать на судилище.

Ослепленный светом восковых свечей, сверканием мозаики и драгоценных камней на иконных окладах, задыхаясь от запаха ладана, он терпеливо сидел в своем кресле позади духовных и светских судей, чьи шубы, мантии, рясы, камилавки и митры возвышались над креслами перед алтарем. Разноцветные стекла высокого купола расцветили свет в храме, под сводами которого гулко раздавались покаянные вопли судимых женщин, отрекавшихся от ереси. Поцеловав иконы, они падали ниц на холодные плиты пола. До пятницы перед судом прошли все прельщенные простолюдины и простолюдинки, несчастные попики, твер-

[13] Отроки — крепостные крестьяне в феодальной Болгарии.

долобые ремесленники и горожане из Тырнова. Их вводили группами либо со двора, либо из притвора, где они ожидали своего череда — босые, в рубищах, с главой, осыпанной пеплом, иные — бледные, дрожащие, другие — примиренные, покорные. Один из дьяконов называл судьям еретиков, и на тех, кто признавал свои заблуждения, налагали епитимью, пост, взыск в пользу церкви либо присуждали к заточению. «Раба Мария, прельщенная общим супостатом нашим Сатаною, да уплатит...» «Раб Кынчо... да постится и уплатит...» «Никола...» Раскаявшиеся преклоняли колена, целовали икону Спасителя и тяжелый серебряный крест. Тех, кои упорствовали, расставаясь с еретическим духом, карали легче, чем тех, чье раскаянье было легким и, значит, притворным. Многие были приговорены к заточению и подневольной работе в монастырях. Их под стражей отводили вниз, на монастырское подворье, где им предстояло распроститься с близкими и собраться в дорогу. Толпа мирян, священников, иноков, среди которых были и какие-то подозрительного вида монахи в ветхих рясах, прятавшие свои мрачные, отшельнические лица под черными капюшонами, осаждали северные ворота Царевца. Перед воротами, охраняемыми стражей, верные чада церкви поджидали освобожденных еретиков, чтобы заново окрестить их в водах Янтры...

Каждое утро перед началом судбища совершалась литургия для просвещения судителей и быстрейшего покаяния заблудших. Серебряные кадила окутывали клубами ладана пустующий царский трон, ибо Борил не всякий раз удостаивал собор своим присутствием. Сверкающий клир из епископов, протодьяконов и дьяконов наполнял храм хором голосов, блики света плясали на епископских венцах и облачениях. В притворе толпились боярские жены, монахини, знатные горожанки, и глаза князя искали среди них Каломелу.

В пятницу утром Борил пожаловал. Его прибытие было возвещено фанфарами. Северные ворота дворца раскрылись, часовые на сторожевых башнях замахали царскими прапорами с изображением креста и ключей Святого Петра — один ключ для отличения Добра от Зла, другой — символ власти. Разом забили клепала во всех церквах, и стаи вспугнутых ворон взмыли над Царевцем.

Весь клир во главе с патриархом и боярством вышел из храма навстречу государю. Царевы телохранители — половцы в полушубках, поверх которых сверкали кованые доспехи, отбитые у французских рыцарей еще в царствование Калояна,— встали с внутренней стороны ограды. Внизу, на площади, шум торжища стих. Ратники у крепостных ворот сдерживали напор челобитчиков, пришедших из посада просить царской милости для своих близких.

Царь появился в длинном скарамангионе из дорогих мехов, из-под которого были видны края белой хламиды и пурпурные сапоги. Двое малолетних боярских сыновей придерживали полы скарамангиона, давая возможность лицезреть поддетую под него затканную золотом и осыпанную драгоценными каменьями одежду, топорщащуюся, как фелонь, а также позолоченные нашивки крест-накрест, символизирующие пелены Христа во гробе. Из-под увенчанной крестом царской короны сверкающими ледяными сосульками свисали цаты, которые скреплялись под его короткой рыжеватой бородкой. Сибин был поражен поблекшим видом Борила, напряженным и мрачным выражением его лица. Былой красавец ссутулился и постарел. Глаза его беспокойно бегали по лицам бояр и епископов. Встреченный патриархом, который ввел его в храм, Борил воссел на трон, держа в руках скипетр и державу. В знак незримого присутствия Христа рядом, на пустой трон, положили Евангелие, оправленное в золото и усыпанное жемчугами.

Заутреня началась с псалмов Давидовых, и царь пожелал принять

участие в отправлении службы. Борил имел духовный сан дьякона, и это давало ему право на священнодействие.

Тощий и длинный, похожий на борзую протокелиот принял от Борила скипетр и державу, царь опустился перед алтарем на колени и глухо, взволнованно запел псалом. «Не входи, Господи, в судбище с рабом твоим, ибо никому из живущих не очиститься пред тобою...» Свеча, которую один из дьяконов держал перед раскрытой Псалтырью, дрожала, как дрожал и голос Борила.

Допев псалом, царь вошел в алтарь.

Со двора донесся шум. Боярыни и богатые горожанки стали поглядывать на притвор, где бренчали цепи главных сеятелей ереси. Стража вводила их в храм. Преддверие наполнилось негромким гулом, перешедшим в шепот и вовсе затихшим, едва лишь Борил вновь опустился на свой трон.

Опершись о подлокотники узкого кресла, князь глядел на закапанный воском мозаичный подиум перед алтарем — зеленоватые и синие стекла со сказочным великолепием отражали огни и золотые нимбы святых на иконах. Заутреня окончилась, завершающий возглас «аминь» заставил его очнуться. Он забыл сотворить крестное знамение.

Алая дорожка, ведшая от преддверия к алтарю, вдруг выступила из-под ног высокородных горожанок, прибывших сюда с дочерьми и сыновьями. Двое стражей с непокрытыми головами вводили из притвора старейшего из богомильских апостолов — Стефана. Босой, в черной рясе, без пепла в волосах — что было знаком нераскаянности,—Совершенный [14] медленно ступал, звеня своими цепями. Высокий, с маленькой головкой, поросшей редкими волосами, он был, должно быть, скопец. Ни единый палец на тощих его ногах не дрогнул, когда сам патриарх обратился к нему с положенными вопросами. Он отрицал церковные таинства и обряды, распятия и чудеса, явленные Христом, коего, по его убеждению, никогда не существовало, поелику был он лишь чистым словом, ниспосланным Господом на землю во спасение человека. Второй богомил, по имени Тодор, черный, косматый, представ перед судьями, тотчас же, нимало не смутясь, приступил к проповеди. Ни посты, ни истязания не согнули могучего его стана.

Допрос обоих был краток и сух. Патриарх и епископы избегали вступать с ними в спор, страшась ясности их мысли и остроты языка.

Лицо царя выражало радость и облегчение. Клир торжествовал — столь явной была вина этих учеников дьявола, что более и не требовалось прилагать никаких стараний.

Погруженный в раздумье, князь вздрогнул от громких криков женщин в притворе. Стража вводила последнего из апостолов. Одна из женщин воскликнула: «Пресвятая матерь божья, спаси его!» Шепот и восклицания волной прокатились под куполом храма.

Среди плотной толпы женщин показался ведомый стражей высокий человек в длинной рясе. Русые кудри, ниспадая на плечи, обрамляли его бледный лик. Голубовато-серые глаза с темными точками зрачков казались страшными в своей тихой задумчивости и бездонной чистоте. Он двигался легко и плавно, будто босые ноги его ступали не по алой дорожке, а по воздуху. Воцарившаяся тишина нарушалась лишь потрескиванием свечек и глухим звоном цепей.

Сибину почудилось, что свет в храме померк перед лучезарным ликом богомила. «Где я видел его — во сне, наяву ли? И кто он?» — вопрошал себя князь. Властная голова проплыла мимо, она была подобна ангельской: высокий, чистый лоб, красивые губы, прямой греческий нос. Богомил предстал перед судьями. Свет горящих свечей падал на его

[14] В богомильских общинах была своя иерархия. Братия делилась на совершенных, избранных, верных и оглашенных.

русые волосы, отражаясь сияющим нимбом вокруг чела. Женщины пододвинулись к середине храма.

Мягко прозвучал голос патриарха:

— Весь город знает тебя, Добри, и скорбит о твоем заблуждении. Отрекись от поганой ереси, воротись в лоно пресвятой церкви православной. Господь услышит твои и наши молитвы, простит твои заблуждения и дарует тебе сан еще более высокий, чем прежний, ибо обретенная овца Господу дороже других. Государь желает приблизить тебя к себе, высоко вознести тебя.

— Для чего, твое святейшество, хочешь ты, чтобы я погасил светильник в душе своей и ясность разума? Не долженствует ли тебе печься о том, чтобы не угасло пламя его? Не обрядами и не милостью государевой обретается сан духовный, а чистотою сердца и помыслов.

Гулким эхом отдались слова богомила, продолжавшие звучать — почудилось князю — даже в наступившей вслед за тем настороженной тишине.

Белая митра патриарха осуждающе закачалась из стороны в сторону, посеребренная борода метлой прошлась по мантии.

— Светильник тот хранит православная наша церковь, ибо сказано Господом: «Внемлющий вам — мне внемлет». Не упорствуй, не влачись за сеятелями нечестия, не покорившимися православному собору этому. Анафеме будут преданы они, и преисподняя разверзнется, дабы принять души их. Пожалей престарелого отца своего, чтимого всеми нами.

На одном из кресел у стены притвора всхлипнул седовласый старец, спрятав в ладони лицо.

— Не искушай меня сыновней любовью, твое святейшество, ибо любовь к Богу выше сыновней любви. От родителя перешел в душу мою свет учения, и, отрекшись от него, от родителя моего отрекусь. Там пребывает церковь, где пребывают истинные христиане. Сам Христос сказал: «Я там, где сходятся во имя мое». Каждый человек есть храм Бога сущего и через Бога сам является судьей себе. Что же до преисподней, то низвергнуты будут туда не братья мои, а слуги царевы и дьяволовы.

Борил стукнул скипетром об пол.

— Молод ты, окаянный, но долог богопротивный твой язык, понеже глубоко проникла ересь в кровь твою. Да не слышат уши твои того, что изрекают уста,— сказал он.

— Все живое на этом свете живет по сути своей, царь. И Богом отмерены дни каждого. Агнец предстает перед жертвенником, а ворон достигает глубокой старости. Бог в нужный час прибирает к себе тех, над чьими душами смилостивился, да не будут они судимы вместе с вероломными слугами Сатаны, кой есть миродержец и князь земных князей.

Епископы, архимандриты и бояре задвигались в своих креслах. Лицо Борила исказилось от ярости. Патриарх потупил голову, его толстые пальцы забегали по позолоченному жезлу. Шепот женщин и тех, кто стоял в притворах, ветром прошелестел по храму. Сибин вдруг увидел рядом с пожилой игуменьей Каломелу. Расширенные зоркие глаза ее горели торжеством и злорадством.

— Дерзость твоя к нам и богоносным отцам переполнила чашу нашего милосердия. Дьявол сделал из этого человека гнилой сосуд, в котором не может храниться благовонное миро пресвятой церкви,— гневно произнес Борил.

Патриарх обменялся быстрыми взглядами с епископами и обратил взор к царю, жестом повелевшему окончить допрос. Стражники схватили Добри и повели прочь. Старик в притворе громко зарыдал.

— Все мы тут убийцы, вольно или невольно.

Лейтенант, опустив голову, разглядывал босые ноги врача — бело-розовые с крупными темными ногтями, с мозолью на одном из больших пальцев.

— Я отдал это приказание в минуту раздражения... смятения... отчаяния. Я думал о людях, которые погибнут при взрыве... о детях, — сфантазировал он,— да, особенно о детях. Я меня есть сын... Я вынужден был выбирать — если мое душевное состояние позволяло мне размышлять,— погубить ли себя, приказав пытать человека, или до конца жизни испытывать угрызения совести, потому что я не сумел предотвратить убийство стольких людей.

— И по иронии судьбы, бомбу нашли только потому, что с рисовых полей добровольно пришла девочка и сказала, где ее нужно искать, сказала, чтобы спасти жизнь брата... который в эту минуту, вероятно, был уже мертв?

Лейтенант вскочил, вне себя от гнева.

— Но я же не давал приказания убивать этого человека! Я согласился только на то, чтобы сержант применил... свой метод.

— Я вас предупреждал, что у пленного больное сердце.

Они обменялись злобными взглядами.

— А что сделали бы на моем месте вы? Отвечайте! Отвечайте же!

— Я бы вообще отказался допрашивать террориста.

— Но это же был приказ! У меня не было выбора. Меня арестовали бы, если бы я не подчинился...

— А разве это не было бы для вас лучше?

Лейтенант снова сел. В его памяти кружился хоровод образов. К.... Учительница... Пленник... Утренняя самоубийца... Ему казалось, что он уничтожил, пытал, осквернил их всех. Возможно, он действительно заслуживал осуждения. Но он был не в состоянии ясно мыслить... Лучше бы пойти к себе в номер, лечь, постараться забыться, заснуть... Или пустить себе пулю в лоб и сразу покончить со всем!

Он продолжал смотреть на ступни доктора, которые сейчас двигались по направлению к нему. «Господи,— подумал лейтенант, — сделай так, чтобы этот человек не положил мне руку на плечо, потому что я не вынесу его прикосновения». Тот, однако, ограничился тем, что показал ему свое левое запястье с вытатуированными цифрами — 12345.

— Я меньше, чем кто-либо в мире, способен примириться с пытками или оправдывать их применение, хотя бы в принципе, — сказал врач. — Вы знаете мою историю?

— Нет. Откуда мне ее знать?

— Но вам известно, что я еврей?

Лейтенант смутился, будто тот спросил: «Вам известно, что я прокаженный?»

— Ну так вот. Когда мне было четырнадцать лет, меня и всех моих близких отправили в концлагерь — мою мать, отца, старшего брата и еще младшего братишку, которому было всего два года...

— Я думаю, мне незачем говорить вам, что я негр. Мы тоже знаем, что такое гетто.

— Ах, лейтенант. Не сравнивайте... Наша участь в тысячу раз хуже — возможно, это самый страшный и безумный кошмар истории. Уже несколько тысячелетий, как мы служим человечеству козлами отпущения.

«Я пришел сюда не для того, чтобы обсуждать еврейскую проблему»,— подумал лейтенант, заерзав на стуле; голова у него снова начала разбаливаться. Врач расхаживал перед ним по комнате и говорил, откинув голову, словно читая лекцию.

Князю давно следовало понять, что Сатанаил овладел им не через смертоубийства его и неверие, а через разум, уже не отличавший зла от добра, ибо Лукавый высоко вознес его и оттуда показывал ему колесо мирозданья, приводившееся в движенье и Добром, и Злом. С этой выси все казалось необходимым. Оттуда и взирал вчера князь без сострадания на муки еретиков. Через нее воспринял, как нечто совсем естественное, угрозу Борила.

Сперва он надеялся, что по окончании собора воротится в Преслав, так и не встретившись с царем, но тот еще в пятницу повелел ему явиться вечером во дворец. Борил желал завершить свое наставительное дело и для этого созвал к себе тех, о ком было ведомо, что они втайне худо помышляют о его особе. Богоносные отцы отсутствовали. Они отдыхали в теплых монастырских кельях, вкушая свежую рыбу, генуэзский рис, наслаждаясь радостью и благочестием, пока царь пышно праздновал в тронном зале дворца победу над еретиками. Либо Сибин убедит брата покинуть сыновей Асена и вернуться из Таврии, либо пусть подумает о собственной голове... Угроза была произнесена царем достаточно громко, чтобы не услыхали все двенадцать бояр, составлявших, подобно ученикам Иисусовым, царский совет — восемь половцев и лишь четверо болгарских ласкателей, все в мантиях и сверканиях, пропахшие жиром, потом и мехом. Царица Целгуба в своем тяжелом царском облачении восседала, скрестив на коленях руки, и вид у нее был глупый и надменный — должно быть, от сознания важности этого грехоочистительного дня. Женщина весьма похотливая, она блудливо поглядывала на Эсташа де Колини, посланника императора Генриха, рослого красавца с великолепными усами и золотистой бородкой, сидевшего против царского семейства, но дальше, чем посланник никейца и тощий серб, посланец Стефана Первовенчанного.

Эсташ де Колини! Единственный человек здесь, к которому князь испытывал уважение. Гордость Сибина была оскорблена, положение оказалось нестерпимым. Француз наблюдал за ним, любопытствуя, как князь поведет себя. Наклонившись вперед на своем троне, Борил смотрел на князя, как ястреб на сокола.

— Я воин, и мой род всегда был предан болгарской вере,— ответил Сибин царю, более пораженный переменами в тронной зале, нежели государевой угрозой. Все, что напоминало о Калояне, было вынесено прочь, даже знамена. Кованые венецианские и фламандские доспехи и штандарты плененных рыцарей из свиты императора Балдуина были заменены половецкими бунчуками, сербскими и византийскими знаменами, оставшимися от времен Асена и Петра. Борил либо не понял ответа, либо истолковал его в том смысле, что князь исполнит его приказание, либо предпочел сделать вид, что ничего не слышит и не видит. А возможно, дерзость Сибина обрадовала его, поскольку служила еще одним доказательством вражды, что поможет ему успокоить свою царскую совесть, когда половцы принесут ему окунутую в мед голову князя... Бесчисленны узы, коими Рогатый связывает свои жертвы одну с другой!..

Сибин незамеченным покидал тронную залу, когда венценосной чете представлялась Каломела. Протосеваст смотрел грозно, и князь понял, что он успел оговорить племянницу перед Борилом.

Юная еретичка казалась скорее негодующей, чем смущенной. В ее расширившихся зрачках, точно в зеркале, трепетали огоньки свечей и отражения керамических светильников. Они выражали гордость, возмущение и готовность претерпеть любые муки ради того, чтоб обрести святость. Лишь на единый миг увидел князь ее глаза, и этого было достаточно, чтобы понять, как закончится эта встреча. Бог помрачил ей зрение и рассудок, став соучастником ее дядюшки-протосеваста.

Он откинул тяжелое, подбитое желтым шелком одеяло — от кирии Эвтерпы, чья обнаженная рука обнимала его шею, пыхало жаром, как от печи. Ее грудь упиралась ему в подмышку, и при каждом вздохе князь чувствовал, как она упруга. Сон поглотил Эвтерпу, точно бездна, в которую она погрузилась самоотреченно, безоглядно, и ее дыхание будило в князе нежность и снисходительность. Почему бы нет? Эвтерпа слуга Сатанаилова, а князь тоже принадлежал ему...

Рука Сибина скользнула по ее плечу, и он опять ощутил ее теплое дыхание, дыхание женщины и ребенка. Какой беспомощной выглядела она сейчас, дитя-торговец, уснувший у обочины житейской дороги, зажав в руке заработанную монетку, усталый и счастливый, сраженный сном. Князь прикоснулся к ее темени. Даже под густыми волосами чувствовалось, как оно горит.

Кирия Эвтерпа пошевелила растрескавшимися губами, недовольно почмокала и еще крепче прижалась к князю. Даже во сне не забывала она об отпоре!

Сибин прикрыл ее одеялом, осторожно высвободился из объятий и встал с постели.

Уже светало. Подойдя к окну, князь услышал завыванье ветра. Над громадой башен, зубчатых стен и тесно громоздящихся друг на друга зданий Царевца проплывали тучи, и казалось, что не тучи, а сама крепость плывет куда-то со своими дворцами и храмами, на которые падал снежок. Вьюга налетела чуть позже, и крепость исчезла в снежной круговерти. Князь оделся и сел у окна, за которым ветер наметал сугробы. Что станет теперь с матушкой и сестрой? Не впервые ему смотреть смерти в глаза, и всегда отыскивал он путь к спасению. Ничто не может устрашить его, и в сердце у него нет сожалений, только боль. Больно, когда ты не можешь уберечь от беды своих близких, хотя и не знаешь страха. Больно, когда не веришь ни в народ свой, ни в друзей. Ежели существует бессмертие, мать и сестра обретут в загробной жизни тем большее благополучие, чем больше довелось им выстрадать на земле... До весны, когда царь снова напомнит ему о своем повелении, еще два месяца. До той поры он может дышать, думать, посмеиваться и ждать — авось свергнут Борила либо отравят, убьют... Он отыщет сотню разных выходов, только бы не лишиться стойкости, насмешливости и отваги.

Князь напряг мускулы, чтобы испытать их силу. Даже после расточительной любовной ночи он был крепок и бодр.

Разве не подавил он в себе закравшееся чувство к боярышне? Неприязнь, которая зашевелилась в нем в то сумеречное утро, когда они выезжали из Преслава, к вечеру залила, точно ядом, хрупкие побеги любви. Исступленность, написанная на лице еретички, оттолкнула его. Тогда-то и решил он (по наущению Сатанаила!) навестить кирию Эвтерпу, дабы плоть освободилась от силы, без коей любовь к женщине невозможна,— хитроумный способ вернуть утраченное душевное равновесие...

Добри и Каломела, какая бы это была пара! Олицетворение чистого, благодатного духа света, коего он жаждал сам. Будь истина у них, он бы пошел с ними... «Мы,— сказала Каломела,— творение дьявола, но нам дарована воля к борьбе со злом и жажда спасения». Заблуждаешься, дева! Жажда спасения есть лишь желание обрести жизнь вечную, и коли Сатанаил откроет тебе секрет бессмертия, ты станешь самой пылкой его поклонницей... Зыбко царство твое божие, и Рогатому легко расставить там свои сети и соблазны. А уж коли сам Вседержитель бессилен справиться со своим могущественным сыном, то тебе ли, тленной плоти, тягаться с ним?

Князь слушал завывание вьюги, и ему чудились за окном взмахи крыл. «Это хлопья снега кружат, отбрасывая тени, а мое воображение видит в них крылья Сатанаила,— подумал он.— Выходит, что я и впрямь верую только в него, не замечая, что Рогатый возносит таких, как я, лишь затем, чтобы лишить воли; что он дарует нам великую радость любоваться делами его, наделяет весельем, насмешливостью, мнимой уверенностью в том, что мы все понимаем и знаем, тогда как мы всего лишь мертвый прах. Тем самым сей князь созидания и разрушения лишает нас силы, дабы мы не восстали против него».

С улицы донеслись голоса, и Сибин посмотрел в окно. Если это стража, то с ее дозволения он мог бы сейчас отправиться в стоялый двор. Борил в эти дни повелел зорко стеречь все городские ворота, гулянье ряженых из-за собора было отложено.

Он застегнул пояс, перекинул через плечо перевязь с мечом и, оставив на постели золотой, бесшумно выскользнул из комнаты. Старуха, ключница Эвтерпы, раздувала на кухне угли. Она молча проводила его взглядом. Узкий дворик был весь занесен снегом. Отворив ворота, князь сразу почуял, что за ними кто-то прячется. Одним прыжком перемахнул он на другую сторону улочки и выхватил меч. Их было двое. Первый половец налетел на него с копьем и тут же упал наземь с рассеченной головой. Второй оказался более вертким. Он рухнул на колени лишь после того, как меч Сибина вонзился ему в живот. Князь поспешил прикончить его, чтобы не терять времени и не поднимать лишнего шума.

«Еще два смертоубийства, но ведь это убийцы, подосланные царем. Сколь нетерпелив его царское величество! Замыслил, значит, новые грехи, поелику старые ему прощены»,— думал князь, торопясь в стоялый двор, чтобы поднять своих людей прежде, чем совсем рассветет...

9

Несколько серебряных монет, сунутых в руки стражи, раскрыли северные ворота города ранее назначенного часа, и Сибин со своей свитой поскакал в Преслав, потому что после убийства царских людей Борил имел достаточное основание отсечь ему голову. Князь не сомневался, что Сатанаил для того и заманил его к Эвтерпе, чтобы низвергнуть с воображаемых высот и вовлечь во всеобщую круговерть. Дьявол, чтобы посмеяться над ним, нарочно позволил ему постоять в стороне, потешить себя иллюзией, что он никому не подвластен, и, сковав его волю и убаюкав совесть, с невероятной быстротой поверг в еще большее отчаяние — быть может, оттого, что понял: князь уже отдает себе отчет в том, куда его приведут гордость, насмешливость и богоборчество.

Как поступить? Убежать подальше от царского престола, оттолкнуть Нечестивого и обратить упования к светлому миру Бога, коего всегда жаждала его душа? Но чьего Бога изберет он — Бога еретиков или святой церкви? И примет ли его Бог, не преследуя совести его, не устрашая души? Может ли он преклониться перед Богом еретиков, ополчившим брата на брата? Князь пытался понять, не стал ли он жертвой козней Сатанаиловых, коль утерял веру и в свой народ, и в несчастную свою родину. Кто привел его к краю бездны — обманщик с ангельским нимбом и блаженствами предвечного мира иль великий зиждитель и враг всякого покоя? Теперь, когда разум его лишился опоры, а душа не знала, к кому пристать, князю стало страшно. Он искал спасения, и чувство к красавице еретичке, которое, казалось ему, он в себе подавил, вдруг озарило душу его смутной надеждой. «Борил прикажет заточить ее куда-нибудь в монастырь, и я никогда больше не увижу

ее,— думал он.— Могу ли я возлагать на нее надежды? Приехав в Преслав, пущу слух, что уезжаю в Таврию, а сам скроюсь в лесах».

Вьюга заметала дорогу, тулупы облепило снегом, кони встряхивали головами, леса, отяжелевшие от снежного убора, таяли в легкой дымке, и князь то и дело оглядывался, нет ли за ними погони.

К вечеру въехали в первое село. В стоялом дворе — каменном строении, полузасыпанном снегом,— было пусто, но в конюшне стучали копытами лошади, а под навесом стояли прикрытые рогожей сани. В полутьме Сибин не заметил их. Но когда замерзшие слуги разместили коней, Эрмич вошел в корчму и сообщил, что накануне вечером сюда прибыла дочь Сологуна и осталась тут из-за непогоды.

— Отроки лежат, отогреваются в конюшне, а боярышни нету,— сказал он.

После всех стараний вырваться из омута, после всех терзаний, сомнений, готовности вверить себя милосердию божью новость эта вызвала у Сибина неудержимый хохот. Сатанаил продолжал преследовать его, Сатанаил продолжал свою игру!..

Согретый жарким огнем очага и кубком вина, князь пришел в веселое расположение духа. Любы стали ему и белые сумерки, и глубокая тишина над селом, снежные вихри, завывание ветра. Прельстительны соблазны Лукавого. Имея в душе любопытство, можно жить даже в преисподней!.. Кто знает — быть может, Сатанаил подстроил эту встречу с боярышней, чтобы Сибин разочаровался и навсегда отвратился от нее. Не будет ли это малодушием, достойно ли будет омрачить благоразумным бегством азартность этих мгновений, столь похожих на мгновения перед битвой, когда белокрылый ангел слетает к душе, утомленной гаданиями, предчувствиями, чтобы вверить ее в руки Провидения?..

Корчмарь, черный и косматый, как Иоанн Креститель, объяснил, что у них в селе помирает бывший кмет и боярышня вместе с одним святым человеком пошла к нему. В такую непогоду повсюду бродят злые духи, и душа преставившегося превратится в вампира, если не перебороть их усердной молитвой. Ее милость, похоже, из христолюбивых, что сострадают простому люду, или же из тех божьих угодников, коим, говорят, царь в Тырнове велел отрезать языки.

Князь спросил, кто этот святой человек — монах или мирянин.

— Монах, твоя светлость. Видать, важная птица,— корчмарь перекрестился.

Дом бывшего кмета был неподалеку. Тускло светились два окошка. Сибин подошел к одному из них. От горевшей в доме свечи по натянутому свиному пузырю разбежались розовые волоконца. Князь вынул маленький ножик и просверлил отверстие в холодной корке налипшего снега.

На низком ложе, застланном толстой овечьей шкурой, лежал больной — желтый, немытый, обросший. Он был в чистом исподнем, и посконная рубаха резко выделялась на грязной овчине. В головах у него стояла пожилая крестьянка, рядом с нею человек с непокрытой головой и еще трое молодых парней — видимо, сыновья или зятья. Высокий худой монах держал перед собой раскрытую книгу. Взгляд князя задержался на закрытом черным покрывалом лице монаха и вдруг обнаружил Каломелу.

Разрумянившаяся в жарко натопленной горенке, боярышня была похожа сейчас на Богородицу, склонившуюся над Младенцем. Розовые губы ее что-то шептали, лучезарные глаза источали благость. Она светилась, вся погрузившись в таинство, будто воочию видела расстающуюся с телом душу умирающего, с ангельской кротостью взирала на нее, воодушевленная мыслью о предстоящем воспарении ее к престолу божьему. Она была девой и ангелом, земною плотью и духом падшего

ангела. Ангел томился в плотской оболочке, а плоть была прекрасна благодаря ангелу...

Князь очарованно смотрел на нее, дивясь тому, что эти глаза, чистота которых порой делала их жестокими, могут выражать такую прельстительную преданность. Он вспомнил, как зарделась она и опустила глаза под его взглядом, неожиданно став смущенной девушкой, вспомнил улыбку, прятавшуюся в уголках ее губ. И тут Сатанаил шепнул ему, что эта проповедница может быть столь же беззаветной в земной любви, как беззаветна ее любовь к Богу, что, полюбив мужчину, она будет любить его с такой же страстью, с какой предала себя Господу...

Монах положил книгу подле больного.

— Отцу и Сыну и Святому духу помолимся. Возьми в руки Евангелие,— сказал он. Больной попытался привстать, но силы изменили ему, и он снова откинулся на овечью шкуру. Женщина бросилась к нему, хотела опуститься на колени. В замешательстве она ненароком толкнула треножник, и тот упал к ногам Каломелы. Боярышня вздрогнула, треножник запутался в подоле ее платья, на миг приподнял его, и князь увидел стройную девичью ножку, обтянутую красным чулком...

10

На второй день пути новые нечаянности поджидали князя. Ночью он мысленно продолжал разговор с Каломелой, произнося не те слова, что говорил за ужином в стоялом дворе, а те, что намеревался сказать ей позже, потому что, когда она вернулась после таинства, разрумянившаяся, вся в снегу, горя от радостного смущения, и улыбнулась ему, он понял, что любит ее и что она тоже готова полюбить его. А теперь, когда она верхом на своем белом коне ехала с ним рядом, доверившись ему, князь окончательно убедился в том, что Нечистый и ее приковал к колесу и кружит их вместе. Волею дьявола она предстала перед князем в ином обличье, и то, что прежде отталкивало его, ныне привлекало, ибо со вчерашнего дня князь отвратился от Сатанаила и искал Бога.

Как верно разгадал князь намерения ее дяди! Царь хотел заточить ее в монастырь, потому что дядя оговорил ее как богомилку, и, если бы не заступничество царицы, ее в тот же вечер постригли бы. Однако ей удалось перехитрить их и на другое утро бежать из Тырнова благодаря помощи братьев-богомилов и, более всего, апостола Сильвестра, который ехал в боярских санях, храня глубокое молчание. Лишь присутствие этого человека омрачало радость князя — Сибин видел в его лице врага, для Каломелы же он был святой, наставник и учитель. Она везла его, чтобы спасти душу своего отца, убежденная в том, что в последние свои дни Сологун согласится на духовное крещение и завещает что-нибудь общине, пастырем которой был отец Сильвестр...

— Ты согласна, чтобы твой отец отдал богатство свое общине? — спросил Сибин.

— Будет хуже, коли оно достанется дяде, служителю Мамоны,— она взмахнула рукой столь решительно, что князь улыбнулся.— Все равно, княже, я уже не могу жить ни в Преславе, ни в Тырнове. Бог пожелал отторгнуть меня от мирской жизни,— она взглянула на него, и Сибин догадался, что она ищет в его глазах подтверждения.— Да, такова воля божья! — повторила она, раздосадованная его молчанием.

Для того чтобы слуги и в особенности отец Сильвестр не слышали их, князь пришпорил своего жеребца. Каломела следовала за ним и так близко была возле него, что колени их иногда соприкасались.

«Божья воля или Сатанаилова? Пусть будет божья»,— думал Сибин.

— Да, конечно, божья,— произнес он вслух.— Ведомо тебе, что моя матушка хочет, чтобы я взял тебя в жены?

Она посмотрела на него, широко раскрыв глаза.

— Богу неугодно это, княже. Я останусь девственницей, чтобы занять престол одного из падших ангелов. Отец Сильвестр готовит меня к тому...

Ее лицо осветилось незримой улыбкой, тихая радость и смирение разлились по нему, и оно засияло средь белизны снегов, прелестное, как утренняя звезда.

— Как же мне быть тогда? — шутливо спросил князь.

Она помолчала, будто колеблясь, потом проговорила:

— Разве не хочешь ты спасти душу свою?

— Более, чем ты можешь предположить.

— Будешь молиться истинно, и Бог отпустит тебе грехи твои, княже... Но не в церкви дьявола, истинная молитва — с нами, и она дает нам небесное слово для потчевания сердца и разума. О княже, какие блаженства дарует она!

Князь невольно взглянул на свою руку. Без перчатки, темная, жилистая, рука держала повод, не чувствуя холода. Признаться ли ей в том, что накануне эта рука погубила две человеческие души? Открыть ли, что он тоже намерен тайно покинуть Преслав?

— О! — воскликнула она, выслушав его.— У нас с тобой общая участь! Выходит, такова воля неба... Ах, княже, без ропота примем небесные повеления. Невозможно узреть Господа, но ты услышишь глас его.

Слова ее звучали восторженно. Она была потрясена тем, что сам Господь уготовил им обоим одинаковую судьбу изгнанников; и Сибин заметил, что она уже избавляется от метаний между ним, грешником, и Богом.

— Ежели я отправлюсь в Таврию, половцы прикончат меня. Но Борил не станет дожидаться весны, он прикажет убить меня в Преславе,— сказал он.

Она привстала в стременах. Лицо ее посуровело, брови властно взметнулись.

— Иди к нам, княже. Спаси душу твою, как того хочет небо! У нас ты найдешь трапезу истинной веры,— говорила она, а ему казалось, что это птица запела в морозный февральский день. Видя в происшедшем перст божий, она ничего не утаивала. Сразу после того, как отец примет духовное крещение, она удалится в общину апостола Сильвестра, где никому из родных не найти ее. Пусть князь тоже придет к истинным христианам, отец Сильвестр с превеликой радостью примет его. Верит ли он, что небесная воля внушается нам, людям, через земные наши отношения и мы исполняем ее, не ведая, что творим? Кабы ведали мы, откуда исходят эти повеления, мы принимали бы их, как великие дары... Она, не таясь, открывала ему самые сокровенные свои помыслы — столь стремительно уверовала она в то, что разгадала волю божью. Ее присутствие обдавало князя светом, наполняло сладостной болью, потому что уводило из-под власти Сатанаила. И впрямь, не послана ли она ему самим Господом, дабы спасти и от Нечистого, и от Борила, дабы озарить истерзанную душу его?

— Едва ли апостол Сильвестр примет меня в общину,— произнес он.

— Я склоню его, я расскажу ему о том, сколь ты учен, княже. Таким, как ты, легко возвыситься до престолов и венцов.

Она оглянулась назад, на сани, откуда монах наблюдал за ними. В боярском тулупе апостол был похож на бурого медведя. Видно было, какие презрительные взгляды бросает он на занесенную сугробами

часовню с торчащим из-под снега крестом. Слуги крестились. «Такова воля неба»,— звучало в ушах князя. То, что он склонен был считать делом Сатаны, Каломела считала повелением божьим. Кто же в действительности приводил в движение колесо мироздания?

11

Сологун преставился прежде, чем они въехали в Преслав, и богомильский жрец уехал в общину раздосадованный. Князь заметил, что этот человек не дал ни разу заглянуть себе в глаза и все время прятал лицо под капюшоном рясы.

Спустя два дня после его отъезда Каломела исчезла из Преслава. Скорбный боярский дом был охвачен тревогой. Старая княгиня, столь много надежд возлагавшая на поездку сына в Тырново, пришла в отчаяние. Она, как и все, полагала, что Каломела бежала к своим духовным братьям, и умоляла Сибина отправиться на розыски. Князь притворялся удивленным и беспомощно пожимал плечами. Несколькими днями позже исчез и княжий слуга Тихик. В Преславе стали поговаривать, что царские люди рыщут по стране, охотясь за богомилами, и еретики целыми толпами устремились на запад.

Князь ни слова не говорил по поводу этих тревожных вестей.

Он пустил слух, что намерен по приказу Борила поехать в Таврию, а сам замыслил бежать в богомильскую общину. «Никто из моих дедов и прадедов, ни отец мой, ни брат не жили в спокойствии. Все покидали этот дом, ища спасения за родными пределами,— рассуждал он.—Когда Борил узнает, что я направился за Дунай, он оставит в покое матушку и Севару. Не должно связывать судьбу близких моих с моею собственною». Однако среди всех доводов, которые он приводил своей совести, главным все же оставалось то, что лишь община укроет его от мести Борила, а Каломела — от власти Рогатого.

К концу месяца южный ветер растопил снега. Зашумела и разлилась Тича. В безлистных дубравах засверкали вешние потоки. Преслав потонул в грязи и лужах, дороги, еще не просушенные солнцем, стали непроходимыми. Леса вбирали в себя влагу, и неделю спустя весна наконец наступила. Тогда князь неожиданно заявил своим домашним, что вознамерился отправиться на розыски Каломелы. Он переоденется монахом, чтобы войти в доверие к еретикам и напасть на ее след. Старая княгиня и овдовевшая боярыня возрадовались, и в одно прекрасное солнечное утро Сибин верхом на своем вороном жеребце двинулся в путь. Он знал, что община находится где-то в лесах, у подножия горы, часах в пяти езды, и так как ему случалось охотиться в этих чащобах, он надеялся, что без труда отыщет беглянку. Под черной рясой висел меч, а лук и колчан со стрелами были прикрыты кожухом, притороченным позади седла. В руке князь держал копье и смахивал в этом обличье на спасающегося бегством еретика.

Много весен встречал он в этих краях, но такой не помнил. Небеса излучали свет, наполняя сердце жаждой жизни. Земля, по которой сновали бесчисленные букашки и козявки, что-то шептала, луковицы цветов уже пробивались сквозь твердый наст палой листвы. Усиленно трудились кроты, свистели черные дрозды, размахивали хвостами белки, в согретых солнцем дубравах серны и олени, завидев князя, лениво отходили прочь. Страх перед Сатанаилом испарился из его души, и он начал верить, что Бог пребывает не только в небесах, но и здесь, незримый для тех, кто в него не верует. Разве этот ласковый свет исходил не с седьмого неба, разве не был он лучезарной славой Господа? Не пребывал ли этот свет, возрождающий землю к новой жизни, и в душе князя?

Либо же это прельщение, блеск Сатанаилов, дабы запутать его, обмануть его разум? Возжелал ли он души боярской дочери, чтобы через нее спастись, либо же ее белого тела, елея глаз ее, стройного стана, и все это, столь земное, простое, не смешивалось ли непостижимыми путями с его жаждой искупления? В своей мольбе о просветлении князь то страстно призывал Бога, путая его имя с именем любимой, то утрачивал последнюю каплю веры и вновь соглашался, что разлитые вокруг радость и свет — не что иное, как обольщение Сатанаилово, к которому тот прибегает ради того, чтобы зачалась новая жизнь, воспоследовала новая смерть и новое, еще более неудержимое стремление к вечности. Мир представлялся Сибину неизреченной ложью, служащей к оправданию всей прочей лжи. Когда же угомленный мозг заставил, наконец, князя признать свое бессилие, он уразумел, что Христос сотворил так, чтобы каждый христианин видел себя распятым и, поклоняясь Ему, поклонялся собственным своим мукам, ибо, не сострадая себе, нельзя сострадать и ближнему. Князь посмотрел вокруг и поразился чудовищному виду гигантских дубов — земная сила избороздила их стволы узлами и отеками, похожими на старые раны, и каждая рана была и хворью, и силой, благодаря которой дерево выглядело могучим и непобедимым. Он увидел, как полноводные потоки подтачивают берега, словно желая омыть всю землю, возвратить ее к первозданности,— когда Сатанаил еще не извлек ее из океана. Услыхал сладостное жужжание насекомых, токование глухарей и пожалел, что Сатанаил покинул его: ведь только ему обязан князь гордостью, воинственностью духа, язвительностью, смехом — оружием, которое помогало ему возвыситься над личными бедами и защититься от ужаса этого мира. Кто знает — не сам ли великий совокупитель и сводник через любовь к Каломеле толкает его к Богу?

К полудню он оказался в тенистой котловине, куда донеслось кукареканье петухов и визг собак. Жеребец князя вдруг зафыркал и едва не взвился на дыбы: неподалеку проходил огромный медведь. От его шкуры валил пар. Князь подивился: слишком рано еще было медведям вылезать из берлоги и купаться. Он дал зверю пройти и повернул жеребца обратно по его следу. След привел к пещере, откуда тянуло теплом. Князь зажег факел. В глубине пещеры дымились воды горячего источника. Небольшое отверстие в своде открывало доступ дневному свету, и вода, образовывавшая тут небольшой бассейн, хранила в себе голубоватую сумеречность раннего утра. Чуть дальше родник исчезал в глубинах неведомой пропасти.

Оставив в пещере припасы, копье и лук, князь сел на коня и поскакал к богомильскому селению, чтобы поскорей увидать Каломелу. То, что он прочитает в ее глазах, казалось ему, будет самым большим доказательством всемогущества Господа и его превосходства над переменчивым и лживым миром Сатанаила.

12

Заметив жалкие деревянные хижины, землянки и шатры беглецов, Сибин вспомнил, как враждебно держался апостол Сильвестр, и вновь задумался над тем, как далеко простирается власть этого человека над Каломелой. Примет ли он князя в общину и не возбранит ли девушке видеться с ним? А сама она — предпочтет ли его любовь небесным престолам?

Встреченный лаем собак, Сибин въехал в селение и увидел перед собой беглого своего слугу, облаченного в рясу. Тот вышел из большого бревенчатого строения с выражением независимости и холодности на

лице. Это выражение и ряса неприятно удивили князя, он поразился тому, что Тихик, доставлявший ему еретические книги и смиренно отстаивавший своих богомильских кумиров, сумел столь быстро получить священнический сан. «Быть может, он и раньше обладал им, но скрывал»,— подумал князь. Как всякий истинный господин, Сибин не проявлял интереса к жизни слуг и не задумывался над тем, что представляет собой этот раб, купленный старой княгиней во время голода в царствование Алексея Комнина. Князь верил в его преданность и объяснял его бегство необходимостью спешно искать спасения от царских людей. Теперь же его осенило, что Тихик был в тайном сговоре с Каломелой и содействовал ее бегству.

— Позови боярышню,— приказал он, осадив жеребца перед беглым рабом.

Тихик не повернул головы. Он пригладил волосы, и рукав рясы приоткрыл над запястьем свежую татуировку — два пересекающихся овала.

— Дедец[17] не дозволяет тебе оставаться с нами, твоя светлость. Ты — не для нашей общины. Ступай себе с миром.

Князь был ошеломлен.

— Как ты смеешь, болван!.. Позвать ее!

Тихик упрямо не поднимал глаз.

— Ее здесь нет,— сказал он.

С дальнего края селения донесся плач младенца. За плетнями мелькнула высокая фигура апостола. За ним следовала женщина в длинной рясе. Князь дернул повод, но Тихик схватил коня под уздцы.

— Тебе нельзя туда! Ты не христианин!..

Сибин перегнулся с седла, схватил слугу за волосы и приподнял. Тихик повис, ухватившись за его руку. Князь смотрел в его потемневшие от злобы и боли глаза. В серой их глубине прочел он, что в душе мятежного раба таится булат.

Сибин швырнул его наземь и поскакал навстречу женщине, спешившей к нему. Посреди поляны он остановил жеребца, дожидаясь, пока она подойдет.

Прекрасная, гордая Каломела превратилась в Золушку. Выгоревшая, заплатанная ряса мешком висела на ее плечах. Мерзкий венок из сухих пшеничных колосьев уродовал ее чело. Исхудавшее, обветренное лицо выдавало усердие и постоянство в молитвах. Ее небесно-голубой взгляд искал в глазах князя малейшую насмешку или жалость, и тогда оскорбленная гордость, вспыхнув, обратила бы все ее чувства к нему в ненависть. Но князь приветливо улыбался, словно не замечая ее жалкого вида. Клонящееся к закату солнце золотило его черную бороду и усы, белые зубы сверкали, красная охотничья куртка под рясой алела единственным веселым пятном среди выжженных заморозками трав в этой мрачной котловине, где ветхие шатры и похожие на кротовые норы землянки вызывали в памяти погост. Измученный вид Каломелы наполнил сердце князя не только жалостью, но и злорадством,— ее чистое, надменное чело уже носило следы сожалений и тайных сомнений.

— Все переменилось, князь! — крикнула она издалека, и Сибин уловил в ее голосе неприязнь и желание поскорее отослать его прочь.

— Что переменилось? — спросил он, слезая с коня.

— Брат Тихик клянется, что ты отдал свою душу дьяволу. Что ты слуга дьяволов и враг Господу. Дьявол, говорит он, излил в твоего ангела яд сладострастья, дабы наплодить чад своих до светопреставления.

— Тихик плетет вздор! Я надеялся, что апостол Сильвестр послушает тебя, а не моего раба,— сказал князь, вдруг уразумев, что она

[17] Так назывались старейшины богомильских общин.

спешит объявить его недостойным, чтобы подавить в сердце любовь к нему, подобно тому как это было с ним самим в Тырнове. Свидетельство Тихика доказывало правоту ее Бога и оправдывало ее плачевный вид.

— Не протянувший руки раскаявшемуся грешнику не повиснет ли на железных крюках преисподней? Ты обещала мне телесное и духовное спасение, Каломела,— проговорил князь.

Она отшатнулась, взгляд ее вновь посуровел.

— Значит, ты признаешь, что принадлежишь ему?.. Я подозревала... О несчастный, ты лишился божьего благоволения.

— Бог никому не отказывает в своей милости. Даже если мной завладел дьявол, допустишь ли ты мою погибель? Ты ведь знаешь, что мне нельзя вернуться в Преслав. Ты призвала меня сюда, ты внушила, что того желает небо.

Напоминание об ее обещаниях и мольба, с которой он вручал себя в ее руки, привели Каломелу в замешательство. Вновь поддалась искушению гордыня ее, и взгляд прояснился.

— Да, Богу дорога́ каждая душа,— сказала она, выслушав его.— Ты прав. Сердце подсказывает мне, что Бог на моей стороне, иначе зачем бы он уготовил нам с тобой одну и ту же участь? Но, княже, предстоит тебе великое покаяние и усердные молитвы.— Она говорила громче, воодушевленная подвигом его спасения, который приблизит ее к ангельским престолам, и снова стала уверенной и властной.

— Я готов превозмочь в себе все супротивные силы, всю гордыню, но как поможешь ты мне, если апостол не допускает меня в вашу общину? — спросил князь.

Лицо ее выразило досаду.

— Он чрезмерно строг, милосердие его невелико. Но и покаяние твое будет долгим, пока ты станешь достоин вступить в наше братство. Где ты поселишься?

— В лесу за вашим селением есть пещера. Я поселюсь там.

Каломела посмотрела на него в изумлении.

— В пещере?! Но там обитает дьявол. И никто не смеет переступить ее порог. Ах, сколь несведущ ты, княже! — Она по-ребячески сплюнула и попыталась чихнуть.

— Но я уже входил туда. Там нет никакого дьявола, а есть чудесный теплый родник.

— Он успел уже прельстить тебя? Уходи оттуда, уходи немедля! Он снова явится искушать тебя и погубит безвозвратно...

Князь стоял перед нею, опустив голову. Чтоб успокоить ее, пришлось прибегнуть ко лжи. Он пообещал соорудить себе хижину, не охотиться, не есть мяса, предаться посту и покаянию.

— Человеку свойственно любить этот мир и все мирское в нем, и трудно ему расстаться с этим, если не подкрепляет его праведник и не вдохновляет любовь к Всевышнему,— сказал он.— Как переборю я похоть плоти и глаз, гордыню и силу вражью, оставленный один в лесу? Ты должна поучать меня и напутствовать, Каломела, иначе не исцелить мне души моей.

Опять запищал младенец, и она оглянулась на хижину, в которую незадолго перед тем вошел апостол. Монах появился во дворе, неся распеленатого младенца, чтобы показать его солнцу. Отец новорожденного отвешивал ребенку поклоны.

— Мы крестим младенца. Мне пора... Ступай с Богом, княже. Молись и готовь себя к великому очищению. Я скоро проведаю тебя.

— Не оставляй меня надолго во власти дьявола. Когда решишься навестить меня, иди лесной дорогой и стучи палкой по стволам деревьев, я услышу и выйду навстречу тебе,— сказал князь.

Он дождался, пока Каломела скроется за плетнем, вскочил в седло и поскакал к лесу, сопровождаемый целой сворой собак и неприязненными взглядами еретиков, высыпавших из своих шатров и землянок.

13

Отчего надежда на божье благоволенье покинула его, едва он начал молить ее о помощи? Ведь от нее ожидал он спасения? И отчего Сатанаил воцарился в его сердце с насмешкой и злорадством над ее злосчастьем? Не для того ли Нечистый толкнул его на обман, чтобы искусить ее гордость? В конце концов не обманывал ли князь самого себя и отчего он был принужден прибегнуть к обману именно тогда, когда жаждал исповедаться?

Со дня встречи целую неделю провел он в укорах совести и сомнениях. Бог оставался по-прежнему далеким и непостижимым, а дьявол опутывал Сибина своими сетями и обогащал его мозг новыми разгадками мировой тайны. Голова, слава богу, еще оставалась у него на плечах. Ежели духовное спасение невозможно, то, по крайней мере, он спасся от топора палача и половецких сабель, потому что в этой глухомани никому его не найти.

За эти дни он съездил в одно из сел, чтобы запастись хлебом для себя и овсом для своего коня. Убил медведя, ходившего в пещеру лечить ломоту в суставах. После безуспешных попыток проникнуть в пещеру зверь с грозным ревом пошел на князя. Князь бросил тушу в ручей, где раки оставят от нее один скелет, а очищенную от сала шкуру намеревался постелить в пещере. Хижины он сооружать не стал, решив поселиться в пещере. Днем он охотился, а вечером, стреножив коня, пек на костре дичину и купался в теплом роднике, по другую сторону которого зияла темная глубь пещеры.

Весна приближалась быстро. Порой лил дождь, но на следующее утро вновь светило солнышко, а вечера князь коротал у костра. Звездное небо возвращало его к дням юности, когда отец учил их с братом распознавать звезды. Астроном, как все искошные болгары, старый князь поддерживал в семье интерес к звездным тайнам, уводившим разум за пределы христианских воззрений и погружавшим в чертоги далекого, языческого прошлого, где царил мужественный, всевидящий и справедливый Тангра. Сибин вспоминал безмятежные лета в отцовских охотничьих угодьях близ Сидера, по хребтам которого высились сторожевые башни с развевающимися прапорами, откуда взору представали синеватые дали Фракии. До недавних времен византийские прапоры возвещали с этих башен смерть, рабство, голод и грабежи; там останавливались на ночлег византийские сборщики налогов и находили прибежище алчные одринские и царьградские купцы, торговавшие детьми, мехами и воском. Оскорбленная гордость обоих мальчиков вскипала гневом оттого, что болгары более полутора веков терпят иноземное иго, сердца их разрывались от мучительной любви к своему страждущему народу. Старый князь рассказывал им о многих событиях тех лет рабства, намеренно не вписанных в родовую летопись, поскольку они превышали всякую меру бедствий и не мирились с понятием о человеческом достоинстве. С той поры в сознании Сибина укоренилась мысль, что народа, к которому принадлежал род их, уж нету более. Он растворился среди половцев, фракийцев, славян, и теперь складывается новый народ. Византийская церковь умертвила его, обратив в христианство, приобщив к православию с его теократией, и ныне лижет сапоги Борилу, продолжая вызывать народную ненависть. Уже в те первые годы сознательной жизни возненавидел Сибин церковь. Женщины из княжеского дома, по-

рой высказывавшие желание поехать на богомолье в монастырь, обязанные ввиду своего высокого положения ктиторствовать, неизменно встречали холодное осуждение старого князя, не скрывавшего своей ненависти и презрения к византийским вертепам. Эти ненависть и презрение передались и молодым князьям.

За юностью, проведенной в скорбных размышлениях, наступили годы зрелости, когда Сибин, молодой военачальник, исполненный надежд и восторга, участвовал в победных сражениях великого и несчастного Калояна. Затем — очень скоро — пришли разочарования, одиночество и отчужденность, возраставшие вместе с числом прочитанных книг и размышлениями над семейной летописью. Пожелтевший пергамент, испещренный рукою прадедов греческими и славянскими письменами, больше говорил о гибели, обреченности, смерти, нежели о жизни и будущем. И князь ныне искал ответа и у Бога, и у Сатанаила. И, наверно, не он первый и не он последний. Византийские вельможи, сыновья богатых, отстраненных от власти правителей, тоже читают еретические книги, равно как и французы и венецианцы, теперешние господари и властители империи, такие, как Эсташ де Колини. Но и те и другие обладают секретом душевного равновесия. Для них не столь уж безотлагательно и трагично искать утешения там, где, быть может, и нет никакого утешения. Они читают халдейские и вавилонские мифы Симеона Волхва, Карпократа, Маркиона или Пселоса ради забавы или упражнения ума. Их народы покоряли, вбирали в себя чужие племена. Одним давал оружие и силу византийский Иисус, другим — католический. Тогда как разум Сибина блуждал между небесами и землею, ища объяснения злу, а себе — утешенья...

Подавленный, томимый ожиданием, князь каждый день подкрадывался к селению и наблюдал за тем, что там происходило. Еретики рубили лес, чтобы строить жилье новым беженцам, женщины хлопотали возле дымных костров, дети играли на поляне перед большим бревенчатым строением. В этом капище они собирались по вечерам на молитву, и сквозь шепот леса до князя доносился нестройный, хриплый хор мужских и женских голосов, произносивших слова покаяния. «Предстали мы перед Богом, пред тобою, пастырь наш, и пред братьями своими... дабы исповедаться во всех прегрешениях своих... дабы отринуть всякое желание плоти и грязные помыслы души... О владыко, пресвятой и премилостивый, грехи свои пред милостью божией слагаем...»

В богомильском селении было всего десятка два хибарок и землянок, но отныне их будет все больше и больше. Ни Сильвестра, ни Каломелы князь не увидел ни разу. Лишь черная ряса Тихика порой мелькала вдали.

14

На девятый день князь услыхал удары палкой по стволам дубов. Он только что ощипал себе на ужин глухаря. Спрятав птицу, поспешно оседлал он коня и поскакал. По дороге шла Каломела, стуча палкой по деревьям. Ее русые косы тяжелыми золотыми цепями спадали на грудь.

Оттого ли, что день был напоен нежным светом, или оттого, что велика была его тоска по ней, но ее ветхая ряса уже не казалась ему столь безобразной. Грациозность, с какой покачивался ее стан, робость, с какой она озиралась по сторонам, наполнили его любовным восторгом и раскаянием за все дурное, что он думал о ней в эти дни томительного ожидания...

Каломела смущенно улыбнулась, и улыбка яснее всего сказала ему, что в этой святой, этой притязательнице на ангельский престол таится женщина. Нетерпеливо и стремительно — свидетельство долгих раздu-

мий — осыпала она его бесчисленными вопросами. Являлся ли ему дьявол, каков он на вид, чем искушал его и как оборонялся князь от его искушений?

— Минувшей ночью он привиделся мне, княже, и походил на тебя. Дотоле никогда не приводилось мне видеть его во сне. Я видела ангелов, но они были совсем маленькие и беленькие, как малые дети. И досадно мне было, потому что коль ангелы так малы, каковы же престолы их? Смогу ли я воссесть на такой престол и не казаться смешной?

Она говорила без умолку, виновато оглядывалась и волочила за собой палку, забыв бросить ее. Веснушки, высыпавшие у нее на носу, умилили князя.

— Я хотела спросить о том отца Сильвестра, но подумала, что глупо обращать к нему такие вопросы. Кто знает, ведомо ли ему самому, как велики ангелы, ибо божественное являет себя и в невообразимо большом и в очень малом естестве. И потом, отец Сильвестр очень занят в последнее время. В духовном озарении заперся у себя и никого не впускает.— Она нахмурилась, осуждая поведение своего наставника.

«Быть может, она любит его,— размышлял князь.— Для нее он — путь к небу. Впрочем, она так любит себя и ангельские престолы, что едва ли способна полюбить мужчину». И поскольку она ждала от него ответа, как выглядит Сатанаил, он заколебался, открыть ли ей правду о себе самом. Поймет ли она его терзания, не разочаруется ли? Потому что она желает услышать подтверждение собственным своим представлениям о Сатанаиле и едва ли постигнет его жажду искупления и то, что через земную любовь он ищет Бога. С разочарованием и болью принужден был князь снова лгать. Дьявол якобы явился ему в первую же ночь и начал хулить отца Сильвестра и паству его. Называл их глупцами и безумцами. За то, что они не замечают земных даров, коими он наградил их, отказываются от них, убивают силу плоти и красоту тела, лишают себя наслаждений, мнят, что тем открывают себе путь на седьмое небо. Будучи смертными — алкают бессмертия и нарекают грехом то, благодаря чему явились на свет и без чего не было бы жизни; страшатся крови, без пролития которой не рождались бы и не находили пропитания. Стремление к вечности не приносит им ничего, кроме страданий; они превратили землю в ад, при этом измыслив какую-то несусветную преисподнюю. Смешней всего, что вопреки своей вере в бессмертие души люди не хотят расставаться с жизнью. Так что, дескать, ему делать? Смеяться! Ибо что иное остается ему? И вот он, создатель земного рая, стал ненавистен людям, потому что указывает им на глупость их и заблуждения, а они, мол, не любят наставлений и видят в его лице не благодетеля, а врага...

Рассказывая, князь украдкой взглядывал на Каломелу. Он видел, как покрылось бледностью ее лицо, как расширились ее зрачки, как вспыхнули возмущением глаза. Она затаила дыхание, готовая вступить в отчаянную схватку с Сатанаилом.

— О, сколь умные речи держал он пред тобою, княже! Как хитер он и лукав! Хулитель божий, удивительно ли, что он возводит такую хулу на Бога и род человеческий. От зависти это и бессилия. Но скажи мне, каков он собой! — почти выкрикнула она, сломленная, не способная найти слова достаточно сильные, чтобы опровергнуть дьявольскую хулу.

— Он скорее весел, нежели страшен,— отвечал князь.— Все видит и во всем открывает смысл и радость. Всегда улыбается, ибо убежден, что дольний мир не может стать совершенным, что он сделал все возможное, дабы этот мир был невыразимо привлекателен и забавен. Говорит, что не существует ни добра, ни зла, так как и величайшее добро в конце концов оборачивается злом. Он уверял меня также, что сам Господь с удовольствием взирает на то, что происходит на грешной земле.

и радуется, когда люди веселятся на гульбищах и гипподромах... Секрет счастья, говорит он, состоит в том, чтобы все в этом мире принимать как неизбежное и необходимое.

Она пристально смотрела на князя. Его слова породили в ней подозрение.

— Впрямь ли являлся он тебе? Впрямь ли говорил с тобой либо ты говоришь его устами, потому что он — в душе твоей?

— Клянусь тебе! Здесь он явился мне лишь единожды, но прежде, в Преславе, искушал меня много раз. Он отрицает силу божью, и я знаю, как велико и нестерпимо страдание человека, у которого нет Бога. Душа его иссыхает, разум мнимо оттачивается. Нечестие и богохульные мысли убивают душу и леденят сердце, как леденит стужа землю и всякую жизнь на ней.

С затаенным ужасом смотрела она теперь на него, уловив в его голосе искренность.

— Сколь несчастен ты, княже! Услышит ли тебя Господь и смилуется ли над тобой? Во время молебствий наших семижды днем и четырежды ночью я буду молить Бога и за тебя. Долго следует тебе поститься, прежде чем ты окажешься достоин нашей общины... Но где он предстал пред тобой? И не походил ли на тебя видом?

Еще один шаг, и князь открыл бы ей душу, ибо ничего так сильно не желал он, как истинно исповедаться перед любимой, но ее вопрос вызвал у него улыбку, хотя он и не мог бы сказать, чему улыбнулся — вопросу или ее полусогнутому указательному пальцу, которым она трясла нетерпеливо, как дитя, желающее поскорей удовлетворить свое любопытство. Почему ей хотелось знать, каков из себя Сатанаил и зачем уподобляла ему князя?

— Я же сказал тебе, что он весел, молод, жизнерадостен. Явился мне третьего дня, когда я сидел у костра и уже почти засыпал. Вышел неожиданно из-за дерева,— печально проговорил князь.

— Ты построил себе хижину?

— Нет. Остался в пещере. Там тепло.

Она замерла, выронив из рук палку.

— Он владеет тобой, ты нарочно поселился в его пристанище... О несчастный, ты не жаждешь спасения! — в гневе воскликнула она.

— Пойдем со мной, и ты убедишься, что нет в пещере никакого дьявола. Неужто ты, столь светлая и чистая, побоишься вступить туда? Даже коли существует он, ты прогонишь его святостью своей и молитвами. Ты божий воитель, и не должно тебе избегать единоборства с ним, не то лишишься ты божественной силы.

Каломела колебалась, и князь продолжал упорно убеждать ее. Желание исповедаться исчезло, вновь пробудился в нем лжец. Усилие, которое он сделал над собой, чтобы ее обмануть, возвратило его к Сатанаилу — похоже, Сатанаил сам то отталкивал его, то привлекал к себе; отталкивал туда, где должен был находиться Всевышний, но там никого не оказывалось, и он вновь принимался за Сибина, чтобы искусить Каломелу.

Каломела, наконец, согласилась взглянуть на пещеру, и они углубились в чащу.

— Погоди,— остановила она князя и опустилась на колени перед высоким дубом, под редкой сенью которого цвели крокусы, васильки и маки. Князь увидал, что она вынула из кармана маленькое Евангелие, раскрыла его, приложила к дубу и начала молиться. Она схватилась руками за тяжелые, свисавшие на грудь косы и, подняв к небу глаза, стала читать «Отче наш». После каждой молитвы она повторяла: «О владыко, суди и осуди пороки плоти нашей, не щади рожденной в грехе плоти, но смилуйся над душою...»

Она была прекрасна в своем молитвенном экстазе, хотя не вполне понимала, должно быть, слова, которые произносила с детской наивностью и восторгом. Выгоревшая ряса, обтянув спину, четко обрисовала линию плеч, округлость бедер. Потрясенный тем, как она молилась, князь казался себе окаянным грешником, стоящим пред святой.

Сподобившись благословения Господа, Каломела смело двинулась по протоптанной медведем тропинке, неся в качестве дарохранительницы Евангелие. Тепло, которое исходило из пещеры, смутило ее. Она обернулась, ожидая, что князь зажжет факел, но тот прошел вперед, и она последовала за ним. Видневшийся вдали свет приободрил ее. Они подошли к роднику. Слегка дымившаяся сапфирно-голубая прозрачная вода привела ее в восхищение, а гул низвергающегося в бездонную глубь потока ошеломил.

— Сатанаил не нуждается в убежище, весь мир принадлежит ему,— сказал Сибин.— Отчего этому источнику не быть создану Господом для исцеления болящих? Разве ангел господен не возмущал воду в купальне иерусалимской, дабы исцелялся входящий в нее?

Она, казалось, не слышала его, зачарованная родником, не в силах отвести от него глаз. Привыкшая к телесной чистоте, она давно уже не купалась, и теплая вода манила ее к себе.

В это мгновение в пещере показался жеребец Сибина, следовавший за своим хозяином по пятам, как верный пес. Увидев, что к ней приближается кто-то черный с горящими, точно угли, глазами, Каломела испугалась, но князь поспешил успокоить ее:

— Мой конь привык ночевать здесь. Я выведу его, а ты искупайся.

Он вывел жеребца, пустил пастись. Искушение увидеть свою возлюбленную обнаженной овладело Сибином. Заплатанная ряса не выходила из головы. Каков был стан под нею? Сатанаил нашептывал сомнения. Князь смекнул, что может забраться на скалу и заглянуть в пещеру через расщелину. Бесшумно, чтобы не вспугнуть ее, вскарабкался он наверх и прильнул к отверстию.

Она подобна была духу небесному, сошедшему к теплому роднику, дабы озарить его благодатным светом. Ее нежные, белые, как лилии, руки жадно ласкали воду. Одна коса соскользнула меж розовых грудей, другая ниспадала на спину. На усеянном капельками лице сияла улыбка. Точно луки, изогнулись линии девственных бедер, белизной фарфора сверкали под голубоватой водой колена. Тело ее среди водяных брызг излучало сияние плоти, зримое не только для глаз, но и для души. Она плескалась в воде, как это делают дети, и князю почудилось, что он слышит стон наслаждения. Солнечный луч прокрался в пещеру, и над родником, похожим на запотевшее голубое зеркало, в котором отражалось ее тело, задрожала маленькая радуга, увенчавшая ее русую головку...

Князь едва сдержал возглас восхищения. Ее красота ошеломила его, сбросила со скалы. Упоенный, он преклонил колена и впервые за много лет восславил в молитве Господа — оттого, что лишь в этот миг истинно познал свою душу...

15

Душа подобна кроткому, покорному судьбе агнцу. Падший ангел — праотец ее. Она и страждет в телесной своей оболочке, и страшится расстаться с нею оттого, что будет судима судом божьим за наследственный грех — измену. Она борется с плотью и ее потребностями, ибо жаждет искупления. Родина ее — подзвездные селения и седьмое небо, и она пребывает всюду, где излучается свет. Вместе со светом носится душа по вселенной то страждущая, то счастливая. Она бессмертна. Она знает

все, но не может изречь божественные слова истины иначе, чем через любовь, и любовь для нее — единственное пристанище, где, вечно смятенная и непокойная, находит она покой и утешение...

Средь мятежных ангелов один горько раскаивался в своем падении. Он был ангелом второго неба. Сатанаил решил вселить его в Еву и тем одухотворить ее, ибо великий совокупитель противоположных естеств желал вложить в свое творение как можно более божественной сущности. Первой создал он женщину, ибо меж растений и животных, рыб и птиц началось буйство взаимного истребления. Смерть косила их, и они могли исчезнуть вовсе.

Сатанаил замесил белейшую глину чистой родниковой водой, слепил живую, трепещущую плоть и ваянием придал ей формы, отличные от форм других животных. Он заимствовал овал у красивейших из плодов, плавность линий у самых гибких деревьев и рыб и, имея их перед глазами, изваял женщину. Затем вселил в нее ангела и остался доволен. В глазах нового его творения был свет звезд, зеленый убор земли и вся красота неба. Восхищенный Сатанаил обернулся к Еве и сказал: «Пусть взор твой, взор милосердия и любви, укрощает всякого беса и да рождается от него новая жизнь!»

Так обрела жизнь Ева и, будто пробужденная ото сна, озарила взглядом все вокруг. Одним появлением своим меж живых тварей и приветностью взора превратила она беса истребления в пол и противопол. В женский пол обращалось все, что Ева приласкала взглядом или прикосновением руки, а в мужской — то, чего она не удостоила своей милостью. И мир Сатанаилов, где прежде слышался лишь бесовский рев, стал прекрасен. Раскрылись чаши цветов, рождая семена новой жизни защебетали птицы, заблеяли стада, даже листья дерев зашептали, радуясь тому, что существуют на свете.

Красками и звуками наполнился мир от трепетания этой всеобъемлющей радости. По утрам солнце приветствовало всех тварей земных, а закаты сулили им новые пиршества, погружавшие их в невыразимые наслаждения и грезы.

Ева блаженствовала в этом раю, живя радостями животных, птиц и цветов. Но недолго длилось это. Когда солнце клонилось к закату и ночью, когда загоралась в небе первая звезда, все чаще завладевала ею тоска, ибо радости пола, доступные всем живым существам, оставались для нее недоступны. Она осознала свое одиночество и предалась грусти, плачу и бездействию.

Тогда Сатанаил, никогда заранее не обдумывающий деяния свои, а ожидающий, во что они обернутся сами, и как истинный творец, наслаждающийся их неожиданными проявлениями, потер от удовольствия руки. Вечность, коей похвалялся Господь, была для тварей земных обеспечена. Оставалось обеспечить ее и роду людскому.

И Лукавый отправился в непроходимые горные пущи, где все еще обитали охваченные бесом истребления звери, подстерег их во время сна и взял от них различные члены тела. Собрав все члены воедино, он придал им форму, подобную Евиной. Сотворенное таким образом тело Сатанаил оставил среди спящих зверей, а те, пробудившись утром и увидев его, стали его обнюхивать. От их дыхания тело ожило, воспряло, и от его хищного взгляда все твари обратились в бегство. Так от сочетания беса и бесовского дыхания был создан мужчина, нареченный Адамом...

Адам спустился с горы в равнину, и ни одна живая тварь не посмела приблизиться к нему. Он достиг той долины, где томилась Ева. Увидев его, она впервые испытала стыд. Ей было неведомо это животное, столь похожее на нее, но ее влекло к нему, и она прикрылась своими длинными, до пят, волосами. Адам с остервенением смотрел на нее. Он из-

дал столь страшный вопль, что Ева кинулась бежать к соседнему озеру, чтобы укрыться среди рыб. Тело ее обнажилось, пробудив в душе Адама нового беса. Он бросился за ней в погоню и, заметив, где она скрылась, притаился в тростнике. Ева же видела, как в глазах его отражается то скорбь, то темный пламень. Устрашенная его грозной силой, она попыталась юркнуть в глубь озера, но Адам настиг ее, заключил в объятья и, не зная, что делать с нею, готов был растерзать ее. Тогда Сатанаил, в облике змея подглядывавший за ним, совокупился с Евой и научил этому Адама. Залитая кровью, Ева рыдала; Адам же, чье неистовство миновало, молил ее о прощении...

С того и пошла история рода людского, это и есть начало трагедии человеческой — создание на земле племен и народов, господ и рабов, вплоть до появления Бояна Мага и попа Богомила, величайших вдохновителей человеческих и земных учителей, раскрывших козни дьявола и указавших путь к спасению...

Сидя на пне, похожая на святую отшельницу, Каломела пересказала князю эту догму, сочиненную отцом Сильвестром в обогащение и пояснение несколько неясного места в Тайной книге. Богом озарены эти страницы, написанные его рукою. Трудилась над ними и сама Каломела, и даже брат Тихик — главный поставщик чернил, красок и заячьих кож. Отец Сильвестр провозгласил эту догму в моленной после исповедальной молитвы. Святой дух продолжает осенять его, и теперь он готовится к новым словесным трапезам. Мужчины, рассказывала Каломела, ропщут, женщины торжествуют. И она торжествовала тоже, гордая тем, что создана женщиной. О том свидетельствовала ее улыбка.

Князь внимал рассказу, преклонив колени у ее ног, готовый уверовать в новую догму, ибо как иначе могла быть создана его любимая?

Ничто пока не омрачало его счастья. В течение истекших дней он через нее созерцал себя. Чувства его обострились, глаза воспринимали свет дня как поток благодатных трепетаний. Аромат молодой листвы и лесных трав проникал в самые глубины сердца. Непроходимые чащи уже не настораживали его, не будили жажды борьбы. Князь перестал охотиться, питался лишь грибами и рыбой, бесцельно бродил с мечтательным взором по лесу, и ему казалось, что вновь вернулись к нему прекраснейшие дни юности. Он был чист и желал очиститься еще более, стать таким же лучезарным, как Добри, сброшенный в Тырнове с Лобной скалы. Ныне, когда он верил, что познал Бога, он часто думал о Добри и признавал себя виновным в тягчайших преступлениях. О, каким тупым и нечистым сделал его Лукавый! Монах был прав — душа есть энтелехия[18] падшего ангела. Хотя и виновная, она наслаждается — молится, когда любит, стенает, когда восхищается. Мир для князя простерся за пределы зримого мира и слился с мирами, заключенными в нем самом. Над хрустальным небосводом действительно существовало седьмое небо...

Князь вступил в неистовое единоборство с Сатанаилом. Он отрекся от книг, которые читал прежде, отрекся от мыслей, некогда наполнявших его гордостью и насмешливостью. И удивления достойно — Лукавый не противился тому. Он безмолвствовал. Чувственности, главного оружия его, не существовало более: князь не вожделел белой плоти девы. Он жаждал души ее.

Всякий раз, когда его одолевали сомнения, он шел молиться к тому дубу, перед которым однажды молилась Каломела. В такие минуты он отказывался верить глазам, являвшим ему мир таким, каким он знал

[18] Энтелехия, по Аристотелю,— деятельное нематериальное начало, которое якобы определяет развитие материи.

его, ибо внутренним взором он видел мир совсем иным. От этого рождалось ужасающее раздвоение. Вместо образа божьего князь видел то себя самого, то обнаженную деву в пещере, и эта путаница, которую разум был бессилен преодолеть, рождала новые сомнения. В отчаянии он обращался к Сатанаилу, но Лукавый не вступался, и князь уходил смятенный, не закончив своей молитвы.

И вот теперь, выслушав догму Сильвестра, он ощутил, что в сердце закралась ревность. Уж не влюблен ли монах в Каломелу? И каков он — скопец ли, молод ли, стар?

— У святых нет возраста,— ответила Каломела.

Князь вглядывался в нее, видя ее глазами сердца. Слушая ее, он останавливал взгляд на редких травинках в дубраве, обвеваемых легким ветерком. Дыхание девы и ветерок, сливаясь, создавали образ чего-то божественного. Он любовался ее полусогнутым указательным пальцем — смешным и милым пальцем ребенка и женщины. Потом поймал себя на том, что смотрит на ее колена, и тут же перевел взгляд на лицо. Она говорила: «Как помыслишь, сколько лжи кроется в этом раю Сатаны...», и Сибин вдруг заметил в ее улыбке долгожданное вожделение, потому что в это мгновение она думала о судьбе Евы. Не пробудилось ли в ней неосознанное желание испытать то, что испытала Ева? «Но зачем ей желать этого, ведь она знает, каков будет конец?» — спросил себя князь, и разум замер, пораженный: она не только верила в догму монаха, она воспринимала ее как неизбежную судьбу каждой женщины. Быть может, ее искушал мученический образ прапрабабки, нечестивое любопытство, желание испытать те же страдания? Она желала грехопадения ради счастья искупления. Душа князя была оскорблена оттого, что та, пред которой он млел как пред божеством, таила в себе ростки нечестивости.

— Этот рай существует здесь, на земле, сейчас,— сказал князь.

— Оттого, что земля принадлежит дьяволу и все мы, княже, искупим неизбежные свои грехи ожидающими нас перерождениями.

— Для совершенных — таких, как ты,— не будет перерождений. Ты лишь освободишься от плоти и облачишься в одежды Христовы.

— Да,— несколько смущенно отозвалась она.

— Не пожалеешь ли ты о том, что не познала грехопадения?

Она пристально посмотрела на него.

— Его можно постигнуть и мысленно. Тебе неведомо, что мы исповедуемся открыто перед всеми. Наша исповедь — не тайна, как в церкви дьявола.

— Вы признаетесь во всех грешных помыслах, во всех мысленных грехах?

— Да... О, как трудно это, княже, не каждой душе под силу. Но кто на что решается.

— Тогда тебе следует исповедаться перед всеми в том, что ты возжелала грехопадения с дьяволом и жаждала узнать, каков он собой,— сказал князь.

Она посмотрела ему прямо в глаза, а глаза Сибина снова стали веселыми и насмешливыми, как некогда, потому что за спиной у него вновь был Лукавый, но уже не как обманщик, а как обвинитель.

— Ради тебя я, княже, спрашивала о дьяволе! Ради твоего спасения! — вспыхнув от возмущения, горестно воскликнула она.

Князь смутился. Ведь она приходит сюда ради него, и одному Богу известно, как удается ей ускользнуть от зорких глаз монаха. Ведь он сам умолял ее спасти его! В это мгновение он понял, что Каломела воистину любит его и что оба они отныне изгнаны из мира Господа, как некогда изгнаны были из рая Адам и Ева. Бог покидал их, проклиная ее тяготение к греху, а его — к познанию.

Но именно в этой внезапной покинутости сознание своей вины, обреченности и жалость друг к другу связали их воедино оковами любви.

Потрясенные свершившимся чудом, они взглянули друг на друга. Чистота, придававшая взору Каломелы жестокость, ныне была подернута пеленой боли и смущения... Она вдруг закрыла лицо руками и прежде, чем Сибин успел опомниться, кинулась бежать к селению. Князь оглянулся. Могучие дубы нежились на апрельском солнце, и молодые листочки их трепетали, колеблемые ветерком. Земля украшала себя травами, и в страшной, нетленной плоти ее бурлили соки, чтоб рождать жизнь во все новых и новых формах...

16

В дни сопричастности с Богом глаза Каломелы были кладезями небесными, в которые князь не смел заглянуть. Ныне же он увидел в них нечто дерзкое, серое, как шерсть Нечистого, сладостно кружившее голову. Взгляд ее вызвал у него в душе образ новый и тревожный, воспламенивший его подавленную чувственность. Князь вопрошал себя, не сладострастие ли то Сатанаилово, излитое некогда в Еву? Либо же сам падший ангел, став слугою дьявола, вызывал это плотское влечение, ибо единственно через смерть и новые рождения мог он вернуться к своему былому господину...

И вновь увидал себя Сибин меж дьяволом и Богом, но в отличие от давешнего, он не чувствовал себя одиноким — его любимая была тут, хотя и незримо, и мысли были заняты ею. Исповедуется ли она монаху и духовным братьям в том, что произошло в лесу? Коль исповедуется, то стремление к святости сделается в ней еще неутолимей, любовь обратится в ненависть и нескончаемое внутреннее борение, а князь — в Сатанаила. Она станет распалять тем боголюбие свое и веру, ибо вера в Господа невозможна без представлений о дьяволе. И еще неизвестно, кто будет раздувать костер, над которым предстоит корчиться душе ее. Но дело тем не окончится. Чтобы как-то утолить земным свои небесные устремления, она будет искать опоры у кого-нибудь из еретиков, а кто может обильней напоить ее росою пророческого слова, нежели апостол Сильвестр?..

Князь уже не желал знать, где пролегает граница меж божеским и дьявольским. Ревность и любовная жажда повергли его в ярость. Он бродил по лесу, и ему хотелось кричать «Каломела-а!», хотелось реветь, как ревут олени, когда ищут самку. Он не заботился ни о Сатанаиле, ни о Господе и проводил свои дни, подглядывая, что происходит в богомильском селении. Бросая собакам куски дичины, он постепенно свел с ними дружбу, и те радостно визжали, издали почуяв его.

«Куда девались мои высокие устремления, отчего превратились в грех и обман? — вопрошал он себя, сознавая, сколь унизительно ему прятаться, точно лесному разбойнику.— Неужто все, что волновало мой разум и душу, пришло ко мне лишь затем, чтобы низвести меня до этой доли? Обретя было свободу и от Сатанаила, и от Господа, я нынче снова ввергнут в муки и унижения». Разум, некогда упорно искавший разгадки всех тайн, теперь беспомощно молчал.

Однажды, теплым апрельским вечером, когда над необъятными кудрявыми лесами всходил месяц и из их зловещих глубин вместе с трелями соловьев доносились унылые стоны филинов и тявканье молодых волков, князь тайком приник к окну молельни и стал наблюдать богомильское таинство, о котором вскользь говорила ему Каломела. На бревенчатых стенах были развешаны символы еретического иконостаса: меч, вонзенный в раскрытую книгу, рядом хлеб, чаша с вином, две ам-

форы, свиток и отрезанная женская рука. Далее — молния, рушащая башню, а на башне — человек с тремя рогами. Наконец, храм с весами на куполе и виноградными лозами у врат, рука с пятью ранами на ладони, из которых выползают змеи, печать, белый полог и новобрачные в венцах. По другую сторону нарисована охраняемая змеем закрытая дверь с кипарисами по бокам. Под дверью начертано «Тайна». Сбоку — изображение Сатанаила, держащего в руке три зерна и чашу, из которой вылетает молния. Женщина в белой тунике олицетворяла смерть. В руке у нее серп и свиток, на котором сепией начертаны имена. У алтаря, рядом с апостолом Сильвестром, стояли двое избранных, лица их были закрыты покрывалами. Перед ними разместились человек десять. То были верные. Все остальное помещение заполняли оглашенные. Среди верных князь заметил человека, у которого рот и нос были разорваны железным крюком. Подле него стоял Тихик, а слева от него — Каломела. Лицо у нее было озабоченное. «Нет, не исповедовалась»,— с облегчением подумал князь. Опустив голову, внимала она проповеди апостола.

— Мы верные псы божьи, раздирающие волков. И понеже цари и патриархи грабят стадо, они суть волки. Царю и священнослужителю должно быть в одном лице...

Богомильский жрец говорил тихо, не размахивая руками, но стены строения усиливали каждый звук, и князь отчетливо слышал каждое слово.

— Лев божий вышел из логовища небесной мудрости, ища добычи. Блажен тот, кого он изберет в пищу себе. О братья мои, не любите мира дольнего, ни радостей мирских. Не отвращайте уст своих от жала, уха от молнии, ока от стрелы. Не поклоняйтесь морю иль бездне. Не отстраняйте руки от ножа, ни ног от тисков, ни главы от секиры, ибо божье начало уже снизошло в вещественный мир и сам Сатанаил приял образ Бога, коего мы денно и нощно оскверняем словом, делом и помыслами, волею нашей, злыми духами, вогнанными в нашу плоть...

— Благословите и пощадите нас! — ответил хор оглашенных, и на отчаянную эту мольбу отозвались из леса крики филинов, кваканье лягушек, лай лисиц и смех совы. Месяц и вечерняя звезда взирали с затуманенного неба на ощетинившиеся леса, и князь вдруг почувствовал страшную свою отверженность. Рядом не было никого, кроме ластившихся собак, и он понял, что отринут миром. Глаза его были прикованы к Каломеле, потому что в толпе этих несчастных она была единственным близким ему существом. Порою взглядывал он на высокого монаха, пытаясь угадать, какой лик прячется за черным покрывалом. А когда еретики начали целовать друг друга и кланяться книге, которую апостол держал в руках, князь кинулся прочь из селения и одинокой тенью скрылся в лесу. Он думал о том, что еретики так же, как и он сам, ищут Истину, одну на вечные времена — в страшном и переменчивом Сатанаиловом мире, где враг божий принял образ самого Господа, ибо бессмертен он и носит в себе божественное начало — творчество. Поэтому великий обманщик оставался неизобличенным, и князю слышалось в шуме леса прощение человеческому бессилию. Лишь мысль о Каломеле избавляла его от этого ужаса, но ужас был в крови его и через кровь напоминал о себе...

17

Угнетенный своей беспомощностью, Сибин кружил возле селения в надежде повстречать Каломелу. Всякий раз, когда он смотрел на нее в окно молельни, он убеждался в том, что она решилась похоронить свою любовь, искупить вину усердными молитвами. Коли так, не было причины оставаться здесь долее, схватка с Сатанаилом лишалась смысла.

Дьявол низвергал его из одной бездны в другую, обольщая все новыми и тщетными надеждами на спасение. Князь проклинал то весеннее утро, когда он покинул свой дом. Он тосковал по матери и Севаре и завидовал брату-изгнаннику в далекой Таврии. День за днем искал он забвения в каком-нибудь занятии — охотился, ловил рыбу, бродил возле богомильского селения. Поскольку приближалась середина июня, он соорудил себе хижину и зажил в ожидании чего-то, ему самому неведомого.

Как-то вечером он услыхал в селении у еретиков необычный шум; наутро по лесному проселку прогромыхало несколько телег с домашним скарбом и детьми. Князь не понял, куда они направлялись.

На следующий день он полдневал на медвежьей шкуре у своей хижины. Миродержец в этот знойный июньский день отдыхал, облачившись в зеленый убор, и Сибину он виделся в зеленом шатре каждого дерева, увенчанный полевыми цветами. Покоясь средь бурлящего жизнью леса, слушая славословия творений своих, Сатанаил уподоблял себя Богу. Дубы изливали избыток силы в кисловатом соке, смачивавшем их кору и созывавшем жуков и букашек на шумные пиршества. Опьяненные этим соком, белки кричали и, как безумные, прыгали с ветки на ветку. Иволги дули в свои золотые флейты, дятлы били в барабаны, ошалевшие от любви олени хрипели, роняя наземь семя. А сама земля, влажная и благоухающая, обливалась соками, и аромат их смешивался с ароматом цветущих лип, всевозможных трав и бурьяна. Лани рожали в безмолвии, орошая кровью гнилую листву, сплетенные в клубок гадюки корчились в спазмах сладострастия, спарившиеся стрекозы, хмельные от любви, вились над ручьями, а орлы, распластав крылья, парили в воздухе и заглядывали в глубь леса, чтобы увидеть своего создателя. В атласно-изумрудном свете все жужжало, пело и стрекотало вместе с цикадами и лягушками-древесницами, и песни, рев, жужжание, клики сливались в общую хвалу Сатанаилу и его могуществу. Сам воздух участвовал в этих вакханалиях,— он трепетал от зноя и ласкал тварей земных. Разметавшись, как мальчишка, Сатанаил нечестиво смеялся и наслаждался любодействием, бурлившим и бушевавшим вокруг него.

Князь упорней, чем всегда, думал о Каломеле. Оттого ли, что он сытно пообедал печеной форелью и лесными ягодами, или оттого, что всеобщее пиршество погрузило его в любовные грезы, но воображение отчетливо воссоздавало образ обнаженной девы в пещере. Однако теперь она виделась ему не духом света, а женщиной, ее прелести таили соблазн недоступности, особенно распалявшей в нем страсть. Князь и желал ее, и проклинал, поносил чистоту ее и боголюбие и строил дерзкие планы, как он заманит ее в лес и будет жить жизнью лесного разбойника. Однако действительность обращала его грезы в ярость против Бога, вставшего между ним и Каломелой, отнимавшего ее во имя вечной жизни. Бог, от которого он прежде ожидал спасения, отринул его, обрек на муки. И главным тому виновником был проклятый монах. Сибин мечтал убить его при первой же возможности, и мысль его поползла ядовитыми и петляющими тропами ненависти. Тут он вздрогнул, неожиданно услыхав удары палкой о стволы деревьев. Мигом вскочил и кинулся на дорогу.

Средь солнечных бликов навстречу ему шла Каломела. Лицо у нее было заплаканное.

— О княже! — издали крикнула она.— Как я боялась, что не найду тебя! — Она отшвырнула палку, кинулась к нему, и Сибин увидал у своего лица ее подернутые влагой, исполненные тревоги глаза.

Ошеломленный радостью, он приник к ее руке, и все существо его возликовало.

— Я в отчаянии, княже! Отец Сильвестр лишил меня благодати божьей. Убил во мне веру... Ах, что сделал он! Сколь страшно это! Как подумаешь, княже...

— Что, что сделал этот поп? — вскричал князь, охваченный ужасными подозрениями. Она отвечала несвязно, только смотрела на него, и сладостность ее взора более пьянила его, нежели будила жалость.

Сибин повел ее в свою хижину, и там, опустившись на медвежью шкуру, Каломела поведала о том, что произошло в общине в эти дни.

Грехоспаситель Сильвестр — обретатель неизреченного света, даритель вечной жизни, второй поп Богомил, носивший пояс с медными бляшками и возлагавший на головы молящихся гностическое Евангелие,— заперся в своем покое и предался раздумьям. Так создал он догму о Еве и другие догмы, смутившие истинных христиан. Ведение дел в общине взял на себя брат Тихик, коему апостол Сильвестр предоставил все заботы о порядке, о пропитании, о совместных работах в поле и прочих службах. Совершенные и кое-кто из верных отправились в дальние богомильские общины сеять слово правды вместе с новыми догмами, объединять и стеречь стадо верующих и распространять книги, которые они оставляли и на перекрестках дорог — у крестов, в часовнях. Апостол Сильвестр появлялся теперь лишь на исповедальных молитвах, похоронах и духовных крещениях, но, занятый писанием, часто небрегал и ими. Братья и сестры пришли в беспокойство, потому что Тихик заботился больше о делах земных, нежели божественных. Так как у беженцев, прибывших в общину недавно, не было ни провизии, ни достаточно одежды и домашней утвари, он понуждал других делиться с ними, так что вскоре обеднели все. Он ввел строгий порядок, установил крайне суровые наказания и стал начальствовать. Сперва никто не роптал, зная, что обретет за это жизнь вечную. Но строгие веления, кары и в особенности исповеди, на которых Тихик требовал, чтобы каждый не только винился перед всеми в греховных помыслах и сомнениях, но и признавался, где припрятал пшеницу и рожь, вызвали злобу и несогласие. Тех, кто осмеливался возражать ему либо усомниться в истинности его проповедей и велений, он сажал под замок на хлеб и воду, пока не раскаятся. Многие были вовсе изгнаны из общины. Брат Тихик объявил, что все человеческие поселения, где есть господа и слуги, и все не верящие учению богомильскому, суть враги Господа и истинным христианам дозволено истреблять их, дабы заложить навечно основы всеземной христианской общины.

Изменения в вероучении и крепнущая день ото дня власть Тихика привели людей к двоедушию. Одни тайно возносили недозволенные молитвы, другие распространяли пагубные слухи, будто дьяволу удалось уговорить Господа передать ему власть над родом людским и Господь даже выдал в том заемную грамоту. Но самое ужасное случилось позапрошлым вечером. Отец Сильвестр возвестил о новом учении. Он торжественно заявил, что нет ни Бога, ни дьявола, а есть лишь сила сотворения и сила разрушения, что никакого седьмого неба и предвечного мира не существует. Средь гробового молчания присутствующих апостол изложил новое учение о том, как была сотворена вселенная, земля, животные, растения, люди, а также в чем состоит христианский долг. Потрясенные люди разошлись в безмолвии, но вскоре в землянках и хижинах раздались рыдания, крики, проклятия. Женщины лили слезы, ибо остались без утешения, мужчины бранились, ибо утеряли представления и о себе, и о мире. Земная жизнь обрела иной смысл: коль скоро нет ни Бога, ни бессмертия, то чего ради делиться пшеницей и рожью со своим ближним? Некоторые говорили, что лучше вернуться в лоно сатанинской церкви, которая, по крайней мере, признавала Господа; другие, наисмиренные, печалились, третьи, наигрешные, злорадствовали. В ту ночь несколько женщин затеяли в лесу бесовские игрища и многих вовлекли в ночные оргии, так что наутро никто на работы не вышел.

Задыхаясь от волнения, Каломела сбивчиво поведала обо всем этом князю и под конец, обливаясь слезами, положила ему руки на плечи и воскликнула:

— Небо я потеряла, княже! Один ты остался у меня! Зачем мне посвящать свою жизнь этому нищему сброду? Зачем? Ежели я не получу венца ангельского и престола! Я могла бы возлюбить их, лишь если б мне суждено было стать ангелом. Коль уж я смертна и нет ни Бога, ни предвечного мира, то тело мое и земная жизнь — единственное мое достояние. Успокой, княже, душу мою!

Князь торжествовал, в душе благословляя Сатанаила за то, что тот столь неожиданно вернул ему возлюбленную. И поскольку он много дней и ночей силился отгадать, что происходит в душе ее, то сейчас отчетливо представил себе, как, раздираемая любовью и святостью, двоясь между ним и апостолом, она пыталась собственным умом найти какой-то выход. Союзник Сатанаила, земной ее ангел, нашептывал ей, что ежели хочет она, чтобы молитвы ее были страстны, бич раскаяния сладко терзал сердце и очистительные слезы пролились из глаз, то лучше отдаться любви. Иначе ее жизнь среди еретиков уподобится равнинной реке, которая не шумит, а плавно течет в берегах, всегда одна и та же. Монах разрушил все ее понятия и сам толкнул в объятия князя.

— Ах, как страдала я, княже, и как страдаю сейчас. Буде есть Бог, не предписывает ли сам он плотское, если предоставил плоть нашу дьяволу и уготовил нам преображения? А буде нет его и вместо него — некая сила сотворения, то значит, сама эта сила и создала наше тело, ибо оно есть бытие наше, а сила разрушения, говорит апостол Сильвестр, против бытия. Что же проистекает из всего этого? Что Бог и есть то самое, против чего я восставала.

В беспомощности своей, в страстном порыве к просветлению Каломела, ослабев от горя и отчаяния, незаметно для себя самой обняла Сибина, и князь мгновенно понял, что не в силах помочь ей спасти душу, ибо сам смущен и не менее ее приведен в отчаяние поединком между дьяволом и Богом. В таком же горячем порыве, но не просветления, а самозабвения, заключил он ее в объятья. И когда почувствовал под собой ее крепкое, девственное тело, упругую округлость грудей, гибкие бедра, медленно раздвинувшиеся, чтобы принять его, и услыхал, как крик ее слился с голосами птиц, со всем хором восхвалений Сатанаилу, тяжкий груз сомнений, терзаний и уныния скатился с его плеч, и князь мысленно воскликнул: «О, какое утешение таится в ее сладостной и белой плоти!»

18

Итак, любовь не вела к Богу, и Бог оказался не тем, кем князь воображал его. Любовь была скорее делом дьявола. Посредством любви, когда плотское брало в человеке верх, Сатанаил обретал власть над душою и ангел души покорялся ему. Тут и заключалась вся тайна, тут смерть и держала в костлявой своей руке спасение, а тело было сосудом, где ангел выжидал то мгновение, когда следует вступить на предопределенный путь к очищению. Страдания людские не прекратятся, покуда вина не будет искуплена, и все рожденное женщиной осуждено на смерть. Выходило, что любовь — это ложь, коей человек хочет обмануть Бога. Князь искал Бога в любви, и Бог оттолкнул его, а Каломела потеряла Бога в тот миг, когда полюбила князя. Теперь оба они оказались изгнаны из его мира на неизведанный и страшный путь искупления.

Опьяненные красотами земли — отображением Бога в мире дьявола,— князь и Каломела предавались любовным утехам и наслаждениям. Каломела погружалась в них с тем же страстным порывом, с каким

прежде стремилась к ангельским престолам седьмого неба. Ей открывались все новые, доселе неведомые тайны собственного тела, и эти тайны целиком поглотили ее. Стоя в пещере пред родником, она точно в зеркале с любопытством рассматривала свои налитые груди, гладила их, чтоб ощутить тугую их упругость, гладила свой белый, круглый, как щит, живот, посредине которого пуп точно чаша вобрал в себя при купании капли воды; восхищалась линией чресел, имевшей изгиб ангельских крыл и обрамлявшей таз, где кроется тайна рождения, и бедрами, столпами сладострастия, охраняющими врата новой жизни. Ее взор скользил ниже, к коленям, вплоть до пальцев ног с розовыми ногтями, отливавшими после купанья коралловым блеском. Иногда она поворачивалась так, чтобы увидеть в роднике отражение тех ямочек за коленями, которые Сибин так любил целовать, и, в восторге от красоты своего тела, все старалась увидеть в воде свои глаза, сулившие князю новые блаженства.

Каждое воспоминание о богомильском апостоле и мечтах о святости вызывало в ней прилив ненависти. Этот монах пытался лишить ее радостей, более притягательных и сильных, чем небесные. Он одел ее в рваную рясу и осквернил ее красоту безумием, он обрекал ее на духовные и телесные страданья, суля вечную жизнь и ангельскую красоту, оказавшиеся обманом. Ложью питало ее пророческое его слово, и под конец он был принужден сам раскрыть перед всеми эту ложь. Каломела ненавидела его, как ненавидит обманутый обманщика, и в страстном ожесточении против него безоглядно отдавалась любви, чтобы новыми и новыми доказательствами, новыми и новыми сладостными ощущениями опровергать его измышленья. Нагая, на застланном медвежьей шкурой ложе, с набухшими губами и атласной благоухающей кожей, сверкая лебединой чистотой и свежестью, она тонула в помрачающем разум блаженстве любви средь жужжания насекомых и пенья птиц. Она истаивала под сильным телом своего князя, и душа ее горела в черном его пламени. Стоны ее были похожи то на воркованье, то на короткие, восторженные возгласы, и в эти мгновения чудилось ей, что свет солнца сменяется черной, слепящей тьмой, за которой, омытая новым радостным блеском, предстанет необъятная тайна мирозданья. Вместо призрачного царства Бога, где ее воображению вечно не хватало пищи, ныне взор ее наслаждался зримой красотой плоти, тело и душа были утолены, и Каломела чувствовала себя счастливой. Ее восхищала сила князя, его ловкость, находчивость, умение поймать самую вкусную рыбу и дичь, приготовить самое удобное ложе, и она не замечала того, что это восхищение полностью подчиняло ее Сибину. Все существо ее стремилось к телесному совершенству, ибо Сатанаил пользуется любовью, чтобы сделать прекраснее тело, а заботу о душе предоставляет Богу. Ослепленная обольстительностью своей и самолюбованием, она не видела, что князь обладает уже не ею, а лишь телом ее,— первый признак близкого пресыщения. Не замечала, что ушло то время, когда Сибин не задумывался ни о мироздании, ни о Боге, ни о дьяволе, ибо для него существовала лишь она и он. Однако бывали минуты, когда его взгляд пугал ее, и Каломела молила не смотреть на нее так. Князь улыбался и молчал.

19

Всегда неудовлетворенный в творческом своем устремлении, Сатанаил был жесток. Употребив что-либо, он отбрасывал это прочь, не заботясь о дальнейшей его судьбе. Влюбленный в свои творения, он любил их до той поры, пока они не восходили на новую ступень совершенства. Посему Сатанаил ничего не желал знать о страданиях тех душ, в кото-

рых томился ангел, ибо они алкали вечности с ее божественным покоем в предвечном мире, смысл которого он отрицал.

По ночам, когда Каломела засыпала, склонив голову князю на плечо, убаюканная его ласками и стрекотаньем цикад, Сибин оказывался перед миром один. Вперив взор в бездонность звездного неба, он пытался вникнуть в собственную душу и через нее развязать загадочный узел бытия. Небеса безмолвствовали, поскольку князь не ведал, что таится в них, как не ведал он и того, что таится в его собственной душе, существование которой он, однако, всего сильнее ощущал в эти часы. Тогда вспоминал он взгляды, которыми обменивался с Каломелой. Каждый видел в глазах другого нечто, не имевшее названия, но пугавшее, ибо не могло иль не решалось выдать свою тайну и разделяло их, обрекая на вечное одиночество. То был ангел души, униженный и страждущий, по принуждению ставший сводником плоти. Его грехопадение и придавало глазам выражение виноватости. Князь смотрел на спящую Каломелу, пораженный тем, как безоглядно она отдалась ему. Как легко и быстро отказалась она от своих былых устремлений! «Сама помогает мне уничтожить в ней духовное,—размышлял он.—Она стала не средством спасения, а новым разочарованием. Я отвращаюсь от истины ради нашей любви и ненавижу и себя, и ее из-за этого самообмана. Но Сатанаил и тут прикладывает свою руку, чтобы стереть границу между любовью и ненавистью, поелику обе нужны ему. Впредь моя любовь будет прощением, ибо и я, и Каломела несовершенны. Но кто совершенен? Даже сам Господь удовольствовался семью небесами, где не происходит ничего — ни осмысленного, ни бессмысленного, а Сатанаил в своих усилиях создать мир более совершенный постоянно изменяет его посредством смертей и рождений... Меж тем с чего я начал и к чему пришел? Притеснения Борила и бедствия, обрушившиеся на дом мой, толкнули меня к иным притеснителям — Богу и дьяволу. Один сулил мне истину и спасение, а вместо того опутал ложью и низвергнул в ад, другой насмехается надо мною. Разум мой кружит в этом замкнутом кольце, и только на него одного должен я опереться, чтобы обрести свободу от притеснителей. Однако и он не вечен и не может дать мне ключа к познанию...»

Стремясь разрешить эту безысходность, Сибин вспоминал дни, когда чаша весов находилась в равновесии и он жил, не вдумываясь в свои деяния. Между тем именно это равновесие и напугало его равнодушием, отсутствием долга перед собой и людьми. Той ночью, у кирии Эвтерпы, ужаснувшись власти Сатанаиловой, князь пожелал скинуть с себя его оковы и возжаждал Бога. И тогда Бог и Сатанаил — оба одновременно подхватили его, ибо суждено человеческому «я» существовать в вечном противостоянии дьявола и Бога, а пламени ума его и души питаться враждою их!

После таких раздумий мысль князя устремлялась к иным, таинственным мирам, образ которых сохранился в нем с детских лет, унаследованный от язычников-прадедов. В душе воцарялась ясность, взор вновь воспарял к звездному миру, и князь вновь казался себе преходящим, хотя подле него лежала Каломела, уже носившая, быть может, в чреве его сына или дочь. Он делал все нужное для того, чтобы Каломела была сыта и довольна, и не отвечал на вопросы, коими она хотела оправдать новую свою жизнь. Она верила, что он на истинном пути, и он поддерживал в ней это заблуждение, не мешал ей тешиться своей красой. Тело ее наливалось, точно зреющий плод,— пышущая здоровьем Каломела смеялась, как горный ручей, излучая веселье, беззаботность и веру в то, что нет в мире ничего более важного, чем любовь и размножение.

Однажды ночью князь пробрался в Преслав и с помощью Эрмича раздобыл для нее дорогие одежды, благовонные масла, серебряное зер-

кало и египетский гребень. Все более опьяняя ее хмелем земной жизни, скрывая пустоту, зиявшую в его собственной душе, он не давал раскаянью проникнуть в ее душу. От Эрмича узнал он, что весною Борил избежал решительной битвы с императором Генрихом, а в Видине вспыхнуло восстание против его власти. Упования и надежды князя устремились к Тырнову, потому что лишь после того, как Борил будет свергнут с престола, сможет он возвратиться с Каломелой в Преслав.

20

Беглый раб веровал в своего еретического Бога и ненавидел князя, оттого что у князя не было своего Бога и он постоянно искал его. Сибин воображал некогда, что Тихик любит его, не понимая, что восхищение, испытываемое слугой перед силой и красотой князя, относится более к внешней его красоте, нежели к сущности. Сибин пошучивал с ним, и господская слепота мешала ему заметить, что Тихик видит в этих шутках неуважение к себе и не терпит их. Уважение к князю давно исчезло, ибо невозможно уважать слуг дьявола — у него остался лишь страх, злоба и презрение, питаемые уверенностью в неотвратимости возмездия в тот час, когда число праведников достигнет числа падших ангелов. Тогда Сатана прогневается и объявит войну праведникам, а те возопиют к Господу. Господь прикажет архангелу затрубить в трубу, и трубный глас этот будет слышен от неба до преисподней. Солнце померкнет, луна уже не будет излучать свет, звезды попадают, земля, море и горы сотрясутся от четырех ветров. Сын человеческий препроводит ангелов своих собрать избранников его со всех концов земли, а нечистым бесам повелит привести к нему все народы, и скажет он: «Приидите вы, говорившие: будем есть и пить и получим должную награду на этом свете». И будут раскрыты книги жизни, и обнаружится в них всякое нечестие. Праведники удостоятся похвал и наследуют царство, уготованное им с сотворения мира, а слуги дьяволовы будут низвергнуты в огонь вечный. Останется в мире одно стадо и один пастырь. Сын Божий воссядет одесную Отца небесного, сопричислит праведников к сонму ангелов, облачит их в одежды нетленные, возложит венцы неувядаемые и не будет более ни глада, ни жажды во веки веков...

Князь даже не подозревал, как исступленно верил Тихик в неизбежность божьего суда, обещанного в Тайной книге. Все было ясно Тихику на этом свете, потому что он ничего не получил от жизни, и то, что отягощало князя, для Тихика было вожделенной мечтой. Он познавал мир через господ, но не через себя и служил бы в княжеском доме до обетованного суда божьего, примирившись с мыслью, что князь не примет богомильского учения, к которому он настойчиво его толкал, если бы преследования Борила и побег боярышни не вынудили и его бежать в общину. Боярышня, в приобщение которой к богомильству и он внес немалую лепту, его гордость, живой источник непреходящего восхищения и заветных мечтаний, красавица, которую старая княгиня мечтала сделать женою своего сына, бежала, и Тихик последовал за нею, убежденный, что князь никогда больше не увидит ее. Но Сибин неожиданно явился, и Тихик сделал все, чтобы тот не был принят в общину. Он еще по своем прибытии представил своего господина апостолу Сильвестру и братии как слугу дьявола и антихриста.

Каломела быстро завоевала всеобщую любовь и доверие, апостол Сильвестр причислил ее к верным, и Тихик взревновал боярышню к нему. Однако ревность исчезла, когда Каломела надела заплатанную рясу и зажила жизнью возвышенной. Занятый делами общины, умелый, обладающий опытом эконома, полученным в княжеском доме, Тихик за-

бывался в повседневных трудах и сокровенные мечты о Каломеле относил к грядущему, к жизни на седьмом небе, когда она и он, обращенные в ангелов, будут наслаждаться совершенной, божественной любовью. Эти мечты придавали ему силы, побуждали без устали печься о том, чтобы в общине все шло, как должно. Он верил, что князь возвратился в Преслав, и не подозревал о связях между ним и Каломелой. Но однажды один из братьев — тот, чей нос и рот были разорваны железным крюком, страстный пчеловод,— сказал ему, что, скитаясь по лесу в поисках диких роев, видел охотника в красном платье и боярской шапке. Тогда Тихик стал доглядывать за Каломелой, и ему удалось выследить вторую ее встречу с князем и подслушать их разговор. Он видел, как она убежала, закрыв от стыда лицо. Ее падение поразило его и повергло в отчаяние, ибо он увидел себя на седьмом небе без Каломелы,— она вознесется туда лишь после многих преображений либо не вознесется вовсе. Сколько чихал он, сморкался и отплевывался, прогоняя злых духов и всевозможные искушения, преграждавшие путь к райским блаженствам! Чтоб обрести их, он был готов даже оскопить себя. И все это не ради себя одного, но и ради нее! Сокрушенный, ждал он, чтобы Каломела исповедалась в своем прегрешении, но она молчала, молилась, и на лице ее читалось раскаяние. Это несколько успокоило его, и он решил, что если давать ей работу потяжелее, она скорее искупит свой грех. И он находил для нее такую работу — заставлял ходить за больными, помогать женщинам, нянчить детей. Он не спускал с нее глаз и, когда убедился в том, что она не ищет больше встреч с князем, успокоился окончательно. Не раз искушало его желание открыть ей, что ее тайна ему известна, не раз хотелось проверить, обитает ли князь поблизости или вернулся в Преслав. Но, поразмыслив, он отказался от своего намерения, по собственному опыту зная, что лучше не напоминать грешнику о его прегрешении, коли сам грешник борется с ним. Кроме того, много забот доставлял ему апостол новыми своими догмами. Вначале Тихик принял их с удивлением и восторгом пред божественным озарением, снизошедшим на Совершенного, но затем, убедившись в пагубности их последствий, возроптал. Да и сами поступки апостола озадачивали его и повергали в тревогу. Святой отец заперся в своем покое, заявив, что намерен очистить учение от всех противоречий и опровергнуть средецкого[19] дедца Петра, исповедовавшего скорее манихейство, нежели богомильство. Он-де напишет новое гностическое Евангелие. Для переплета предназначалась шкура молодого бычка, надзираемого особым пастухом, и Тихик помимо прочих дел заботился о том, чтобы шкура этого бычка содержалась в чистоте.

Окружив себя свитками, еретическими книгами, запасшись красками, чернилами и дубленными кожами, апостол Сильвестр разослал по стране верных и двух избранных, все дела в общине переложил на Тихика и погрузился в писание. Тихик, предчувствуя недоброе, был точно на иголках — время ли менять учение и вступать в спор со средецким дедцом, когда в общине голод, нищета, неустройство, когда в стране — царские гонения? Зачем непременно доискиваться, что́ в точности представляет собой седьмое небо, как сотворена земля, женщина, звезды и вселенная, если главная цель — сделать так, чтобы люди спасли души свои и были сыты, счастливы, любили и почитали друг друга? Разве такое или иное представление о предвечном мире может иметь хоть какое-то значение для добродетелей? Каким бы ни было царство божье, следует сперва установить его здесь, на земле, а уж потом будет видно, что оно представляет собой и как устроено.

Так рассуждал Тихик, когда слышал споры между теми из братьев,

[19] Средец — средневековое название Софии.

у которых были железные перстни и татуировка на запястьях; когда видел, что апостол Сильвестр сидит над свитками, а между тем клочки земли, ценой стольких трудов и мук отвоеванные у леса, не сулят общине вдосталь хлеба; когда умирали один за другим новорожденные младенцы и царские люди жестоко терзали истинных христиан по всей земле болгарской в союзе с французскими и венецианскими католиками. Ибо хоть был он верующий, хоть и считал, что мирские заботы суть проклятие божие, посредством коего люди отданы во власть Сатаны, все же знал он, что не может человек молиться, если он голоден, дрожит от холода или корчится от боли. Ему выпал жребий услужать другим, и, чтобы уважать себя и труд свой, он должен был уважать и земные дела. Мало-помалу эти мысли все более завладевали им, и он не расставался с ними даже вечером, когда засыпал в своей сырой землянке, полной пауков и прочей нечисти.

Несмотря на то что за свое трудолюбие, преданность и знание богомильских догм он был удостоен сана верного, Тихик в глубине души чувствовал себя ближе к оглашенным, чем к верным, поскольку сама работа связывала его с ними и еще потому, что, будучи прежде рабом, он всю жизнь провел меж па́риков[20] и отроков.

Каждый раз, когда выдавалась свободная минута, он позволял себе потолковать о божественных вещах с простыми оглашенными, делился с ними кое-какими из тайных своих мыслей. Отроки, бежавшие от своих бояр и из монастырей, видели в нем наставника, без которого не могли надеяться на благоденствие, и Тихик приобретал над их волею и мыслями все большую власть. Между тем он тоже, слушая их рассказы, шутки, апокрифические легенды о том, как Господь и дьявол водили дружбу и состязались в хитрости, как дева Мария зачала от букетика базилики, посланного ей Богом-отцом через одного ангела, проникался представлениями этих обыкновенных еретиков, понимавших богомильское учение неверно, примешивавших к нему суеверия и языческие представления, потому что иначе оно было для них неприемлемо.

Ошеломляющее новое учение апостола Тихик встретил стиснув зубы, затаив дыхание. С бесстрастным, побелевшим от изумления лицом, полуопустив веки, за которыми мерно тлел серый пламень зрачков, богообразный, как праведник, только что сошедший с небес, он выслушал апостола не шелохнувшись. Но глаза все видели. Он заметил смятение братии, и, когда Совершенный средь гробового молчания удалился к себе, отирая обильно струившийся со лба пот, Тихик последовал за ним. Перед дверью апостольского покоя он помедлил, давая тому время отдохнуть и закрыть покрывалом лицо...

21

В то утро Тихик, выйдя из землянки, никого на работу не повел, потому что все попрятались в своих жилищах. Голодные псы скулили в ожидании хозяев, дети забыли о своих забавах. В некоторых землянках и шатрах громко плакали женщины, избитые мужьями за то, что участвовали в ночных оргиях.

Тихик сел на пень и стал припоминать, о чем он вчера думал перед сном. «Совершенный не ведает, как добывается хлеб насущный, ибо все обязаны кормить его; не ведает, каким искушениям подвергает Лукавый бедных людей в скудости их... Твердит, будто труд — от дьявола и посему не следует пачкать себя работой... Он беседовал с Богом, а теперь, по

[20] Парики — свободные крестьяне в феодальной Болгарии (в отличие от отроков — крепостных).

словам его, выходит, что Бога нет... То он посвящал свои занятия Богу, ныне посвятит этим своим силам, и опять все пойдет по-старому... Он ведь тоже из господ! Господа вечно ищут Бога... Нету, говорит, ни седьмого неба, ни предвечного мира, а лишь некая мертвая точка и будто от нее все пошло...»

Убеждения, которыми он жил, и без того пошатнувшиеся, теперь готовы были превратить в развалины его духовное пребывалище, давили на мозг, сковывали волю, и он не знал, куда кинуться. Рушилось все — надежда на спасение, любовь к Каломеле, вечная жизнь, божья справедливость и возмездие, утешения рабьей жизни его. Рушилась сама община, теряла смысл его деятельность, борьба с дьяволом, лишения, воздержание, посты. Исчезла, наконец, и вера в Совершенного, чья святость и ученость оказались сомнительны.

Христовы братья начали вылезать из землянок, собираться кучками. Заметив Тихика, они приблизились к нему, чтобы послушать его суждение. Некоторые говорили, что апостол утерял благоволение божье, что им завладел дьявол, другие — что он лишился рассудка, что надо снять с него пояс с бляшками и предать огню новое Евангелие, внушенное Сатаной; третьи, довольные, что Бога нет, смотрели гордо, весело и зло. Иные из женщин с громким хохотом задирали юбки и хлопали себя по бедрам, чтобы показать, что Рогатый вселился не только в Совершенного, но и в них и что никому теперь не спастись.

Тихик сидел, уставившись в землю, и мысль его искала выхода. «Быть может, апостол сам отречется от нового своего учения. Вчера вечером он был очень утомлен и не пожелал говорить со мной, но я надеюсь, что сегодня он примет меня. Надо подождать возвращения верных, и ежели он не отречется, мы изберем себе другого пастыря»,— сказал он.

Но многие уже запрягали телеги, намереваясь покинуть селение. По-видимому, дьявол и впрямь пробрался в общину. Тихик был уже готов поверить тому. Он попытался проникнуть к Совершенному, но тот не отпер двери.

Так прошел этот день отчаяния, тревоги, праздности, запечатлевшийся в памяти всех как тяжкий недуг. К вечеру Тихик углубился в лес и, поразмыслив, окончательно уверовал, что Сатана завладел душой апостола. «Даже если и обнаружил он, что мира предвечного нет,— рассуждал Тихик,— не следовало произносить этого вслух, ибо ежели нет справедливого суда над всеми нами, люди не будут видеть смысла в существовании своем на этом свете, не смогут бороться против господ. И потом, он смущает братию и подвергает сомнению необходимость добродетелей, лишая нас наград на небе и утверждая, что жизнь кончается здесь, на земле, так что нечего ждать иной награды, как только от себе подобных. Никого теперь не испугать и не удовольствовать земными карами и благами, ибо сказано «Не хлебом единым жив человек», и если нету ни неба, ни Бога, то отвернет он взгляд от ближнего своего и будет желать лишь есть, пить и властвовать... Совершенный уверяет нас, что, поскольку нет ни Бога, ни дьявола, человек сам станет Богом, но забывает о том, что человек станет и Сатаною. Даже если дьявол и не вселился в апостола, новое учение вредоносно и апостола следует объявить антихристом...»

В последующие дни разброд в общине быстро ширился. По ночам совершались кражи из общего амбара, многие затевали драки, вспыхивали свары, откуда-то появилась ракия, так что были пьяные, которые, впав в бесовское исступление, пели непристойные песни о Сатанаиле и его могуществе. Один еретик объявил себя пророком, стал проповедовать безумства, другой повесился. Неведомо откуда прибыл в селение

странник с деревянной дощечкой, на которой было начертано «Покайтеся, ибо близится царствие божие!» Одетый в чудовищные лохмотья, обутый в ноговицы из козьей шкуры, он расположился на мусорной куче и оттуда целыми днями пел тропари дьявольской церкви и призывал богомилов вернуться в лоно ее. И у этих пророков нашлись слушатели, поскольку каждый кроет за разумом безумие, коим наслаждается, и злонамеренность, от коей ожидает для себя блага. Мужчины и женщины испуганно внимали зловещим угрозам. По их лицам было видно, что они уже не доверяют своим глазам и ушам, что взору их предстает другой, таинственный мир, полный страхов, чудовищ и смерти. Некоторые, позабыв о своем богомильстве, осеняли себя крестным знамением. Многолюдное — в сотню человек — шествие обходило селение, распевая какую-то новую песнь:

В день Страшного суда скажу я Господу:
Боже, творец небесный, отчего уготовил ты мне пекло?

Не довольно ль перенес я земных мучений и тягот?
Весь в смраде я и унижении,
Нечист и невоздержан, как Исаак,
Ибо дьявол взял власть надо мною.

Напрасно ты из пекла меня бросаешь в пекло.
Не я, а ты повинен во всех моих прегрешеньях,
Отворн врата райские, Иисусе,
Впусти души пречищенные и страждущие!
Либо верни нам бесплотие, либо прости нас,
Ибо не будь мы рождены, не стали бы и грешить!

Сбитый с толку, растерянный, Тихик вдруг обнаружил, что беснующиеся братья-богомилы оставили его. Никто его не искал, к нему не обращался. Он забарабанил кулаками в дверь покоя, куда уединился Совершенный, словно не видевший и не слышавший того, что творилось в селении. За дверью раздался голос: «Погоди!» — деревянный засов отодвинулся, и Тихик вошел.

Апостол стоял спиной к нему. Покрывало он с себя снял, но Тихик все же не мог видеть его лица.

— Владыко, все точно обезумели. Община рушится. Дьявол завладел душами христианскими. Откажись от нового учения своего, дабы успокоить людей и водворить порядок! — произнес Тихик.

Совершенный молчал, и Тихик продолжал смотреть ему в спину. Длинные заплетенные волосы, точно хвост, ниспадали на его рясу.

— Неужто не слышишь ты, что происходит за этими стенами?

— Знаю и вижу. Сила разрушения бушует, дабы побудить силу сотворения создать среди людей новое совершенство. Ступай, не разумеешь ты! — сказал апостол.

Тихик вышел, охваченный смутным страхом, точно соприкоснулся с чем-то неясным, могущественным и страшным. Не постигнув сказанного апостолом, он устремился к Каломеле, которую уже давно не видел.

22

Он воображал, что возвышенная и чистая дева заперлась у бабки Кали, дабы укрыться от беснований братии. Старуха принимала младенцев, вправляла вывихнутые и сломанные кости, обмывала покойников и прибирала в молельне. Каломела жила у нее. Но бабка Каля сказала, что Каломела ушла от нее на другой же день после того, как Совершенный объявил новое свое учение. Сам апостол искал ее, спрашивал, куда она делась.

Новость не поразила Тихика оттого, что уже ничто не в силах было его поразить. Она лишь ожесточила его. Он догадался, что князь поблизости и Каломела бежала к нему. Тихик немедля направился туда, где однажды видел их вместе.

Он ненавидел сейчас дьявола такой лютой ненавистью, какой не испытывал еще ни к кому и никогда. А мысль о дьяволе вызывала образы князя и Совершенного — Сибин был прельстителем, антихристом и слугой Сатаны, Каломела же — сукой господской породы, оттого и льнувшей к господам... Вся порча, раскол и беснования проистекают от господ. Дьявол — в них, во храмах их, крепостях и замках, там приют его, там пестуют его и почитают... Господа воздают ему почести оттого, что он самодержец и князь князей... Он — в гербах и прапорах их; он восседает за их трапезой, пряча хвост под красными мантиями, поповскими рясами и епископскими облачениями... Он нашептывает господам безумные мысли, пробуждает демонов в их головах, внушает им сомнения и безверие...

Испытываемое им ожесточение возвысило Тихика в собственных глазах. Лишь немногие в общине не поддались бесовским чарам, остальные братья и сестры, видимо, и прежде тайно желали скинуть ярмо законов божьих, обманывали Господа и братьев своих, алкали своеволия и свободы. И лукавство их должно разоблачать непрестанно, дабы держать их в смирении и покорстве. Объявив, что нет ни Бога, ни дьявола, Совершенный вольно или невольно раскрыл двуличие их... Но скоро они ощутят голод, запасы продовольствия иссякнут, а дьявол разобщает их, отчуждает друг от друга. Каждый обнаружит свое одиночество, затоскует по спокойствию и вере, застраждет от разлуки с себе подобными...

Тихик вступил в лес и неожиданно оказался на тропинке, ведшей к пещере. Ему доводилось слышать, что в этой пещере обитает Сатана и что тепло, которым веет от нее,— это его дыхание. В другом состоянии он, быть может, не посмел бы приблизиться, но сейчас мысль подсказала, что тропинка проложена его бывшим господарем. Подойдя к пещере, он оробел и повернул назад, ища других следов князя. Когда он вышел на дорогу, стволы деревьев уже окрасились огненными пятнами заката. Тихик хотел было возвратиться в селение, как вдруг услыхал голоса и спрятался за дубом. На дороге показались Каломела и князь. Князь нес на плече убитую серну. У нее в лопатке еще торчала стрела. Каломела прижималась к князю, ведя за повод вороного жеребца.

Расстегнутая синяя безрукавка очерчивала под темно-вишневым платьем грудь, русые волосы ниспадали на плечи. Рядом с темноволосым и смуглым Сибином она светилась как заря. Не раз наблюдал Тихик это недостижимое господское счастье, которое почитал дьявольским. Но теперь, когда он увидел, как прижимается к князю, смеется и ластится та, на которую он возлагал сокровеннейшие надежды, веря, что она отреклась от мира господ и навсегда перешла в мир рабов божьих, та, которая дала обет стать совершенной, но обманула Бога, его и братьев— сука, чья красота стала еще неотразимей потому, что на ней было уже не рубище, и еще потому, что она обрела умиротворенное, изобильное и сладостное сияние обладаемой женщины; когда он увидел, как скользят по ней солнечные блики, ненависть с неудержимой силой отшвырнула его назад в тот рабский мир, где ведома лишь красота добродетелей.

Он дал им пройти, прокрался следом и обнаружил их обиталище. Тогда возопил в нем голос крови и плоти, земной силы, которую он подавлял в себе, отгонял мыслью о грехе...

Тихик вернулся в селение, когда уже смеркалось. Проходя мимо свалки, он увидел странника, грызущего черствую просяную корку. Под-

крался к нему, выхватил у него дощечку и колотил его изо всей силы до тех пор, пока тот не убежал в лес. Так впервые совершил он насилие, запрещенное законами божьими.

23

Сатанаил растлевает господарей дерзновенными мыслями и безверием, и, когда они, отчаявшись понять смысл его игры, отказываются служить ему, он стремится из слуг их и рабов сделать наидеятельнейших себе помощников. Обрекая тех на всевозможные страдания и унижения, он дает им познание, вселяет надежды и новые идеи, дабы мог его мир кружиться беспрестанно и никогда не исчезла бы в нем вера в спасение.

Робкий, богобоязненный Тихик в короткое время стал великим мудрецом. Мудрость его была неопровержима, ибо исходила из земных потребностей человека. Он решил выждать и, когда придет час, прибегнуть к насилию, так как другого средства спасти общину не оставалось, а час этот наступит тогда, когда все припасы иссякнут, и люди ужаснутся своему безумию.

За несколько истекших недель ум его четко размежевал земные и божественные нужды человека. Первые были ясны и очевидны, вторые— выше его разумения, но их следовало признавать и соблюдать, ибо они способствовали всеобщему благоденствию. Что касается вечной жизни, пусть Господь сам позаботится рассудить, какие души достойны воспарить к нему, а каким быть низвергнутым в геенну огненную. Это его дело, Тихик не стал ломать себе над этим голову, тем более что Каломеле никогда не удостоиться седьмого неба.

Ждать пришлось недолго. Спустя несколько дней покинувшие общину братья стали возвращаться, преследуемые царскими людьми, занявшими перекрестки дорог, села и крепости. Многие, двинувшиеся в путь с двумя волами, возвращались обратно без волов и телег, волоча на себе пожитки и голодных детей своих. У других были тощие лошаденки или мулы, некоторые прибыли в одиночку, без жен. Царь повелел отбирать у богомилов землю и имущество, общины их разгонять. Беженцы были в кровоподтеках и рубцах от ударов плетью, иные — раненные стрелою, битые железными прутьями. Те из них, кто, пытаясь пробраться в Боснию, дошел до владений севастократора Стреза, рассказывали, что Стрез построил в Просеке, над Вардаром, лобное место, откуда сбрасывает богомилов в реку. Не менее его свирепствует и сербский король.

Селение огласилось плачем и проклятиями. Поляна перед молельней заполнялась все новыми беженцами. Именем Господа молили они о милосердии и пище, показывали раны свои и рассказывали о пережитых злоключениях.

Тогда Тихик вынес просяной муки из общего амбара, накормил их, перевязал им раны и, приказав созвать всех членов общины, отворил двери молельни и ввел их внутрь. Там, перед символами святых тайн, бесновавшиеся укротились, а кроткие склонили головы еще ниже.

— Братья и сестры,— сказал Тихик,— не достойны вы исповедального молебствия, ибо лишь немногие из вас устояли пред дьявольским чародейством и Лукавый еще пребывает в умах и сердцах ваших. И совершим мы молебствие лишь после того, как каждый поразмыслит над прегрешениями своими. А ныне открою я вам, как проник Сатана в общину нашу. Он пробрался сюда в обличье бывшего моего господаря, преславского князя Сибина. Князь явился в общину, разыскивая боярскую дочь, бежавшую затем к нему и ставшую ему женой. Чрез эту окаянницу распространил Лукавый свою скверну средь нас. Посланец Сата-

наилов и сожительница его обитают в лесу подле пещеры. Я видел их хижину. Сказано было: «Легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, нежели богатому войти в царствие небесное». Мы сделали ошибку, приняв к себе дочь боярскую, и ошибкою будет принимать к нам господарей, верить клятвам их и боголюбию. Подобно мотыге подрывают они корни наши. Господари всегда и неизменно слуги дьяволовы. Они полагают, что служат Богу тем, что ищут его, и утверждают, будто ищут истину, а не видят, что это ведет к безверию, разрушению и смерти. Через них властвует бес над миром, но когда с помощью божьей мы уничтожим их, бес примется за нас, ибо и мы подвержены соблазну господского высокомерия и господских пороков. Посему следует нам денно и нощно быть начеку, не допускать Лукавого ни в помыслы наши, ни в желания. И не токмо нам, но и детям нашим, внукам и правнукам — вплоть до дня Страшного суда...

Совершенный первый поддался искушению — опять же через дочь боярскую. Он приблизил ее и поспешно удостоил звания верной, ибо он и сам породы бояр и волхвов Сатанаиловых и уже долее не может быть нашим владыкой. Слушайте, что говорю я вам! Коль хотите вы иметь пропитание, коль не хотите быть битыми, обманутыми и преследуемыми, ако псы, слушайте впредь меня одного и да не скажет ни один из вас: «Брат Тихик — деспот и тиран!» Сам Господь с силой ополчается на дьявола и не дозволяет смуте и расколу погубить души человеческие. Война с дьяволом не пресечется, доколе не будет умерщвлен князь смерти, о чем свидетельствует и блаженный Исайя, удостоившийся вознесения к Богу-отцу... Вооружитесь, кто чем может, и соберитесь на поляне. Прежде всего должно нам схватить посланца дьявола и богоотступницу. Она дала обет остаться девой, а очутилась на ложе Сатанаиловом. Ежели мы не уничтожим их, ожидают нас глад и новые бедствия. А после того, как схватим их и осудим по закону общины нашей, мы пойдем к Совершенному, чтобы снять с него пояс познания, и я определю для него кару.

Тут Тихик, вызвав в себе сострадание к парикам и отрокам, заговорил о муках их: о том, как дьявол терзает и грязнит их души, как отчуждал их друг от друга и вселяет взаимную ненависть, как горько рыдал земной их ангел, но они не слышат рыданий его... И столь красноречиво говорил он, что люди, еще вчера бесновавшиеся, теперь были готовы разодрать на себе платье и пасть на колени, склонны были даже покаяться в еще не совершенных грехах. Смиренные гордились тем, что остались чисты, ожидали награды и, глядя на грешников, старались подавить в себе злорадство. Раненые, больные, ограбленные — они протягивали руки к Тихику, называя его «владыкой» и «спасителем». Ужаснувшись близости одержимого дьяволом князя и в особенности известию, что Каломела прелюбодействует с ним, женщины истошно кричали, рвали на себе волосы и сыпали проклятиями. И все — и раскаявшиеся богохульники, и праведники — сошлись на том, что в их страданиях повинен князь. И чем долее каялись они и рыдали, тем яростней разгоралась в них ненависть к князю и богоотступнице. Они требовали, чтобы те кровью своею смыли грехи их, очистили, сблизили, снова связали их друг с другом.

24

В этот летний вечер князь играл на кавале[21] старинный танец, посвященный коням, праздник которых его прадеды праздновали в начале каждого лунного года. Привалившись к стволу высокого дуба, он вспоминал, как танцевала этот танец покойная Котра. В ее движениях

[21] Кавал — народный духовой инструмент типа свирели.

были и буйное конское скакание во время сечи, и вихреподобный бег жеребят по весеннему пастбищу. «Котра понимала и любила коней»,— думал князь и, чтобы заглушить воспоминания, играл все громче. Вечер был душен, ни один листок не шелохнется. В сгущающихся сумерках лес, будто покрывшись испариной, пахнул гнилью, дубом и, казалось, ждал, чтобы вечерний ветер остудил его.

Поглощенный музыкой и воспоминаниями, князь не слышал крадущихся шагов. Лишь когда толпа еретиков хлынула к нему со всех сторон, он вскочил на ноги, но было поздно. Бородатый человек с разверстой ревущей пастью кинулся на него. Сибин ударом кулака сшиб его и хотел было схватить свой меч, но тот висел на ветке, и князь не успел до него дотянуться. Донесшийся из хижины пронзительный вскрик Каломелы привел его в замешательство, и в тот же миг он был повержен наземь. Толпа с дикими воплями придавила его, князь почувствовал, что ему связывают руки. Тут услыхал он голос своего раба, приказывавшего вязать и Каломелу, а хижину сжечь.

Князя подняли, и он увидел перед собой возбужденную, торжествующую толпу, вооруженную топорами, косами и дубинами,— босую, оборванную, смердящую, увидел глаза, горевшие ненавистью и любопытством, услышал крики сгрудившихся у хижины женщин и стоны Каломелы. Женщины дергали ее за волосы, а кто-то тем временем закалывал жеребца, и несчастное животное мучительно ржало.

Тихик распорядился, чтобы женщины вели Каломелу, а мужчины — князя. Их потащили по лесу, держа за концы веревок, коими они были опутаны. Кто-то крикнул, чтобы не прикасались к дьявольской плоти, и все зашептали «Отче наш».

Окровавленный, связанный, толкаемый в разные стороны, князь не сопротивлялся. Толпа валила через лес напрямик, топча кусты, осыпая Сибина бранью. Его хлестали по спине, некоторые смельчаки пытались проверить, нет ли у него под волосами рогов, иные требовали бросить его в хижину и сжечь живьем. Хижина пылала, громко трещал хворост и папоротник, отблески огня плясали на лицах, одеждах и деревьях. Тихик велел мужчинам остановиться возле одного дуба. Тут князю развязали руки и раздели его догола. Когда с него снимали пояс, что-то упало в молодую поросль, окружавшую ствол, и Сибин догадался, что это нож, которым он пользовался во время еды.

— Глядите, сколь черна дьявольская плоть! — восклицали еретики.

Князь напрягал мускулы и молчал, поняв, за кого они его принимают. Его привязали к стволу, и Тихик приказал всем читать про себя «Благодать».

— Не дозволено нам убивать безоружных врагов, но ты, слуга Нечестивого, отвергнут законом и велениями божьими. Дьявол потешил господарское твое славолюбие, пробудил беса его, и бес этот вовеки не даст тебе помириться ни с царями, ни с рабами, и не узнает душа твоя сладости смирения и благодати веры. Сатана избрал тебя, язычника и нечестивца, для того, чтобы сеять средь нас безверие и раздор и соблазнять ядом ума твоего и надменностью сердца. По закону общины нашей мы осуждаем тебя на голодную смерть и чтоб тело твое пожрали дикие звери, дабы не было погребения ни тебе, ни богоотступнице, с коей венчал тебя Сатана...

Пока Тихик говорил, князь вслушивался в отдаляющиеся голоса женщин. Шум постепенно затихал. Хижина догорала, вокруг разносился запах дыма.

По знаку, поданному Тихиком, толпа отпрянула. Пчеловод, предложивший обмазать князя медом, чтобы наутро его облепили осы и шершни, побежал сказать женщинам, что велено возвращаться в селение.

Выйдя на дорогу, они повернули в обратный путь и громко запели «Да пребудет с нами благодать Господа нашего Иисуса Христа...»

Из селения донесся лай голодных собак, и, как всегда при наступлении ночи, гора перерезала небо могучим своим хребтом, в вековых лесах завыли шакалы и молодые волки, дружно заквакали лягушки и закричала выпь...

25

В селении оставались лишь дети да немощные старцы. Собаки встретили своих хозяев радостным лаем, плакавшие дети смолкали, скотина мычала. Возле молельни Тихик велел блюсти тишину и в покои к Совершенному никому не входить. Там было темно, и он решил, что апостол уже лег. Он постучался и, поскольку ответа не последовало, толкнул дверь. Она распахнулась. За нею никого не было. На грубо сколоченном столе среди чернил, красок и орлиных перьев стояла свеча. Тихик высек огонь и зажег ее. Когда помещение осветилось, он понял, что Совершенный покинул общину. На столе лежали пояс с медными бляшками, покрывало и железный перстень. Рядом был разостлан свежеисписанный пергамент из заячьей кожи. Тихик наклонился к нему и прочел: «Братьям совершенным и верным...» Тогда он вышел к толпе и приказал разойтись по домам и не выходить за порог, а страже всю ночь ходить вокруг села.

— Завтра соберемся снова, дабы решить, как поступить с Совершенным. А теперь ступайте, исполняйте то, что долженствует христианину, и изгоните из душ ваших тень Рогатого.

Толпа разошлась, все еще возбужденная, думая о том, что происходит с ее пленниками в лесу. Одни смеялись, другие были задумчивы и сосредоточены, третьи говорили без умолку. Женщины утешали себя тем, что красота обнаженной Каломелы есть дело дьявола, что истинной христианке она не присуща и не желанна. Однако зависть их и ненависть понемногу улеглись при мысли, что не пройдет и двух дней, как эта красавица станет добычей диких зверей, и они расспрашивали мужчин, каков из себя князь. Воротившись в свои землянки и лачуги, они добросовестно исполнили свой молитвенный долг и даже ночью пробуждались для молитвы. Не будучи вполне уверены в том, что совершили благое дело, они молились искренне и гнали от себя неотступно преследовавший образ обнаженного князя и обнаженной красавицы.

Когда поляна опустела, Тихик сел за стол Совершенного и склонился над черной вязью письмен на пергаменте. Водя своим толстым, загрубелым пальцем по строкам и шевеля губами, он стал по слогам разбирать письмо апостола. Вот что написал тот:

«К вам, Богдан и Драги — совершенным, и к вам, Илия, Драган, Спас и Радул — верным, сеющим спасительное слово во всех концах болгарской, боснийской, греческой, латинской и французской земли, обращаюсь я, дабы известить, отчего снял с себя пояс познания и оставляю общину.

Много дней и ночей провел я в раздумьях и духовных борениях, когда на весах брала верх то чаша Господа, то чаша дьявола, и это терзало привыкший к равновесию разум мой. Совесть упрекала меня в том, что, не зная истины, я поучал других, и тут дух мой заговорил в согласии с голосом плоти, и разум, возроптав, отринул обоих — Сатану и Бога,— дабы наступило в мире и в человеке единство, дабы пресеклась мука раздвоения. Человек сам есть мера поступков своих, толкователь законов своих и установлений. Я верил, что, когда освобожу людей от Бога и Сатаны, по неведению сотворенных людским воображением, люди ура-

зумеют, что они сами человекобоги... И я заменил оба эти измышления силами, кои всякий знает и ощущает — силой сотворения и силой разрушения, изложив все в книге, над коей трудился втайне. Оставляю вам текст ее. Поразмыслите, братья, над словами ее без гнева на меня и без боязни соблазниться неверием. Да осенит вас новая правда, мучительная для сердца, но укрепляющая разум для грядущих прозрений, дабы стали вы достойными продолжателями великих мужей — Бояна Мага и Богомила, первыми открывших, что сила разрушения (сиречь дьявол) побуждает людей измышлять различные божества и именем их истреблять друг друга. Это она внушила человеку желание господствовать над себе подобными угрозой смерти, отчего произошел человеческий хаос с восстаниями рабов — голодных против сытых. Сия угроза миру нашему была предугадана и узнана раньше всех болгарами, жившими в те времена общинами, и они первыми восстали против разделения людей на господ и рабов. Они желали вернуть братство и равенство, коим наслаждались до крещения, дабы восторжествовало оно по всей земле...

А подтолкнула к этим мыслям меня, Совершенного, посвятившего себя гонимым и преследуемым немилостью царской, девица, облаченная по приказу моему в уродливую рясу, какую носят верные. Я сделал это в надежде помрачить предивную красоту ее и невинность, дабы спасти себя и других от соблазна, ибо, братья мои, не существует большего искушения, чем красота вкупе с невинностью. Я полюбил ее любовью тайной и возвышенной, и любовь эта помогла мне новыми глазами взглянуть на мир.

Человек, живущий лишь собой и для себя, идет к смерти, а тот, кто живет другими и для других, идет к вечности. И зная эту истину, я не позволял своей любви к сестре Каломеле взять верх над любовью ко всем людям, ибо страшился, что эта любовь отдалит меня от христиан в общине и от божественного, изъявляющего себя, по разумению моему, лишь как правда о мире и человеке. Я осквернил красоту ее ради спокойствия своей души и верил, что это принесет общине мир и благодать. Но вместе с тем сомневался в постоянстве и твердости ее боголюбия, ибо она была девственницей, не искушенной еще собственной плотью и жившей в неведении о силе ее. Опыт исповедника научил меня, что истинно святыми бывают не наивные, не невинные, а грешники, познавшие силу греха и превозмогшие ее; а невинность, не будучи грехом, есть ложь, ибо она — незнание. Дева бредет по мелководью, у самого берега, а воображает, будто борется с пучиной морской. Великое искушение испытывал я показать ей единство мира, являющего собой переплетение добра и зла,— но затем понял, что это желание мое есть не что иное, как желание вступить с ней в плотскую связь. И я бы сделал это, так как она каждодневно посещала мою келью — помогала переписывать и украшать новое гностическое Евангелие и с усердием и послушанием прислуживала мне. В бдениях и размышлениях моих терзало меня сомнение: уничтожая уродством красоту ее, не уничтожаю ли я чего-то и в собственной моей душе? Ибо красота, братья, есть отражение силы сотворения в природе и в человеке, обещание доброго и вечного, так что, уничтожая красоту моей возлюбленной, не уничтожал ли я и доброе в ней? Дабы прославить ее, как подобает влюбленному и как поступают по весне птицы и всякая живая тварь, что любит и радуется и славит мироздание, я создал догму о сотворении женщины — обвинил, выставил зверем мужчину, себя. И много других догм измыслил и создал я — о бесах идолопоклонства, о вере в загробную жизнь, о суевериях, о человековдохновителях, о скорби человеческой, о собственности, самолюбии и о человеке как о сосуде бессмертия; вы найдете их в книгах моих. Сде-

лалось все это неприметно, от внутренней потребности оправдать свою любовь к деве и восхвалить в ее лице женщину, а стало стройным и разумным и возрадовало меня и удовольствовало разум мой. Ибо с давнего времени искал я истину о человеке, искал страстно. Терниями исколол сердце свое, подавлял зов плоти и вопли души, оковами поста сковал тело, в исступленных молитвах молил Бога открыть мне ее. Но Бог молчал, а был он во мне, в совести, в духе и мысли. Не думайте, братья, что, коль создал я новое учение благодаря любви своей к деве, я должен отречься от него, объявить нечестивым и ложным, внушением дьявольским, как сказали бы несведущие. Напротив, я славлю деву и возношу ей благодарения за то, что красота ее воздействовала на меня, славлю любовь — творца мира и всего сущего — и считаю былые проповеди свои об отречении от всего земного заблуждением от неведения своего и душевной слабости, страхом перед смертью и себялюбием. Ибо ничего нет на свете вне личного, будь оно ложным иль истинным, и все, что человек создает, он создает благодаря мечте своей и благим намерениям, равно как и благодаря заблуждениям и порокам. Это подобно чаше, переполненной сладостью и горечью. Сильные духом вкушают из нее с радостью, черпая любомудрие и силы для будущего...

Возлюбленная не отдалила меня от божественного — напротив, приблизила меня к нему и вдохновила дух мой на поиски его, а сердце — на то, чтобы с радостью переносить горечь истины и мысль о вечности, так что стал я и более славолюбив и более снисходителен к братьям моим во Христе. Ибо после того, как скинул я путы с разума своего, небо и земля уже не противостояли друг другу и мир показался мне единым во всем и ангелогласным. И показалось мне, что я проник в тайну его и сподобился великой радости, дух мой как бы прорвал запруду и воспарил, точно орел. И возликовал я, братья, и возлюбил, но закралась в сердце мое и печаль — от преходящести всего этого, от того, что я смертен, ибо увидел я, что истина, точно мельничный жернов, перемалывает людей и время, дабы приготовить из них хлеба грядущих времен. Не унывайте, братья, да не смущает вас эта печаль! Она человеческая, великая и чистая, понеже глаголет о самопожертвовании и тлении, но поит сердце любовью, а душу просветлением...

В те долгие месяцы, когда писал я труд свой и тьма отступала предо мною, дух мой замирал при мысли, что мне предопределено освободить человека от тиранов и возвестить смерть их. Сладкогласная любовь к жизни вызывала слезы умиления на глаза мои. Я верил, что день, когда объявлю я новое учение свое, будет великим днем для мира сего, у человека прибудет сил и возлюбит брат брата, поелику поймет, что сам ответствен за добро и зло. Я жаждал этого дня, как прежде жаждал удостоиться лицезреть Бога-отца, и посему, переполненный новой правдой, редко показывался среди братьев моих и сестер. Этот день наступил — то была среда, середина недели, и я нарочно избрал ее как рубеж, делящий неделю надвое, дабы стала она днем отлучения от Бога и дьявола и днем рождения нового человека. Увы, она стала днем отлучения моего от братьев-христиан, днем моего развенчания!..

Я изложил, братья, новое учение свое и, пока говорил и читал, видел, как на лицах проступает испуг, недоумение, даже ужас, какой бывает на лицах брошенных отцами детей, привыкших к тому, что их водят за руку. Они не понимали меня и не желали понять, а сами были несчастны, измучены трудом, смиренные, но внушающие страх, ибо не подозревали, что кроется в душах их и на что способны они в своем невежестве и черной доле. Они выслушали меня молча, но в молчании этом мне слышался рев. Меня бросало в жар, и капли пота падали на страницы книги, ибо понял я, что новая истина оборачивается против

меня и не буду я для них более ни владыкой, ни учителем, а, сам того не желая, искусителем. Я не ошибся.

Сила разрушения разбушевалась той же ночью, ибо она была лишь подавлена силой сотворения, но не уничтожена. Женщины затеяли ночные оргии и пели хвалу Сатане, мужчины проклинали Бога, опивались ракией, воровали друг у друга. Оргии растянулись на недели. Мне стало ясно, что члены общины дотоле пребывали в постоянной борьбе с силой сотворения, воображая, будто борются с дьяволом, и ныне набросились на запретные радости, к которым издавна стремились и телом, и духом. А те, кто не поддались чародействам бесовским, восстали против меня и против нового учения. Не понимая происходящего, они устрашились беспорядка, поверили, что через меня и деву дьявол вселился в них, и возжелали возврата к былым заблуждениям... Трудно, братья, любить этот мир и человека, какие они есть, ежели представляешь себе иной, совершенный мир и совершенного человека! Я хотел освободить их от властвующих над разумом их, но они не могут без властителей. Бог нужен им, чтобы было кому прощать их, а дьявол — чтобы служить им оправданием. Демон разногласия сидит в них, и, что ни сотвори им на благо, они не примут того, не извратив, ибо каждый из них сам измыслил себя и вступил в собственные расчеты с Богом и дьяволом и посему не уверует в твою истину. Я же в поисках этой истины ощутил, что любовь моя к ним превращается в жалость, а жалость близка презрению. И если следует сделать выбор, я выберу истину, какой бы она ни была и какое бы зло ни принесла им, поелику знаю, что в конце концов и они придут к ней... Всякая власть кончается неурядицами и произволом, но они не разумеют того, не видят, что уже сделали первый шаг к высвобождению от своих тиранов...

Ныне, братья, остался я в одинокости, понеже и дева покинула меня. Она бежала в лес к преславскому князю Сибину, любодею, язычнику и изгнаннику, к коему я ревновал ее. До сей поры она жила мечтой о небе и ныне кинулась в объятия Сибина, дабы в плоти обрести утешение.

Коль хотите, забудьте, братья, своего Совершенного, апостола Сильвестра, крещенного мирским именем Искрю — раба самого себя, рожденного в Каменце, снявшего пояс заблуждений, дабы опоясаться другим, невидимым поясом истины, и не проклинайте его человеческой гордыни...

Пока я дописываю сии завершающие строки, безумцы по призыву брата Тихика, не ведающего, что для того, чтобы стать совершенным, потребны не только добродетели, но и мудрость, направились в лес, чтобы схватить князя и деву, ибо в заблуждении своем считают их Сатанаиловыми посланцами, виновниками их прегрешений, внушителями нового учения...»

26

Долго водил Тихик пальцем по строчкам, не слыша лая псов и воя шакалов. Тонкие восковые свечи догорали одна за другой. Слова апостола точно молотом били по недоверчивому житейскому уму раба — помрачая его здравый смысл, уводя мысль за земные пределы. Будучи в грамоте самоучкой, он с превеликим грудом разбирал слова и вникал в написанное. Но Тихик упорно стремился понять до конца тайну своего господаря. Добравшись в конце концов до последней строчки, вспотевший от усилий и жары, он облегченно вздохнул и свернул пергамент. «Ложь это и дьявольское наущение, вздор, ибо смешивает добро и зло воедино. Подобной истины быть не может... Желал он, видишь ли, освободить человека от Бога и дьявола, дабы стали они богочеловеками! А какой мерой будем мерить мы дела свои? Всяк станет сам измышлять,

что́ есть добро и что́ зло, как и случилось в общине. Как обеспечить порядок и хлеб насущный?.. Сам признаёт, что не терпелось ему вступить в плотскую связь с нею, а толкует о пташках божьих и проливает над человеком слезы!.. Захотелось тебе, апостол, освободить себя от долга, дабы блудствовать без угрызений совести, и не узрел Рогатого»,— рассуждал Тихик, опровергая одну за другой мысли из послания Сильвестра и радуясь тому, что так легко разбивает их в пух и в прах. «Похваляется, что возликовал и возлюбил, а между тем признается, что, познав истину, предпочел ее благу христиан и что любовь его к ним превратилась в презрение... Нет, не обмануть меня ни совершенным миром, ни совершенным человеком! Лишь Бог совершенен, ему одному ведомо совершенство, а ты прекрасно знаешь, что не будет тебе прощения, хоть ты и украсил свой грех всякими словесами и обольщаешь нас, суля свободу от зла и добра. Бог против тебя — тот, кто не признает в дьяволе подстрекателя ко злу, не имеет нужды и в Боге. Что касается ослепившей тебя красоты, она принадлежит блуднице. С помощью ее Лукавый побудил тебя смешать добро и зло в мерзкое и грязное питие... Не ищешь ты истины для человека, а стремишься перехитрить Господа и низвергнуть его, дабы возвыситься самому... Так Рогатый обманывает вас, господари! Вы ищете спасения от Всевышнего, но понеже он против вас, отрицаете его и провозглашаете богами себя, дабы властвовать над нами во веки веков!»

Быть может, Тихик продолжал бы и дольше разбирать послание апостола, пока не отверг бы все до последней строчки, ибо нет выше наслаждения, чем отвергать чей-либо ум и тем возвышать себя, но его охватило вдруг подозрение, что Совершенный отправился в лес, чтобы развязать Каломелу и бежать с нею. Он задул свечу, запер дверь и, сказав страже, что обходит селение, проверяя дозоры, направился в лес. Над горою сверкнула молния, гулко прокатился гром. Торопливо шагая к лесной дороге, Тихик подумал, что следовало взять с собой кого-нибудь из стражи — иначе как он задержит апостола, если застанет его? По закону общины развязавший осужденного должен понести такое же наказание. Неужто оставить Совершенного на свободе? «Воистину, что вознамеряюсь я сделать?» — спросил себя Тихик и тут же понял, что Рогатый вошел в него: ненависть и ревность превратили былую любовь к ангельской невесте в нечистое любопытство, в смутный умысел против нагой и беспомощной грешницы... «Господи, помилуй!» — простонал Тихик, но не умерил шага, продолжая уверять себя, что идет исполнить закон общины.

Пока он отыскал дорогу, новые раскаты грома сотрясли небеса, обрушив их ему на голову. Но Тихик не испугался, ибо рассудил, что это дьявол, создатель зримого мира, пытается помешать ему. Сатана предостерегает его, чтобы он повернул вспять. Лукавый проник в кровь его, но поскольку он разгадал это, тот поднял бурю и наверняка остановит ее, если Тихик откажется от Бога, развяжет грешницу либо согласится с пагубным учением Совершенного. «Благослови и пощади, Владыко!» — пересохшими губами шептал Тихик. Ноги несли его против воли, взор блуждал. При каждом ударе грома ему казалось, что он видит белую плоть грешницы. Он с удвоенным усердием стал читать «Отче наш», молитву, оберегающую от опасностей в пути, и она вдохнула в него силу и волю. Нет, он шел не для того, чтобы увидеть обнаженную Каломелу, насладиться муками ее и неминуемой смертью,— он шел, дабы прогнать нечестивца-апостола, Сатанаилова раба, чьего языка он опасался, отчего и не хотел судить его в присутствии братьев. Полный ожесточения, он вооружился палкой и вскоре вышел на то место, где они пели «Благодать». Где-то неподалеку находилось дерево, к которому

была привязана Каломела. Тихик прислушался, не донесется ли стон или другой какой звук. Стояла непроглядная тьма, бесновался ветер, а когда проносились молнии, казалось, что лес шатается. И деревья выглядели нечистыми духами. В довершение всего хлынул дождь, и Тихик начал терять надежду, что найдет осужденную. Перебегая от дерева к дереву, он, наконец, достиг небольшой поляны. Тут ему послышался человеческий голос, и вслед затем в ядовито-зеленом свете молнии он увидел высокую фигуру Совершенного, склонившегося над чем-то белым. Не вполне уверенный, что это ему не почудилось, он подождал. Громовые раскаты следовали один за другим, и теперь Тихик явственно увидал, что апостол поднял с земли Каломелу. Он, должно быть, только что развязал ее, и она лежала на его руках без чувств, а может, была уже бездыханна. Совершенный шел прямо на Тихика. Тот ощутил, что ревность душит его, превращается в физическое страдание. Он замахнулся палкой, готовясь обрушить ее на голову апостола. Тут новый раскат грома разорвал небо, молния залила все вокруг ослепительным светом, и в этот миг из чащи выскочил голый князь и ринулся с ножом в руке на апостола. Апостол закричал, выпустил Каломелу и упал навзничь. Глаза у Тихика стали по-кошачьи зоркими — до того ясно видел он, как князь стаскивает одежду с убитого. Он снял с него рясу, потом, стащив подрясник, надел его на себя, завернул Каломелу в рясу, взял ее на руки и исчез за деревьями...

Гроза усилилась, дождь лил как из ведра. «Свят, Господь, свят и пресвят»,— шептал Тихик, отбивая поклоны, убежденный в том, что это вмешательством Господа слуги дьяволовы истребляют друг друга и Совершенного постигла кара. Он дождался, пока стихнет гроза, и, когда над лесом выплыл серп луны, подошел взглянуть на убитого. Апостол лежал нагой. Белое тело его было изящным, худощавым — тело святого и аскета. Тихик заглянул в глаза, которых никогда не видел прежде, и в ужасе отпрянул. Под высоким красивым челом глаза Совершенного были большими, глубокими и страшными, как глаза Сатаны...

Потрясенный, но исполненный уверенности, что находится под защитой божьей, Тихик возвратился в селение и, едва рассвело, повел еретиков к пещере, зная, что князь, не имея ни коня, ни оружия, только там мог найти приют.

27

Медвежья шкура, к счастью, была в пещере, и князь положил Каломелу на нее. Надо было зажечь факел. Не имея огнива, он принялся тереть один о другой сухие прутья, оставшиеся от костра, который он когда-то здесь разжигал. В конце концов сено вспыхнуло, и факел осветил завернутую в рясу Каломелу. У нее был разбит нос, один глаз вздулся чудовищным синим грибом, лоб рассечен кровоточащей раной, губы разорваны. Мокрые волосы, спутавшиеся, выдранные, обмотались вокруг шеи. Женщины кололи и рвали ее вилами, синие следы от веревок переплелись с кровавыми ссадинами и ранами.

Огонь ярости опалил князя. Укрепив факел на стене пещеры, он отнес Каломелу к источнику, чтобы обмыть ее раны. От теплой воды она вздрогнула, руки ее конвульсивно дернулись. Неповрежденный глаз открылся и посмотрел на него — этот немой вопрос придавил князя тяжелей, чем камень. Видно было, что она пытается что-то сказать. Потом вдруг всхлипнула и отчетливо произнесла: «Сжалься, сжалься, Владыко!» Ее обезображенные губы зашептали молитву. Князь понял, что она порывает с ним и возвращается к своему Богу. Он слышал, как она говорила: «Где небо, отчего я не вижу его?.. Ты Сатана, княже, ты отдал

меня змею...» Потом она опять потеряла сознание... Сквозь рокот воды Сибин различил ее хрип, увидел, как изо рта выбежала струйка крови. Он вынул Каломелу из воды, отнес опять на медвежью шкуру и, сняв с себя подрясник, надел на нее, а сверху прикрыл ее рясой.

Дымящий факел бросал свет на его смуглое нагое тело. Сидя на выступе скалы, князь размышлял о том, что предстоит ему. Надо ждать тут, пока Каломела оправится либо умрет. Тогда он наденет рясу, пойдет в ближайшее село, украдет коня и верхом тайно проберется в Преслав. Там он раздобудет все необходимое, возьмет Эрмича и других верных людей, чтобы перебить еретиков и сжечь их селение... Его скованное яростью сердце стало железным, мысль — безоглядная и жестокая — пыталась рассечь нелепую петлю, захлестнувшую его. Несчастная Каломела, воистину ли раскаивалась она, воистину ли считала, что еретики вправе поступить так с нею и с ним?.. Какой слабой тростинкой сотворил ее создатель... Страдания повергают ее в покорность и страх... Мечется между дьяволом и Богом, ища спасения и отрицая то одного, то другого... Готова признать уродство благом, охаять, предать поруганию, растоптать красоту оттого, что красота обесценивает добродетели...

Израненный, полумертвый от усталости, князь дрожал от холода. Неимоверными усилиями высвободился он из пут: перегрыз веревки зубами, а руки освободил благодаря ножу, упавшему к подножию дуба. Когда его привязывали, он нарочно напряг мускулы и выпятил широкую свою грудь, а когда толпа отдалилась, налег на старые, гнилые веревки, сделанные из многих обрывков, и ослабил их.

В ногах у него сейчас блестел нож, обагренный кровью Совершенного. Сибин смотрел на него невидящим взглядом. Вот он и убил наконец ненавистного монаха, святого обманщика, теперь оставалось убить раба... Каломела назвала его Сатаной и змеем, значит, всегда считала его таковым... Да, таков он и есть, ибо не поверил ни в византийского Иисуса, ни в Бога еретиков... Следовало бы верить только в Тангру, не терзающего ума и души, дозволяющего убивать все, что ненавидишь, что не покоряется тебе и грозит тебе гибелью... Нет иного Бога, кроме Бога твоих прадедов, а ты давно, давно порвал с ними... Между тем без них ты ничто! Призрак, чужак, непонятый и далекий...

«Она умрет,— думал князь.— И лучше ей умереть, потому что, выздоровев, она вернется к еретикам либо же пострижется в монахини и будет ненавидеть меня за те беды, которые якобы я навлек на нее. Тогда она превратится в настоящую святошу...»

Факел потрескивал, пламя его лизало камень. Сибин смотрел на обезображенное, еще вчера прекрасное лицо, на поруганную любовь свою... «Любовь? Любовь была к Котре. Здесь же было обладание, нелепая жажда некоего искупления, обман для обоих...»

Светало, а князь по-прежнему сидел, погрузившись в думы, и слушал, как хрипит раздавленная грудь его невенчанной жены. Он встал, приложил руку к ее лбу. Лоб горел.

Снаружи стукнул камешек, в утренних сумерках у входа в пещеру мелькнула чья-то серая тень. Князь схватил нож, затаился в узком проходе и стал ждать. Немного погодя послышался голос его бывшего раба:

— Выходи, слуга дьяволов! Все равно не уйдешь от нас, ни ты, ни сука твоя!

Еретики плотно сгрудились в нескольких шагах от пещеры, угрожающе воздев копья, топоры и дубины. В руках у Тихика было копье князя, пчеловод натягивал тетиву лука, еретик, стоявший возле, размахивал мечом.

Сибин не отзывался.

— Может, нету их тут,— произнес кто-то.

— Дьявол увел.

— А ежели сам дьявол таится внутри? Спаси нас, Господи, и помилуй!

— В пещеру не входить! Подносите камни и бревна! — приказал Тихик.

Еретики затянули свои молитвы, и с вершины скалы покатились камни. Некоторые принялись рубить соседние деревья, заваливая вход в пещеру.

— Проклятье тебе и роду твоему языческому, семя Сатанаилово! — восклицал каждый, прежде чем подкатить камень или бревно.— Проклятье!

Женщины тоже пришли и помогали бросать камни; все глуше доносились до князя удары топоров и стук камней. В пещере стало темно, лишь через верхнее отверстие струился свет, и кусочек неба отражался в голубоватой воде родника.

Заваливали пещеру весь день. Еретики не знали устали. Они пели свою «Благодать», осыпали узников проклятьями и зловещими предсказаниями из своих тайных книг. К вечеру, замуровав пещеру, они, довольные, ушли.

Каломела не приходила в себя, и князь долго сидел над нею, догадавшись об ожидающей его участи. Вылезть в верхнее отверстие было невозможно: скала была высокой и гладкой. Оставался лишь один выход — довериться подземной реке в надежде, что она вынесет его на поверхность. Близился час, когда он либо «услышит шум вечных вод» и навсегда останется под болгарской землей, прячущей в недрах тысячи своих и чужих духов, либо вновь увидит свет солнца. Тем не менее он решил не торопиться и, покуда еще есть силы, попробовать расчистить вход в пещеру. Однако камням не было конца, и, сколько ни отгребал он внутрь, они наползали все такой же плотной стеной. Еретики, по-видимому, насыпали целый холм...

На другой день, когда силы оставили его и он убедился, что старания его бесцельны, он решил вверить себя воде. Снова была ночь, и снова выли в лесу молодые волки. Сибин поднял на руки умирающую Каломелу и направился к пропасти, где рокотала и дымилась подземная река. С устрашающим ревом поглотила темная бездна Калоянова воина, сраженного византийским Иисусом, против которого народ воздвигал своего, еретического Бога, равно неприемлемого для князя преславского.

Тихик привел общинников к телу Совершенного, дабы они сами убедились, что дьявол вошел в него. Он показал мертвые глаза его, и все увидели, что они серые, в темных прожилках, огромные и страшные, ибо из их глубин еще пристально смотрел демон мысли.

— Бог осудил его. Я был прав,— говорил Тихик.— Теперь пойдем в молельню и помолимся.

Покорные и смиренные, еретики усердно возносили молитвы, и каждый исповедался в своих грехах. Прежде чем определить наказания, Тихик вошел в покой Совершенного, взял пояс познания и покрывало и, став перед символами тайн, сказал:

— Кто из вас будет отрицать, что Господь мне определил быть спасителем вашим? Кто будет отрицать, что это я раскрыл, как проник сюда дьявол? Кто иной может объяснить вам страдания ваши и показать, откуда проистекли они? Вы сами видели, каков был Совершенный, как обманывал он вас, а благодаря мне вы погребли слуг Сатанаиловых. Здесь присутствуют братья, удостоенные звания верных. Пусть скажут они, что сделали для вашего спасения. Они стояли в стороне, меж ними и

посейчас есть готовые поверить в новое Евангелие и поддаться сомнению. Братья и сестры, веруйте в царствие небесное и никогда не пытайтесь узнать, как выглядит оно вблизи, ибо Сатана поймает в свои сети умы и души ваши. Предопределено человеку бороться с дьяволом до дня Страшного суда, а не судить, ропща, о помыслах божьих. И коли сам Бог избрал меня для спасения вашего и вразумил меня, не означает ли это, что он дал мне познание и я должен опоясать себя этим поясом?

— Истинно говоришь ты! Стань владыкой нашим, посредником между нами и Богом! — отвечали еретики.

— Тогда пусть братья верные рукоположат меня в совершенные,— сказал Тихик и сам опоясался поясом познания.

— Веди нас, пастырь и наставник, и храни нас от чародейств бесовских. Веди нас, карай за грехи наши и очищай от них. Стереги души наши от искушения, а тело от злых духов! Веди нас к царствию небесному! — взметнулся нестройный хор голосов, и верные выступили вперед, чтобы совершить таинство рукоположения.

Так брат Тихик сподобился власти во имя разума и благополучия общины и спрятал за покрывалом лицо, хотя все знали, какое оно. Но с того дня он жил в постоянном страхе, что Сатана помог князю выбраться из пещеры, так как долгое время ходила молва, что видели преславского князя — он бродит по болгарской земле то как страшный разбойник, то как несчастный, одинокий странник, неустанно ищущий своего Бога...

ПОСЛЕСЛОВИЕ

В декабре 1969 года я впервые побывал в Болгарии.

Сейчас, только что прочитав «Легенду о Сибине, князе преславском» Эмилияна Станева, с которым встречался в Софии, я вспоминаю те зимние дни — то белые от выпавшего за ночь снега, то мглистые, с легким туманом над сырой землей, то солнечные, в ржавчине еще не облетевших дубов... Я вспоминаю коричневато-серые, частью осыпавшиеся камни средневековых церквей и крепостных стен на каменистых склонах, поросших пересохшей уже травой, кипящую среди камней воду горных речек, тихие благодатные долины с протянувшимися между деревьями дорогами и обнаруженными в земле остатками величественных городов, похожими на выложенные из каменных блоков гигантские архитектурные планы.

Я побывал в древней Плиске и в Великом Тырнове, проехал где-то рядом с Преславом, вынужденный ради сокращения пути миновать эту одну из трех древнейших столиц Болгарии, и в моем воображении, сменяя друг друга, возникали эпохи — фракийская, протоболгарская и славянская, эпохи великих царств, княжеских междоусобий, еретических движений, жестоких войн с Византией, один из императоров которой зловеще именовался Болгаробойца, времена турецкого владычества и освобождения от него, пленительный болгарский девятнадцатый век — его костюмы и утварь, его провинциальные интерьеры, отзывающиеся Востоком.

В состоянии некоторой одержимости всем этим, восхищенный картиной уместившихся в две недели тысячелетий сменявших друг друга эпох и культур, я и пришел к Эмилияну Станеву. Меня встретил невысокий и сухощавый пожилой человек, крепкий, весь как бы состоящий из острых углов, с быстрыми и резкими движениями, похожий на одну из тех больших ловчих птиц, чучела которых украшали смежную с кабинетом комнату.

Я уже знал о нем, что он знаток и любитель природы, охотник, автор рассказов о животных и провинциальной жизни, обратившийся к историческим темам, сперва из новой истории, а затем и средневековой.

Последнее и побудило меня искать с ним встречи.

Мы проговорили три часа, хотя уславливались об одном часе.

Разговор шел через переводчика, так как я не знаю по-болгарски, а Станев по-русски только читает, однако это обстоятельство, представлялось мне, не мешало установить, в чем причина и каков характер нашего интереса к истории. Сейчас, прочитав «Легенду о Сибине», я утвердился в том, что правильно понимал Станева. Обращаясь к прошлому, писатель, если он живет одними мыслями со своими современниками, ищет в нем урок на будущее, не помышляя о реставрации — ни архитектурных стилей, ни отживших идей и обычаев, ни тем более общественных отношений.

Дело даже не в том, что это невозможно,— это безнравственно.

Помнится, однажды я разговаривал на эти темы с Дмитрием Сергеевичем Лихачевым, известным знатоком древнерусской культуры, и мы согласились с ним, что вся жизнь предшествующих поколений была устремлена в будущее, поэтому было бы оскорблением их памяти полагать, что либо этого стремления не было вовсе, либо оно было движением в никуда.

С этим тесно связано и то, что писатель не ищет в прошлом своего народа некоего знака исключительности, избранности его среди других народов, разумеется, если он гуманист,— но можно ли в противном случае считать его писателем, совместимо ли человеконенавистничество с искусством, которое по самой сути своей есть служение людям!

Вымышленные персонажи «Легенды о Сибине», поставленные автором в центр событий, живут и действуют среди исторических лиц, в определенную историческую эпоху, хотя и соединившую в себе черты несколько отстоящих друг от друга эпох, что, не нарушая общей правдивости картины, позволяет автору подчеркнуть некоторые дорогие ему мысли.

Со времени хана Аспаруха, во главе протоболгарской орды пришедшего из степей Приазовья на Балканы, где протоболгары смешались с обитавшими уже здесь славянскими племенами, и до времени, когда на троне в Тырнове сидел царь Борил, при котором созван был специальный собор против богомилов (собственно, центральное историческое событие «Легенды о Сибине»), прошло чуть ли не пять с половиной столетий. Едва ли живы были в начале XIII века даже в сознании таких своеобразно мыслящих и тонко чувствующих людей, как преславский князь Сибин, протоболгарские религиозные мифы, едва ли возможно было, как это случается с Сибином, чувствовать себя в ту пору чуть ли не воином Аспаруха или Крума, а голубоглазую и русоволосую девушку Каломелу, которую мать прочит ему в жены, пренебрежительно именовать «славянкой».

Что до конфликта между протоболгарским мифом и византийско-христианской религией, то академик Петр Динеков, специалист по древнеболгарской культуре, в своем послесловии к болгарскому изданию «Легенды», отмечая этот анахронизм, пишет, что конфликт перенесен в более позднюю эпоху из «соображений художественного удобства», но, по существу, не искажен. Эмилиян Станев, по словам Динекова, «поставил вопрос об «этногенезисе» болгарской души (если можно так выразиться)».

Я думаю, что и ощущение Сибина себя «болгарином», а Каломелы — «славянкой», естественное во времена хана Крума, не говоря уж о временах Аспаруха, тоже перенесено, «из соображений художественного удобства», в начало XIII века, когда оба они были детьми одного народа.

Мне почудилось здесь некое двуединство.

Напомню, что Сибин, поборов инстинкт крови, и Каломела, преодолев навязанный ей фанатиками богомилами аскетизм, полюбили друг друга и, подобные прародителям человеческим, живут счастливые среди природы.

Нечто от первых людей есть в этих сценах плотской любви двух молодых существ в первобытном лесу. И еще они напомнили мне, эти сцены, о двух других любовниках, детях другой страны, столь же гонимых фанатиками, столь же прекрасных и свободных; о них сказано было создавшим эту легенду писателем, что они — дух и сердце своего народа.

Правда, столетие, прошедшее между временем создания «Легенды об Уленшпигеле» и «Легенды о Сибине», многое изменило в сознании человечества. Сибин взбунтовался не только против официальной церкви, в данном случае византийской, но и против борющихся с нею еретиков — последователей жившего в X веке священника Богомила, ставших именоваться богомилами. «Богомильство появилось в Болгарии как оппозиция феодальному классу и церковной идеологии...— пишет профессор Димитр Ангелов.— По своей сути богомильство было социальным учением, направленным против феодального гнета. По форме оно было ересью, то есть религиозным учением, выступавшим против официальной церкви — главного оплота существовавших общественных порядков... Богомилы были дуалистами. Они считали, что во вселенной существуют два начала — добро и зло». Небесный мир и душа человека были, по их мнению, творением доброго начала, а видимый мир и тело человека — злого, то есть Сатанаила. Богомилы изображены Станевым сильными духом, самоотверженными мучениками и злобными невежественными фанатиками, в чем я не вижу противоречия.

Сибин выступает против богомилов как язычник, придя к мысли, что верить следовало бы только Тангру. Отрекшись от беспощадной в своей нетерпимости византийской церкви и не приняв также исступление нетерпимой богомильской ереси, Сибин мог опереться лишь на исторический опыт, то есть на те верования, какие уже были, но не на те, какие будут. О прошлом до него доходили предания, будущее же было темно.

Истерзанный борьбой, нагой и прекрасный мужчина, взяв на руки полуживую, нагую и прекрасную подругу свою — дух и сердце народа,— кидается в стремительный подземный поток — не гибнет, не умирает, но исчезает, как это случается по народной традиции с героями мифов.

В сущности, это утверждение бессмертия народа.

ЕФИМ ДОРОШ

В. ИВАШЕВА

СОВРЕМЕННЫЙ АНГЛИЙСКИЙ ФИЛОСОФСКИЙ РОМАН

1

На литературном небе Великобритании сумеречно сегодня, как бывает перед заходом солнца. Бывает, правда, и перед рассветом.

Я отнюдь не склонна зажигать сигнал тревоги и даже, как иные пессимисты, говорить о наступившем кризисе английской культуры, связывая при этом сегодняшний — мне думается, временный — impasse непосредственно с экономическим кризисом в Англии или даже с дрейфом ее в сторону США. И все же в «климате» Западной Европы обнаруживается похолодание, и оно отражается на информации (вернее было бы сказать—дезинформации), получаемой писателями через печать, радио и другие каналы. Все это не может не сказаться в творчестве людей разных поколений, разной ориентации. Развитие идет, но в обстановке тревоги, колебаний, часто блужданий на ощупь.

Вторая половина XX века — может быть особенно 60-е гг.—время величайших общественно-политических и идеологических противоречий, время стремительного развития науки о человеке, время огромных открытий в этой области. Философская мысль на Западе бьется в сетях этих противоречий. В кругу этих противоречий оказываются и те английские писатели, которые поставили перед собой нелегкую задачу осмыслить место человека в мироздании. Решить проблему, которую они называют проблемой of the human predicament [1].

Английские писатели, как и все мыслящие люди мира, задумываясь над тем, куда ведет процесс мировой общественной борьбы, не могут не ставить перед собой и других острых вопросов нашей эпохи.

Какие просторы и бездны откроет человеку в будущем порожденная им самим наука? Какие горизонты открыла и еще откроет, в частности, нейрофизиология в изучении механизмов мышления? Вживление электродов и электрическая стимуляция... Управление поведением, настроением, поступками людей на расстоянии. Химическое воздействие на интеллект и функции мозга... Зыбкость многих представлений, которые еще так недавно казались незыблемыми, учение о материи и гигантские сдвиги в физике, например, ощущаются в концепции мира многих художников Запада, и в частности Англии. Ученый-физик Х. Моргенау сказал в одном публичном выступлении: то, что еще недавно было, казалось, непререкаемой истиной в науке, перестало сегодня быть таковой. «...Современный ученый научился тому, что даже открытые им постулаты подвергаются проверке. Вся наука находится в состоянии движения. Сегодня мы знаем, что на периферии современного знания уже существует немало таких фактов, которые еще не поняты, еще туманны, но рано или поздно будут осмыслены научным методом и научным мышлением».

[1] Человеческого состояния, человеческой доли *(англ.)*.

Изучение литературы Запада, а в данном случае литературы Англии, приводит к убеждению, что вопросы, которые человечество не ставило, да и не могло еще ставить перед собой сто, даже пятьдесят лет назад, во весь рост встали перед ним сегодня и не могли не получить отражения в восприятии и воспроизведении мира современными художниками. Если не всеми, то очень многими. Многие писатели ощутили невозможность писать, оставаясь в рамках освоенных жанров. Раздвинулся круг тем, раздвигаются, меняясь, и формы художественного отражения.

В интервью парижскому еженедельнику «Фигаро литтерер» Эрве Базен в конце 1968 года сказал, делясь мыслями о проблемах современного романа: «Нельзя сказать, что современный роман часто касается основных проблем нашей эпохи. Они главным образом ставятся в различных эссе, в кино и других соперничающих с литературой искусствах. В течение пятнадцати последних лет определенная романическая мода даже приказывает нам совсем избегать этих проблем.

А их много. Это и вопрос о молодежи и проблеме старости. Налицо нечто, что можно было бы назвать старческой немощью Европы,— кризис авторитета культуры и чудовищный разрыв между литературной мыслью, плетущейся в хвосте, и мыслью научной, переживающей сейчас бурный расцвет... К этому прибавляются голод и сверхрождаемость — уже сегодня это крайне серьезные проблемы».

Это одно из проявлений охватившего многих интеллектуалов стремления осмыслить тот мир, в котором они существуют,— его законы, его сложнейшие противоречия, человека и его будущее, человека и его возможности.

«Мы знаем, каковы мы сейчас; мы не знаем, какими мы могли бы стать»,— писал В. Годвин в своих «Опытах». Так, еще на заре XIX века автор «Политической справедливости» и «Калеба Вильямса», убежденный в безграничности тех способностей совершенствоваться, которые таятся в человеке, утверждал, что люди могли бы стать «гигантами мысли», если бы «догматическая мысль не сводила их до уровня карлика».

То, о чем мог лишь догадываться Годвин, умерший свыше ста лет назад, стало реальностью в наши дни. Но, как верно заметил недавно Ю. К. Мельвиль, буржуазная философия, остро поставив «проблему человека» в виде философии жизни, философии существования, фрейдизма и т. д., смогла лишь вывернуть наружу «глубинные пласты психики «отчужденного» человека современного буржуазного общества и показать раздирающие его мучительные противоречия. Она оказалась бессильной разрешить эти противоречия и внести какое-либо успокоение в тревожную душу человека. В этих условиях философия, ориентирующая на теологию и религию (с ее испытаниями приемами утешения и умиротворения), легко может показаться надежным укрытием от бурь нашей эпохи».

Заявив о себе к середине 50-х годов (1953—1954), философский роман стал сегодня в английской прозе едва ли не ведущим жанром — в нем выступают такие крупные писатели, как Уильям Голдинг, Айрис Мердок, Колин Уилсон. Философский подтекст присутствует и в таких произведениях, которые не назовешь безоговорочно философскими — в некоторых романах Уэйна («Меньшее небо»), в пьесах Болта («Человек для всех времен» и особенно «Нежный Джек»), Стоппарда («Розенкранц и Гильденстерн»), пьесах П. Никольса и в десятке других.

Все эти писатели находятся в пути, все ищут. Их поиск далеко не прост, дороги, по которым они идут, не бывают прямы. Одни вращаются в замкнутом круге, другие из него вырываются, чтобы снова вернуться «на круги своя». И лишь немногие смело находят новые решения, хотя и эти решения проблематичны и требуют большого и длительного домысливания.

А. Мердок — философ по специальности. Как бы причудлива ни была художественная ткань почти всех ее книг, одни больше, другие меньше обнаруживают воздействие вполне определенных философских систем и воззрений. Более того, Мердок сама за последнее время называет свой роман философским или, во всяком случае, подчеркивает его философскую направленность.

Колин Уилсон до недавнего времени не выступал преподавателем философии[2], но до сих пор считает себя прежде всего философом[3]. Из 25 книг, опубликованных им за 14 лет (с 1956), семь — философские трактаты и эссе[4].

Несколько по-иному, правда, обстоит дело с Голдингом. Он отнюдь не считает себя философом и упорно отказывается назвать своей ту или другую философскую систему взглядов. Вместе с тем его

---

[2] К. Уилсон вел педагогическую работу в США с начала 1967 до начала 1969 года.

[3] В одном из своих писем автору данной статьи Уилсон (12.I.1968) отметил: «Хотя я и опубликовал девять романов, я не считаю себя прежде всего писателем: здесь — в Америке — активно интересуются моим творчеством только психологи-гуманисты и нейрофизиологи». Р. Дниллард в статье «Towards an Existential Realism» («The Hollis Critic», Virginia, 1967) пишет: «Конечно, К. Уилсон считает себя прежде всего философом, и большее число его книг принадлежит к числу философской литературы».

[4] «Посторонний» («The Outsider», 1956), «Религия и бунтарь» («Religion & the Rebel», 1957), «Сила мечтать» («The Strength of Dream»), «Век поражения» («The Age of Defeat»), «Происхождение сексуального импульса» («Origins of the Sexual Urge»), «За посторонним» («Beyond the Outsider», 1965) и наконец «Введение в новый экзистенциализм» («Introduction of the new Existentiallism», 1966).

В. ИВАШЕВА

СОВРЕМЕННЫЙ АНГЛИЙСКИЙ ФИЛОСОФСКИЙ РОМАН

творчество носит совершенно явственно философский характер.

Названные прозаики—крупнейшие из тех, кого можно считать представителями английского философского романа нашего времени,— ничем не похожи друг на друга. У них разный склад мысли и разный тип дарования, их привлекают различные проблемы, различна и их тематика. Но присматриваясь к развитию Мердок, Уилсона и Голдинга за последние пятнадцать лет, не можешь пройти мимо одного интересного обстоятельства: намечаются два полюса, к которым пришли сегодня, противостав друг другу, Уилсон и Голдинг. Тот из этих двух полюсов, на котором стоит Голдинг, еще недавно притягивал к себе и Мердок. Сегодня она оторвалась от него, двигаясь в противоположном направлении. Меньше всего я имею в виду ту или другую из философских, а тем более политических систем. Это, скорее, полюса мироощущения, хотя мироощущение, понятно, неотделимо от мировоззрения.

Проще всего было бы сказать: полюс пессимизма и полюс оптимизма. Но если истина всегда проста, не всякое простое определение верно. Поэтому скажем пока в общей форме — это полюса отношения к human predicament.

2

Особое место занимает сегодня в английской литературе Голдинг. Завершая объективно очень старую идейную традицию, восходящую к теологам, он поддерживает в то же время, хочет он того или нет, другую традицию — новую или упорно именующую себя новой. Не следует забывать, что писатели английского «авангарда» (которых, заметим, в Англии сегодня немного) именуют себя представителями Contemporary (или Modern) art, что в переводе означает не так современное, как модернистское искусство.

Уильям Голдинг не претендует на положение лидера модернистов, но ведущим принципом своего творчества модернистов чрезвычайно устраивает. В 1962 году, будучи в Америке, писатель прочел лекцию в Калифорнийском университете. Он повторил ее затем в ряде университетов Соединенных Штатов. Здесь он излагал основные мысли, положенные в основу романа «Повелитель мух» (включенного, кстати, в список обязательной литературы для студентов американских университетов), и по существу дал ключ ко всему своему творчеству или во всяком случае к философии, которая положена в основу того, что он писал. Эта лекция, опубликованная им в 1965 году в сборнике статей разных лет «Горячие врата», была названа им «Притча». Притчами — реже (и гораздо менее охотно) мифами — называет Голдинг все свои книги, подчеркивая тем самым их назидательный характер, их смысл как поучений. И действительно, все, что писал Голдинг до сих пор (включая «Пирамиду»), было серией очень непохожих друг на друга по тематике, порой даже по манере письма аллегорических притч или философских басен (fables).

«Быть баснописцем (a fabulist),— пишет Голдинг в статье «Притча»,— неблагодарная задача. Почему это так, достаточно ясно. Баснописец — моралист. Он не может рассказать о чем-либо, не запрятав в свой рассказ то или иное поучение... По самой природе своего ремесла баснописец, таким образом, дидактичен, стремится поучать».

Служа на флоте во время второй мировой войны, Голдинг встретился лицом к лицу с фашизмом и не мог потом никогда забыть его чудовищные зверства. Говоря о злодеянии нацистов, Голдинг подчеркнул: «Их совершали в отношении себе подобных образованные люди — доктора, юристы, людн, за спиной которых лежало длительное развитие цивилизации, совершали умело, холодно, со знанием дела». Озверение недавно еще как будто цивилизованных людей привело его к убеждению, хорошо знакомому по множеству книг и пьес западных авторов: это убеждение в исконной болезни человечества, исконном проклятии «человеческой природы». Самый ортодоксальный тезис первородного греха!

То, что можно уже назвать «голдинговской темой» (или, может быть точнее, «голдинговским мотивом», поскольку темы из романа в роман менялись), родилось в первой нашумевшей книге писателя «Повелитель мух» — книге об одичании цивилизованных английских подростков, оказавшихся в результате кораблекрушения на пустынном острове посреди океана.

Голод и условия жизни на острове очень скоро разбудили в этих школьниках разных возрастов страшные инстинкты — жажду крови, жестокость, даже садизм, все то (хочет сказать автор), что якобы «от природы» «присуще» человеку и лишь более или менее далеко спрятано в каждом самом цивилизованном человеке нашего цивилизованного XX века.

Голдинг так комментирует замысел своей ключевой книги: всякий, кто прошел через годы разгула фашистского зверства и не осознал, «что человек творит зло, как пчела творит мед, либо слеп, либо лишен разума». Задачу свою, как писатель, он видит в том, чтобы помочь человечеству понять истину о природе человека. Он говорит о «врожденной» склонности человека к жадности, жестокости, эгоизму. «Я понял тогда,— пишет Голдинг,— что человек болен, притом не какой-то исключительный человек, а самый обычный». «Многим из вас мысль эта может показаться общим местом, хорошо знакомой богословской истиной,— продолжает он.— Человек в тисках первородного греха. Природа его греховна, он всегда на краю гибели. Я принимаю богословие и признаю, что все это общеизвестно, но общеизвестное обычно верно».

Цивилизованные школьники пытаются построить цивилизацию на острове, но она

рассыпается в прах, потому что мальчики поражены страшным недугом — принадлежностью к роду человеческому. Голдинг завершает свое рассуждение словами: если приходит беда, причина тому вовсе не эксплуатация одного класса другим. Причина ее просто-напросто в том, что «человек по природе своей зверь... и единственный враг человека таится в нем самом».

Голдинг пытается убедить читателя в том, что исходный тезис его романа может быть положен в основу истолкования всей истории человечества[5]. Если это учесть, не останется сомнений в характере его философии. Натурализм образов первого романа подчеркивает биологическую концепцию человека, что нисколько, конечно, не противоречит теологическому принципу первородного греха. Итак, человек — зверь по своей природе, обреченный в своем «человеческом состоянии» (human predicament). Единственное, на что он может надеяться,— милосердие божества.

Голдинг по разным поводам пытался объяснить задачи своего искусства. Задача его, говорил и писал он неоднократно,— фиксировать (прямо или аллегорически) все темное, что он видит и видел вокруг себя, показывать ту бездну мрака, в которую повержены люди, но, показывая, и предостеречь, а следовательно, в конечном итоге, исправить. Так говорил Голдинг, отвечая на анкету о задачах современных писателей в 1957 году, так говорил он и в 1963 году на встрече Европейского сообщества писателей в Ленинграде. Несколько менее четко он повторил это в своем манифесте «Притча». Правда, в своей лекции перед американскими студентами Голдинг уже высказал ту мысль, которую автору данной статьи пришлось услышать от него в самом конце 1966 года: когда книга написана, каждый имеет право вкладывать в нее свой смысл. «Я больше не верю в то,— читаем мы в конце статьи «Притча»,— что автор имеет право patris potestas[6] над созданными им характерами. Коль скоро книга вышла из печати, она достигла совершеннолетия, автор уже не имеет на героев прежних прав, более того, он, может быть, знает о них меньше, чем критик, встретившийся с ними впервые, и видит их вовсе не такими, какими хотел их сделать автор, а такими, какие они есть в действительности».

В статье «Цена видения», помещенной в 1964 году в «Тиэлэс» — литературном приложении к «Таймс»,— мы читаем: «В своем убеждении, что писатель имеет право делать обобщения относительно смысла жизни, мистер Голдинг стоит в наше время особняком. Поучая нас, он преследует свои цели. Он моралист в наш безнравственный век».

Философский смысл творчества Голдинга превосходно определил Дж. Уэйн, подметивший его теологическую основу. Восторженно отзываясь о художественном мастерстве писателя в романе «Шпиль», Уэйн писал: «Эдмунд Уилсон недавно заявил, что слово «бог» устарело и должно быть отброшено теми, кто не нуждается в этом понятии для моральной поддержки... Большинство людей сегодня вообще не знает, что делать с понятием «бог». Но в нашей культуре вопрос пока так не стоит. А потому совершенно закономерно, чтобы современная литература включала в свой спектр и таких писателей, которые вооружены полной и безоговорочной верой в божество».

Заслуживает внимания очень своеобразная линия развития Голдинга. За 13 лет (1954—1967) им написано шесть романов. Все они как будто весьма различны: «Повелитель мух» — эта притча о «природе человека»—и «Наследник»—художественное изложение голдинговской философии истории; «Воришка Мартин» — аллегория борения души с богом — и «Свободное падение» — дискуссия по поводу основного тезиса экзистенциализма о свободном выборе; «Шпиль» — эта повесть о земной цене выполнения высокой мечты, божественного «видения», содержащая множество смысловых планов,— и более заземленная «Пирамида»... Вместе с тем одно — и главное — не меняется, что бы ни говорил по этому поводу сам автор. Философия всех его книг — философия безрадостного истолкования «human nature», человеческой природы. Все книги Голдинга — мощные по силе красок и разнообразию музыкальной оркестровки, но беспросветно мрачные иллюстрации одной — всегда негативной — мысли. Сила художественного дарования Голдинга неоспорима, философия его страшна. «Жизнь,— говорит один из персонажей «Пирамиды» Де Трэси,— возмутительный фарс, поставленный при этом плохим режиссером»...

Зверь живет в школьниках, попавших на одинокий остров, и в людях, обитающих в маленьком провинциальном городке, название которого содержит горький каламбур. Всюду один тупик обреченности и лейтмотив один и тот же, иногда звучащий громко, иногда приглушенно, но всюду одинаково.

Принято считать «Повелителя мух» ключевым романом Голдинга. Но мрачная философия истории писателя наиболее мощно развернута во второй его книге — как всегда, небольшой по объему, но проду-

[5] В 1957 году, отвечая на анкету о степени ангажированности писателя по отношению к той эпохе, в которой он живет, Голдинг писал: «Я считаю, что человек страдает от ужасного непонимания своей природы. Предлагая свою точку зрения, я надеюсь, что в ней содержится нечто от истины. Я чрезвычайно озабочен дилеммой, которая стоит перед человеком». Ответ Голдинга был недвусмысленным: задача писателя «показать человеку, что он собой представляет перед лицом вечности».

[6] Отцовской власти (*лат.*).

манной и наиболее «плотной» по замыслу и исполнению.

Превосходный музыкант (в рабочем кабинете Голдинга стоит всегда открытый рояль, и, работая над книгой, он, по собственному признанию, нередко кладет перо и садится за исполнение произведений своих любимых композиторов), автор «Наследников» создал грозную симфонию, которую завершает мрачный похоронный марш.

...Неизвестно откуда прнходят на землю, обитаемую неандертальцами, новые люди. Хитрые, жадные, злые. Там, где жнли безобидные, простодушные первобытные существа, пользуясь дарами природы, «новые» научились подчинять природу себе, убивая животных и себе подобных, упиваясь при этом запахом и видом крови. Эти более совершенные представители человеческой природы — шаг вперед на путях развития цивилизации, мрачная пародия на homo sapiens и, в трактовке Голдинга,— шаг вперед на пути к злу.

Книга «Наследники» — страшная притча о бессмыслице человеческого бытия, мрачная констатация безрадостной эволюции человечества. Художественное воплощение этой филоссфии мрака очень глубоко: прочитав книгу, нельзя не содрогнуться. Но в то же время, глубоко противясь ее философии, нельзя ее и забыть. Образы неандертальцев, трогающие своей незлобивостью, своеобразной прнмитивной человечностью, превосходно удались Голдингу, но по-настоящему роман начинает волновать и тревожить тогда, когда появляются злобные пришельцы, несущие с собой мрак и смерть, когда развертывается вакханалия их разбушевавшихся ннстинктов: новыми людьми, пришедшими в район озер и гор, где обитают первобытные, владеют ненависть и жестокость.

В финале книги Голдинг подводит итог. Красно заходящее солнце, красны пятна, брошенные им на землю. Красны лица новых людей, запятнавших себя кровью. Мрак ночи, ползущий со всех сторон, постепенно обволакивает всех — мертвых и живых — своим плотным покровом. Управляя челном, один из «новых» точит нож. Раньше или позже он всадит его в спину вождя, которому сейчас служит. Туами вертит клинок, а мрак, спускаясь на землю, становится все гуще. Но к чему было точить этот клинок против одного человека, размышляет кормчий. Кто наточит нож против неизъяснимого мрака мира? Туами смотрит вдаль, силясь разглядеть, что ожидает его на том берегу. Озеро велико, как море, и от воды его исходит зловещее сияние. И трудно разгадать, будет ли этому мраку конец...

Голдинг отвергает наличие в его творчестве экзистенциалистских мотивов. Вместе с тем в книге «Свободное падение» влияние экзистенциализма распространяется не только на композицию книги, фрагментарную, как в большинстве романов экзистенциалистов. В ней с первых страниц идет внутренний спор о границах свободы человеческого выбора, и этот спор получает наибольшее напряжение в эпизоде фашистского концлагеря, когда Монтджой, не выдержав пыткн, готов выдать все и всех, рассказать даже о фактах, о которых не имеет ни малейшего представления. Впрочем, Голдинг говорит и о своем «вольнодумстве», о субъективности своего подхода к понятию «бог», хотя религиозная основа мысли писателя очевидна.

По-разному толковали (и на Западе, и у нас) символический смысл образов в книге «Шпиль». Сам Голдинг в беседе с автором данной статьи еще в 1966 году подчеркивал «земной» смысл финала книги. Джослин — фанатик и религиозный мечтатель, воздвигнувший шпиль над собором, построенным на болоте, умирает, ощутив перед смертью красоту окружающего мира — яблони в цвету, женщины, которую он любил или, точнее, желал. Так, конечно, можно интерпретировать бессвязные слова, произносимые перед смертью безумным уже монахом. Но смысл книги намного сложней и противоречивей. Как понимать подвиг (и преступление) Джослина — строительство, стоившее такого количества жизней, строительство «на песке»: в данном случае на жидком, гнющем, колышущемся болоте?

Его можно, конечно, понимать как творение человеческого гения и труда, выстоявшее, несмотря на жертвы, которых оно стонло, несмотря на те природные условия, которыми пренебрег «безумец Джослин». Тем более что символика Голдинга в романе многослойна и обладает множеством (в некоторых случаях противоположных) смыслов. Недаром строительство шпиля называлн «безумием Джослина», но сам Джослин — религиозный фанатик и мечтатель — называет его «безумством бога»: бог толкает человека на «безумные» дела во славу всевышнего. Именно так понимает свою задачу настоятель Джослин, осуществляя строительство, вопреки воле строителей и клириков, вопреки очевидной невозможности.

Не следует забывать, что уже с самого начала Голдинг подчеркивает и показывает греховность природы Джослина. Не всегда отдавая себе в этом отчет, Джослин, даже осуществляя «дела веры», думал о земном. Недаром в книге столь очевиден фаллический символ. Джослин желает женщину, называя ее дочерью во Христе; он пренебрегает человеческими жизнями не только «во славу бога», но и во славу своего земного тщеславия. Помыслы его порой «темны», порой мрак в его душе (глубинах его подсознания) борется со светом. В нем — Джослине — сильна «человеческая природа», силен живущий во всех людях зверь. Преодолеть его удастся Джослину лишь благостью бога, которому он служил.

Аллегория Голдинга — дерево в цвету — многозначна. Шпиль, воздвигнутый Джослином, не просто чудом вознесся ввысь; в нем слиты земля и небо, люди и ангелы — нравственное падение и вера. И, быть мо-

В центре высилось первоначальное ядро, подготовленное для немецких военнопленных. Строения здесь были прочные и выглядели вполне пристойно. В лучших из них разместились службы лагерной администрации. Дальше, насколько хватал глаз, шли вереницы бараков — из досок, из гофрированного железа, из просмоленного картона. Это напоминало зону нищеты и отверженности, опоясывающую большие города. Лагерю требовалось все больше и больше места.

Больше места для иностранцев. Для спекулянтов. Для франкмасонов. Для кабилов. Для противников Легиона. Для евреев. Для крестьян, уклонявшихся от поставок. Для цыган. Для рецидивистов. Для политически неблагонадежных. Для подозреваемых в неблагонадежности. Для тех, кто был правительству неугоден. Для тех, чьего влияния на народ опасались власти. Для тех, на кого поступили доносы, но не нашлось улик. Для тех, кто отбыл срок наказания, но кого не хотели выпускать на волю. Для тех, кого судьи отказывались судить и кто был наказан за свою невиновность...

Их были сотни и сотни — людей, арестованных у себя дома, на работе, на улице, в их будничном бытии и отправленных в лагерь одним росчерком чиновничьего пера, посаженных на неопределенный срок, свирепо выброшенных из жизни; так море швыряет на илистый берег обломки кораблекрушения, и потом до них уже не могут добраться лапы прибоя.

Для охраны этих людей, число которых с каждым днем возрастало, требовались другие люди, все возраставшее множество других людей. Их набирали случайно, в спешке, без всякой системы, вербовали среди безработных самого низкого пошиба, среди всякого сброда, среди прощелыг и проходимцев, среди алкоголиков и дегенератов. Они щеголяли в своих собственных отрепьях, украшенных формальными атрибутами власти: беретом и нарукавной повязкой. Платили им мало. Но эти подонки вдруг ощутили свое всемогущество. Они проявляли страшную жестокость. Они выколачивали деньги буквально изо всего: из голодного пайка заключенных, который они урезывали наполовину, из табака, из мыла, из любых хозяйственных мелочей, которые тут же перепродавали за чудовищную цену. Воздействовать на охранников можно было одним лишь способом — используя их продажность.

Во время прогулки Жербье договорился с двумя из них, что они станут его поставщиками. Он обменялся несколькими словами и с заключенными, которые валялись возле своих бараков. У него было такое чувство, что перед ним плесень, нечто вроде бурых грибов в человеческом образе. У этих голодных, ничем не занятых, небритых и немытых людей, дрожавших от холода в своих красных куртках, были тусклые и пустые глаза, безвольные вялые рты. Жербье подумал, что утрата человеческих качеств здесь довольно естественна и закономерна. Когда в лапы врага попадали настоящие борцы, их, как правило, держали в тюрьмах, в глухих каменных мешках,— или передавали гестапо. Даже и в этом лагере наверняка были люди, не утратившие решимости и не поддавшиеся разложению. Но требовалось время, чтобы обнаружить их в гуще огромной, сломленной горем толпы. Жербье вспомнил Роже Легрэна, его измученное, но непреклонное лицо, его худые мужественные плечи. А ведь его дольше, чем всех остальных, гноили в этой яме. Жербье направился к электростанции, она находилась среди центральных зданий, именовавшихся в лагере «Немецким кварталом».

По дороге Жербье увидел группу изможденных кабилов, похожих на скелеты; вытянувшись в цепочку, они катили перед собой тачки с мусором. Они шли очень медленно. Казалось, их запястья вот-вот переломятся пополам. Их головы едва держались на тощих птичьих шеях. Один из них споткнулся, тачка опрокинулась, мусор вывалился на землю. Прежде чем Жербье успел понять, в чем дело, свора обезумевших людей

Мердок подняться над изображаемым, разрушая вслед за Кьеркегором все позитивные истины. Но движение пошло в сторону: в «Единороге» (1963) — едва ли не самом мрачном из ее романов — редко сверкнет юмор ранних книг (его еще много в «Бегстве от волшебника»), редко приходит на помощь и ирония, даже философская ирония автора «Или — или».

Долгие годы Мердок остро волновала проблема отчуждения человека, но она переносила ее во внутренний мир личности. При этом из романа в роман шла борьба между двумя методами, спорящими в искусстве писательницы: анализ человеческой психики у Мердок порой совершенно конкретен, даже реалистичен (что не мешает автору «Отрубленной головы» отдавать богатую дань фрейдизму), в «Единороге» же психологическая проблематика абстрагируется и реальные отношения и конфликты символически зашифровываются [8].

Мердок боялась и боится «commitment», то есть требования от ее искусства прямой ангажированности. Где бы и с кем она ни вела разговор о своем искусстве, она всегда подчеркивает, что только она сама может судить о том, как ей писать. Но в то же время Мердок никогда не была равнодушной к тому, что ее окружало. Об этом говорит не только роман «Красное и зеленое», об этом в подтексте говорят даже самые зашифрованные, самые как будто «абстрактные» ее фантасмагории.

Мердок бесстрашно выступала на митингах протеста против войны во Вьетнаме и принимала участие в демонстрациях против термоядерной войны, когда находила это нужным, но в своем искусстве до самого последнего времени абстрагировалась от изображения реальных общественных ситуаций и создавала символические. Она предпочитает философски толковать мир, а не изображать его.

Роман «Бегство от волшебника» задуман как художественная констатация власти одних людей над другими и бессмыслицы того колеса, в котором вращаются все без исключения,— излюбленная мысль Мердок. Вымышлены, а порой прямо фантастичны все положения, в которые попадают герои «Единорога», «Итальянки», «Поры ангелов» (хотя, оговоримся, сюжет решен в рамках реальных как будто отношений людей сегодняшнего дня), но и здесь проблемы человеческого существования решаются через абстрагирование от реального бытия. В «Единороге» это тема насилия, в «Поре ангелов» — тема выпущенных на свободу и властвующих над человеком «демонов».

Как бы Мердок ни двигалась от Сартра к Кьеркегору, от Кьеркегора к Хейдеггеру и т. д., проблему человеческого существования и проблему личности она ставила, исходя из экзистенциалистских представлений. Но экзистенциализм ее не удовлетворял, поскольку давал всегда лишь негативное решение. Или, точнее, перестал на каком-то этапе развития удовлетворять. Нет сомнения, что (как бы писательница ни абстрагировалась от реальных отношений и жизни) все ее романы оставались философским поиском истолкования именно конкретной жизни — притом как общества, так и отдельных людей в нем. Так, видимо, она и пришла к удивившему многих ее читателей увлечению философией Платона.

Чтобы понять этот скачок от Сартра к Платону, следует заглянуть в брошюру, выпущенную Мердок в 1967 году,— «Суверенитет добра и другие понятия». Эта брошюра воспроизводит текст ее публичной лекции и представляет собою своего рода философский манифест.

«Мы используем свое воображение не для того, чтобы бежать от мира, а для того, чтобы к нему приблизиться»,— заявляет здесь Мердок. Она призывает людей к отказу от эгоизма и противопоставляет ему понятие, которое можно передать словом Добро, и даже Благо. «Мистика всех видов,— пишет она,— пыталась... показать особость (aloneness) Добра, его абсолютную незаинтересованность (for nothingness). Можно было бы сказать, что подлинная добродетель — нечто вроде мистики и источник ее — в строгой и бескорыстной любви к Добру. Недаром Платон, желая объяснить понятие Добро, обращался к образу Солнца».

Продолжая свои рассуждения, Мердок поясняет: «Добро — это понятие, определяя которое... мы, даже отвлекаясь от языка философии, естественно прибегаем к терминологии Платона».

Интерес Мердок к Платону перестает удивлять, когда начинаешь понимать логику мысли писательницы. У Платона Мердок берет прежде всего его учение об Эросе, через него переоценивая как свое понимание людей и взаимоотношений между ними, так и свое понимание Блага как философской категории. И здесь происходит разрыв какой-либо связи мысли Голдинга и Мердок. Негативное заменяется в сознании писательницы позитивным, пессимизм вытесняется новым оптимистическим подходом к так называемой «человеческой доле» — the human predicament.

Мердок дала платоновской концепции Эроса (объединяющего идеальное и материальное начала) свою личную, притом безусловно модернизированную интерпретацию. Она отбрасывает мистику в учении одного из основоположников объективного идеализма и принимает его учение о творческом начале в любви. Практически за принятием учения Платона об Эросе лежит, думается мне, принятие творческого, позитивного начала и отказ от негативного, то есть в конечном итоге победа философского оптимизма над пессимизмом.

Романы Мердок «Приятное и доброе»

[8] Следует заметить, что если за последние год-два Мердок очень часто говорит о желании «писать, как Толстой», выражает восхищение реалистами, то в статье 1961 года «О сухости» она подчеркивает другое: искусство ее пронизано фантазией, и эта фантазия вытекает из ее мировосприятия.

(1967) и «Сон Бруно» (1969) подтверждают и помогают доказать этот вывод. «Приятное и доброе» — очень светлый по сравнению со всеми предыдущими книгами Мердок роман. В нем почти нет обычных готических мотивов, почти нет и демонических персонажей.

Книга должна учить тому, что мудрость может быть достигнута только посредством подлинной любви, то есть любви, лишенной эгоизма (или, пользуясь терминологией Платона, любви, «лишенной вожделения»). В конечном счете кардинальная задача всех действующих лиц романа — борьба за умение отличать приятное, хорошее (nice) от доброго, истинного (good). Все сознательно или бессознательно находятся в поисках той неэгоистической, незаинтересованной любви, которая поднимает человека над его будничным эгоистическим бытием и открывает перед ним его более высокие задачи, но прежде всего — задачу служения другим людям. Философский урок романа Мердок — призыв к доброму (или благому), отказ от приятного (эгоистичного) и (что, может быть, особенно симптоматично) решительный протест против тиранического подчинения одним человеком другого, а также корысти, ведущей к преступлению.

Эрос и Танатос — Любовь и Смерть — две центральные темы, противопоставленные в «Сне Бруно». Хотя роман — грустная повесть о медленном умирании старика, в ней нет безысходности. Бруно медленно гаснет, размышляя над прожитой жизнью, но финал его освещен мягким примиряющим светом понятой им истины: смысл жизни — в служении людям. Любовь к людям — единственный смысл жизни.

«Эгоистическое сознание большинства людей совершенно глухо к восприятию единой природы мира и тем более к запросам и нуждам окружающих»,— писала мне Мердок весной 1969 года, объясняя суть своего нового романа, который она называет «платоническим». В этом романе подчеркнута победа философского оптимизма над философским пессимизмом, хотя и выраженная на языке ее своеобразного искусства.

Итак, философская мысль Мердок сейчас находится в движении, меняется несколько и ее художественный почерк, структура ее романа. Элемент символической фантазии в нем уменьшается, взаимоотношения персонажей проще и естественней. Впрочем, ее философский поиск — а она ведет его очень активно вот уже почти пятнадцать лет (правда, в рамках идеалистической мысли) — может прибить ее к самым различным берегам, но от экзистенциалистского восприятия мира писательница постепенно отходит. Во всяком случае, ее интерпретация Платона, больше чем самый факт обращения к Платону, ведет ее к приятию, а не к отрицанию конструктивных начал в концепции человека. Все ее размышления о Благе, о служении людям, ее интерпретацию эгоизма и его осуждение нельзя не осмыслить как новое восприятие человеческих отношений, связей и ценностей.

4

В 1968 году Колин Уилсон, формулируя свои философские принципы, написал: «Голдинг воплощает в своем творчестве то, что для меня полностью неприемлемо. Его взгляды напоминают взгляды Т. С. Элиота и по своей суги реакционны. Для Голдинга, как и для Элиота, человек— прежде всего жертва первородного греха. Я еще могу воздержаться от спора с его исходным тезисом (в отношении человека), но те выводы, которые он делает из этого тезиса, решительно не принимаю. Что касается меня, я стараюсь искать для человека позитивный выход и, мне думается, его нашел».

Судьба Колина Уилсона как писателя сложилась в Англии нелегко. После вспышки громкой славы и даже непомерной популярности в 1956 году, когда вышел его экзистенциалистский трактат «Посторонний», К. Уилсон подвергся истерической травле со стороны буржуазной критики в связи с его второй книгой — «Религия и бунтарь», показавшейся в то время слишком смелой. Шел 1957 год. Писателю тогда было всего двадцать шесть лет. Травля со временем поутихла, но Уилсона окружили стеной молчания. Очень верно сказал об этом американский критик Р. Диллард: «То, что случилось с Уилсоном, к несчастью, случается со многими. Громкие похвалы после появления первой книги, потом столь же громкое поношение. Многие молодые авторы никогда от этого шока не оправляются. А если писатель все же не теряет мужества и продолжает писать, страдают его читатели. Потому что коль скоро критика с ним высокомерно разделалась, о его последующих книгах редко даже напишут. Он становится человеком-невидимкой»...

Уилсон, однако, не сдался. Преодолевая тяжелые материальные трудности, он продолжал работать, печатать где и что мог и выпустил свыше 25 книг. Это были и философские трактаты и эссе, и исторические очерки очень разнообразного содержания, и наконец романы, большинство которых следует отнести к числу философских.

Хотя Колин Уилсон и сказал, что считает себя «прежде всего философом, а лишь потом писателем» [9], его философские взгляды всегда были эклектичными и не выходили за рамки различных идеалистических систем. Путь Уилсона шел от Камю и Ницше (!) в «Постороннем» к переосмыслению экзистенциализма в работе «Введение к новому экзистенциализму». В его системе взглядов, если о таковой можно

[9] Впрочем, что существенно: в предисловии ко 2-му изданию «Постороннего» (1967) Уилсон сказал: «Есть такие истины, которые можно раскрыть в произведениях искусства, но нельзя раскрыть в философских трактатах».

В. ИВАШЕВА
СОВРЕМЕННЫЙ АНГЛИЙСКИЙ ФИЛОСОФСКИЙ РОМАН

говорить — слишком она пестра,— сочетаются теории Гуссерля и Виттгенштейна, У. Джеймза и Уайтхеда. Экзистенциалистские понятия, идущие и от Камю, и от Хейдеггера, им также не сняты. И К. Уилсон это вовсе не пытается опровергать. Философских мотивов и влияний во всем, что писал (и пишет) молодой еще автор, может быть, и много, но существенны не они, а исходная философская позиция, определяющая сегодня и его творчество, и его место в английской (да и не только в английской) литературе.

Сопоставляя философский роман Голдинга и философский роман К. Уилсона, можно сказать: в них воплотились два полярных взгляда на человека — взгляд пессимиста и скептика, с одной стороны, и взгляд оптимиста — с другой. Если Голдинг от «Повелителя мух» до «Пирамиды» с разной силой, но всегда акцентировал то, что было в человеке (и человечестве) злого («звериного»), хотя и во имя его исправления (которое лишь постулировалось), К. Уилсон в своих последних романах и философских эссе пришел к тому, что возможности человеческого разума, познания и власти над природой неограниченны, а потому будущее человечества лучезарно.

Книги Уилсона позволяют судить о демократических симпатиях и убеждениях автора, хотя в его философии истории нет никакой стройности [10]. Но главное мне представляется в его признании: «Я оптимист. Мне думается, единственный оптимист среди интеллектуалов Западной Европы». Такое ли преувеличение последнее заявление, если учесть, каких интеллектуалов Запада писатель имел в виду?

Как прозаик Уилсон начал с романа «Ритуал в темноте» (1960). Поднятая здесь тема — психология преступника — продолжает интересовать Уилсона до сих пор: он возвращается к ней как в романах, так и в специальных эссе [11].

Недавно Уилсон написал: «Мне хотелось бы создать такую книгу, которую можно было бы перечитывать до пятидесяти раз,— плотную (dense), как сама жизнь. Не книгу идей — такую я уж написал («Посторонний»),— а книгу, отражающую жизнь непосредственно, так, как мы вынуждены жить (with the some directeress that we are compelled to live it)».

Писатель напряженно искал такую форму, в которой он мог бы сочетать «литературу идей» (иначе говоря, философскую прозу) с непосредственным художественным отражением жизни. При всей пестроте своих философских взглядов, налагающих, естественно, отпечаток на его творческий почерк, он все же всегда тянулся к реализму в лепке характеров, изображении обстоятельств, передаче психологии героев.

В голове чрезвычайно творчески активного мыслителя и писателя кипит множество замыслов. Он ищет наиболее адекватной формы для воплощения своих идей, но главное — для того, чтобы их донести до читателя, «который и не подумал бы заглянуть в философский трактат». Я цитирую здесь личное письмо Уилсона, в котором он говорит о том, что ему необходимо «перехитрить» широкого читателя, привыкшего к занимательному чтению и не склонного к отвлеченным размышлениям.

К философскому роману Уилсон подошел не так давно: в сущности, впервые философские раздумья прозвучали у него только в «Мире насилия» — книге, не случайно написанной в форме дневника, излюбленной многими экзистенциалистами [12]. В предыдущих его романах («Ритуал в темноте», «Бродя по Сохо», «Человек без тени», 1960—1963 гг.) Уилсон еще не отходил от традиционной формы. В «Необходимом сомнении» (1966) и «Стеклянной клетке» (1967) он уже пошел на рискованный эксперимент: здесь явственно ощущается философский замысел, причем он решается в остросюжетном жанре детективного романа. В своих двух последующих книгах — «Паразиты мозга» (1967) и «Философский камень» (1969) — Уилсон, видимо не удовлетворенный результатами этого опыта, развертывает философскую тему в рамках увлекательного научно-фантастического сюжета. Такой переход не может удивить, если принять во внимание, на каком материале решается писателем философская проблематика. Это материал новейших исследований в области физиологии мозга, предмет которых — изучение человеческого сознания.

В приведенном выше личном письме 1969 года Уилсон так объяснил свои поиски формы и эксперименты в этом направлении: «Тот поиск, который Джойс вел в своем «Улиссе», я для себя решаю так: в определенном смысле все мои книги следует рассматривать как игру или пародию (подчеркнуто автором письма.— *В. И.*). Так я писал, например, свою «Черную комнату» — пародию на современный шпионский роман. С моей точки зрения — или, во всяком случае, для меня — роман должен быть игрой, а писатель должен добиваться в нем того же самого эффекта очуждения, которого Брехт добивался в своих пьесах». В предисловии к американскому изданию «Паразитов мозга» Уилсон подчеркивал ту же основную мысль: создавая роман, он стремится передать в нем всю глубину содержания (to raise that form to a level of intellectual seriousness), не упуская в то

[10] В концепциях К. Уилсона, на мой взгляд, много спорного. Интересно отметить, что на него оказал большое воздействие Бернард Шоу и его теория эволюции и долголетия. Он даже говорит о желании «принять вызов», брошенный Шоу молодым в предисловии к «Назад к Мафусаилу».

[11] Одно из них — «A Casebook of Murder» — было написано совсем недавно, в 1969 г. Проблема поднята Уилсоном также в «Энциклопедии убийства» (1961) и в разной связи в романах «Необходимое сомнение» и «Стеклянная клетка».

[12] Г. Марсель, например, писал в фрагментарной и произвольной форме дневника даже свои философские трактаты. К той же форме обращался ранний Сартр.

же время из виду необходимость развлекать читателя. Само собой разумеется, что до плоского коммерческого развлекательства Уилсон — человек с художественным вкусом — нигде не опускается.

Последние романы Уилсона подтверждают, думается, гипотезу, высказанную выше: «проблема № 1» для него — это вопросы, с огромной остротой вставшие в последнее время перед наукой в исследованиях человеческого мозга. Именно потому можно считать несущественными реминисценции из работ его старых учителей-экзистенциалистов: главный вопрос для Уилсона решается в соответствии с данными современной науки. И подход его к этой главной для него проблеме становится подходом материалиста.

Существенной вехой на пути развития Уилсона стал роман «Необходимое сомнение». Отвлечемся в данной статье от его сюжета: «Необходимое сомнение» легко может быть прочитано как увлекательный детектив. Но детектив — это лишь «упаковка», в которой автор преподносит читателю свои раздумья над не исследованными еще до конца возможностями мозга. То, что может казаться фантастикой для читателя, не знакомого с работами современных исследователей (как зарубежных, так и советских), воспринимается по-иному, если учесть последние находки крупнейших ученых мира.

Центральные фигуры романа — старый немецкий философ-экзистенциалист Карл Цвейг, вернувшийся после второй мировой войны из эмиграции и живущий в Лондоне, и Густав Нейман — сын его старого друга, известнейшего немецкого нейрохирурга Алоиза Неймана.

Густава Неймана, появившегося в Лондоне после войны, подозревают в убийствах нескольких стариков — преступлениях, осуществленных якобы из корыстных побуждений при помощи гипноза и открытого ученым нового галлюциногена. Сначала Цвейг, в силу стечения обстоятельств, участвует в преследовании Густава, но постепенно начинает понимать смысл поступков своего бывшего ученика и после длительной беседы с ним помогает ему спастись от преследования полиции. Более того, финал романа позволяет понять, что ученый-философ, глубоко заинтересовавшись рассказом Неймана о его опытах, присоединится к нему в дальнейшем в его поисках освобождения человеческого разума для новой, более полной и плодотворной деятельности.

Имя главного героя книги подсказывает отношение к нему автора. Густав — «новый человек» (Neumann), поступившийся, быть может (вопрос этот остается открытым), традиционной моралью ради исследования различных состояний человеческого сознания. Он продолжает экспериментировать на основе препарата, открытого еще его покойным отцом (и стоившего тому жизни). Нейромизин—открытый им препарат—разрушает привычный ход мысли и освобождает мозг от привычных рефлексов, давая человеку ощущение безграничной свободы, огромную силу и концентрацию воли[18]. Правда, при неосторожном применении препарат вызывает депрессию и может вести к самоубийству.

Название романа — ключ к пониманию его философского замысла: человеческая мысль, пройдя через необходимое сомнение (как прошел через него Цвейг), освобождается для новой творческой деятельности и нового — значительно более полного — познания окружающего мира.

Опираясь на новейшие данные науки, К. Уилсон формулирует в романе и свою мечту — мечту о новом человеке, способном острее мыслить, на большее решаться, смелее дерзать. Его метафора «человек, открывающий в себе бога» не содержит ничего мистического. Это ясно, в частности, из рассуждений Неймана о том, что ни один из живущих сегодня людей еще не осуществил того, на что человек, как таковой, потенциально способен. «Человек, открывающий бога» — это лишь образное выражение собственной дерзкой мысли писателя. О том, что это именно так, говорит одна существенная в системе романа ремарка Цвейга: философ вначале считает мысль Густава Неймана менее совершенной, чем свою. Он полагает, что Нейман не способен абстрагироваться от конкретных опытов и мыслить философски. Но молодой ученый заставляет старого понять нечто от него до тех пор скрытое. «Не надеясь на один интеллект (читай: на одну философскую абстракцию.— *В. И.)*, Густав вернулся к изучению человеческого организма,— говорит Уилсон от имени Цвейга.— Он понял из практики то, что я понимал лишь в теории, а именно, что часть проблемы (человеческого мышления.— *В. И.)* — проблема, связанная с физическим здоровьем (that part of the problem is purely phisical)».

«Необходимое сомнение» читается с увлечением, как превосходно построенный остросюжетный роман. При этом, хотя идейный замысел книги раскрывается далеко не сразу и не просто, детективная форма вмещает в себя глубокое философское содержание. Уилсон удачно добивается своей цели: он расширяет круг своих читателей, облекая роман в детективную форму, а тем самым доносит важные для него мысли до большего числа людей.

[18] Не имея возможности в рамках статьи останавливаться подробно на разборе тех опытов Неймана, которые комментируются в конце книги (см. C. Wilson «Necessary» Doubt. «Panther book», 1966, 215—252), оговорю, однако, что опыты эти сами по себе не представляют ничего фантастического. Известно — на основании хотя бы работ Смита, Хоффера, Осмонда и многих других,— что галлюциногены (или психотомиметики) вызывают изменения психики, причем каждый галлюциноген действует на каждого человека по-разному. Подделываясь под естественное нейронное «топливо», они проникают в обменные механизмы нервных клеток и дезориентируют при этом работу нейронов.

В. ИВАШЕВА
СОВРЕМЕННЫЙ АНГЛИЙСКИЙ ФИЛОСОФСКИЙ РОМАН

Заметнее, чем в Мердок (не говоря уже о Голдинге), в Уилсоне сочетаются — а порой и спорят — философ и художник. Находясь в постоянном поиске, он открывает все новые и новые горизонты мысли и, увлекаясь новыми открытиями наук, стремится воплотить эти открытия в образах. Но он не может идти традиционными путями, не может, в частности, уделять много внимания решению характеров, изображению обстоятельств... Если в «Мире насилия» действующие лица книги стоят в памяти, как живые, то в «Необходимом сомнении» они лишь намечены. Нейман и Цвейг — люди сложной судьбы — заинтересовывают читающего не как бывшие эмигранты, враги гитлеровского режима, а как носители определенных концепций. Точнее, в центре внимания скорее опыты Неймана над человеческим мозгом и связанная с ними этическая проблема, чем тот или другой характер, в данном случае, скажем, характер самого Неймана и его бывшего учителя Цвейга.

В романе «Стеклянная клетка», написанном вскоре после «Необходимого сомнения», художественный баланс восстанавливается. Хотя К. Уилсона продолжает волновать проблема сложной работы мозга — здорового (Рид) и больного (Сандхейм), он находит новые и убедительные пути воплощения своих мыслей в конкретных реалистических образах. Сила, с которой здесь рисуются реалистические характеры — и полубезумного Сандхейма, и ученого-филолога Дэмона Рида, раскрывающего тайну его страшных преступлений,— глубина анализа психики Сандхейма убеждают в даровании Уилсона как художника.

Создавая образ патологического преступника Сандхейма, совершающего зверские убийства и оставляющего на месте преступления надписи из Блейка, Уилсон снова заставляет читателя задуматься над тем, как работает человеческое сознание, чем вызваны отклонения от нормы и где кончается норма и начинается психоз. При всей чудовищности поступков Сандхейма он не воспринимается как романтический злодей: Уилсону удается написать убедительный портрет человека, безусловно больного, но чрезвычайно своеобразного, даже по-своему одаренного, глубоко проникнуть в причину его болезни и раскрыть своеобразие психики молодого человека, полного огромной энергии, ищущей применения. Именно потому, что образ Сандхейма нарисован с таким реалистическим мастерством, читающий книгу готов вслед за Ридом понять границы его ответственности.

Аллегоризм образа змеи, живущей в стеклянной клетке в одной из комнат сандхеймовского дома (отсюда и название книги), очевиден. Боа-констриктор меняет кожу, болея и мучаясь. Рождение Сандхейма к новой жизни, чему способствует гуманный и вдумчивый Рид, проходит в муках, но дает основание для надежды.

И в «Необходимом сомнении», и в особенности в «Стеклянной клетке» Колин Уилсон отдал дань психологии безумца, о котором нам уже приходилось говорить в другой статье [14]. В двух следующих книгах он отказался от изображения безумия и обратился к теме, которая сегодня интересует его острее всех,— теме возможностей, заключенных в здоровом человеческом мозгу. Для воплощения этой сложнейшей темы Уилсон обратился к форме «романа игры», о которой уже было сказано выше.

Действие «Паразитов мозга» отнесено в будущее — оно происходит в конце XX — начале XXI столетия. Ученый-психолог замечает рост числа самоубийств и начинает исследовать причины этого явления. Неожиданно он приходит к открытию, которое приводит его самого к самоубийству. В мозгу его современников — и своем собственном — он обнаруживает вредоносные силы, которые условно называет паразитами мозга (или сознания). Незаметно для людей завладев их сознанием, эти скрытые существа (или силы) диктуют, как люди должны поступать, и направляют даже самый ход истории. Всех, кто обнаруживает их существование, вредоносные существа, живущие в мозгу, толкают на самоубийство и тем самым обезвреживают, убирая с дороги.

Понятно, что те существа, о которых идет речь, не больше как аллегория — правда, весьма многозначная. Эти существа воплощают и дух рутины, и дух жадности и корысти, толкающий людей на войны и истребление себе подобных. Вполне возможно, что паразиты мозга—весьма сложное аллегорическое воплощение хейдеггеровского понятия «man», власти над человеком привычного, стадного. Так или иначе, в романе Уилсона они — воплощение всего того, что несет человеку покорность, рабство, самоуспокоенность.

Из романа очевидно, на чьей стороне симпатии автора, но задачи его не в том, чтобы показать темные стороны жизни людей, скованных несправедливыми общественными отношениями. Уилсон не социолог, и если в его фантастической утопии показаны и угроза гибельных конфликтов, и безумие злоумышленных политиков, то не в этом главный смысл его аллегории.

Замысел романа созревал постепенно. Метафора, заключенная в его заголовке, раскрыта в работе «Введение в новый экзистенциализм» (1966). Уилсон здесь писал: «Иногда может показаться, что есть какая-то тайная сила, которая пытается задержать человеческое развитие, помешать человеку привести в движение огромные возможности, которые в нем заключены. Как будто в нем живет какой-то невидимый паразит, отвлекающий его от сознания своей свободы. Блейк тоже ощущал наличие такой силы и называл ее «спектром». В некоторые моменты озарения и особой активности этот «спектр» ослабляет свою хватку, и тогда человек внезапно ощущает со всей ясностью, что он мог бы сделать со своей жизнью. Осознай человек свою скованность, он мог бы разорвать ее цепи, и тогда началась бы новая фаза его развития, подлинно человеческая».

[14] См. «Иностранную литературу», № 3, 1969 г.

С опасностью для собственной жизни борьбу с «паразитами мозга», парализующими волю людей, их мысль и научный поиск на земном шаре,— страшной угрозой человечеству на пути его развития — начинает вести друг покойного психолога ученый-археолог Джилберт Оустин. Сначала, делая над собой нечеловеческие усилия, он борется один на один с паразитами, подавляющими его мысль и волю. Но постепенно он объединяет вокруг себя единомышленников, число которых быстро возрастает.

Рисуя борьбу Оустина и его помощников и единомышленников против «паразитов мозга», К. Уилсон использует открытия телепатии и телекинеза. Они становятся главным оружием в этой борьбе. И телепатия и телекинез при этом понимаются автором как еще не освоенные до конца потенциальные силы, не имеющие в себе решительно ничего сверхъестественного, а тем более мистического. Уилсон показывает, насколько неисчерпаемы запасы энергии, присущей человеку, и насколько ценна при этом каждая личность, ничем не похожая на другую во Вселенной.

В «Паразитах мозга», как и в «Необходимом сомнении», мелькают, смешиваясь, а часто противореча друг другу, мысли различных философов, в разное время оказывавших влияние на автора. Легче всего на основании этого отмахнуться от романа, увидев в нем лишь философский эклектизм писавшего. И тем не менее воздействие, оказанное на писателя эволюционной теорией Б. Шоу, о котором Уилсон любил говорить [15], и феноменологическим экзистенциализмом, не мешает тому, что читатель рассматривает этот роман вовсе не как справочник по идеям Гуссерля, Витгенштейна, У. Джеймса и Уайта, а как аллегорию, говорящую о неограниченных и не исследованных еще до конца возможностях мозга homo sapiens, которому предстоит в будущем, на новой стадии своего развития, стать homo sapientissimus.

Пафос романа в том, чтобы показать неограниченные силы человеческого познания и деятельности на его основе.

Всем, кто знаком хотя бы поверхностно с работами современных физиологов и психологов, содержание последней книги К. Уилсона не покажется сумасшедшей фантазией. Научно-фантастический, если угодно аллегорический, роман, но роман, возникающий на основе реально познанного и познаваемого, а не иррационального.

«Философский камень» Уилсона, вне всякого сомнения, содержит много фантастики. Он и писался как научно-фантастический роман, и автор намеренно строил его, исходя из законов соответствующего жанра, более того, открыто ориентируясь на образцы, созданные американским фантастом Х. Лоувкрафтом. От Лоувкрафта, в частности, вся тема людей-гигантов, некогда обитавших якобы на земном шаре и лишь уснувших («The Old ones»), и тот леденящий ужас при мысли о их возможном пробуждении, сулящем катастрофу ныне живущим поколениям.

Но если вспомнить теорию романа, сформулированную Уилсоном, все это лишь «игра», лишь «упаковка» занимательности, в которой Уилсон преподносит огромный груз освоенной им научной информации о научных открытиях и новейших гипотезах нейрофизиологов, изучающих функции мозга. Элемент фантазии здесь почти неизбежен, поскольку автор рисует не то, что уже свершилось, отстоялось и может быть отражено как существующее, а, подобно Ж. Верну и Г. Уэллсу, воплощает в образах данные научной мысли и подчас выдвигаемые учеными гипотезы.

Книга с увлечением читается теми, кто знаком с этим материалом, будит мысль тех, для кого он еще находится за семью печатями.

Уилсон ставит вопрос, оставшийся открытым на последних страницах «Паразитов мозга»,— вопрос долголетия, даже возможного бессмертия человека.

Название романа — метафора, аллегорически раскрывающая смысл авторского замысла: вспомним средневековую легенду о философском камне долголетия — мечте алхимиков. Молодой исследователь Хауард Ньюман (новая вариация имени с прежним значением) сначала ощупью идет к решению вопроса о границах дерзаний человеческой мысли. Встретившись и вступив в тесный контакт с другим ученым — Хенри Литлуеем,— он вместе с ним обращается к опытам электрической стимуляции мозга и нейрохирургии. Один из таких опытов, открывающих возможность воздействия на лобные доли мозга, дает совершенно непредвиденные результаты. Экспериментируя дальше над собственным мозгом и проводя одновременно глубокие исследования в других областях науки, двое ученых приходят наконец к новому открытию — возможности путешествий во времени.

Последняя книга Уилсона читается как увлекательная повесть о борьбе человеческого разума с теми силами, которые мешают ему осуществить познание мира и человека, стоят на пути его все более смелой и дерзкой мысли. Она — живая и убеждающая демонстрация основ того философского оптимизма, к которому, по его собственному признанию, пришел автор.

Можно по-разному относиться к жанру научно-фантастического романа. Уилсон обратился к нему так же, как он обращался в других своих книгах к жанру романа детективного. Само собой разумеется (это могло бы составить содержание специальной статьи), что научно-фантастический роман диктует свои художественные законы. «Философский камень» насыщен огромным количеством научной информации и воспринимается местами как ее популяризация в беллетристической форме. Сила художе-

[15] В 1969 году Уилсон не случайно выпустил работу «B. Shaw. «Reassessment».

В. ИВАШЕВА

СОВРЕМЕННЫЙ АНГЛИЙСКИЙ ФИЛОСОФСКИЙ РОМАН

ственного дарования Уилсона, прорываясь в описаниях, анализе душевного состояния героя, лирических отступлениях все же несколько меркнет, задавленная матерналом. Но в настоящей статье нас интересует не столько характер мастерства и приемы Уилсона (они от романа к роману меняются, поскольку их отбор диктуется той или другой задачей, которую в данный момент ставит перед собой автор), а направление его мысли и, следовательно, его философского романа.

Облеченный в форму дневника, рассказ Хауарда Ньюмана несет читающему новые и новые сведения об открытиях, опытах и их обобщениях, которые делают сам Хауард и его друг и соратник Литтлуей. В книге почти не остается места для обобщений художественных.

И «Паразиты мозга», и «Философский камень» — лишь один из этапов на пути талантливого писателя. Мы вправе надеяться, что в его следующих книгах в полную силу вновь заговорит Уилсон-художник.

В «Философском камне» Уилсон выразил свою мечту о великом будущем человека и о неограниченных возможностях деятельной личности. Этот роман представляет замечательный контраст многочисленным книгам, выходящим сегодня на Западе, в которых звучат безнадежность и бессилие.

Каковы бы ни были философские убеждения Уилсона, творчество этого писателя, проникшего глубоко в открытия современной науки, верящего в энергию и велнкие возможности человеческого разума, противостоит сегодня литературе психозов и неврозов, литературе отчаяния и пессимизма.

■

Два полюса, две концепции человека и его будущего, его возможностей...

В то время как Голдинг в своем художественном манифесте философии истории («Наследники») согласен видеть лишь мрачное и негативное в развитии человека (и здесь перекликается с десятком других книг, написанных на Западе на ту же тему[16]), Колин Уилсон, не отвергая нигде ни социальную борьбу, ни развитие, заглядывает в будущее, когда человек, освободившись от социальной несправедливости и угнетения, «окажется богом».

У. Голдинг — писатель субъективно честный и глубоко убежденный в том, что своим творчеством борется со злом «человеческой природы». Но все, написанное им до сих пор, объективно приводит читающего к мрачным выводам. И по дарованию, и по характеру творчества А. Мердок с Голдингом не сопоставима. Однако от тех философских принципов, которые некогда объединяли ее с автором «Повелителя мух» и «Свободного падения», она отказалась и философски идет на сближение с К. Уилсоном, хотя эстетические позиции этих двух писателей глубоко различны.

Но нельзя ставить точки и подводить итоги. Писатели, о которых шла речь, находятся в пути. Я попыталась здесь лишь наметить направление, в котором идет их поиск.

---

[16] Достаточно сопоставить романы «Наследники» с романом Симоны де Бовуар «Все люди смертны».

И. ФРАДКИН

«ВЕЧНО ВЧЕРАШНИЕ» — СЕГОДНЯ

(Заметки о неофашистской литературе в ФРГ)

Осенью 1943 года на правобережье Днепра, недалеко от села Дериевка, я подобрал на поле боя среди разбросанных документов разгромленного штаба 106-й немецкой пехотной дивизии книжку в синевато-зеленой (цвета шинели германского вермахта) суперобложке. На ней стояло готическим шрифтом: «Франц Леннарц. Писатели нашего времени. 275 индивидуальных характеристик к современной немецкой литературе». Трофей этот странствовал со мной в вещмешке до конца войны, а ныне стоит на книжной полке у моего письменного стола.

Книга Леннарца, изданная в Штутгарте в 1938 году, представляла собой биобиблиографический словарь современной немецкой литературы. Но на каждой странице читателя этого словаря подстерегали неожиданности. Сколько бы он ни листал книгу, он не находил в ней имен Томаса Маниа, Генриха Манна, Бертольта Брехта, Альфреда Дёблина, Лиона Фейхтвангера, Эриха Мария Ремарка, Анны Зегерс, Арнольда Цвейга, Леонгарда Франка, Иоганнеса Р. Бехера и др.— эти писатели немецкой литературе 1938 года были неведомы. «Пусть так,— мог подумать про себя читатель,— это все писатели-антифашисты, враги третьей империи, эмигранты. Они лишены германского гражданства и отлучены от немецкой литературы приказом Гитлера и Геббельса. Но где же Бернгард Келлерман, Ганс Фаллада, Эрих Кестнер, Эрнст Барлах? Ведь эти — тоже всемирно известные — писатели живут в Германии и пока «на воле», а не за колючей проволокой». Но не было в книге Леннарца и этих имен, и вообще не было почти никого из тех писателей, кто представлял немецкую литературу в глазах мирового общественного мнения. Зато дружным строем маршировали в словаре штурмфюрер СА Генрих Анакер, гаукультурварт Фридрих Бетге, штурмхауптфюрер СА Вальдемар Глязер, штандартенфюрер СС Курт Эггерс, гаупропагандаляйтер Вильгельм Мюллер-Шельд, райхсюгендфюрер Бальдур фон Ширах, гебитсфюрер гитлерюгенд Эберхард Вольфганг Меллер, оберфюрер СА Ганс Цеберлейн и прочие новоявленные писатели в коричневых и черных мундирах.

Книга Леннарца могла бы остаться курьезом, анекдотическим документом фашистского невежества, если бы предмет ее — национал-социалистская «письменность» — безвозвратно канул в прошлое вместе с гитлеровской империей. Но этого не произошло. И фашистские литераторы, и их бойкий вертлявый хронист проявили завидную живучесть. В 1952 году Леннарц выпустил свою книгу в новой, послевоенной редакции, а в 1963 году она уже вышла в свет девятым изданием. Разумеется, за 25 лет справочник изменился. Он пополнился новыми именами, в том числе такими «новыми», как Т. Манн, Б. Брехт, А. Дёблин, Л. Фейхтвангер, Э. М. Ремарк, А. Зегерс, А. Цвейг, Л. Франк, И. Р. Бехер, Э. Кестнер и др.,— в 1963 году Леннарц вспомнил о существовании этих писателей. Что же касается убыли, то она оказалась не так уж велика. Конечно, за 25 лет кое-кто умер, кое-кто, лишившись эсэсовского мундира, перед которым так легко распахивались двери редакций и издательств, усомнился в своем литературном призвании и подыскал себе

более подобающую профессию, но в общем фашистский Парнас устоял, перенеся временные невзгоды первых послевоенных лет.

Правда, невзгоды были, были и некоторые конфузные происшествия. Это относилось, например, к уже упомянутому оберфюреру СА Гансу Цеберлейну. Конец войны он ознаменовал следующим, не вполне литературным «подвигом». 28 апреля 1945 года при приближении американских войск к баварскому шахтерскому городку Пенцбергу несколько его жителей и фольксштурмовцев, желая избежать бесполезного кровопролития, подняли белые флаги в знак готовности сдать город без боя. По приказу Цеберлейна, командовавшего фольксштурмом, «изменники» были казнены, трех человек писатель застрелил лично. В августе 1948 года преступник был приговорен немецким судом за тройное убийство к смертной казни. В декабре 1949 года высшая судебная инстанция ФРГ заменила Цеберлейну смертную казнь пожизненным заключением, а через несколько лет он был помилован и освобожден. Но все же эти передряги нанесли ему профессиональный ущерб и помешали активно включиться в литературную жизнь ФРГ.

Поначалу после войны путь некоторых гитлеровских литераторов действительно не был усыпан розами. Кое-кому из литературных штурмбанфюреров пришлось расплатиться за свои преступления несколькими месяцами отсидки в тюрьмах или лагерях. Некоторых из них американские комиссии по денацификации под горячую руку лишили права на профессиональную литературную деятельность. Лицам, запятнанным слишком скандальным нацистским прошлым, американские и британские оккупационные власти избегали выдавать лицензии на печатные издания. Но к 1949 году, то есть к моменту образования западногерманского государства — ФРГ, когда была отменена система лицензий от оккупационных властей на печатные издания и отпал (и без того непоследовательный и весьма снисходительный) антифашистский политический контроль над прессой, к этому моменту почти все нацистские литераторы оказались в сборе и в полной боевой готовности. Под солнцем боннской демократии для них началась новая жизнь. Достаточно было в 50—60-е годы полистать издательские и книготорговые каталоги, чтобы убедиться: весь Леннарц 1938 года снова в строю — в республике Аденауэра так же, как прежде в империи Гитлера. Ветераны национал-социалистской «письменности» Г. Иост, Э. Г. Кольбенхейер, Г. Гримм, Г. Циллих, Б. Брем, Э. Э. Двингер, В. Плейер, Р. Хольбаум и др. выбрасывают на западногерманский книжный рынок свою новую продукцию — книга за книгой, а не дожившие — как пелось некогда в «Песне Хорста Весселя» — «духом своим маршируют в наших рядах»: их старые книги времен третьей империи переиздаются все новыми тиражами во славу «непрерывности немецкого литературного развития».

Как эстетическое явление неофашистская литература за редкими исключениями равна нулю. Она представлена кликой амбициозных и крикливых демагогов, бесталанных, надутых ложным пафосом сочинителей. В западногерманской печати нередко высказывается мнение: неонацистская писанина настолько безвкусна и примитивна, что было бы смешно придавать ей какое-либо значение. Ни один, мол, серьезный критик не принимает эти поделки всерьез. На доводы такого рода приходится возразить: пусть так, но население ФРГ состоит не только из критиков; есть миллионы читателей, относящихся к этим книгам всерьез. Это — массовая литература, которая расходится огромными тиражами в дешевых изданиях и через иллюстрированные журналы. По поводу этой писанины прогрессивный западногерманский литератор Гейнц Брюдигам справедливо замечает: «То, что среди «правопишущих» нет ни Брехта, ни Генриха Манна, ни даже какого-нибудь маленького Гюнтера Грасса, может служить лишь очень небольшим утешением. Ибо их влияние — к сожалению! — больше, чем влияние Брехта или Генриха Манна».

Антихудожественность книг Э. Керна или Э. Франка, возможно, даже осознается самими авторами, но мало их смущает. Творения коричневой музы рассчитаны не на читателей с развитым вкусом и высокими эстетическими запросами, а на то мещанское быдло, которое и прежде составляло массу восторженных поклонников Гитлера и которое так подвержено воздействию низменных эмоций и с примитивным трактирным пафосом провозглашаемых националистических и человеконенавистнических фраз.

1. ГАНС ГРИММ — ПРОРОК «ПРОСТРАНСТВА БЕЗ НАРОДА»

Читая послевоенные писания Ганса Гримма, испытываешь странное чувство недоверия к самому себе, своему сознанию и восприятию. Кажется, что внезапно тебе отказала способность правильно понимать прочитанное. Объясняется это, видимо, ощущением какой-то поразительной, выходящей за пределы правдоподобия и вероятности диспропорции между официальными сведениями об авторе и нравственным (даже не столько политическим, идеологическим, как прежде всего нравственным) уровнем его суждений.

Ганс Гримм не был невежественным штурмовиком, дебоширом из мюнхенской пивной или надзирателем гитлеровского концлагеря. Сам он без излишней застенчивости именовал себя «сознающим свое значение членом духовной элиты». Он был академиком (правда, лишь гитлеровцами возведенным в этот ранг) и писателем, в свое время (правда, это было очень давнее время) пользовавшимся известностью и даже названным своими почитателями «немецким Киплингом». Но среди всех германских неофашистов, пожалуй, именно Гримм установил непревзойденные по сей день рекорды бесстыдства. Вряд ли какой-ни-

будь бывший штурмовик или бывший надзиратель в своих разглагольствованиях за пивным столиком опускался до такого цинизма и таких гнусностей, как этот бывший «немецкий Киплинг».

Еще не смолкла облетевшая все человечество весть о душегубках и крематориях, о Бабьем Яре, Лидице и Орадуре, еще подсчитывались и уточнялись данные о миллионах женщин, детей, стариков, уничтоженных в немецких лагерях смерти, в тюрьмах, командами СД и т. п., когда Гримм с выражением скорбн и невинности на лице заявил: «Немецкий народ никому в мире *ничего плохого* (курсив Гримма.— *И. Ф.)* не сделал, напротив, ему причинили зло».

В то время как на многочисленных процессах над преступниками против человечности перед лицом всего мира раскрылась страшная правда о четко налаженном конвейере массового истребления в гитлеровских лагерях, Гримм не постеснялся выступить в защиту и даже в прославление этих самых лагерей. Игнорируя всем известные факты, он утверждал, что, во-первых, никакого намеренного уничтожения людей в лагерях не было — была естественная смертность, несколько усугубленная отдельными случаями нераспорядительности администрации, что, во-вторых, режим в лагерях был нормальным, без жестокости и террора (он, мол, Гримм, лично видел одного бывшего заключенного, вполне упитанного человека со здоровым цветом лица!) и что, в-третьих, порядочные люди в лагерях не сидели — лагеря «были заполнены, кроме законченных смутьянов, лишь уголовниками и различного рода психопатами и душевнобольными».

Что касается больных, то по отношению к ним у Гримма была своя терапия. Он стоял за селекцию, то есть за отбор сильных и здоровых. Он громогласно выступил в защиту эсэсовских врачей, которых судили за уничтожение людей посредством использования их в качестве подопытных животных. Гримм называл обвинения в адрес врачей-убийц «абстрактно-гуманистической брехней». Утверждая, будто для опытов использовались лишь хронические больные, он одобрял «разумные» действия врачей: ведь они избавляли государство от граждан, на которых «зря расходовалась пища и расточался бесполезный уход».

И, наконец, в те дни, когда в результате американской интервенции лилась кровь в Корее, когда рвались, отравляя земную атмосферу, испытательные термоядерные бомбы, когда дошла до предела опасная напряженность в Европе и передовое человечество прилагало все усилия для предотвращения третьей мировой войны, Гримм высказался следующим образом: «Войны ныне уже не вызывают у нас большого страха. Наше действительно самое большое бедствие — это безответственный, необузданный рост населения в мире». Гримм давал при этом понять, что мировая война не только не страшна, но даже желательна как способ радикального разрешения многих проблем, в том числе и столь устрашавшей его проблемы многолюдия.

Не будем предаваться праздным размышлениям о том, кем же, собственно, был Гримм — параноиком или некой белокурой бестией, свободной от всякого морального бремени, облюбовавшей себе позицию «по ту сторону добра и зла». Не будем хотя бы потому, что зачислить его по разряду патологических уникумов, не имеющих никакого общественного значения, увы, невозможно. Гримм был кумиром праворадикального движения и его активным деятелем. Он дважды (оба раза безуспешно) баллотировался на выборах в бундестаг и в нижнесаксонский ландтаг. Неонацисты гордились Гриммом и тем, что такая (такая!) представительная фигура принадлежит к их лагерю. Он был старшим козырем в их игре и почитался одним из их главных идеологов.

Ганс Гримм прошел длинный путь (он умер в 1959 году в возрасте 84 лет), длинный, но уныло однообразный, путь без развития. В молодости он тринадцать лет (с 1897 по 1910 год) провел в Южной Африке, сначала в качестве коммерческого служащего, а затем совладельца самостоятельной торговой фирмы. Здесь, из своего колониального опыта эксплуатации готтентотов и столкновений с английскими купцами, которые сами хотели эксплуатировать готтентотов и находились в более выгодной позиции, Гримм извлек всю свою жизненную мудрость и никогда дальше ее не шел. Здесь он открыл краеугольную «истину»: «Трудно быть немцем в этом мире!» Трудно потому, что немцев все теснят и ненавидят. А почему, за что? Ведь немцы такие трудолюбивые, способные, предприимчивые, основательные, дисциплинированные люди. Немецкая музыка исполняется в концертных залах всего мира. Немецкие ученые (разве одному Рентгену не обязаны своим здоровьем миллионы людей?) чтятся во всех странах. Немецкие философы и поэты изучаются повсюду. На тронах почти всех монархических стран сидят отпрыски немецких династий и княжеских родов. Нет, утверждает Гримм, более надежных и верных чиновников и рабочих, чем немцы. И все же их все не любят и боятся. Почему? Гримм задает этот вопрос знакомым англичанам, и один из них ему якобы ответил: «...что в вас, немцах, некоторым больше всего не нравится, так это ваши хорошие качества».

Вот она, вторая краеугольная «истина»: мы хорошие, но нас не любят, и не любят нас именно за то, что мы хорошие. Нам завидуют потому, что мы умнее, способнее, честнее, энергичнее их. И, завидуя, стараются ущемить наши жизненные интересы. Жизненные же интересы Германии заключаются, по мнению Гримма, в праве на колонии, в праве эксплуатации их природных богатств и их туземцев, людей низшей расы. Ссылаясь на Мальтуса, которого он

чтит как пророка, Гримм провозглашает свою доктрину, проникнутую духом экспансии и агрессии. Немецкому народу, учит он, тесно в его европейском жизненном пространстве, и его главная задача — расшириться, приобрести вопреки сопротивлению Англии и прочих колониальных держав новые территории, где бы избыточная часть населения Германии могла поселиться и найти применение замечательным свойствам немецкого национального характера.

В этом — весь Гримм, Гримм-писатель и Гримм-публицист.

Начал Гримм с новелл на африканские темы, причем некоторые из них были не лишены и известной пластичности изображения, и психологического драматизма. Но во всех этих новеллах «немецкого Киплинга» от первого сборника «Южноафриканские новеллы» (1913) и до последнего — «Людерицланд» (1934) на первом плане все те же навязчивые идеи: требования о предоставлении Германии колоний, прославление мужества и трудолюбия немецких «пионеров» (и также буров, которым Гримм симпатизирует единственно по причине своей англофобии), расистское глумление над неграми и пропаганда ненависти к конкурирующим колониальным державам.

Программным и наиболее известным произведением Гримма был двухтомный роман «Народ без пространства» (1926). Название этого романа стало в устах гитлеровских пропагандистов крылатым, стало формулой, кратко выражающей всю суть их демагогической теории жизненного пространства. Автор обильно прослоил роман публицистическим комментарием и лирическими отступлениями. Одним из таких отступлений он даже предварил повествование: «...немецкий человек нуждается в пространстве вокруг себя, в солнце над собой и в свободе в себе, чтобы стать добрым и прекрасным. Неужели, вот уже скоро два тысячелетия, он должен будет тщетно на это надеяться?.. Оглянись вокруг себя, посмотри перед собой и подумай о внуках и новорожденных!»

И вот в подтверждение этой «преамбулы» Гримм рассказывает душеспасительную и поучительную историю о неком Корнелиусе Фриботе, крестьянине, которого не мог прокормить его крохотный земельный надел. В поисках места под солнцем он идет служить во флот, а затем пытается обосноваться в большом промышленном городе. Он подвергается разным политическим соблазнам и искушениям, испытывает временное влияние «демагогической» (то есть марксистской) пропаганды о классовой борьбе. После тюремного заключения, которым он расплачивается за свои социалистические заблуждения, Корнелиус вынужден покинуть родину и в поисках счастья отправляется в Южную Африку. Здесь он встречается с купцом Гансом Гриммом, который помогает ему освободиться от марксистской ереси и раскрывает ему глаза на истинные причины бедственного положения немцев, подобных ему, Корнелиусу Фриботу. Здесь, в Африке, участвуя в вооруженном подавлении негритянских племен, в упорной борьбе с британскими завистниками и интриганами, благодаря своей честности, трудолюбию и прочим немецким добродетелям Корнелиус сумел создать себе солидное состояние. Но война и поражение Германии лишают Фрибота плодов его труда, злобные англичане изгоняют его, он возвращается в Германию, где снова встречается с Гансом Гриммом, который работает в это время над романом под названием «Народ без пространства». Корнелиус, ставший его идейно-политическим союзником, в свою очередь, превращается в странствующего проповедника колониализма и фашизма, в уличного оратора и пропагандиста, но соотечественники, развращенные «антинациональной атмосферой» Веймарской республики, не внемлют ему, и он погибает, непонятый и одинокий, от руки марксистского смутьяна.

Пропаганда, которую вел Гримм своим романом, своими новеллами, своей публицистикой, с внешнеполитической точки зрения носила реваншистский характер. Демагогически рассуждая о «народе без пространства», писатель толкал своих соотечественников на самоубийственный путь опустошительных войн, грозящих превратить Германию в пространство без народа. Был у этой пропаганды и свой внутриполитический прицел. Гримм знал, чего он хочет, внушая читателям манию национального величия и обещая избавление от социального и материального гнета лишь в результате расширения «жизненного пространства». В одной из своих публицистических книг незадолго до прихода Гитлера к власти Гримм писал: «...уже более тридцати лет, как мы находимся в тесноте и давке,— слишком много людей в слишком маленькой стране. Уже более тридцати лет, как в результате нашей нехватки пространства неимущие люди начали преобладать в Германии. Уже более тридцати лет, как массы неимущих, ожесточенных крестьянских внуков под руководством раздраженных и марксистски мыслящих ремесленников обратились к интернационалистским бредням, вместо того чтобы в новой борьбе завоевать свои национальные права». В этом пункте и был заключен главный смысл вполне национал-социалистской «геополитики» Гримма: она казалась ему верным средством в борьбе с марксизмом, со столь ненавистным и опасным революционным рабочим движением.

В эти годы Гримм устанавливает первые контакты с нацнонал-социалистской партией. Он близко сходится с Геббельсом. В 1928 году, вернувшись из новой поездки в Южную Африку и организуя кампанию за возвращение Германии колоний, Гримм ищет союзников среди политических деятелей. По его признанию, он уже давно заинтересовался Гитлером и его партией — теперь он добивается и получает личную аудиенцию.

Впоследствии Гримм очень мелочно, с позиций ущемленного самолюбия описывал эту встречу и объяснял, что в Гитлере ему не понравилось: сказывались, мол, плебейское происхождение и плохие манеры. Он, мол, все время вещал сам, не давая Гримму рта раскрыть, и, надвигаясь на него вместе

с креслом, притиснул своего собеседника в угол. Впрочем, вся эта позднейшая «критика» Гитлера призвана была лишь создать видимость политической независимости Гримма. В действительности же он воспринимал Гитлера уже тогда как мессию, считая, что спасение Европы «в то время могло быть организовано... только этим человеком». Гримм легко был готов ему простить и кресло, и неудержимое словоизвержение ради обещанных им благ—предотвращения большевизации Европы и завоевания новых «жизненных пространств» для Германии. Во время президентских выборов 1932 года Гримм обратился к избирателям с призывом голосовать за Гитлера.

При этом — поверим в этом отношении Гримму — он был раздираем противоречивыми чувствами. Его, как консервативного бюргера вильгельмовской поры, очень шокировала социальная демагогия, к которой прибегали нацисты в стремлении охватить своим влиянием пролетарские массы. Когда руководитель берлинской организации НСДАП Геббельс зашел, по мнению Гримма, слишком далеко в своем заигрывании с улицей, в Гримме заговорила кровь бывшего респектабельного купца, и он опубликовал протест против такого рискованного использования «марксистских» приманок. Он получил ответ из Мюнхена за подписью Рудольфа Гесса, который успокаивал Гримма, призывая его не принимать эти пропагандистские уловки всерьез. На что, мол, не пойдешь в трудный момент, когда массы уходят из-под влияния — тут впору и дьяволу душу продать. Это объяснение полностью восстановило доверие Гримма к фашистам.

В третьей империи Гримм играл роль литературного мэтра. Эта роль льстила его самолюбию и давалась ему с легкостью. Право на нее не требовалось подтверждать никакими творческими достижениями, оно просто было ему вручено сверху милостью нацистских государственных и партийных инстанций. Гримм протежирует одним, уничтожает своим приговором других, присуждает литературные премии, произносит публичные речи. В 1934 году он положил начало Липпольдсбергским писательским съездам, которые стали своего рода литературными парадами национал-социалистской империи. Ежегодно в поместье Гримма в Липпольдсберге (бывшее монастырское подворье) съезжалось до двух-трех тысяч гостей: иностранные фашисты и друзья гитлеровской Германии, члены молодежных и студенческих нацистских организаций, представители прессы — и перед ними выступали с речами и чтением своих произведений такие столпы официальной фашистской литературы, как сам хозяин дома, Э. Э. Двингер, В. Боймельбург, Б. Брем, П. Альвердес, Г. Циллих, Г. Клаудиус и др.

Гитлеровцы осыпали Гримма почестями и провозгласили его одним из крупнейших современных немецких писателей. Между тем в это время он вообще перестал быть писателем. Каким бы то ни было, даже посредственным, каким был прежде. С 1934 года и до конца жизни Гримм не опубликовал ни одного нового произведения в жанрах художественной литературы. Из-под его пера выходили только чисто публицистические (позднее также и мемуарные) книги. Отныне его излюбленная поза — поза пророка, проповедника, наставника. Он обличает зло, он указует перстом путь, он пишет открытые письма к президентам и архиепископам, он обращается с речами к целым народам, он полон горделивого сознания своей исторической значительности.

Гримм не раз с негодованием отвергал советы людей, говоривших, что ему «следовало бы оставаться в области художественной литературы». В подобных советах Гримм усматривал посягательство на его пророческую миссию. Главная задача писателя, утверждал он,—«вскрывать причины». Именно эту задачу — вскрыть причины первой и второй мировых войн, возникновения и прихода к власти национал-социализма, международной напряженности после второй мировой войны — Гримм поставил перед собой в своем политическом «евангелии», самой объемистой публикации последних лет жизни, в книге «Почему — откуда— но куда? До, во время и после Гитлера как исторического явления».

Почему и откуда? — это Гримму было известно еще со времен его колониально-коммерческих предприятий, и в этой книге он заново повторяет все те же премудрости о беспричинной ненависти всего мира во главе с Англией к немецкому народу, о тесноте, в которой тот живет, о «жизненном пространстве» и т. п. Но все эти старые «истины» теперь, после разгрома третьей империи, обретают под пером Гримма новый смысл: они выливаются в апологию Гитлера, появление и приход к власти которого рассматриваются как органическая историческая необходимость. При всех чисто формальных оговорках у Гримма получается так, что Гитлер был великим человеком, посланным немецкому народу провидением, чтобы ответить на его трагические вопросы и удовлетворить его жизненные нужды. И он это сделал — расширил «жизненное пространство», создал «новый порядок» в Европе, двинулся походом против азиатско-большевистского врага на Востоке, и если в итоге всех его великих дел немецкий народ оказался у разбитого корыта, то в этом виноват не он, Гитлер, а другие, прежде всего Англия и Америка, которые его не поняли, не поддержали, а, напротив, нанесли ему удар в спину, предав тем самым интересы западной цивилизации.

Но Гримм не только подводит итоги прошлого — он делает и темные, зловещие намеки в отношении будущего. «Государственный муж Гитлер,— пишет он,— и другой государственный муж его эпохи Муссолини сметены с пути. От них для изолгавшегося мира осталась лишь та польза, что в их лице нашлись козлы отпущения, виновные во

всем, и что благодаря этой лавине обвинений можно вовсе не задумываться над тем фактом, что в угрожающих и болезненных обстоятельствах, которые в свое время вызвали приход обоих действенно протестовавших государственных мужей, *ничего, абсолютно ничего* не изменилось».

На что намекает Гримм, нетрудно догадаться: раз обстоятельства, вызвавшие приход Гитлера, не изменились и у западных держав не хватает благоразумия изменить их, пойдя навстречу требованиям германского империализма, то, следовательно, неизбежен приход нового Гитлера и новой мировой войны. Ждите и трепещите! Впрочем, чего же особенно трепетать? Ведь войны, как мы помним, по мнению Гримма, вещь вовсе не столь уж страшная...

Восхваляя историческую миссию гитлеризма, Гримм различает в национал-социалистском движении два этапа: ранний — «элитарный» и поздний — «пролетарский». На раннем этапе движение представляли благородные идеалисты и высокие идеи не были скомпрометированы никакой низменной практикой. Гримм, как бы этого ему ни хотелось, не может утверждать то же и о дальнейшей истории гитлеровской империи: шила в мешке не утаишь, и преступления фашистского режима давно уже стали известны всему миру. Но был ли в них повинен фюрер и окружавшая его «элита»? Гримм решительно отвергает такое кощунственное предположение. «Я осмеливаюсь заявить, ваше высокопреосвященство,— писал он в открытом письме архиепископу Кентерберийскому,— что национал-социализм (разумеется, не поздний гитлеризм) стоял у начала элитарной селекции .. но что он погубил себя массовыми большевистскими (?!) бесчинствами, когда Гитлер, загнанный в угол, был вынужден обратиться за поддержкой к массам». Сам Гитлер, видит бог, был органически чужд всяким преступлениям и беззакониям, но его заставили, он был вынужден. А вынудили его все те же Англия и США, которые его не поняли, не помогли ему и тем самым принудили его искать опоры в «невежественных пролетарских массах».

В послевоенные годы Гримм выступал активным собирателем и организатором неофашистских литературных кадров. Он основал собственное издательство — «Клостерхауз-ферлаг», которое выпустило до десятка старых и новых книг самого Гримма, а также писания Вилля Веспера, Германа Клаудиуса, Освальда Мосли и ряда неонацистских публицистов. Летом 1949 года, когда в Германии повсеместно праздновалось двухсотлетие Гете, Гримм пригласил в Липпольдсберг несколько литераторов правоэкстремистского толка и устроил совместно с ними — как некую демонстрацию против «духа времени» и официального направления гетевских торжеств — публичное юбилейное собрание, на котором он выступил с речью. В этой речи Гете провозглашался в исполненных тевтонской спеси выражениях провозвестником «германской сущности», которая — по-прежнему и вопреки всему! — призвана спасти Европу и весь мир от восточного варварства. Этим собранием Гримм восстановил после десятилетнего перерыва традицию Липпольдсбергских писательских съездов. Возобновляя эти сборища, Гримм имел в виду — как утверждает американский исследователь западногерманского неофашизма Курт П. Таубер— «помочь бывшим нацистским поэтам и писателям прорвать блокаду, выйти из изоляции, в которую их ввергло полное поражение гитлеровской системы, и заложить идеологические основы для возрождения расистско-националистического мировоззрения». Ежегодно в Липпольдсберге стали снова встречаться и прежние участники съездов гитлеровских времен — Э. Э. Двингер, Г. Клаудиус, Б. Брем и прочие нацистские литераторы разных поколений от В. Веспера и М. Елузиха до В. Плейера, Г. Шумана и Э. Керна.

В последние годы жизни престарелый Гримм развил бешеную литературно-политическую активность. Видимо, злоба была тем источником энергии, который компенсировал убывание жизненных сил. Не было, пожалуй, ни одного политического скандала в ФРГ, ни одной общественной кампании неонацистского характера, в которой Гримм не был бы одним из главных крикунов и заводил. Он добивался амнистии всем военным преступникам, он настаивал на судебном преследовании антифашистов-подпольщиков по обвинению их в «измене родине» и т. д. Незадолго до смерти на риторический вопрос одного иностранца: «Где ныне находится Германия?» — Гримм ответил: «В камере Рудольфа Гесса в тюрьме Шпандау». Был ли этот ответ искренним или тоже чисто риторическим, но очевидно, что Гримм лишь утешал и обманывал себя. Германия Гесса канула в прошлое, и сегодня за Гессом стоит не немецкий народ, а лишь небольшая клика разбитых, задыхающихся от ярости и исторически обреченных «вечно вчерашних». Лишь эту «Германию» представляли Рудольф Гесс в тюрьме Шпандау и Ганс Гримм вне ее.

2. НЕОФАШИСТСКИЕ АПОСТОЛЫ КРАСОТЫ И НРАВСТВЕННОСТИ

Есть своя внутренняя логика в том внешне парадоксальном обстоятельстве, что никто так не любит, бия себя в грудь, велеречиво и благородно распинаться о морали и нравственности, как заведомые проходимцы, и никто с таким рвением не берется наставлять и поучать художников и судить об искусстве и о прекрасном, как люди слепые и глухие в делах эстетических и в сущности не испытывающие никакой потребности ни в искусстве, ни в поэзии.

Трудно себе представить социальное явление в большей степени противопоказанное морали и красоте, чем фашизм. Аморальны и антигуманны были его теоретические доктрины, его преступная историческая практика заставила все человечество содрогнуться от ужаса и отвращения. А между тем, если

послушать самих гитлеровцев, может показаться, что никто так не радеет за общественную нравственность, никого так чистосердечно не волнуют малейшие отступления от правил благородного поведения и никто так не устремлен своей поэтичной и музыкальной душой в горние сферы красоты и гармонии, как именно фашисты. Еще в 20-е годы нацистская критика веймарской демократии сводилась главным образом к шумным обличениям общественных пороков, разврата и коррупции. В писаниях и речах Гитлера — в молодости неудавшегося художника — эстетические вопросы и рассуждения об искусстве всегда занимали исключительно большое место. Геббельс, Розенберг и некоторые другие нацистские фюреры также были любителями искусства, то есть прежде всего, конечно, погромщиками и фанатичными организаторами массового террора, но вместе с тем и поклонниками муз.

Этические и эстетические принципы национал-социализма наиболее впечатляющим образом были сформулированы 10 мая 1933 года, в пресловутый день публичного сожжения книг. В Берлине на Оперплатц аутодафе сопровождалось возгласами глашатаев:

Против классовой борьбы и материализма! За народную общность и идеалистический образ жизни! Я предаю огню сочинения Маркса и Каутского!

Против декаданса и морального разложения! За строгость и нравственность в семье и государстве! Я предаю огню книги Генриха Манна, Эрнста Глезера и Эриха Кестнера!

Против разрушающей душу переоценки низменных влечений! За благородство человеческой души! Я предаю огню сочинения Зигмунда Фрейда!

Против искажения нашей истории и принижения ее великих героев! За благоговейное отношение к нашему прошлому! Я предаю огню сочинения Эмиля Людвига и Вернера Хегемана!

Против литературного предательства по отношению к солдатам мировой войны! За воспитание народа в воинском духе! Я предаю огню книги Эриха Мария Ремарка!

Как легко заметить, эстетика гитлеровцев носила «этический характер». Основные положения этой этической эстетики (или эстетической этики) были изобретены не штурмовиками-книгосжигателями и даже не Гитлером, Геббельсом или Розенбергом. Они возникли еще в конце прошлого столетия. В писаниях Пауля де Лагарда, Юлиуса Лангбейна, Хаустона Стюарта Чемберлена, в тяжеловесных эссе, памфлетах и романах так называемых «писателей-почвенников» Адольфа Бартельса, Фридриха Линхарда и прочих были провозглашены краеугольные постулаты «народной» морали и красоты: главным источником зла и всяческих опасностей для здорового национального бытия является городская цивилизация. Асфальт больших городов — это та почва, на которой произрастают ядовитые цветы интернационализма, политической демократии и изощренной интеллектуальной культуры. Через города впитывается гнилая иностранщина, французские декадентские веяния. Опорой немецкой национальной самобытности, исконно немецких нравов и вкусов является деревня, провинциальный быт, крестьянство с его стародавними обычаями и привязанностью к родной земле.

Весь этот набор мудростей в последние годы перед приходом Гитлера к власти был прочно освоен писателями, которые ютились где-то на задворках литературы Веймарской республики, но которым суждено было в третьей империи стать корифеями «национал-социалистской письменности». Эти националистические, фашиствующие и просто фашистские писатели, унаследовавшие весь идеологический хлам Лангбейна, Бартельса и прочих, сформулировали некоторые положения официальной нацистской «художественной» доктрины и развернули шумную и злобную кампанию против всего талантливого, новаторского и истинно значительного, что было в то время в немецкой литературе. Себя они называли писателями «крови и почвы», враждебный лагерь именовали «литературой асфальта».

Расизм плюс ретроградная философия общественно-исторического застоя — таковы составные части понятия «кровь и почва». Идеальным представителем германской расы объявляется крестьянин. В его жилах течет передаваемая из поколения в поколение, не оскверненная никакими мутациями, чистая, беспримесная, исконно немецкая кровь. Он, как и его славные предки, неразрывно связан с родной немецкой почвой, которую он возделывает, с мистической сущностью германской природы и германского ландшафта. В оторванном от социально-исторической реальности мифическом «крестьянине», в его провинциальном неподвижном существовании, в его косности и отсталости, темноте и примитивности, в его непричастности к содому современных больших городов певцы «крови и почвы» Кольбенхейер, Гримм, Гризе, Штер, Плейер, Кнейп, Клаудиус, Дерфлер и прочие видели общественный, нравственный и эстетический идеал современной немецкой литературы.

К «литературе асфальта» проповедники «крови и почвы» относили Дёблина и Брехта, Ремарка и Зегерс, Г. Манна и Т. Манна, Кайзера и Фейхтвангера, Бехера и Л. Франка, всех экспрессионистов, всех писателей еврейского происхождения, всех, в ком они подозревали склонность к марксизму, пацифизму, интернационализму, материализму, авангардизму, гуманизму, интеллектуализму, урбанизму, всех, в чьем творчестве они улавливали живой и ищущий дух. Именно на «асфальте» больших городов — утверждали фашиствующие литераторы — произрастают чуждые и враждебные «немецкой духовной сущности» сорняки: большевизм, интеллигентское суемудрие, еврейский космополитизм, отрыв от народных

И. ФРАДКИН

«ВЕЧНО ВЧЕРАШНИЕ» — СЕГОДНЯ

корней, формалистическое тяготение к художественному эксперименту и не достойный истинного немца творческий интерес к новаторству иностранных и инородных писателей.

Прошли годы, канула в вечность гитлеровская империя, но Ганс Гримм и в 1955 году с тоской вспоминает о ныне «столь хулимом, но глубоко справедливом понятии «кровь и почва». В мемуарной книге «Искания и надежды», возвращаясь к литературной жизни на рубеже 20—30-х годов, он дает ей поистине чудовищную характеристику: «Литература, главными представителями которой временно были дёблины, фейхтвангеры, глезеры, эмили людвиги, манны, ремарки, шнитцлеры, толлеры, вассерманы, цвейги и верфели, наверняка не страдала недостатком интеллектуальности, только вот от нужд здорового народа, от его судьбы и всей немецкой действительности она — исключая «Будденброков» — ушла очень далеко в мир городской упадочности».

Как мало отличается художественный вкус неофашистов от эстетических представлений главарей праворадикальной литературы типа Гримма, видно из истории одного литературного опроса, ставшего предметом полемики между газетой «Цейт» и журналом «Национ Эуропа». «Цейт» — газета демократического направления, популярная в широких кругах интеллигенции. «Национ Эуропа» — журнальчик с острым эсэсовским запахом, главным образом занятый восхвалением бывших военных преступников, травлей борцов антифашистского Сопротивления, пропагандой фашистских и расистских режимов в Европе и Африке, сватовством бывших эсэсовских и офицерских вдов и т. п.— интересуется также — как же иначе! — и вопросами высокого искусства.

Газета «Цейт» по просьбе американского профессора-литературоведа Ламонта провела среди читателей опрос на тему: десять лучших немецких романов. Опубликованные в газете итоги опроса вызвали резкий протест на страницах «Национ Эуропа». Сотрудник этого журнала Курт Герман решительно вычеркнул из списка читателей «Цейт» Рикарду Гух и Томаса Манна. О последнем он без смущения пишет: «Ни в коем случае не принадлежит к крупнейшим немецким писателям». Далее Герман высказывает уверенность, что отбор, сделанный читателями «Цейт», продиктован... «страхом своими честными ответами произвести впечатление антисемитизма, который сегодня в Германии запрещен и преследуется в уголовном порядке». Аргумент явно вздориый, ибо никто ведь не обязывал читателей принять участие в опросе, да и ответы их к тому же были анонимными. Впрочем, в отличие от читателей, терроризованных страхом прослыть антисемитами, бравый эсэсовец Герман — человек бесстрашный: он не боится утверждать, что Верфель или Фейхтвангер — «незначительные писатели».

В назидание читателям «Цейт» Герман предложил свой список, в котором Томасу Манну и Лиону Фейхтвангеру противопоставлены такие «неведомые шедевры», как романы Ганса Бранденбурга и Отто Ромбаха, а также произведения заядлых нацистов — Гримма, Кольбенхейера, Циллиха и др. Не остановившись на этом, редакция журнала «Национ Эуропа» обратилась к читателям с предложением назвать лучшие немецкие романы последних тридцати лет. Здесь уже никто не назвал ни Томаса Манна, ни Фейхтвангера, ни Фалладу, ни Дёблина и т. д., но был поименно перечислен весь гитлеровский Париас (Кольбенхейер, Гримм, Циллих, Двингер, Брем, Веспер и др.) и даже выдвинуты заурядные поставщики развлекательного чтива, как Вилиам фон Зимпзон и Эрнст Мориц Мунгенаст.

В том же журнальчике «Национ Эуропа» появилась и статья Роберта Хольбаума «К европейской культуре», статья, как нельзя более характерная для германского фашизма именно на его новом, послевоенном этапе. Хольбаум — старый фашистский судетонемецкий писатель — продемонстрировал в этой статье одновременно и желание праворадикальных кругов приспособиться к новой исторической ситуации, в которой оказался германский антикоммунизм, к новым «атлантическим», «натовскнм» условиям, и их косность, привычную националистическую гордыню, которые мешают им произвести эту перестройку. Хольбаум взялся за перо, чтобы побрататься с «Западом», чтобы воззвать к «европейской культуре», но неистребимая тевтонская спесь, как некий бес, притаившийся где-то в его подсознании, каждый раз и притом в самый неподходящий момент выскакивает с криком «Зиг! Хайль!» и портит бедняге Хольбауму всю его атлантическую обедню.

Сначала автор задается вопросом, что такое Европа и европейская культура, и сам находит на него ответ. Он, разумеется, выводит за пределы «Европы» Советский Союз. Не заботясь об исторических, географических и прочих обоснованиях, он вытесняет русских с их Л. Толстым и Достоевским, Мусоргским и Чайковским, Лобачевским и Менделеевым и т. д. в Азию. О румынах он говорит с пренебрежением, через плечо, как большой барин о приказчике. «То, что чехи,— пишет он далее,— всегда были азиатской заиозой в европейском теле, знали, к сожалению, лишь мы, их ближайшие соседи. Ныне, когда этот народ, как некогда при Яне Гусе, сбросил с себя западную маску, нам, безусловно, грозит и отсюда оскал Азии». Лишив одним росчерком пера европейские народы социалистического лагеря их доли в европейской культуре, Хольбаум совершает одновременно и другой, не менее затруднительный трюк: с тяжелым вздохом он приобщает к европейской культуре США, замечая, что это «...мы должны признать из реальной политической необходимости».

Но в тот момент, когда Хольбаум с величайшей натугой делает это вынужденное заявление, в подкорковой части его мозга начинает отчаянно активничать бес и на-

шептывать автору длинный список националистических обид. «Нас упрекают в том,— с чувством оскорбленного достоинства восклицает вдруг Хольбаум,— будто мы в течение двух последних десятилетий (то есть прежде всего в годы фашизма.—*И. Ф.*) ничего значительного сами не создали и лишь проспали высокое развитие интернациональной культуры». Это — ложь! — кричит уже забывший о своей «атлантической» доброй воле старый нацист,— немецкая литература до 1945 года (то есть литература третьей империи.—*И. Ф.*) вовсе не была в упадке — достаточно лишь назвать несколько имен. И Хольбаум называет их. Кем вы там на Западе гордитесь, Фолкнером? А у нас зато был Отто Ромбах. Вы ссылаетесь на Хемингуэя? Но не забудьте, что у нас в то же время жил и творил Бруно Брем. На Западе чтится имя Мориака? А мы ему противопоставим Мирко Елузиха. Вы считаете Гарсиа Лорку великим поэтом? Но куда ему против нашего Иозефа Вайнхебера! Одним словом, не гордитесь вашим «асфальтом» — у нас была своя «кровь и почва».

И уже окончательно утратив контроль над своим пером, Хольбаум разражается протестом против «литературного господства чужаков на книжном рынке», против «пренебрежения к немецкой и возвеличения чужих литератур». И заканчиваются все эти проказы антиатлантического беса отнюдь не запрограммированным призывом «искать Европу в Нижней Австрии и в Германской Богемии, а не только в Техасе или Балтиморе». Статья Хольбаума — пример того, как трудно дается неофашизму переход на новые космополитические рельсы, хотя «реальная политическая необходимость» такого перехода осознана.

Но если бы пришлось спросить сегодня рядового западногерманского читателя о том, кто является наиболее известным представителем неонацистской этики и эстетики, он назвал бы не Гримма, не Германа и не Хольбаума, а скорее всего Курта Цизеля. Это о нем сказал Курт П. Таубер: «Если сила правой литературы может измеряться количеством полемики, которую она вызывает, то нет сомнения, что писания Курта Цизеля будут стоять очень высоко, если не на первом месте, на этой силовой шкале».

В отличие от Гримма, который выступил еще до первой мировой войны и впоследствии соединял в одном лице префашиста, фашиста и неофашиста, Цизель является знаменитостью уже иной эпохи, 50—60-х годов. В словаре Леннарца (1963) места ему уделено больше, чем, например, Ремарку или Леонгарду Франку, и характеризуется он в самых лестных выражениях: «Пользующийся успехом и являющийся предметом споров внутри страны и за границей писатель нашего времени, проблемами которого он бескомпромиссно занимается из нравственных (разумеется, нравственных!— *И. Ф.*) побуждений...» И далее: «...его сторонники ставят его в первый ряд европейских повествователей нашего времени».

Курт Цизель, австриец по происхождению, еще в юности вступил в национал-социалистскую партию Австрии и был редактором по вопросам культуры в ее центральном органе. Будучи восторженным поклонником своего земляка, ставшего рейхсканцлером Германии, Цизель в возрасте двадцати двух лет, после прихода Гитлера к власти, переехал в Германию, где был активным журналистом нацистской прессы в Мюнхене, Кёнигсберге, Дортмунде и Гамбурге. В 1934 году при невыясненных до сих пор обстоятельствах Цизель подвергся аресту на несколько недель — ссылка на этот арест служит ныне ему могучим средством политической саморекламы. Впрочем, этот кратковременный арест не помешал дальнейшей ортодоксально гитлеровской литературной деятельности Цизеля. Он объездил многие страны, выпустил ряд книг — романов, повестей, путевых репортажей, а во время войны стал корреспондентом в различных «ротах пропаганды», воспевая доблесть фашистского вермахта и успехи германского оружия. После войны, отсидевшись несколько лет в глуши, Цизель в начале 50-х годов снова вынырнул на поверхность и в течение последних двадцати лет опубликовал до двадцати романов и публицистических, полемических, культурно-критических книг.

В изображении самого Цизеля его литературно-политическая биография выглядит несколько иначе. Он неустанно повторяет, что в 1933 году он, дескать, был одним из тех честных, искренних и младенчески неопытных идеалистов, которые беззаветно поверили Гитлеру и с воодушевлением за ним пошли. Кто же осудит этих юнцов за столь простительный в их возрасте неосмотрительный энтузиазм?! Зато при первом же соприкосновении с гитлеровской империей он, Цизель, увидел жестокое несоответствие своих идеалов действительности и горько разочаровался в нацизме. Особенно оскорбила его благородную душу антисемитская политика гитлеровцев (это было для него полной неожиданностью!), и именно за откровенные высказывания на эту тему он, мол, и был заключен в тюрьму. А после этого он находился в оппозиции к гитлеризму, его литературной деятельности чинились всяческие препятствия со стороны фашистских инстанций, и его книги лишь с трудом выходили в свет. А посему — позор тем циникам и скептикам, которые не желают сквозь зримые миру фашистские писания Цизеля гитлеровских времен увидеть его незримые миру сомнения, разочарования и антифашистские убеждения!

Короче говоря, Цизель всегда был человеком безупречно честным. Он был честным фашистом, затем он честно разочаровался в фашизме и стал втайне честным демократом. В 1945 году он честно надеялся на демократическое обновление Германии. Правда, он вскоре снова честно разочаровался в послевоенном германском развитии, но к

этому его разочарованию мы еще вернемся ниже, а пока послушаем, как оценивает Генрих Бёль честность Цизеля — его деланную наивность и его притязания на ореол антифашистского праведника. «Когда Цизель в 1933 году,— пишет Бёль,— как-никак двадцати двух лет, стало быть не совсем уж таким младенцем, в поисках благодати перешел границу между Австрией и Германией, он, очевидно, не читал «Майн кампф» Гитлера. Иначе он едва ли мог предполагать, что новая благодать мыслима без антисемитизма... Бывают моменты, когда наивность и всякого рода идеализм, на которые ссылается Цизель, наказуемы.

Но допустим, он раскаялся. Он ссылается на арест, на запрещение своей книги, на неприятности. Пусть так. Но быть нелюбимым Геббельсом, в этом нет еще даже отдаленного намека на святость. Какое нам, в конце концов, дело до того, почему те или иные нацисты друг друга не любили? Пусть это будет одной из наших самых последних забот. Мы ведь уже давно убедились, что не было ни одного нациста, который не был бы втайне исполнен жажды сопротивления и не хотел «всегда только хорошего».

В 50—60-е годы Цизель выпускает около десятка романов. Некоторые из них, представляющие собой сентиментально-мелодраматическое чтиво на националистической подкладке, имели успех у мещанской публики. Роман «И все же остается человек» достиг тиража около 300 000 экземпляров. В нем рассказывается об американском летчике-истребителе Джоне Старвике, который встретился в воздушном бою с немецким летчиком Томасом Рейнедером. Немец проявил по отношению к своему противнику рыцарственность и великодушие, но, воспользовавшись этим, Старвик сбил Рейнедера. Позднее в рукн американского летчика попадает дневник убитого, и через этот дневник Старвик знакомится с благородным идеалистом, рыцарем западной культуры, человеком высоких убеждений. Война тем временем закончилась, но американского летчика начинают терзать совесть и сознание своей вины перед погибшим. Другие американские офицеры, люди примитивные и грубые, не понимают переживаний Старвика и высмеивают его. Он же, пренебрегая утехами оккупантской жизни, одержим лишь одним желанием: разыскать семью покойного Томаса Рейнедера. И он ее в конце концов находит в Баварии, куда вдова и сын Рейнедера, многое претерпев от русских, бежали из Восточной Пруссии. В преданном служении семье рыцарственного противника Старвик искупает свою вину.

В фабуле романа «И все же остается человек» нет, пожалуй, ни одной детали, не заключающей в себе некоего политического намека или поучения. Прежде всего в романе воплощена одна из наиболее настойчиво повторяемых неофашистских идей — о том, что немецкая вина и немецкие военные преступления выдуманы победителями и что в действительности союзники в гораздо большей степени повинны в преступлениях по отношению к немецкому народу. Столь остро стоявший в послевоенные годы общественно-нравственный вопрос о виновности полемически перевернут вверх ногами: это роман об американской и русской вине перед немецким народом. Вместе с тем, стараясь превозмочь свои фашистско-националистические чувства по отношению к западным державам, Цизель намекает на возможность искупления вины Запада перед Германией посредством исправления нанесенного ей ущерба и создания военно-политического альянса США—ФРГ, направленного против «коммунистического варварства», грозящего с Востока.

Столь же спекулятивно расчетливы и другие романы Цизеля, например, «Даниил в яме со львами». Этот роман был призван проиллюстрировать версию о Цизеле как исконном противнике антисемитской политики гитлеровцев. Но нас, впрочем, больше может заинтересовать не Цизель — автор весьма банальных романов, а Цизель — публицист, этик и эстетик, неофашистский апостол красоты и нравственности.

Как тип бульварного, делающего ставку на скандал и сенсацию публициста, Цизель не нов. Он в высшей степени подобен тем крикливым журналистам нацистской печати времен Веймарской республики (их образчиком мог служить Геббельс), которые соединяли грязные приемы бульварной прессы — диффамацию, шантаж, разгребание скандальных подробностей частной жизни — с политической демагогией в духе фашистских доктрин. Излюбленное занятие Цизеля — персональные «разоблачения» и дискредитация, его излюбленное оружие — ушаты грязи.

Для чего это делается? Разумеется, по самым высоким, благородным, исключительно нравственным и принципиальным мотивам. Если Цизель всегда готов окунуть своего оппонента в навозную жижу, а заодно и сам искупаться в ней, то лишь потому, что в борьбе за Честь, Истину, Справедливость и Нравственность, за «родину и народ» он ни перед чем не постоит. Однако давно уже было замечено, что все эти высокие слова прикрывают у Цизеля его сугубо личные, бесчестные и корыстные интересы, что он сводит личные счеты с теми писателями, критиками, журналистами и редакторами, которые имели неосторожность когда-нибудь неодобрительно отозваться о писаниях Цизеля, или отклонить его рукопись, или «замалчивать», то есть не помещать положительных рецензий на его книги в руководимых ими органах прессы. Стоит, например, Иозефу Винклеру опубликовать отрицательную рецензию на роман «Даниил в яме со львами», как Цизель отвечает на это «расследованием» его отношений с бывшей женой. Это — типичный пример, один из многих подобных.

Клевета, оскорбления, «разоблачения» интимной жизни широко известных общественности людей — все это создает вокруг писаний Цизеля обстановку скандала, непристойной сенсации, все это делает ему весьма сомнительную, но, видимо, его устраивающую рекламу и ведет к повыше-

нию тиражей его книг. Но ориентация на скандал — вещь рискованная и обоюдоострая даже с чисто коммерческой точки зрения. Появление каждой новой книги Цизеля сопровождается очередной серией судебных процессов: оскорбленные, оболганные писатели, журналисты, общественные деятели нередко подают на Цизеля и на издательство, выпустившее книгу, в суд, и подобные процессы иной раз приводят к наложению денежных штрафов или ареста на оставшуюся часть тиража. Это, в свою очередь, ведет к материальным убыткам, как правило, не для автора, а для издательства. Издатели, рассчитывающие хорошо заработать на очередной скандальной книге Цизеля, играют ва-банк. Для одного своего издателя, Фрица Шлихтенмайера, Цизель уже оказался злым роком. Шлихтенмайер в результате издания книги Цизеля «Красные убийцы доброго имени. Документация холодной войны» и связанных с ней судебных решений обанкротился и пустил себе пулю в лоб. Но Цизелю все это как с гуся вода: как азартный наездник, загнавший одну лошадь и пересаживающийся на другую, он пересел с одного (отбывшего в мир иной) издателя на другого и продолжил скачку.

Лабазники на базаре, хуля чужой товар, восхваляют свой — Цизель, клевеща и оскорбляя недругов, не стесняется в риторических пассажах и превосходных степенях, восхваляя свою особу. В деле саморекламы он преступает все мыслимые пределы бесстыдства. Он публикует частные письма читателей и даже выпустил специальную книгу — «Умы размежевываются», почти целиком состоящую из полученных им хвалебных писем. Здесь вся неофашистская литературная братия (Кольбенхейер, Гримм, Брем, Циллих, Карраш, Понгс и др.) представлена письмами, возносящими Цизеля до небес. Здесь письма Франца Иозефа Штрауса, вице-президента бундестага Макса Беккера, многих депутатов бундестага и ландтагов от ХДС и т. д. И Цизель без смущения издает от своего имени эту антологию панегириков, в том числе, например, письмо профессора Фрикке из Карлсруэ, который пишет: «Я в разговорах со знакомыми приравниваю вашу книгу к «Разбойникам» Шиллера». Цизель не только не ежится от таких похвал, но даже спешит их предать гласности.

Книги Цизеля не выходят из круга идей, так или иначе повторяемых всеми правоэкстремистскими публицистами. Он не может отделаться от кошмара мировой революции. Устрашенный этой угрозой и особенно стараясь запугать ею весь западный мир, Цизель в каждой своей книге по любому поводу повторяет заклинания против «мирового коммунизма», «опасности с Востока», «товарищей из Москвы и Панкова». Под этим углом зрения идет его критика политической, идеологической и культурной жизни ФРГ. Беря пример с покойного сенатора Маккарти и пресловутой комиссии по расследованию антиамериканской деятельности, он все время кричит об инфильтрации коммунистических агентов во все поры западногерманского организма и о засилье антипатриотических элементов в государственном аппарате, партиях и органах общественного мнения.

Цизель шельмует и травит всех бывших эмигрантов, всех бывших участников антифашистского Сопротивления — они для него замаскированные агенты Кремля, предатели и изменники, люди, лишенные немецкого национального чувства. В изображении Цизеля ФРГ является страной, где власть принадлежит левым, космополитическим, подрывным и в конечном счете коммунистическим элементам. «Как в Веймарской республике,—пишет он,—так и сегодня господствовало и господствует фактически не столько правительство, как оппозиция». В сущности демократия в Западной Германии является не чем иным, как замаскированной диктатурой левых кругов, льющих воду на коммунистическую мельницу. Гнет этой диктатуры настолько тяжек, что национально мыслящим людям, которые беззаветно служат интересам немецкого народа (как он, Цизель, как его братья писатели Гримм, Кольбенхейер, Пост и пр., как бывший министр по делам переселенцев Оберлендер и др.), невозможно дышать, они терроризованы, затравлены, вытеснены со всех позиций «красной мафией». Цизель требует навести порядок и покончить с «демократическим хаосом» в ФРГ. Его программа гласит: «Семья, крестьянство и солдатский дух»; а под солдатским духом он — по его словам — понимает «повиновение, верность отечеству, жертвенную смерть».

По всему строю своих политических воззрений Цизель типичный и в общем ординарный неонацист. Но есть момент, который делает его фигуру особенно показательной с точки зрения одной очень важной и очень опасной тенденции в политической жизни ФРГ: в Цизеле и в его литературной деятельности отчетливо проявляется тенденция к смыканию консервативно-клерикальной реакции с неонацизмом, иначе говоря, ХДС—ХСС с НДП. Именно в ХДС—ХСС, в его правом, возглавляемом Штраусом крыле, ищет и находит Цизель для себя опору. Именно эти деятели ХДС, начиная со Штрауса, проходят парадом в изданной Цизелем антологии панегириков «Умы размежевываются». И он, в свою очередь, платит им взаимностью и верностью. Стоит какому-нибудь видному деятелю ХДС оказаться разоблаченным в преступлениях, совершенных в гитлеровской империи, или попасть под огонь критики со стороны демократической общественности, как тут же бросается вперед Цизель и собственной грудью закрывает их от огня. В последние годы он выступал с книгами и статьями в защиту Штрауса (в связи с делом журнала «Шпигель»), Оберлендера (разоблаченного в кровавых преступлениях на территории Советского Союза), Зеебома, Хохерля... При этом он не ограничивался персональной за-

---

щитой этих лиц, он защищал вместе с тем и партийные интересы ХДС—ХСС, обрушиваясь с потоком клеветы и демагогии на социал-демократов и свободных демократов.

Такова публицистика Цизеля на непосредственно политические и, я бы сказал, «общественно-нравственные темы». Смысл же его «эстетической концепции» легко улавливается даже из высказываний по далеким от этой области вопросам. Вот он плачется на недооценку крестьянства в ФРГ, на то, что этому сословию, по его мнению, не оказывается достаточного почета. И вдруг в этом рассуждении начинают звучать знакомые, милые ноты: «Тот, кто рассматривает крестьянство не только как производителя продуктов питания, а придает этому сословию более глубокое значение, видит в нем в биологическом отношении (непонятная стыдливость мешает Цизелю сказать по старинке — «в расовом отношении».— *И. Ф.*) и в смысле политики народонаселения источник силы всего народа, тот сейчас же оказывается под подозрением, что он является идеологом «крови и почвы», словно преданность «асфальту» и лишенной корней городской жизни— непременное условие истинного демократизма».

Вот мы и снова вернулись на то же самое заколдованное место. Эстетическая мудрость Цизеля не идет дальше гитлеровского мифа о «крови и почве». Под пером Цизеля этот миф если и претерпевает какие-нибудь изменения, то лишь в том смысле, что он актуализируется, приобретает полемическую ориентацию, связанную с общественной, идеологической и культурной обстановкой сегодняшнего дня. Цизель — страстный враг «асфальта». Но «асфальт» для него сегодня — это «Группа 47». «Асфальт» для Цизеля — это левая интеллигеиция, интеллигенция вообще и сам интеллект, поскольку он сопряжен со способностью критического мышления. Интеллигенцию Цизель характеризует следующим образом: «Так как изготовители общественного мнения, литераторы и так называемые носители культуры проклинают любые эмоции, то у них, например, отсутствует чувство стыда... Так как поклонники интеллекта неспособны к любви, которую нельзя постичь через интеллект, то они лишены и любви к отечеству, и к родине. Готовность приносить жертвы во имя отечества, защищать его, желание видеть его всеми уважаемым, чувство боли по поводу его поражения — все это кажется им абсурдным и смехотворным».

В книге «Демократия, которую предали» (1961) Цизель создает из ненавидимых им писателей некий собирательный образ левого антифашистского литератора, и в этом образе, обрисованном с той пасквильной злобой, на какую он только способен, Цизель в негативной форме выразил свое эстетическое кредо.

Как становятся видным писателем в этой стране? — спрашивает Цизель и отвечает: прежде всего нужно притвориться левым и ругать Аденауэра. Далее нужно до небес превозносить Брехта. Нужно крепко поносить нацистов (особенно если прежде сам был таковым). Когда ты зарекомендовал себя таким образом хорошим «демократом», нужно куда-то пристроиться. Тут есть некоторые возможности: «Грюивальдский кружок», «Группа 47» или Дармштадтская академия. Когда стойло найдено, нужно ретиво и рьяно поносить солдат, церковь, предостерегать от атомной смерти, разумеется, только той, которую готовят Штраус или Эйзенхауэр. На следующем этапе можно для начала попробовать писать стихи, конечно, без рифм и ритма, электронно резко и абстрактно рубленно. Когда, таким образом, твое имя уже вошло в оборот, нужно немедленно написать роман. Это очень просто. В качестве образца можно, например, рекомендовать Гюнтера Грасса. Но вы, конечно, можете выбрать и «Лолиту» Набокова или «Смерть в Риме» Кёппена. Это все равно — растлитель малолетних, гомосексуалист или кретин в сумасшедшем доме — возможностей тут достаточно.

Пишите оригинально! Сие значит: не пишите, как Инна Зайдель, или тем более как Штифтер, или Готфрид Келлер! Это плохо покупается и уже не располагает критиков в вашу пользу. Если вы действительно хотите вызвать у них экстаз восторга, пишите в модернистском духе и рубите язык и композицию на мелкие кусочки! И главное, ни слова о чувствах, кроме тех, которые проистекают из самых примитивных влечений! Добро, самоотверженность, любовь — упаси боже, чтобы этого не было!

Рассуждения Цизеля на эстетические темы могут иному читателю показаться неожиданными и странными, даже справедливыми, если не знать, что в действительности скрывается за «благородными» сентенциями неонацистского демагога. Например, желание утвердить в правах высокие чувства — добро, самоотверженность, любовь — можно было бы только приветствовать, если бы сам Цизель не расшифровывал так часто свое — фашистское — понимание «высоких чувств».

Генрих Бёль замечает: «Плохо то, что в тезисах Цизеля заключены частички правды, но тому, кто захотел бы эти частички найти, пришлось бы заодно проглотить целый килограмм вздора».

Цизель говорит: «Наша молодежь должна научиться понимать, что литература и поэзия должны обладать иными ценностями, чем только проблемы чистой формы». Иначе говоря, Цизель — против самоцельного формализма, он выступает за идейно-воспитательное содержание литературы. Увы, мы знаем, каково идейное содержание нацистской литературы и в каком духе она стремится воспитывать своих читателей.

Цизель выступает против порнографии. Казалось бы — отлично. Но уж больно сомнительно. Все дело в том, что когда Цизель говорит о сексе, его одолевают заботы, очень далекие от подлинных интересов искусства. «Сексуальное одичание,— заявляет он,— является свидетельством демократических убеждений». И далее: «Разрушение нравственности через литературу — боевое

средство мировой революции». Эти лозунги глупы и бессмысленны, но прежде всего — это лозунги фашиста, озабоченного единственно своими политическими — антикоммунистическими и антидемократическими — целями и лишь маскирующего эти цели лицемерными демагогическими рассуждениями о красоте и нравственности.

3. МОЛОДАЯ МУЗА НДП

Не так давно, в сентябре 1969 года, газета «Дейче нахрихтен», центральный орган национально-демократической партии — НДП — напечатала стихотворение «Поколения» некоего Рудольфа Зиммерлинга:

Отец сказал: «Я жил в кипенье славных лет,
За все, что сделал, я готов нести ответ».
А обыватель — тот, как агнец, чист и свят.
Отца клеймит и англосаксам друг и брат.
Сын предает отца, его борьбу и труд.
Для сына обыватель — это высший суд.
Потомство разрешит отца и сына спор,
Героев обелит, объявит приговор.

Это исполненное фальшивой патетики стихотворение интересно, однако, тем, что оно безошибочно фиксирует одну из основных болевых точек неонацистского движения. С самого начала, еще с 40-х годов, оно было движением «вечно вчерашних», то есть неисправимых и фанатичных гитлеровцев, и в течение многих лет оставалось делом довольно узкой касты политических инвалидов преклонного возраста. В глазах сыновей отцы — с какой меркой к ним ни подходи, с меркой ли военно-политических результатов или нравственной оценки их деяний — были банкротами. В рядах неофашистских организаций шагали гальванизированные трупы из национал-социалистского морга, а молодежь, немцы нового послевоенного поколения, стояли на тротуаре за полицейским оцеплением, не скрывая своего насмешливо враждебного отношения к неугомонным «отцам».

Такое положение в известном смысле сохранилось и в 60-е годы. Оно даже обострилось. Правда, НДП удалось расширить свое влияние среди некоторых слоев западногерманского населения. Но избирательные успехи НДП в 1966—1968 годах вызвали мобилизацию сил и мощный отпор со стороны прогрессивной общественности в ФРГ, причем в этих антифашистских демонстрациях и массовых действиях активную роль играла молодежь, студенты, сторонники внепарламентской оппозиции — АПО.

Неонацисты находятся во власти противоречивых порывов. Современная молодежь — в особенности городская, учащаяся — им органически ненавистна. Нет ни одного номера «Дейче нахрихтен» или «Дейче вохенцейтунг», который не содержал бы злобных выпадов не только против политических взглядов и акций молодежи, но и против всей окружающей ее общественно-бытовой атмосферы — против ее одежды (джинсы, куртки) и причесок (длинногривые барбудос!), против ее музыкальных кумиров (битлз!), современных танцев и т. д. Но вместе с тем неофашисты понимают, что без молодежи у них нет будущего. И вот, пытаясь восстановить то, что сами столь усердно разрушали, они начинают судорожно улещивать молодежь и вербовать ее на свою сторону. Журнал «Национ Эуропа» объявляет литературный конкурс с денежными премиями для авторов не старше двадцати пяти лет. Изображая из себя радетелей о социальных и культурных нуждах молодого поколения, НДП с большим шумом рекламирует свои требования в области образования, спорта и т. п. Один из официальных пропагандистских лозунгов этой партии гласит: «НДП — партия мыслящей молодежи».

Но как раз с мыслящей молодежью у НДП дело обстоит по-прежнему неважно. Конечно, в последние годы к НДП прибились кое-какие молодые люди. Но это главным образом публика не интеллектуальная, не пишущая, а работающая кастетом и пивной кружкой. Из нее рекрутируются стяжавшие себе печальную известность «охранники» (или, как их официально называют, «распорядители») НДП, истязатели и громилы. Охранник Клаус Коллей, открывший в сентябре 1969 года в Касселе огонь по антифашистской демонстрации и ранивший двух студентов, или Бахман, совершивший в Западном Берлине покушение на одного из лидеров АПО Руди Дучке и тяжело ранивший его,— оба они хотя и были молоды, но отнюдь не принадлежали к «мыслящей молодежи». С другой стороны, и тех молодых людей, которые в последние годы тискают свои стишки на полосах «Дейче нахрихтен»,— и их тоже трудно отнести к «мыслящей молодежи». Хотя они и вооружены пером, но ничем по существу не отличаются от вооруженных кастетом или пистолетом. Впрочем, предоставим судить читателю:

Вей патлатых нигилистов,
Вей, пока не окосеют!
Красной масти демагоги
Пусть пожнут, что сами сеют!
В наших университетах
Лодырей скопились кучи.
Сопляки, что не трудились,
Государство пусть не учат!
. . . . . .
На чью мельницу, разини,
Вы там в Бонне льете воду?
Прежде собственность, порядок,
А затем уже свободу!

Как легко убедиться, в этом стихотворении (подписанном псевдонимом «Берлихинген») имеются, по крайней мере, три идеи: во-первых, что нужно бить, и притом бить покрепче (пока не окосеют!), во-вторых, что университеты суть вредные учреждения, ибо там скапливаются опасные лодыри, и, в-третьих, что во всем виновато боннское правительство Кизингера и Штрауса, которое слишком мало бьет и предоставляет студентам слишком много свободы.

И. ФРАДКИН
«ВЕЧНО ВЧЕРАШНИЕ» — СЕГОДНЯ

Вообще надо сказать, что стихи молодых поэтов НДП не парят в мире отвлеченных мыслей и возвышенных чувств, а развивают, так сказать, конструктивные идеи, предлагают «конкретные» и «действенные» решения важных общественных проблем. Взять, например, проблему молодежи в ее идеологических и политических аспектах (движение «новых левых», студенческие выступления, внепарламентская оппозиция). Это — доминирующая тема неофашистской музы: почти в каждом номере «Дейче нахрихтен» по этому предмету высказываются в стихах Вернер Шрифер, Рудольф Зиммерлинг, Ули Немо и неведомые поэты, скрывающиеся под псевдонимами «Берлихинген», «Изегрим», «Блиц» и пр. И каждый из них предлагает свои компетентные и деловые рецепты. «Бей патлатых нигилистов, бей, пока не окосеют!» — это мудрый совет, но он не уточнен, рекомендуемая процедура недостаточно строго регламентирована.

Десять палок всыпать кряду —
Сразу б наступил порядок! —

пишет другой поэт. В его формуле мы видим больше определенности и системы, она уже чем-то напоминает параграф старого прусского военного устава. Уловив эту тенденцию, третий поэт предлагает универсальный способ разрешения проблем молодежи посредством милитаризации общественной жизни:

Взять покрепче их в работу,
Так, как «шпис» мордует роту,
Бунтари бы присмирели,
Дурака валять не смели.

Все, что поэты НДП думают и имеют сказать по поводу молодежного движения, суммировано и выражено в феврале 1969 года в стихотворении «Мягкотелость» уже известного нам «Берлихингена»:

Наши судьи нежной ручкой
По головке гладят Дучке,
Поощренные АПОши
Учиняют нам дебоши.
«К детям, мол, не будьте строги!»
А «дитя» творит поджоги!
Смазать раз-другой по рылу —
«Деток» как водой бы смыло!
. . . . . .

Из Парижа Кон-Бендита
Вышвырнули как бандита,
И гонят либералы-бритты
Тех, кто не стрижены, не бриты.
Лишь наши добряки из Бонна
Набатного не слышат звона
И снисходительны к затеям
Коммунистических злодеев.

Здесь соединились все характерные мотивы неонацистских стихов о (вернее, против) молодежи. Ее злонамеренность и зловредность прежде всего усматриваются в ее внешнем облике, в нестриженности и небритости. Гривы и бороды сразу приводят поэта к выводу о чрезвычайной государственной опасности этих «коммунистических злодеев». А затем следует уже испытанная политическая плетка-трехххвостка: во-первых, припугнуть обывателя страшной коммунистической угрозой, во-вторых, обвинить (в чем-чем, но уж менее всего в этом повинное) правительство в «мягкотелости» и поощрении крамолы, в-третьих, призвать к крутым, террористическим мерам (на этот раз выраженным в формуле «смазать по рылу»!).

Политические вирши молодых поэтов НДП крикливы, вздорны и грубы, как излияния базарной торговки. Это, так сказать, их формальные приметы. Но и в смысле содержания, то есть глубины проникновения в предмет, способности постигнуть суть затрагиваемого вопроса, они вполне на уровне того же персонажа. Неонацистским поэтам случается касаться действительных социальных пороков, иногда они кричат и улюлюкают по поводу тех или иных реальных симптомов общественно-нравственного упадка, но стихи их при этом не содержат в себе ни крупицы истинного познания зла. Это — чистая демагогия: какие бы мотивы в них ни затрагивались, эти стихи движимы отнюдь не интересом к предмету, не жаждой постижения истины, а лишь желанием любым способом (то есть уцепившись за какую угодно ходкую тему, пускаясь в любые с тактической точки зрения выгодные и сулящие успех обличения) выколотить политический барыш для своей партии.

Взять, например, стихотворение все того же «Берлихингена» — «Грязь и макулатура». Оно написано по определенному поводу, о котором читатель догадается далеко не сразу, ибо начинается оно совсем с другого, с ловко выбранной, но совершенно посторонней темы. Поэт клеймит бульварное чтиво, заполонившее западногерманский книжный рынок, низкопробные «крими» с бесконечными убийствами, женщинами-вамп, полные садизма и порнографии; он резко высказывается о «грязи и макулатуре», которая импортируется из США и поддерживается в ФРГ коммерческой рекламой, о ревю, напичканных сексом, о стриптизе и прочем. Обо всем этом поэт говорит с той дрожью добродетельного негодования в голосе, которая (как мы уже видели) вообще присуща неофашистским апостолам красоты и нравственности. «Но если автор...» — продолжает далее «Берлихинген», и при этом сразу обнаруживается, для чего он весь огород городил,—

Но если автор — полковник Рудель,
То путь его книги бывает труден.
У нас под запретом книги героев,
«Грязь» и «разврат» в них находят порою,
Герой, мол, юношество развращает.
Зато героин никого не смущает!..

Так вот, оказывается, где собака зарыта! Произошло редкое в ФРГ событие: федеральное бюро по контролю над вредной для юношества литературой набралось духу и включило в свой индекс насквозь милитаристскую и фашистскую книгу бывшего «национального героя», известного гитлеровского летчика, а ныне одного из активнейших неонацистов полковника Руделя. Легко себе представить, какой крик был поднят по этому поводу в праворадикальном лагере: надругательство над немецкой национальной честью! черная неблагодар-

ность отечества по отношению к героям солдатам! и прочая и прочая. «Берлихинген», естественно, заступается за «своих» и всячески рекламирует националистическую и милитаристскую литературу — единственно в этом смысл его стихотворения. А запев, с которого оно начинается, шумливая критика явлений культурного распада—все это лишь демагогия чистой воды, благовидный предлог, дымовая завеса...

Стихи молодых поэтов из «Дейче нахрихтен» не надо, конечно, рассматривать как явление поэзии. Значение их в другом. Они иллюстрируют политические лозунги и характерные направления партийной пропаганды НДП. Некоторые из них носят открыто реваншистский характер, они пророчат передел Европы, уничтожение существующих границ, возвращение в «немецкую Силезию», в «немецкую Богемию» и т. д. В других ведется агитация за бундесвер и казарменная муштра в духе славных старопрусских традиций рекламируется как единственно достойная школа для истинного немца. По этим и подобным стихам можно судить как о явных, так иногда и о скрытых тенденциях неонацистской политики и идеологии. В особенности о скрытых— в виршах они меньше маскируются и чаще выступают в своей обнаженности, чем в речах официальных политиков и статьях партийных публицистов. Официальные лидеры НДП стремятся всячески закамуфлировать политическую связь своей партии с НСДАП, ее идеологическую преемственность от национал-социализма. Но Вернер Шрифер «проговаривается» почти в каждом стихотворении. То этот поэт в патетическом запале, вскинув руку кверху в гитлеровском приветствии, выкрикнет (чуть-чуть перефразировав) известный нацистский лозунг «Германия, проснись!», то он напишет «программное» стихотворение, не найдя для него лучшей формулы, чем название первой в Германии фашистской газеты «Auf gut Deutsch» (на основе которой затем возник знаменитый «Фёлькишер беобахтер»). Ничего не поделаешь: черты политической наследственности неизгладимо запечатлены в облике неофашизма!

Эта связь с гитлеровским прошлым тяготит деятелей НДП, ибо компрометирует их в глазах избирателей и создает для них подчас юридические трудности. Они хотели бы от этой связи избавиться, во всяком случае, внешне, со стороны фасада, обращенного к общественности. Поэтому они так стремятся подвести черту, решительно отделить настоящее от прошлого, поэтому они так настаивают на признании срока давности в делах о фашистских преступлениях против человечности.

В этом смысле характерен и имеет определенное символическое значение опубликованный в апреле 1969 года в «Дейче нахрихтен» рассказ Карла Шпрингеншмидта «Фиалки в Монте-Касино». Читатель знакомится с бывшим унтер-офицером Людвигом Бромбергом, ныне вполне цивильным гражданином ФРГ, который решил на пасху посетить в Италии места, где он прежде воевал. Оставим в стороне все риторические восторги и лирические излияния. Сами понимаете — тема такая: нацистские вояки любят посещать места, с которыми связано их славное прошлое, и при этом испытывать подобающее мужчине волнение. Но бог с ними, с этими цветочками неонацистской чувствительности,— перейдем к голой сути.

Оставив машину на дороге, Бромберг подымается к той пещере в скале, где он двадцать пять лет тому назад с огнеметом в руках поливал пламенем атакующего противника. Собственно, для этого он и приехал: «Он хочет видеть, как сегодня выглядит тот кусок земли на шестьдесят метров в окружности, который он тогда выжег своим огнеметом».

Кое-что свидетельствует о том, что и сейчас, спустя двадцать пять лет, Бромберг остался таким же человеком-зверем, каким был. Вот стоит он у входа в пещеру, и — предоставим слово автору — «его снова охватывает это своеобразное чувство, это сатанинское желание испепелить огнем все вокруг себя». Но вопреки этому неистребимому сатанинству автор тщится представить своего героя новым человеком. Он стоит, вспоминает былое и размышляет о жестоких законах войны, которые дозволяют истребление людей. Это в порядке вещей. Но здесь он обрушил огонь на невинную природу, совершил великий грех, глумясь над творением бога. Тогда он, казалось, выжег все навечно. «Навечно ли? Бог милостив». И вот теперь он видит, что из огня снова родилась жизнь, пространство, сплошь устланное пеплом, превратилось в цветущий луг, олива с обугленным стволом раскинула пышные ветви, в траве распустились огромные — не по-обычному — «огнеметные фиалки». Над Монте-Касино разносится пасхальный благовест. «Человек, который давно потерял бога, ныне празднует его воскресение в сердце своем».

Как трогательно, как умилительно! Что с того, что пред нами человек, обуреваемый и сегодня «сатанинским желанием испепелять»? Это не существенно! Существенно другое — то, что сквозь пепел проросли фиалки, что сколько бы ни истребляли убийцы, но жизнь все равно приходит на смену смерти, что по истечении «срока давности» бог амнистировал грешника, а грешник вернулся к богу... Что же остается людям? По примеру господа бога — забыть? Простить? С простодушной доверчивостью раскрыть нацистским преступникам объятья?

Неофашизм делает ставку на короткую память человечества.

ПУБЛИЦИСТИКА

К 25-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ НАД ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИЕЙ

«ВЕСЬ МИР СМОТРИТ НА ВАС С НАДЕЖДОЙ»

Выдержки из статей, выступлений, писем, телеграмм и приветствий, присланных в адрес советских организаций и опубликованных в 1941—1942 гг. в журнале «Интернациональная литература»

Теодор Драйзер

«Ничто не имеет большего значения для либеральной и демократической Америки, чем успех России в борьбе против Гитлера. Дело русских является всегда и везде подлинным делом демократии, ибо Россия уже сделала для простого человека больше, чем какая-либо другая страна в истории.

...Я вместе с миллионами других американцев буду призывать наше правительство не только к самозащите путем всемерной помощи России теперь же, но и к лучшему пониманию этой великой демократии».

Эрнест Хемингуэй

«Я на все 100 процентов солидаризируюсь с Советским Союзом в его военном сопротивлении фашистской агрессии. Народ Советского Союза своей борьбой защищает все народы, которые сопротивляются фашистскому порабощению. Я горячо приветствую Советский Союз за его героическое сопротивление...»

«24 года дисциплины и труда во имя победы создали вечную славу, имя которой Красная Армия. Каждый, кто любит свободу, находится в таком долгу у Красной Армии, которого он никогда не сможет оплатить».

Эрскин Колдуэлл

«Никогда Германии не покорить советского народа, ибо каждый советский человек и весь советский народ в целом проникнуты непоколебимой решимостью положить конец германской агрессии. Я уверен, что с каждым днем эта решимость будет сказываться все более ощутимо.

Я считаю, что советский народ непобедим, и германские захватчики вынуждены будут убедиться в этом».

Майкл Голд

«Профессиональные ненавистники советской власти, уже давно отравляющие американскую прессу, отрицают, что советские солдаты смогут хорошо сражаться против

армии фашистских роботов. Они делают ставку на Гитлера. Но мы увидим, все мы теперь увидим правду. Джордж Бернард Шоу уже кричит во весь голос, словно старый боевой петух: «У Гитлера нет ни одного чертова шанса на победу!» Шоу, без сомнения, знает, что красноармеец лучший в мире солдат нашего времени, потому что он самый культурный боец, обладает наибольшей инициативой и технику войны он знает не хуже среднего западноевропейского офицера. Шоу также знает, что вожди Красной Армии — крупнейшие ученые в своей профессии».

Мулк Радж Ананд

«Наши взоры обращены к вашей стране, где бывшие колониальные народы за короткие 20 лет создали новую жизнь, новые языки и новые литературы. Каждый день мы читаем эпическую историю, которую вы пишете своей кровью. Мы уверены в вашей победе над фашизмом. На этом зиждется наша надежда на будущее всех угнетенных народов мира».

Хорхе Икаса

«Люди Советского Союза!

Только героизм вашего народа оказался в состоянии внушить надежду на освобождение отчаявшемуся человечеству, стиснутому щупальцами нацистско-фашистского варварства. Кровожадности фашистов поставлена преграда.

Трудящиеся, красноармейцы, интеллигенты, старики, дети, женщины Советского Союза! От ваших рук, от вашей отваги в эти тяжелые для человечества минуты зависит выполнение задачи выиграть войну и выиграть мир... Весь мир смотрит на вас с надеждой. Мы преклоняемся перед вами».

Эгон Эрвин Киш

«Не только народы, задавленные фашизмом, благословляют тебя, красноармеец,— но и все трудящиеся пяти континентов желают, чтобы твой удар был победоносным. Даже среди вооруженных и одетых в форму людей, выступающих против тебя, имеется много людей, желающих твоей победы и готовых ради этого принести в жертву свою жизнь.

Война, которую ты, советский воин, ведешь, является прежде всего войной против лжи. Происходит борьба между миром и войной, борьба ненависти, распада, регресса против мира созидания, развития, война между законностью и насилием, между культурой и варварством, между прогрессом и реакцией. Побеждай, советский воин! Миллионы, сотни миллионов во всем мире думают о тебе. В твоих руках, красноармеец, находится их судьба, судьба твоего отечества, судьба всех отечеств».

Лион Фейхтвангер

«Народы СССР неопровержимо доказали свое тесное единение, свою неразрывную связь друг с другом и со своими руководителями. Мужество, с которым советские народы защищают свою родину и свои идеалы (даже враги вынуждены признать это), произвело глубокое впечатление на американцев.

Убеждение, что борьба народов Советского Союза есть и борьба за безопасность Америки,— убеждение, выраженное в заявлениях американского правительства,— быстро распространяется в американском народе, и вместе с этим растет его готовность оказать помощь, растет твердая уверенность в окончательном исходе борьбы против фашизма».

Поль Робсон

«Силы, пытающиеся обратить человечество в рабство, никогда не победят в этой войне. Битва, ведущаяся в настоящее время, является схваткой между силами реакции и силами прогресса. Это схватка между теми, кто хочет поработить людей, и теми, кто стремится дать им свободу. В такой схватке армии, сражающиеся за рабство, никогда не победят. Я уверен, что Россия будет продолжать сражаться до тех пор, пока не будет завоевана победа. Не подлежит сомнению, что Гитлер познает в России поражение».

Арнольд Цвейг

«Я не в силах выразить всю свою любовь к русскому народу и все мое восхищение его борьбой против моих заклятых врагов.

Я никогда ни на минуту не сомневался, что Советский Союз является лучшим защитником свободы и демократии. Вы боролись в Испании и будете бороться вместе с англичанами и американцами до тех пор, пока мир не освободится от низкой тирании».

Катарина Сусанна Причард

«Народные массы Австралии восхищены героической борьбой Красной Армии и партизанских отрядов, трудовым энтузиазмом советских рабочих и твердой решимостью советского правительства до конца разгромить гитлеризм.

Нам совершенно ясно, что каждый успех Красной Армии ускоряет победу над фашистскими силами, поработившими ряд европейских стран».

Хуан Маринельо

«Преступное нападение Гитлера на Советский Союз знаменует собой сильнейшее столкновение между самой свирепой реакцией и самой передовой и гуманной формой общественного строя. Для людей пера Советский Союз — оплот подлинной культуры, науки и искусства в их лучших освободительных порывах.

Если мы любим СССР и восхищаемся его чудесным делом — делом свободы и справедливости, то мы должны быть с ним в этот исторический час, в новом и великом его деле на благо всего человечества — в деле уничтожения злейших врагов всех народов. Народы всего мира должны в порыве сердечной благодарности присоединить свои усилия к этой беспримерной борьбе. Тем самым мы, выразив наше глубокое уважение Советскому Союзу, примем участие в его благородной и высокой миссии освобождения человечества».

ОСВОБОДИТЕЛЯМ — БЛАГОДАРНОСТЬ И ЛЮБОВЬ

Помещенные ниже статьи М. Пуймановой, И. В. Плевы, Йована Поповича и Юзефа Озга-Михальского на русском языке публикуются впервые.

М. ПУЙМАНОВА

«Единственный верный союзник»

Мой роман[1] — это не строгая историческая хроника. В нем я пыталась показать на судьбе нескольких персонажей (читатели, может быть, помнят их по «Людям на перепутье»), что мюнхенская трагедия готовилась за много лет до того, как совершилась. Уже тогда, когда Геринг организовал в Берлине поджог рейхстага, у нас в Первой республике начала гореть земля под ногами. Уже тогда, когда Муссолини напал на Абиссинию, а Франко поднял мятеж против республиканской Испании, решалась наша судьба. Консерваторы когда-то старались вколотить нам в голову: «Своя рубашка ближе к телу» и «Моя хата с краю». Это дурные принципы. В мире все взаимосвязано, и нам от этого не уйти. Никого не спасет страусовая политика, бесполезно прятать голову под одеяло, когда на улице гроза. Вот я и хотела показать в романе «Игра с огнем», что многие роковые события имели гораздо более глубокие корни и связаны с более отдаленными временами, чем обычно думают. Это с самого начала понимали коммуни-

Эта статья была обнаружена в архиве писательницы и впервые опубликована в сборнике «Признания и заметки», вышедшем посмертно в Праге в 1959 году.

[1] «Игра с огнем».

сты во главе с Клементом Готвальдом, они не хотели допустить захвата Гитлером Судет; они призывали к вооруженному сопротивлению. Все это исторически доказанные факты; достаточно прочитать сборник тогдашних речей Готвальда под названием «Десять лет» и сборник дипломатических документов, составленный З. Фирлингером «На службе ЧСР». Зденек Фирлингер был тогда, как известно, нашим послом в Москве. В его книге убедительно доказывается, что единственным верным союзником, не предавшим нас, готовым выполнить все свои военные обязательства и защищавшим нас в Лиге наций, был Советский Союз.

Судеты и протекторат — все это, слава богу, в прошлом. Но это прошлое навсегда останется в памяти наших народов, так же как осталась битва при Белой горе [2]. Прошлое служит предупреждением, на опыте прошлого нам нужно учиться, вывод из этого опыта должен глубоко запечатлеться в наших сердцах. Этот вывод гласит: крепко держаться мирного блока народных демократий во главе с Советским Союзом.

Последняя часть трилогии называется «Жизнь против смерти». Почему я так ее назвала? Я сейчас объясню. Кто помнит страшные и позорные времена так называемого протектората, конечно, знает, что черные эсэсовцы носили в качестве знака отличия череп. Это было не случайно, ведь нацизм вообще основан на культе смерти. Я попыталась воплотить в романе те светлые, сознательные и творческие силы, которые объединялись и шли в бой во имя жизни против несущего смерть фашизма и после долгой борьбы и бесконечных жертв наконец одержали победу над смертью... Я писала свой роман с любовью и волнением. Когда-то, в старые времена, если писатель придумывал какую-нибудь историю и она ему не удавалась — это было, в конце концов, личным делом писателя. Но этот материал: кошмар протектората, кажущийся сегодня невероятным, тайное и открытое сопротивление всего народа захватчикам; великая роль коммунистической партии в этой борьбе; победоносная битва Советского Союза — страны, служащей символом жизни,— против нацистской смерти и невыразимое счастье свободы, которую принесла нам Красная Армия,— все это не только мои личные воспоминания,— это наши общие национальные воспоминания, они принадлежат всем. и я чувствовала, что с ними надо обращаться, как со святыней...

Настоящим источником вдохновения явилась для меня поездка в Советский Союз осенью 1948 года. После «Игры с огнем» мне необходимо было подышать советским воздухом, почувствовать атмосферу этой героической страны Великой Отечественной войны и побывать в тех местах, где воевал мой Ондржей Урбан [3]. Советские писатели узнали об этом: они протянули мне братскую руку, пригласили в свою страну и помогли написать «Жизнь против смерти»... Это была незабываемая поездка, особенно для меня, видевшей Советский Союз последний раз в тридцать втором году — в сумятице и бурном темпе первой пятилетки. Как разрослась и похорошела Москва, несмотря на все страдания в военные годы. Меня очень взволновал и Киев с разбитым Крещатиком и с разрушенной Киево-Печерской лаврой, древним славянским памятником архитектуры. Местность под Киевом, где сражались также и наши, где они форсировали Днепр и расположились лагерем у Лутежа, произвела на меня очень сильное впечатление в дождливый осенний день, когда я ее увидела. По местам боев под Киевом меня сопровождал адъютант защитника Киева генерала Ватутина. Он объяснял мне все, что меня интересовало, со знанием специалиста и с той сердечной человеческой добротой, которую мы увидели на лицах освободителей Праги.

Й. В. ПЛЕВА

В день освобождения

26 апреля 1945 г. Вечер.

Красная Армия сражается на улицах Брно. Какой славный день!

Мы с женой живем уже одиннадцатый день вместе с сотней других людей в винном погребе, между бочками. В городе с самого утра слышна пальба дальнобойных орудий и не прекращаются воздушные налеты. Около шести часов вечера пальба стихла. Пулеметы теперь строчат не так упорно, и поэтому я решил пойти на нашу квартиру. Нам захотелось есть. Хлеб мы доели уже три дня назад, а теперь доедаем последний кусочек сухой колбасы. Я не был дома уже четверо суток. Жена не хочет

Из статьи И. В. Плевы «Страницы из дневника», помещенной в сборнике того же названия, изданном в Брно в 1960 году.

[2] После Белогорской битвы 1620 года Чехия на 300 лет потеряла самостоятельность, превратившись в австрийскую провинцию Богемию.

[3] Герой трилогии М. Пуйманової.

меня отпускать. Я обещаю скоро вернуться с горячим чаем, наверно, что-нибудь найдется в кладовой...

Я бегу по Винаржской улице в ту часть города, где расположены виллы. Наконец я добираюсь до нашей улицы. Посреди улицы — две воронки от небольших бомб, а на заборе висит сорванный взрывом канделябр. В остальном улица осталась такой же, какой была.

Дом пуст. Кроме дворника и нас с женой, все обитатели его уехали из Брно еще месяц назад. Дольше всех в доме оставалась немка, жена майора СС. Она уехала с самым последним транспортом. Как и многие немцы в те дни, она наивно верила до последней минуты, что у фюрера есть какое-то тайное оружие, которое принесет им неожиданную победу...

Я иду варить чай. Поздравляю себя мысленно с тем, что мне пришло в голову перед уходом наполнить ванну водой. В городе уже неделю нет воды, газа и электричества. Я кипячу воду на примусе, радуясь, что у меня еще полный бидон керосина. Я уже собираюсь уходить, как вдруг совсем близко возле дома раздается пулеметная стрельба... Через минуту начинают грохотать дальнобойные орудия... Дом содрогается, и последнее целое стекло в дверях угрожающе дребезжит. С полки над печкой упала жестяная коробка с чаем. Я бегу в погреб, там, наверно, безопаснее. Но та стена погреба, которая выходила в сад, обвалилась... Не знаю, как долго продолжался обстрел, может быть, не более десяти минут, но мне показалось, что я сижу в подвале уже долгие часы.

Все кончилось так же неожиданно, как началось... Я побежал вниз с холма. Вдруг на перекрестке из-за поломанного забора, шагов за десять от меня, возникла фигура красноармейца с автоматом. Убедившись, что у меня нет оружия, красноармеец опустил автомат и крикнул:

— Куда?

— В бомбоубежище! — закричал я в ответ.

А он:

— Нельзя! — И быстрым решительным жестом показал мне, чтоб я шел назад. Я вернулся домой и только успел закрыть за собой двери, как вблизи опять началась пулеметная перестрелка, заухали пушки и явственно послышался грохот танков...

Я снова спустился в погреб и сел на обломок стены, дрожа от волнения и холода. Когда примерно через четверть часа снова наступила тишина, я принес из квартиры в погреб матрац и шерстяное одеяло и очень скоро уснул. Меня разбудил громкий стук в дверь. Было еще темно. Я открыл дверь, меня ослепил свет карманного фонарика, и я услышал голос:

— Кто вы? Чех? Немец?

— Чех!

— Немцы здесь?

— Нет!

Молодой командир, появившийся вместе с группой из шести бойцов, попросил меня провести его по всему дому... Я очень радовался приходу Красной Армии. Конечно, в мечтах я представлял себе все это совсем не так. Мне виделись пышные торжества, приветственные речи и тосты, объятия, улыбки, цветы. А тут? Вид у молодого поручика [1] довольно холодный, строгий и даже подозрительный. Красноармейцы тоже не улыбаются, а выглядят очень серьезно. И вдруг я понял, что в такой ситуации люди иначе выглядеть не могут. После осмотра дома все разместились в квартире на нижнем этаже, оставшейся после сбежавших немцев. Поручик позволил бойцам расстелить на полу матрацы, снятые с постели.

Бледные, небритые лица бойцов носили следы усталости, они, наверно, не спали несколько ночей... Это были совсем молодые люди, старшему из них было, по-видимому, немногим более тридцати, а их командир-поручик был самым младшим. Его строгий взгляд смягчился только однажды, когда при осмотре дома он переступил порог нашей комнаты и увидел книги. Подойдя вплотную, он стал рассматривать их и читать по складам написанные латинским шрифтом имена авторов: Толстой, Тургенев, Гоголь, Пушкин...

Я предложил согреть чай. Поручик кивнул: «Хорошо, можно». Тут я вдруг вспомнил, что уже три года сохраняю бутылку сливовицы, чтобы распить ее при встрече Красной Армии. Я бросился к себе в квартиру, заранее предвкушая, что мне наконец удастся вызвать улыбку на каменных лицах гостей.

Но меня ожидало большое разочарование. Поручик отклонил предложенный ему бокал, а когда один из красноармейцев поднес свой бокал к губам, поручик бросил на него такой строгий взгляд, что красноармеец вернул мне бокал нетронутым. «Чай мы попьем с удовольствием,— пробасил поручик,— а спирт пить не станем. Не обижайтесь»,— добавил он, увидев мое искреннее огорчение. После чая закурили, а потом все, кроме поручика и старшины, улеглись на матрацах и в тот же момент уснули. Поручик о чем-то задумался и вдруг спросил:

— Где вы научились по-русски?

Я почувствовал, что краснею, ведь мои познания в русском были жалкими. Я рас-

[1] В чехословацкой армии званию лейтенанта соответствует звание поручика.

сказал поручику о моей жизни перед войной, о том, как я издавна восхищался всем советским: литературой, фильмами, стройками — и как уже давно, лет двадцать тому назад, мы мечтали о том, что и у нас произойдет победоносная революция, после которой мы начнем жить по советскому образцу.

Молодой поручик слушал очень внимательно, не спуская с меня глаз. Потом он нахмурился:

— И вам пришлось жить под одной крышей с немецким фашистом?

Он показал на угол комнаты, где валялся сорванный со стены при обыске портрет Гитлера. Красноармеец, сорвавший портрет, наступил на него с таким отвращением, будто растоптал какое-нибудь омерзительное насекомое.

— Это, наверно, был крупный нацистский зверь, раз ему главный людоед дал автограф на своем портрете,— пробурчал поручик.

— Поверьте мне, для нас это было страшное время, но что было делать,— сказал я.— Раньше здесь жила одна еврейская семья. Ее выселили в сорок первом, и тогда тут поселился этот эсэсовец.

Только теперь меня осенило: ведь именно поэтому на лице поручика до сих пор оставалось холодное выражение.

Насколько слабое знание языка мне позволяло, я стал рассказывать ему о нашей жизни во время оккупации. Он слушал с интересом и, как мне показалось, с участием. В его жесте, когда он предложил мне сигарету во время разговора, я почувствовал что-то дружеское.

— У вас в библиотеке есть переводы наших классиков,— сказал он.— Наверно, есть что-нибудь и в оригинале?

— Да, «Демон» Лермонтова.

— Лермонтов! — радостно воскликнул поручик.— Можно мне посмотреть?

— Конечно, я охотно вам принесу,— сказал я и побежал к себе.

— Я пойду с вами, хорошо? — спросил поручик и пошел за мной.

Мы с улыбкой посмотрели друг на друга. По дороге на второй этаж он мне представился, к сожалению, я забыл его странную грузинскую фамилию, помню только имя — Михаил.

Когда я подал поручику маленькую книжечку в кожаном переплете с золотыми буквами и золотым обрезом, он даже ахнул. Это было издание начала века, но бумага была совсем белой и на ней рельефно выделялись изящно выполненные заставки.

Поручик открыл книгу и начал читать русские стихи.

— Я очень люблю Лермонтова! Ведь действие «Демона» разыгрывается у нас на Кавказе. Он воспевает красоту моей родины!..

— Прошу вас, товарищ,— пробормотал я, заикаясь от волнения,— возьмите эту книжку от меня на память... Вы не можете себе представить, какой сегодня счастливый день для меня и для всех нас. Пожалуйста, очень вас прошу...

Вместо ответа поручик обнял меня и поцеловал в обе щеки. Потом вдруг нахмурился и произнес озабоченно:

— Я с удовольствием, вы не представляете, с каким удовольствием возьму Лермонтова от вас на память. Но я-то что... Что я вам... Подождите!..

На его лице появилась лучезарная мальчишеская улыбка. Он сунул руку в карман и протянул мне небольшой четырехугольный футляр.

— Это трофей, время военное, а ведь мы победители. Могу подарить на память.

Я открыл футляр. На синем бархате лежала большая серебряная медаль около шести сантиметров в диаметре... На ней была изображена античная богиня, которая возлагала венец на голову юноши с книгой в руке. На обратной стороне была выгравирована надпись: «Ihrem ausgezeichneten Schüler»[5], а в лавровом венке красовалось имя: Шнитцель Йозеф.

— Отобрано при аресте одного высокого немецкого военного чина,— сказал поручик.— На моих глазах, хорошо понимая, что он уже арестован, этот офицер выхватил револьвер и застрелил моего друга. Какая бессмыслица! Выстрелить в меня он не успел, потому что я сбил его с ног. Но убивать я его не хотел. Я подумал, что для такого типа самым тяжелым наказанием будет, если ему придется работать на тех, кого он так безумно ненавидит. У него я нашел эту медаль...

Когда мы спускались, я спросил поручика, почему он не захотел со мною выпить и не позволил выпить остальным.

— Я видел, что вы огорчились, но не обижайтесь, пожалуйста. Я отказался не из-за недоверия или нежелания выпить с вами. Перед боем я не разрешаю пить своим ребятам. Уж если пьют, пусть после боя. Тогда я не возражаю. Хотя и не люблю, когда пьют. Ну, а ваша бутылка сливовицы долго не уцелеет. Увидите, к вам утром придут другие подразделения и охотно выпьют с вами.

Вскоре после полуночи раздались удары в дверь. Поручик пошел отворять и некоторое время с кем-то разговаривал. Вернувшись, он разбудил спящих товарищей, обнял меня, поблагодарил за сердечный прием и за Лермонтова и у забора снова обернулся и крикнул мне весело:

---

[5] Вашему лучшему ученику *(нем.)*.

— До свидания, товарищ! — Потом их всех поглотила тьма.

До утра еще дважды приходили группки красноармейцев, осматривали дом, не скрываются ли в нем немцы. Я снова варил им чай, и к утру, когда я собрался идти за женой, пророчество поручика полностью исполнилось: бутылка сливовицы, предназначенная для встречи красноармейцев, была уже пуста...

ЙОВАН ПОПОВИЧ

«Встретились солдаты...»

Мы выходим на железную дорогу Белград—Загреб, которую до этого сотни раз выводили из строя. Огромная колонна растягивается на километры, в ней и кавалерия и обозы. Авангард атакует бункеры. Передовые части уже переходят полотно. Вдруг кто-то из наших напоролся на мину. Пламя, взрыв. Фонтаны светящихся пуль вспарывают ночь, отдельные выстрелы сливаются в сплошной рев. И мы перестаем понимать, где свои, а где вражеские пули. Кони и телеги сбились в кучу, обрушились в кювет перед насыпью... А наша колонна под аккомпанемент непрерывной пальбы все еще переходит железнодорожную линию. Наконец она позади. И тут мы узнаем, что на подмогу к немцам подоспело сильное подкрепление с минометами и пулеметами и что у нас семеро раненых.

Отойдя километра на два от железнодорожного полотна, мы останавливаемся на недолгий привал в селе, нашем освобожденном селе, куда фашисты больше не смеют сунуть носа. Раненым меняют повязки и устраивают их поудобнее в телегах. «Ой, страшновато было!» — вспоминает кое-кто из новобранцев, на что старые бойцы отвечают снисходительной улыбкой: «Ничего особенного. Еще день-другой, пока дороги у них». В самом деле, было дерзостью с нашей стороны, вопреки всем воинским законам, переходить оседланную врагом дорогу не только огромной колонной, но вместе с обозом и лошадьми. Правда, мы здорово подправили воинские законы. Придется фрицам собирать утречком своих мертвецов вдоль линии...

Продолжаем путь до самого рассвета. И на каждом шагу останавливают нас люди, изумительные люди Срема, считающие самым дорогим гостем любого бойца и командира, который хоть однажды побывал у них дома; они чувствуют себя оскорбленными, если вы минуете их жилище.

Села целиком выходят навстречу бригаде и провожают ее. Иногда доносится вопрос не без обиды: «Неужели русские пройдут мимо? Неужели мы не заслужили их видеть?» Это понятная ревность к жителям Баната, которые первыми увидели русских, а сремцы хотят непременно встретить русских как самых желанных гостей.

Снова ночной переход. В Войке, в двух километрах до основной магистрали и международного шоссе, мы набираемся сил перед прорывом. Мы готовы к жестокой схватке, ибо это основная трасса, по которой уходят немцы. Село гудит от новостей, переданных по радио, а один связной из Белегиша, с Дуная — герой дня: он принес русскую пилотку,— несколько человек русских с той стороны Дуная уже побывало в гостях в Сурдуке и Белегише. Нам и радостно и чуть обидно: неужели опоздаем, неужели русские войдут в Срем прежде, чем бригада перейдет в Банат. А бригада ведь так хотела помочь братьям красноармейцам при переправе через Дунай. К собственному удивлению, мы беспрепятственно преодолели дорогу и шоссе.

...Белегиш и Сурдук с нетерпением ждали бригаду. Крестьяне соперничали, кто лучше разместит бойцов. И радостно хвастались: «Мы уже создали плацдарм для русских. Они к нам уже переправлялись, вчера были на митинге! А вчера же мы сами потопили два маленьких немецких корабля!»

Что митинг был, да еще какой, в этом мы убедились сами: село было украшено флагами, транспарантами и портретами. Правдой оказалось и то, что крестьяне создали плацдарм. Наших здесь не было, разве какой-нибудь десяток людей с оружием и вместе с ними крестьяне удерживали берег и обеспечивали переправу моторных паромов, которые оба села спрятали от фашистов, сумели сохранить при всех обысках, а теперь торжественно спустили на воду.

Сурдук и Белегиш в равной мере участвовали в народно-освободительной борьбе и лишь в одном никак не могли сговориться: кто больше дал для борьбы. Но за это их трудно упрекать. Вот и теперь они готовы вцепиться друг дружке в волосы: кто первым перевез русских и кто обеспечил плацдарм. И у кого был лучше митинг. И кто лучше угостил русских. Теперь к этому прибавилось: кто лучше встретит бригаду.

Вражеские самолеты проносятся над селами, улицы которых полны наших бойцов и местных жителей, немцы бьют с кораблей, но на них никто не обращает внимания. А когда в сумерках взорвался большой корабль, все восприняли это как торжествен-

Из книги «Сремская хроника», изданной в Белграде в 1953 году.

ФОТОДОКУМЕНТЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

1933 ГОД. ПОДЖОГ РЕЙХСТАГА.

ЗАГОТОВКА «ПУШЕЧНОГО МЯСА».

СЕНТЯБРЬ 1939 ГОДА.
ВАРШАВА.
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ВОЙНЫ В ЕВРОПЕ.

1940 ГОД. ТРАГЕДИЯ ФРАНЦИИ.

1941 ГОД. ПИРЛ-ХАРБОР.

ДЮНКЕРК.

В ГАЗОВУЮ КАМЕРУ...

ЗА РОДИНУ!

ГЕРОИЧЕСКАЯ ОБОРОНА ЛЕНИНГРАДА.

РОДИНА-МАТЬ — ЗОВЕТ!

ЗИМА 1941—1942 гг.
РАЗГРОМ НЕМЕЦКИХ ВОЙСК ПОД МОСКВОЙ.

ЛЕТО 1942 ГОДА.
ФАШИСТЫ РВУТСЯ К ВОЛГЕ.

НА СВАЛКУ.

ПРАГА. МАЙ 1945 ГОДА.

МОСКВА.
КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ.
9 МАЯ 1945 ГОДА.

ную иллюминацию, предвестник близкой победы, не важно, что у половины домов вылетели стекла.

Наши бойцы, прибывшие мертвецки усталыми, устыдились своей вялости, увидев русских, что пришли в село в составе передового дозора. Видно было, что шли они быстрым маршем, шли долго, по грязи, без транспорта и обоза. Мгновенно исчезла усталость, наши едва смогли дождаться возможности сражаться рядом с ними, завидуя банатским партизанам, которые это уже делают. Первая встреча с русскими была незабываемо простой, без лишних фраз и формальностей. Встретились солдаты, которые понимают друг друга.

Местные парни рассказывали, что еще несколько дней назад они переправились в Банат и вместе с русскими сражались в окопах. Потрясающее впечатление производила эта самомобилизация нашего народа!

Ночью на моторном пароме, который вели крестьяне, восемьдесят человек из нашей бригады переправилось через Дунай, служивший линией фронта.

Паром пристал к берегу. Нас встретили банатские партизаны и русские...

ЮЗЕФ ОЗГА-МИХАЛЬСКИЙ

«Здесь решались судьбы мира»

Утро застает нас уже в Белоруссии. В открытые окна поезда льется свет, из репродуктора — музыка и песни. Хор девушек приветствует погожий день дружной песней. Сразу становится тепло и весело на душе. Почему-то вспоминаются песни Яна Кохановского из Чернолесья, его «собутки»[6]. Чувствуешь себя бодрым, уверенным и смело смотришь в окно на божий мир, который здесь уже давно стал миром социалистическим, то есть более зеленым, более веселым и солнечным, а значит, и более «божиим», чем раньше.

Люди активно изменяют этот мир. Мы видим, как огромная машина движется по болоту, образуя за собой водяную жилу, как в этой жиле плещется и блестит на солнце приятный для глаза поток воды, как распрямляется трава, корни которой избавились от излишков воды.

Это — одна из картин великого театра природы, действие которого развертывается перед нашими глазами. На сцене выступают герои — города и деревни, люди и машины. А мы, зрители с железнодорожными билетами, смотрим на эти чудеса.

К нашей группе польских крестьян подсел советский железнодорожник и стал рассказывать о своей стране. Он говорил о страшных годах войны и оккупации, о партизанах, о залитых кровью лесах, о сожженных деревнях, о превращенных в пепел белорусских городах. Из его рассказов крестьяне узнают о том, как здесь было раньше, а как стало теперь — сами видят. Гитлеровский топор вырубал все живое, фашисты жгли, крушили — а вот пробилась и расцветает новая жизнь.

Новехонькие трактора минского завода сходят на колхозные поля. Несколько лет назад не было ни тракторного завода, ни Минска.

Землечерпалки бродят по лугам, как аисты, изогнув длинные шеи и погрузив клювы в болото. Белеют вешки, обозначая направление новых каналов.

Землю осушают от болотной воды, от крови, от слез.

Повсюду кипит работа...

Победоносный народный строй быстро залечивает раны. Многие сельские дома строятся из дерева — самого доступного тут стройматериала. Но нельзя забывать, что совсем недавно этих сел вообще не было. Нельзя забывать и того, что женщинам в колхозах пришлось взять на себя основную тяжесть труда по восстановлению разрушенных, разграбленных колхозов. Сельский инвентарь был расхищен и поломан, скот уведен, поля запущены, ни телеги, ни лопаты, ни крыши над головой. Одна лишь сожженная земля.

И эту землю, которую покинули птицы, советский человек, рабочий и крестьянин, должен был вернуть к жизни. Нужно помнить, что здесь фронт проходил не узкой полоской, как в нашей стране на Висле, где бои длились с августа 1944 по январь 1945 года, то есть меньше, чем полгода. И все равно нам не забыть сметенных с поверхности земли деревень Сандомирского, Опатовского, Илжецкого и Козеницкого районов, наскоро построенные землянки, минные поля. Здесь же на протяжении четырех зим и лет велись тяжелейшие бои, бушевала жестокая война. И поэтому теперь, когда мы смотрим из окна вагона на восстановленную Оршу, которая столько раз переходила из рук в руки, на Вязьму с ее прекрасным новым вокзалом, когда мы смотрим на кре-

---

Из книги «Чудесное путешествие» издана в Варшаве в 1953 году

[6] Собутки — традиционное народное празднество с песнопениями в ночь святого Яна

стьянина, присевшего на лавку в ожидании поезда, на солдата, прохаживающегося по перрону, на женщину с грудным ребенком — мы понимаем, сколько сил пришлось вложить в эту землю, чтобы все это могло жить.

На железнодорожных станциях рядами стоят сноповязалки, молотилки, комбайны, вереницами тянутся трактора.

— Дорогу! Жатки везем! — кричит веселый железнодорожник и взмахивает флажком, отправляя состав. Путь свободен, и мимо наших окон, постукивая колесами, проплывают платформы с сельскохозяйственными машинами.

...В окно хорошо видна панорама Смоленска. Когда фашисты ушли из города, советским солдатам остался лишь пепел, а вместо крыши над головой — купол дыма.

Города не было.

Слева от железнодорожного полотна виднеется кладбище, поросшее голубыми и белыми цветами. Это старое кладбище, за войну оно значительно разрослось.

Справа тянется холм, уже застроенный сотнями новых домов, а зелень деревьев смягчает жару и отбрасывает на улицы тень. В центре города возносится шестью куполами восстановленная церковь. Спокойные очертания новых построек как-то смягчают тяжелое впечатление от оставшихся развалин. Вторая церковь, с размозженной гитлеровцами главой, одиноко стоит на перепутье.

Поляки не отрывают взгляда от картины разрушения, как бы ища его виновников. Уже давно прогнали с этих мест орды поджигателей и убийц, но печаль остро вонзается в сердце всякий раз, когда видишь следы разрухи, следы фашистского потопа, несущего миру смерть.

Жизнь не позволила смерти одолеть себя. Советские люди сдержали фашистский потоп...

Тут, среди этих сел и городов, они преградили Гитлеру путь, когда он двинулся завоевывать весь мир.

Здесь, на этих полях, решались судьбы мира. Покоренная гитлеровцами Европа ждала от советских людей освобождения.

И вот пришел день, когда те, что сеяли ветер в Белоруссии, пожали бурю в Берлине...

ЭРИКА РУНГЕ

БОТРОПСКИЕ ПОКАЗАНИЯ

Небольшая книжечка «Ботропские показания», выйдя в свет в 1968 году, сразу же обратила на себя внимание общественности Федеративной Республики Германии, ее называли «крупнейшей публикацией года». Создатель книги, молодая писательница и кинорежиссер Эрика Рунге, родилась в 1939 году, изучала литературоведение и театроведение, получила ученую степень доктора[1]. *Сейчас она живет в Мюнхене, постоянно сотрудничает на телевидении.*

Авторство Э. Рунге в этом документальном произведении выразилось несколько необычным способом. Весь материал книги — это магнитофонная запись интервью, проведенных ею в связи с закрытием шахты Мёллер-Рейнбабен в Рурской области, и частичная запись общего собрания рабочих на обреченной шахте.

Э. Рунге беседовала с разными людьми: с бывшим председателем производственного совета — коммунистом и с католическим священником, с домохозяйкой и директором школы, с продавцом крупного магазина и уборщицей, с исполнителем модных песенок и молодой служащей торговой фирмы. Каждый говорил по-своему, но все — о трудностях жизни, о неравноправии людей в классовом капиталистическом обществе. В ярком публицистическом предисловии к книге писатель Мартин Вальзер, опираясь на эти интервью, которые он называет «свидетельскими показаниями», опровергает утверждения буржуазных идеологов о возможности сотрудничества классов и уничтожения классовых различий в условиях западных демократий.

«Ботропские показания» были инсценированы и поставлены в театрах нескольких городов — Эссене, Гёттингене и др.

Журнал знакомит читателей с отрывками из предисловия Мартина Вальзера, а также с одним из наиболее интересных интервью — рассказом коммуниста, бывшего председателя производственного совета, старого шахтера Клеменса К.

Репортажи из классового общества

Политики из всех дозволенных у нас партий постоянно внушают нам, что мы якобы уже живем в условиях демократии.

О том же твердят в газетах политические обозреватели и дельцы. Каждый из нас сто раз слышал: Маркс ошибся, просвещенный капитализм не даст рабочим обнищать, он заботится о них, классовое общество ликвидировано. Высказывания, которые печатаются в этой книге, свидетельствуют о том, что политики и их журналисты по меньшей мере тешатся самообманом.

[1] Соответствует нашей степени кандидата наук.

Рабочие Ботропа не получают слова. Они не выступают в газетах, не заседают в парламенте, не сочиняют книг. Конечно, каждому из них разрешается писать книги, стать журналистом или депутатом бундестага. Сегодня даже самые ярые противники либерализма ничего не имеют против того, чтобы дети рабочих учились, чтобы наиболее способные (по буржуазным меркам) перебегали в стан правящего класса и своим трудом и талантом питали буржуазное общество, удостаиваясь за это правом быть принятыми в число привилегированных. Это называется взлетом, карьерой, успехом. Кто этого достиг, тому больше нечего делать в той среде, которую он покинул. Он наверху. Кто не достиг — остается внизу. Они сами в этом виноваты. Значит, недостаточно старались. У них плохие оценки от школы и до гроба. О том, что у нас каждый может подняться наверх, что еще и сегодня могут быть основаны империи, довольно часто пишут в газетах. Но что, мол, поделать, если люди по своим способностям неравны. И буржуазное общество поощряет это неравенство, одних награждая, других наказывая. Неравенство рассматривается как один из законов природы, под сенью этого закона все действительно происходит как в зверином царстве: надо пробиться, одолев соперников, более сильный выживает и живет легче и дольше.

Буржуазия считает свой строй самым лучшим из возможных общественных устройств, венцом всей истории человечества. Рассказы людей из Ботропа уничтожают подобные притязания. У этих людей нет талантов, чтобы перебежать или подняться наверх. Их у нас не представляет никакая партия и никакая газета. Они нигде не получают слова.

Не слишком ли сильно это сказано? Разве СДПГ[1] уж вовсе ничего не значит? Разве она не является народной партией? Все это красивые слова.

Поскольку большинство народа состоит из «работополучателей», то СДПГ, вполне вероятно, скорее стала бы народной партией, если бы оставалась партией рабочих. Но СДПГ, очевидно, считает немецкий народ неисправимо консервативной массой... В одном из бонских экономических органов печати можно было прочесть такие строки: «Экономические союзы и предприниматели хотят улучшить свои контакты с СДПГ». «Руководители социал-демократии заявили профсоюзам, что им не следует рассматривать СДПГ как свою партию». Все это дает основание предполагать, что у людей из Ботропа чем дальше, тем меньше шансов получить слово в СДПГ.

А что пишут социологи? У них проблемы рабочего класса сводятся к таким, например, утверждениям: «Рабочие иначе ощущают дух времени. Им неведомо понятие отложенного удовлетворения потребности, то есть необходимости отказа от непосредственного наслаждения во имя большего, но более позднего». Ах, господин профессор Дарендорф, почему вы не скажете прямо: рабочие пьянствуют и жрут в день получки, у них в голове только кино, телевидение и футбол, они не заботятся о счете в сберкассе и о накоплении капитала...

Нет, в книгах по социологии рабочие тоже не получают слова, даже если социолог со всей страстью ученого-зоолога занимается новым для себя видом животного мира. В литературе и кино они тоже почти не получают слова. Смешно ожидать от писателей, которые в буржуазном обществе живут жизнью «свободных художников», что с помощью мнимого озарения и так называемого творческого вдохновения им удастся хотя бы имитировать бытие рабочего, что они в своих произведениях дадут ему заговорить...

Здесь, в этой книге, рабочие берут слово. Кто прочитает их рассказы, тот захочет, чтобы Эрика Рунге снова отправилась в путь со своим магнитофоном и записала другие Ботропы, новые, острые и горькие высказывания, новые стоны, проклятия, суждения и возражения, новые свидетельские показания неравноправного класса.

МАРТИН ВАЛЬЗЕР

КЛЕМЕНС К.

Председатель производственного совета

Я родился здесь, в Ботропе. И моя мать родилась здесь, и ее родители тоже родились здесь, все по материнской линии чуть ли не с XVI века — из Ботропа. Простые были люди, занимались сельским хозяйством. А мой отец, он родом из-под Падерборна. Их было пятнадцать братьев и сестер, со временем они все поумирали. У меня было семеро братьев и сестер, всего нас было восемь ребятишек. Мать моя умерла рано, ей было тридцать шесть лет, когда она умерла. Я был тогда

[1] СДПГ — социал-демократическая партия Германии (ФРГ).

самым старшим, пятнадцатилетним парнишкой. Насколько я знаю, она умерла от преждевременных родов. Самому нашему младшему было тогда тринадцать месяцев. Братья мои все работали здесь на шахтах. И я уже в четырнадцать лет начал. Когда я кончал школу, учитель — никогда этого не забуду — сказал мне: «Клеменс, не иди на шахту. Ты парень способный. Ты мог бы чем-нибудь другим заняться». Я знал, что я способный, я ведь всегда был первым. Тут у нас еще живы мои сверстники, они рассказывают, я был примерным учеником. Бывало, что и дразнили меня этим.

Словом, пришел учитель к матери,— а дело было в первую мировую войну, отец был на фронте,— пришел учитель и говорит: «Фрау К., неплохо бы определить вашего сына в монастырскую школу». Из нашей школы двух кандидатов выдвинули. Сначала экзамен на аттестат зрелости сдать надо было, а уж потом теологию изучать. Так местное католическое начальство решило, они и учеников подбирали. А я, надо сказать, иногда в церкви за служку помогал, моя мать была очень набожной, но потом, в выпускном классе, я к ним ходить бросил. Мать, ясное дело, еще как была довольна его предложением. «Знаешь,— говорит она,— хорошо бы, конечно, чтобы ты подрабатывал, но для тебя учение важнее». А тут еще, может, я пастором или другим каким духовным лицом стану; так она, верно, думала: вот и прекрасно, мы, значит, все в рай попадем. Но я ей прямо сказал: «Если я в ту школу пойду, то мне даже жениться нельзя будет, а я хочу жениться, как отец». И хоть я тогда и не совсем понимал, что это значит, но подумал: отец женат, и тебе тоже надо жениться. А пастору жениться не позволено. Мать сказала: «Ну, если не хочешь...» И вот я в четырнадцать лет пришел сюда, на шахту. Я быстро освоился, тут ведь были все свои ребята, они же ходили со мной в одну школу. А когда мне исполнилось шестнадцать, в самый день рождения, я первый раз спустился под землю, ох и гордился же я! Один наш родственник, он там на шахте служащим был, сказал мне, что разговаривал с учителем, тот считает, мне, мол, надо учиться. А возможность такая была, сначала надо было подготовительные курсы кончить, а потом в горную школу идти. Он сказал: «Ты осилишь». А я пока то да се, под землей уже освоился, с работой там, со всей обстановкой, я ему и говорю: «Не хочу я на курсы. Не хочу быть погонялой». Мы тех, кто эту школу кончал, погонялами звали. Нынче я бы иначе рассудил. Если я посещаю школу, то получаю там знания и могу их позже использовать — это же ясно. А родственник наш долго на меня в обиде был, что я на те курсы не пошел. Я как отработал свою первую смену на шахте — дело было летом,— пришел домой, мать мне вечером и говорит, никогда не забуду: «Хоть один теперь у нас помощник, деньги зарабатывает». Услышал я это и подумал: «Ну и здорово же, приятель, что хоть ты...» Ох и рад же я был, что мог ей помогать. Я ведь заранее все рассчитал, не таким уж я был простаком.

Мать умерла в 1920 году, отец много-много лет, думаю, лет четырнадцать, вдовел. Говорил, что, мол, женится не раньше, чем малыш наш кончит школу. Ну, а потом, меньшому уже пятнадцать стукнуло, потом он женился, в Восточной Пруссии, на крестьянке, у нее небольшое хозяйство было. А он получал шахтерскую пенсию и был еще довольно крепким стариком. Так и жил в Восточной Пруссии, потом вместе со всеми беженцами вернулся, жил до пятьдесят третьего в Оснабрюке, да там и умер. Он был старый социал-демократ, мой отец. Фанатично был предан профсоюзам и социал-демократической партии и, ни с чем не считаясь, участвовал в выступлениях рабочих. Когда они бастовали или еще что, он всегда участвовал. И со мной, бывало, спорил, тогда мне уже лет так семнадцать—восемнадцать было. В ту пору уже компартия создалась. Но поначалу из-за отца я сторонником СДПГ был. Позднее мне все же она разонравилась, не по душе была политика, какую она проводила, особенно со строительством крейсеров. И главное, что социал-демократы картину Ремарка «На Западном фронте без перемен» запретили, так мы, молодые ребята, съездили в Голландию на велосипедах: отсюда семьдесят—восемьдесят километров, вот мы и съездили туда: значит, в кино пришлось через границу ходить. Я и сказал: «Да это же свинство, что у нас такой фильм запрещен!» А ведь всё социал-демократы, они же в правительстве такое влияние имели, это они запретили картину Ремарка. Тогда газета в Дортмунде писала: «Запрет фильма по роману Ремарка будет стоить социал-демократической партии по меньшей мере тридцать—сорок депутатских мест». Вот тут-то мы с отцом здорово поспорили, из-за такой политической позиции социал-демократов. Он не желал признавать их ошибок. Ну, нацистов он, правда, ненавидел. В Восточной Пруссии он с ними впервые столкнулся и диву дался, каким же там влиянием национал-социалисты в деревнях пользуются. Народ неразвитый, ограниченный, едва грамоту знает, ни о чем никакого понятия не имеет. Он мне говорил тогда: «Старухи восьмидесятилетние, какие еще покрепче,— так и те коричневую форму напялили!» А Гитлер хвалился: «Восточная Пруссия — наша лучшая земля!»[3] Вот он и выделывал там с людьми что хотел. Когда отец вернулся, он еще поначалу в Оснабрюке взносы собирал для социал-демократической партии. После долгих сомнений он мне сказал однажды: «А знаешь, поразмыслил я, пожалуй, не так-то уж ты не прав». Удивился я, спрашиваю: «Как это?» А он: «Да вот, нынче они совсем иную политику

[3] Земля — административная единица в Германии до 1945 г. ФРГ также состоит из земель (по конституции ФРГ в нее входят 10 земель, однако ФРГ претендует на принадлежность к ней Западного Берлина в качестве одиннадцатой земли).

ведут, не то что социал-демократы в прежние времена». Разговор такой у нас уже незадолго до его смерти был, все-таки понял он.

Ну вот, а потом у нас с Лоттой началось, она, значит, работала в Голландии, приехала в отпуск, я с ней сходил на танцы. Я ей сказал: «Не сходить ли нам на танцы?» И братья мои пошли. А потом тут маскарад устроили, в ресторане, я говорю: «Давай-ка сходим туда. А ты в какой-нибудь костюм нарядишься». Помнится, я ей этот маскарадный костюм достал, рококо, что ли, сам не знаю, что-то старинное, может, из средних веков. Вот мы туда и отправились, и теща тоже пошла, ну, пойти-то пошла, да после домой вернулась. А я напялил какую-то шапчонку или что-то в этом роде — всем надо было что-то нацепить на себя, во что-то нарядиться, а иначе и не впускали в ресторан, в зал. Ну, мы там танцевали, а я ей чего только не рассказывал. Вот стали мы с ней все чаще встречаться, да и в результате поженились. В конце двадцать девятого. Скоро и Эрика народилась. А через год я уже был безработным. А еще через три года я оказался в тюрьме. Наци, они все чаще стали к нам наведываться, штурмовики эти, а меня дома-то не бывало. Арестовывали — тоже большей частью за здорово живешь. Таких арестовывали людей, каких ни в жизнь бы в обычное время не арестовали. Ну, мы тоже научились хитрить. Да потом они весь наш районный комитет сцапали, Эмиля Ш. и уж не знаю, кто там еще был. А я вечером как раз сочинил листовку, вместе с К.—отчаянный парень был, а теперь у него в квартире эдакое вот здоровенное распятие стоит — и еще двумя-тремя приятелями, да, так вот, написали мы листовку. Ночью напечатали у старого Д., неподалеку, на Шемельштрассе, и спозаранок в темноте расклеили на всех улицах, что к Рейнбабену [1] ведут. Все это дело я и организовал. Мы ведь все заранее подготовили, чтобы как уйдем в подполье, у нас районный комитет был. А меня в этом комитете председателем выбрали. Мне в ту пору было двадцать семь лет, а может, двадцать восемь. Дело это я сразу взял в свои руки, мы тут же выпустили листовку против арестов и ее тоже расклеили, а я себе штучки две-три листовок про запас оставил. А вечером-то меня полиция и задержала. Повезло мне, что брата моего тут не оказалось, эх и удалой же парень был! В Ботропе он здорово отделал одного наци, когда тот, в своей форме, с ним заговорил. Сильный был малый, да и драчун порядочный. Ну в тот раз меня полиция не обыскивала, и я отправился домой спать. Только вот оставалось у меня две-три листовки, я засунул их себе в ботинки. Жене я ничего не сказал. Это строго-настрого запрещалось. А утром нагрянула полиция. Дюжины-то пар башмаков у нас ведь не водилось в ту пору, что было делать? Надевать ботинки? Тогда они рано или поздно найдут в них листовки. Вот и пришлось мне явиться в участок в шлепанцах. Тут ребята наши, мои товарищи, меня на смех подняли: «Ха-ха! В шлепанцах! Хоть бы оделся! Подумаешь, наци пришли!» А я и говорю: «Так они мне не дали. Что поделать, пришлось в шлепанцах идти». Я им, ясное дело, не сказал, что в ботинках остались листовки. А жена, уж как-то она там их обнаружила, может, заглянула в ботинки, но листовки сожгла.

Да, так вот, пришла потом в полицию теща, смелая была женщина, пришла это она, принесла мне сигарет. Да уж все кругом оцепили, родственников к нам не подпускали. А теща меня вдруг увидела, замахала мне, да как бросится, цепь прорвала и ко мне, какой-то полицейский за ней, но где там, она уже до машины добежала, успела мне две пачки сигарет передать. Старик, наш тесть, был безработный, денег-то было маловато. И еще она сказала: «А у нас малышка. Лотта нынче девочку родила». «Вот-вот,— отвечаю я,— я ж говорил, если и вторая будет девочка, уйду бродяжничать. Вот и сбылось, отправляюсь — на первый случай — в кутузку!» Я и тут еще шутки шутил.

В Ботропе машин скопилось уйма, из Реклингхаузена, из Гельзенкирхена, всех здесь собрали, а отсюда уже в Рейнскую область в Браувейлер, да шоферы еще куда-то заехали не туда, ох и не скоро же мы добрались. А в машинах куча знакомых ехала. В общем, прибыли мы в Браувейлер, а через неделю-другую нас перевели в Эстервеген. Наци нас там из вагонов прикладами вышибали, да...

Во времена нацизма... мне всегда приходилось работать на шахте. На таких шахтах, как здесь, тогда работало шестьдесят—семьдесят человек, добывали уголь, работали отбойными молотками, работа тяжелая. К тому же темно там было внизу. Свет у нас, правда, был, да вы себе и представить не можете, какой это был слабый свет. Хотя лампы были по тем временам приличные, но нынче у них там свету побольше. И пыли у нас была туча. Да, так вот, во время войны, в сорок третьем — сорок четвертом уголь добывали больше всего военнопленные. Мне было уже за тридцать, я еще силы имел, работал, но большинство наших приставили к военнопленным надзирателями. А работали у нас французы, и бельгийцы, и голландцы, нацисты всех заставили работать, и кого они понахватали в Польше и кто его знает где еще. А под конец все больше пригоняли русских, сотни русских. Потом я на другой шахте работал, в очистном забое, длиной так двести—триста метров, там работало, пожалуй, человек семьдесят. И нас, немцев, человека четыре-пять, мы тоже там вкалывали. Другие немцы все были надзирателями. Они постоянно лупили русских резиновыми дубинками, а уж особенно к концу смены. Рубаху им велели с самого начала смены

[1] Рейнбабен — название шахты близ Ботропа.

снимать, штейгер говорил: «Видеть не могу, когда люди в рубахах, это уж явный признак, что через пень-колоду работают». Холодно, нет ли, а военнопленный, хоть умри, а снимай рубаху. А как со мной рядом кого били, я и вмешаться не смел, известно ведь было, что я коммунист и в тридцать третьем в концлагере сидел, так что особенно-то я голос поднимать не мог. И все же я иной раз не выдерживал, говорил своим-то, шахтерам: «Свинство все-таки, что вы людей мучите. Разве это порядок». А одному я прямо сказал: «Слушай-ка, опять вы их лупите? Если меня кто ударит, если меня только кто ударит, я тому череп раскрою топором. Я себя в обиду не дам». У нас у всех инструмент был, мы забой крепили, или молотки.

Так, значит, я все время работал там среди русских. Но раз как-то пришел штейгер, я его хорошо знал — а штейгер это тоже ведь надзиратель,— и говорит мне: «Послушай-ка, у меня для тебя другая работа найдется, я тут новую шахту налаживаю...» Он меня еще до того знал, как в горную школу попал, когда еще на курсах учился, я ему как-то сочинение написал, помог ему. Ну, он тоже хотел мне помочь, я это понял, он хотел меня вытащить оттуда. Ну вот, только он меня пристроил, а тут как раз начальник шахты явился и говорит: «Вы что тут делаете?» А я не робкого десятка был, хоть и нацистское было время, я ему говорю: «Я? Вы ж видите, что я тут делаю,— я работаю!» А здесь одни военнопленные работали, нас, немцев, только трое, да двое-то надсмотрщики, но я у них большим авторитетом пользовался, меня ведь все знали, я был уже опытный, заслуженный шахтер, и они ко мне прислушивались. Оттого и русским было легче. Так вот, когда начальник шахты спросил: «Вы что тут делаете?» — при этом еще и директор был. Я им говорю: «Не я себя сюда поставил...» А после смены подходит ко мне штейгер и говорит: «Ты что, политикой занимался?» А я ему: «Так ты же это знал!» А он мне: «Ну, парень, и намылили же мне шею! Придется тебя немедля убрать». А все потому, что мне не доверяли, не хотели, чтоб я с пленными отношения поддерживал, там ведь одни русские были! Дирекция же знала, что я коммунист. Вот и решили: если он будет вместе с русскими, так они, чего доброго, какой-нибудь номер выкинут. Вот потому так и получилось. И штейгер перевел меня в другую шахту, но везде, как увидит меня начальник, так сразу переводит. Мне вечно самую дрянную работу поручали, какая только на шахте есть. Хотя я бы с любой справился. Всегда, как приходит знакомый штейгер, так назначает куда получше, ему ведь надежные люди нужны, а меня потом опять переводят. Начальник шахты, он был заядлый нацист, говорит: «Эта работа не для вас!» Ненавидел он меня. Потом штейгер перевел меня в ночную смену и сказал: «Уберу-ка я тебя с глаз долой. Там ты с начальником не встретишься». Перешел я в ночную смену. Какое-то время в ночной работал, так начальник меня и там нашел! А через день-другой я попал в фольксштурм...

Да, так вот, попал я в фольксштурм, но мне и там не доверяли. В фольксштурме я пробыл неделю. Всех нас, кого отсюда взяли, послали на голландскую границу. Коммунистов среди нас было мало, зато много нацистов. Мы получили форму. У меня форма была уж очень темно-коричневая. И еще у одного, он потом погиб, когда мы мост подрывали, тоже старый был коммунист. В свое время у нас в производственном совете был, но на годик-другой старше меня. Здесь раньше была школа юнкеров [5], вот они и передали их формы фольксштурму, поэтому-то у нас и были такие формы. А я тому товарищу и говорю: «Слышь, Август, мы же с тобой не наци, мы же против войны,— так я ему с глазу на глаз говорю,— мы ведь коммунисты. А придут те, они нас прикончат — у нас же самая коричневая форма». Не мог же я заявить: «Не надену вашу форму». А раз как-то они фотографировали всех. Я встал за спины, не хотел сниматься в этой форме. Так наци заставили меня. Один мне говорит: «К., ты почему не хочешь фотографироваться? Вы почему не желаете фотографироваться?» Я говорю: «Я? Да я не люблю фотографироваться. Никакого не придаю этому значения». Не мог же я сказать: «Не желаю иметь с вами ничего общего!» Я и так и сяк отговаривался. Но они все-таки меня заставили, чтоб я на фотографии вышел. Ну, а потом меня — это все тот начальник шахты устроил — спровадили в солдаты. Прошел обучение за пять недель — и на фронт... а фронт был уже на Рейне, у Везеля, вот я и попал туда. А я и там ребятам сказал: «Дурак я, что ли, чтоб меня в последние дни пристрелили. Я эту маяту кончаю». А они мне говорят: «Если ты попадешь в плен один, они тебя прикончат». Ну вот, не прошло, помнится мне, и двух дней, а я уже оказался в плену, у американцев. А потом во Францию попал, а там на корабль и почти что до Америки добрался. Нас в Шербуре погрузили на корабль. Те корабли прозвали потом «голодными ковчегами». Помнится, два или три таких корабля отошли из Шербура. Я еще в лагере сходил к врачу, у нас там были немецкие врачи, тоже военнопленные, нас ведь всех вместе согнали, эдакие эрзац-команды составили. Ребят лет по девятнадцать-двадцать и пожилых — за пятьдесят. Вот братия подобралась. И я с ними. С мальчишками теми я тоже беседовал, говорил им: «Не стройте себе иллюзий...» А они: «Ах, попасть бы нам в Америку!..» Ребят мне было жалко, уж очень они голодали, и хуже всех приходилось тем, кто, может, еще в школу ходил или только-только на аттестат сдал, а может, студентами были. Ведь под конец-то войны никакой разницы уже не делали. Иной раз они все-таки ко мне прислушивались. Ох,

[5] У юнкеров форма была серого цвета.

как же они отощали и обессилели! Наш брат, старики, закаленными были, привыкли мы к суровой жизни. Мы-то в тех обстоятельствах героями были. А парням я без устали твердил: «Ребята, держитесь в сторонке, чтоб в Америку не попасть. Стоит нам туда попасть,— баста, они нас не выпустят, пока мы на обратный проезд не заработаем. Не скоро мы оттуда выберемся». Я опять обратился к врачу, ну, обследовали меня: «Э-э, ты справишься! Подумаешь, переезд — да ты много чего выдержишь!» А я им: «Нет, не выдержу я, помру в дороге».—«Да нет же!» Я ничего не смог добиться. Ушел ни с чем. Была там в лагере деревянная бочка с известью, так американский солдат становился к ней с кистью, а мы по одному подходили,— он ее макал в известку и выводил номер каждому на спине. У меня в Эстервегене был номер 303. Никогда мне не забыть, как в Шербуре, в гавани, мне такой же номер на спине намалевали: PW — военнопленный, значит, и номер. А потом загнали нас на корабль, и мы отплыли. Семнадцать дней пробыли в океане. Уже эдак километрах в двухстах от американского берега были, а тут как раз капитуляция, 8 мая. Поговорил я с одним человеком, он оптовик был, коммерсант, понимал английский, он мне сказал: «Знаешь, мы ведь курс на восток держим. Возвращаемся». А я говорю: «Вряд ли. Ты-то откуда знаешь?» А он мне: «Да слышал. Американцы между собой разговаривали». Он понимал язык — большое было тогда преимущество. «Да ну, вот это здорово!» Утром я вскочил уже в четыре часа, вышел на палубу, меня и еще двух-трех наших парней его слова взбудоражили, мы решили проверить, верно ли он говорит. Утром, как солнце стало всходить, мы и увидели, что нос корабля идет к солнцу. Нам ведь иначе нельзя было ориентироваться. Американцы и словечком не обмолвились. Вот мы обрадовались. Мы были первыми, кто вернулся из Америки. Везли нас на транспортах — их тогда прозвали «гробами Кайзера»,— специально приспособленных для перевозки войск и грузов. Их, если не ошибаюсь, спроектировал и построил Кайзер, в Америке. На этих-то кораблях нас и перевозили. А запас продуктов был рассчитан до прихода в Америку — тогда все было бы в порядке. Но ведь мы возвращались, этого-то никто не предусмотрел. Пришлось продукты заново делить. Получились ничтожные нормы, отсюда и прозвание «голодные ковчеги». Мы обратились с жалобой к командиру корабля. Я сказал ему: «Продуктов нам не хватит, мы тут все перемрем. Если нормы не увеличить, так мы все перемрем». А он и говорит: «Ага, теперь вы жалуетесь, а прежде все нацистами были, людей уничтожали, всех притесняли». Я ему: «В какой-то мере это и верно. Но я не был наци».— «Все вы были нацистами!» Так мы и остались ни с чем. В конце-то концов мы подошли к берегу, прибыли в Гавр, там я свалился, едва, черт побери, концы не отдал. Я весил тогда всего сорок—сорок один килограмм. Не мог есть, и вообще ничего, а жрать хотелось жутко. Провалялся я там две-три недели. Как раз незадолго до того, как я оттуда выбрался. Один эшелон уже ушел. Сказано было: отправляют горняков! Кое-кто и подумал: если мы вызовемся, нас пошлют на шахты в Бельгию или во Францию. Я решил: «Эх, скажу-ка я о себе». И сказал. А врач, который меня осмотрел, говорит: «Если ты уедешь, так подохнешь и домой не попадешь. Оставайся. Со следующим эшелоном, если хоть чуть подкормишься, может, поедешь». Ну, второй эшелон сформировали уже в сентябре сорок пятого, я с ним и уехал.

В Рейнбеке американцы передали нас англичанам, так вот прямо в вагонах, где возят картошку, в них только бак с водой стоял и еще кое-что. Да, вот перед тем как нас передать, они подошли к вагонам и говорят: «У кого есть часы, глядите — у нас есть хорошее мясо». Но если кто говорил: «Часы»,— так они их просто отбирали, а тот ни черта не получал — ни продуктов, ничего. На другое утро нас передали англичанам. Мы пожаловались, да без толку. Англичане перевезли нас на грузовиках в Бохум, в пересыльный лагерь. В Бохуме вокруг лагеря была колючая проволока, но местные жители все равно к нам приходили. Неподалеку было поле со свеклой. Мы просили их: «Принесите нам хоть свеклы», и люди эти, больше все дети, женщины, приносили свеклу, а мы ее сырую ели. Очень уж у нас животы подвело. А потом нас на грузовиках развезли по городам, кто откуда был, нас, кто из Ботропа, было человек тридцать, привезли на биржу труда. На бирже нам сразу же выписали направление на работу и отпустили, приказав сразу же явиться в шахту. А я от слабости с ног валился, не в силах был выполнять эту работу. Я сказал: «Подохну я тут». Но рад был, что домой добрался. И еще я сказал: «С работой я справлюсь. Пусть только меня отпустят». И вот я приехал домой, на остановке вышел, а моя жена — представляете — вошла в тот же трамвай. Она же не знала, что я приехал, я ведь ни разу не писал, мне и нельзя было. Она поехала в Оснабрюк, она там во время войны жила и хотела теперь привезти постельное белье и еще кое-что. Я прихожу домой и спрашиваю: «Ну, а где Лотта?» Это я теще. А она говорит: «А Лотта только что уехала». Я спрашиваю: «На этом трамвае? Эх, черт, а я из него вышел! Ну что ж, пусть едет». Я был очень слаб... Потом мы еще раз туда ездили, привезли одеяла, так я не мог одного одеяла донести. Да, а вот мои дочери... Эрике было тогда шестнадцать, Лизелотте около двенадцати, а Рите, младшей, ей теперь двадцать два года, ей тогда был годик. Девочки меня помнили, но малышка меня не знала. Только я заговорил, она как расплачется. Мужчин-то всех призвали, кругом нее одни женщины: мои дочери, моя жена, моя сестра, и у нее тоже дочь, и еще маленький мальчик, ни одного мужчины в семье не было, ребенок рос среди женщин. А у меня голос грубоватый, я стал говорить, а

девица моя как расплачется, очень она напугалась. В первый раз ведь услышала мужской голос! Вот ее и огорошило. Только я заговорю, теща меня давай ругать. Я даже нарочно иногда говорил, хотел поглядеть, как она снова заплачет, малышка моя. Вовсе я не хотел ее мучить, да уж очень она меня умиляла. Теща, та меня стукнуть готова была, говорила: «Не пугай ребенка! Ты же знаешь, она боится мужчин!» А я: «Да я ж ничего ей не делаю». Так вот, англичане привезли нас на биржу труда, и нас определили на шахты. Пришел я сюда, докладываюсь начальнику шахты. Председатель производственного совета был коммунист, меня хорошо знал. Он мне говорит: «Черт побери, наконец-то ты появился. Ты нам тут очень понадобишься. Давай приступай». Но я ему сказал: «Слушай, друг, я ведь едва живой, мне бы хоть недельку-другую отдохнуть».— «Ну, валяй...» Тогда я пошел к начальнику шахты, а он и говорит: «Приступайте. Если на этой неделе не приступите, будете уволены». Я и подумал: «Пусть кому другому сказки рассказывает» — и пошел к врачу, а врач говорит: «Работать ты не можешь». Он меня давно знал. Вот я и побыл для начала неделю-другую дома, а потом только приступил к работе. Начальнику шахты я никогда не забуду, как он сказал: «Если на этой неделе не приступите, будете уволены». А через полгода я ему представился как председатель производственного совета. Меня избрали. Вот он оторопел и сразу же начал скандалить. Я ему говорю: «Я вот что хочу вам сказать: пока мы вообще не разругались,— хоть у меня и не было опыта как у председателя, но вообще-то я не новичок был в профсоюзной работе,— так вот, говорю, нынче требуется налаживать сотрудничество. А если вы сразу же обрушиваетесь на меня с упреками, так сотрудничества не получится. Одно хочу вам сказать: когда вы говорите со мной, вы говорите с 3500 рабочими». Тут он снова оторопел. Растерялся. Со временем я все же добился у него признания. Полгода я сидел в производственном совете, а потом меня выбрали председателем общего производственного совета предприятия от сорока тысяч человек, рабочих и служащих, от всей «Хиберии»[6]. Два председателя производственных советов у нас были социал-демократы, это К. и Н. Собрались комитеты производственных советов на «Генерале Блюментале», чтоб выбрать рабочий комитет, а К. и Н. мне говорят: «Когда будет общее собрание, ты выступи в прениях, пусть все тебя услышат, тогда мы тебя предложим (меня-то выдвинули социал-демократы), и тебя выберут». Как мы и договорились, я выступил в прениях; выдвинули человек трех-четырех, но я получил большинство голосов и стал председателем общего производственного совета. На другой же день представился правлению «Хиберии». Генеральный директор (он уже умер), а у него такая бородища была, ну впрямь эдакий старый почтенный представитель капиталистов. Я даже подумал: вот он какой, капиталист. Я до того еще в жизни не видел члена правления. А я отощал, одет был паршиво. Только я вошел, он говорит: «Ради бога! У меня нет никаких указаний военной администрации. Я никак не могу вести с вами переговоры». А я ему: «Вот что я вам скажу: меня выбрали. И если вы не желаете со мной разговаривать, будете отвечать за последствия. Не воображайте, что мы живем при нацизме. Когда я с вами говорю, то это с вами говорят сорок тысяч человек. Я уполномочен моими коллегами...» Со мной были еще два человека. «Минуточку,— говорит он,— вы меня с ног сбили». И позвал трех, а может, четырех советников — все бывшие активные нацисты. У него там стоял такой низенький столик, я такого еще в жизни не видал, и большущие на нем карты разложены, географические, все под стеклом. Сели мы к этому столу. Он велел тут же подать сигары, водку. А потом и говорит мне: «Ну как, не распить ли нам бутылочку?» Хоть я бы охотно рюмочку выпил, но ему отвечаю: «Водку вы можете сами пить. У нас она и на шахте есть, я не для того приехал в Херне. Совсем ради других дел я сюда приехал». Никогда он больше не предлагал мне водки, этот тип. Тогда он со своими советниками посовещался и позвонил этому — ну, как же его звали, он от нас был в правлении, тоже коммунист, он был в главном правлении, инженер, не могу припомнить его имя,— так вот, директор ему позвонил, и он сказал: «Придется вам признать К. Если вы не можете признать его председателем общего производственного совета, раз еще нет такого закона, то считайте его представителем рабочего комитета. К.— председатель рабочего комитета, он выбран». А потом уж дело пошло. Стало все налаживаться.

Бывало, я им звоню: «Я назначаю заседание, нам необходимо поговорить».— «Хорошо,— отвечают они,— тогда приезжайте...» — «Это как же? — говорю я.— Вы думаете, я на велосипеде поеду в Херне? Об этом и речи быть не может! У вас достаточно машин. Если не пришлете машину, я с вами иначе поговорю. Председатель общего производственного совета вправе пользоваться машиной». Ну, вот, они посылали за мной машину. Мы туда часто ездили, но я обычно заранее не предупреждал, просто ехал туда. А им заявил однажды: «Я тут на законных правах, я представляю столько-то человек, а вас тут лишь терпят». Была у меня как-то с ними стычка. Приняли они на работу одного специалиста, из университета. Меня пригласили как председателя производственного совета. Я пришел — сидят три-четыре директора, самое меньшее семь или восемь человек из правления, все с высшим, университетским образованием, кроме двоих — руководителя производства и еще одного, они горную школу кон-

[6] «Хиберния» и «Генерал Блюменталь» — названия шахт

чали. Все они уже сидели там. «Ого,— говорю им,— здорово вы придумали, вызвали меня одного. Вообще-то, мне с вами нельзя вести переговоры. Да чтоб вы не подумали, что я боюсь, я послушаю, что вы скажете. Только ни на что соглашаться не стану». Тогда они мне и говорят, что хотят взять того человека инструктором на специальные курсы. «Я этого человека не знаю,— говорю я.— Так что вам не повезло, я его отклоняю». Тут выступает руководитель производства и говорит: «Вот что, К.— просто эгоист».— «Н-да,— говорю,— наповал вы меня уложили, но минуточку... Хочу вам кое-что напомнить: на последних выборах за меня голосовало более чем девяносто процентов всех рабочих и служащих, и это при тайном голосовании. А из вас ни один не выбран. Представьте-ка себе, если бы вас, господа, кто здесь сидит, если бы вас выбирали. Из вас ни один бы не остался. А я бы остался и еще ряд моих коллег». Их чуть удар не хватил. Директор даже подскочил: «Ради бога! Не будем пускаться в такого рода дискуссию!» Но дискуссия была уже закончена. Этого парня не приняли. Дирекция пыталась нас уговорить, но этот тип, верно, и сам не захотел, он уж больше не приходил. Потом они нам представили документы другого кандидата — того мы приняли...

Мои дочери, они были тогда еще девочки, подростки, ходили в среднюю школу, обе старшие. Эрика, она даже во время экзаменов в Ботропе от имени учеников держала речь, у нее хорошие отметки в свидетельстве. Ее потом взял на работу помощницей в приемную врач. Уж как он ее опекал, у самого-то у него детей не было, он приходил иногда к нам, брал с собой обеих девочек, старших, говорил им: «Милые мои, да вы могли бы мне дочками быть!» Вот уж рад бывал. «Я, говорит, знаю убеждения вашего отца, но для меня это не играет роли. Вы порядочные люди». Это было для него главное. А вторая дочь, она хотела уйти из реального училища, когда ей четырнадцать стукнуло, хотела обучиться какому-нибудь ремеслу. Я тогда был сильно перегружен на работе, не мог за ними следить, я бы этого не допустил. Да еще теща меня уговаривала: «Если уж она хочет, позволь ей. Да, да, позволь ей». Ну, она и пошла ученицей, выучилась на модистку. Закончила ученье с дипломом, и все прочее. Третья у меня Рита, я и ее послал в училище, тоже реальное училище, а она была девчонка задиристая. Вот однажды они друг дружке что-то рассказывали, девчонки, про другую девчонку,— а отец ее влиятельный член ХДС, ресторатор, его дочь уже в последний класс ходила, ей было лет шестнадцать-семнадцать,— вот Рита возьми да скажи подружке: «У нее будет ребенок». Прихожу это я к вечеру домой и спрашиваю жену: «А где Рита?» Всегда мой первый вопрос был, как домой приду. А через час-другой я уже снова уходил по делам. Я и спрашиваю: «Где Рита?» Мне что-то странным показалось, что ее нету. А жена говорит: «Да ты поешь, поешь. Верно, сейчас придет». Я поел, а она как расплачется, моя жена, и говорит: «Вот, почитай-ка». И я прочел: «Исключена без предупреждения». Жена сразу поняла, что это значит: «Теперь ей снова придется ходить в народную школу». А Рите всего еще три месяца оставалось до окончания. КПГ была запрещена, нас лишили парламентских мандатов,— а вскоре и Риту исключили из школы. Ну, мы с женой сразу поехали в школу. Вышли к нам директорша и учительница, у которой Рита училась. Учительница была беженкой — дочь пастора из Восточной или Западной Пруссии. Ну и ненавидела же она мою дочь. Она знала, что ее отец коммунист. А девчонки наболтали лишнее. Другая-то еще и похуже моей сказала, да я ведь не хотел, чтоб она тоже вылетела, правда, она и так не вылетела из школы, только моя дочь. Вот я и говорю им: «Я знаю, почему вы ее выгоняете. Первое — я был членом муниципалитета от КПГ, второе — частенько в разных комитетах говорил правду, ну, а Рита — моя дочь, и главное дочь рабочего!» — «Ах, ради бога,— говорит директорша,— зачем вы говорите, что она «дочь рабочего», я тоже родилась в семье рабочего!» А я ей и говорю: «Значит, у вас очень изменились взгляды, значит, вы забыли об этом, иначе вы бы ее не вышвырнули». В угол-то я ее загнал, да Риту в школу обратно все равно не приняли. Тогда я поехал с ней к тому ресторатору. Захожу в пивную, а там ни души. Только одна официантка, я и спрашиваю, надо же было как-то начать, не хотелось сразу наше дело выкладывать. Спрашиваю: «А что, шефа нету?» — «Нету,— говорит она,— только что ушел».— «Тогда принесите-ка мне пива, а Рите лимонаду». Мы посидели, а там и хозяин пришел. «Вы хотели со мной говорить?» — «Да, я хотел с вами говорить».— «Что же вы хотите?» — спрашивает он. «Ну,— говорю,— я К.». Ух, он просто оторопел. Я и говорю: «А это моя дочь. Это ведь вы подняли шум, и ее исключили из школы».— «Да! — говорит он.— По мне, пусть хоть землю роет!» Я ему отвечаю: «Ну, землю она, положим, рыть не будет. Да вы-то подлую роль сыграли, а ведь вы тоже отец. Я так считаю, что у вас преступная точка зрения». Ну, поговорили мы, я еще не кончил, а тут входят шесть или семь профсоюзных активистов, профсоюзное правление этой части города, социал-демократы, из ХДС несколько человек, один или два коммуниста. Как меня увидели, спрашивают: «А, Клеменс, ты что тут делаешь?» Называют хозяина по имени и его спрашивают: «И ты знаком с Клеменсом?» Им же лестно было — ведь они с нашей шахты,— что он сидит за моим столиком. Я ни словечком не обмолвился. И он промолчал, да, видно, у него язык к гортани прилип. А парни заказали на всех пива. Но уж потом, когда я уходил, я ему сказал: «Вот что, я им ни слова не сказал. Но этих людей вы знаете лучше, чем меня, вы видели, какие у меня

с ними отношения. Если я им всю правду выложу, вам трудно придется. Ручаюсь». И ушел. А на другой день ресторатор этот позвонил в школу и сказал: он-де не против, если Риту в другую школу примут. Но все-таки, значит, использовал свое влияние как член ХДС, постарался, чтобы ее и в соседнем городе не приняли. Пришлось ей ехать в Гладбек. Там она познакомилась со своим женихом, с ним она теперь помолвлена...

Да, а еще помню, как денежную реформу провели, и все мы получили по сорок марок. Впервые у нас были трудности с деньгами. Правления затягивали выплату жалованья. Это было летом сорок восьмого, в августе. Ну, вот мы поехали в Херне, я вел переговоры с правлением. «Люди,— сказал я,— вот уж сколько времени не получают денег...» Я, конечно, говорил от имени всех шахт, всего у нас было тринадцать шахт, два коксохимических завода и один химический. А они отвечают: «У нас в данный момент нет денег, в лучшем случае мы можем выплатить по десять марок холостым и по двадцать марок семейным. Больше у нас денег нет». Тогда я им сказал: «Если так, то я не поручусь, что люди станут работать. Весьма сомневаюсь. С этим они не смирятся».— «Ну, что ж, попытайтесь им объяснить. У нас сейчас нет денег». Ну вот, мы вернулись из Херне. Я пришел на шахту и сразу выступил перед народом, все собрались на площади, а я обратился к ним с лестницы. «Я ничего не смог поделать, они не хотят больше платить. Я убежден, что это неправильно, но сейчас я ничего не могу поделать, только могу сообщить вам об этом, но считаю, что мы с этим не должны мириться».— «Мы не выйдем на работу!» — заявили шахтеры решительно. Я им тогда и говорю: «Завтра устроим общее собрание и пригласим директоров». На другое утро из трех тысяч человек явились больше двух тысяч человек, рано утром, около шести часов. Вся площадь чернела от народа. Пришел и директор. Мы говорили с трибуны. Сначала говорил я, объяснил людям, что произошло. А потом директор. Вот, значит, директор говорит: «Я ничем не могу вам помочь» — и между прочим употребляет выражение: «Не умею из дерьма делать бриллианты». Вот как сказанул! Шахтерам это, конечно, не очень-то по вкусу пришлось. Ну, ладно, тогда я говорю: «Я поведу переговоры с «Хибернией», с правлением, я им скажу, что вы не согласны». Кое-кто стал выкрикивать: «Не спустимся в шахты, пока денег не получим!» Тут я и говорю директору: «Придется голосовать». А директор мне: «Мы не можем решать этот вопрос голосованием». А я говорю: «Но если шахтеры требуют!» Галдеж стоял страшный. «Тихо! Будем голосовать! Кто за то, чтоб работать?» Подняли руки человек десять, ну десять — пятнадцать из двух тысяч. А все были против. Ни один черт не хотел выходить на работу. Тогда директор мне говорит: «Вы не верьте тому, что они тут решили. Они поднимали руки не подумав». А я ему: «Что ж, поглядим...» Кто на аварийных работах в шахте занят был, на приемной площадке и на водоотливе, на электроснабжении, те остались на рабочих местах. Но кое-кто пришел все-таки и из шахтеров, может, человек двадцать—тридцать из всего коллектива. Хотели они было спуститься, да все-таки ходу дали: «Охота была, мол, чтоб нас потом избили до полусмерти». И ни один человек не спустился в шахту. Тогда директор — это уже он мне потом позвонил по телефону — и говорит: «Нам надо что-то сделать, чтоб люди снова приступили к работе». А я отвечаю: «Да, надо сделать, чтоб люди получили деньги. Тогда они выйдут на работу». Это было, может, так часов в 9—9.30 утра, телефон у меня беспрерывно трезвонил: из союза предпринимателей звонили, из дирекции, отовсюду: «Да скажите же, что там случилось!» Потом, так часов в одиннадцать, мне сообщили их решение: «Заплатят по пятьдесят марок семейным и по тридцать марок холостым». А в те времена денег было вообще поменьше, и жалованье, и все прочее. Дирекция, передали они, не может выплатить больше, и просили меня, чтобы я объяснил это шахтерам. «Ну, ладно,— ответил я,— передам, чтоб сегодня в обед собрали всех». В полдень все собрались. Я еще вызвал председателя профсоюза из района, его звали Ш., тоже был коммунист. Я ему сказал: «Ганс, ребята бунтуют». А он мне: «Трудненько будет вернуть их на работу. Но они ведь достигли цели, получили прибавку. А если теперь без нужды будут и дальше бастовать да ни шиша не добьются, так чертовски обозлятся. Мы достигли чего хотели, ближайшей цели». Вот я и обратился к людям: «Значит, ребята, деньги мы получили, давайте начинайте работу». А у них настроение озорное, они мне кричат: «Ты скажи, что сам думаешь!» Я им говорю: «Да, ребята, я действительно так думаю, вам надо на...» — «Можешь нам не объяснять! — кричат они.— Говори, что сам думаешь! Ты, видно, права не имеешь нам этого сказать, не хочешь вступать в конфликт с законом, мы знаем, ты не имеешь права нас подстрекать! Но нам-то ты можешь открыться. Как-нибудь иначе это скажи!» Потом выступил Ш.,— ух, как они его освистали, хоть он здорово говорил,— но ничего поделать не смог. Я голову ломаю: что ж делать? И вдруг меня осенило, я подумал: да, пожалуй, так верно будет, и говорю: «Ребята! У нас, рабочих, принято друг друга поддерживать. Утренняя смена нынче не работала. А мы уже получили деньги. Пусть дневная и ночная смены объявят себя солидарными с утренней. Ни один не выйдет сегодня на работу. Но я вношу предложение: мы вместе отгуляем нынешний день, а завтра снова выйдем на работу».— «Верно!» — послышались крики...

Кто раньше на шахте работал, а потом по инвалидности ушел, получает право... Да, надо сказать, у них почти ни у кого ванных нету, в доме у меня тоже нет,— так

вот, те шахтеры получают право мыться на шахте. Правда, если я сейчас туда прихожу, хоть я и протрубил на шахте сорок лет, так сразу же трезвон поднимается — меня пускать нельзя. Ну вот, когда они приходили по субботам мыться, то половина потом заглядывала, бывало, в комнату производственного совета. Послушают, что да как у нас. У нас всегда было полно народу...

А вот в 1958 году такой был случай. Я был кандидатом от КПГ в бундестаг. Утром мы заседали с дирекцией. Уже после выборов. В воскресенье прошли выборы, в понедельник мы заседали. Вдруг затрещал телефон. Кто-то снимает трубку: «Это тебя». Я отвечаю: «Да?» Говорит вахтер: «Слушай-ка, тут тебя пятьдесят человек спрашивают, они поднялись из шахты».— «Что? — говорю,— пятьдесят человек? Что там стряслось?» — «Выйди-ка». А мы заперлись, люди ведь без конца к нам заглядывают, мешают работать, ничего не поделаешь. Ну вот, выхожу я на улицу, спрашиваю: «Что случилось?»— «Да вот, нам столько-то заплатили». Не помню уж сколько, помню одно — ниже тарифа. «За эти деньги работать мы не будем». Я им говорю: «Надо разобраться... Н-да, а вчера вы все голосовали за ХДС». Аденауэр получил в тот раз абсолютное большинство. «А я как раз заседаю тут с ярым приверженцем ХДС. Хоть он и не состоит в этой партии, но горячий ее сторонник: наш директор! Надеюсь, результаты выборов не вскружили ему голову. Ведь победили-то они, а не мы».— «Э, мы ни за какую ХДС не голосовали...» Кое-кто глаза опустил, а я сразу взвесил ситуацию: я их носом ткнул, и они это поняли. Возвращаюсь я, а директор и говорит: «Пусть немедленно спускаются в шахту. Идите скажите им!» Но я ему отвечаю: «Ну нет, идите-ка вы и сами им это скажите. Думаете, мне очень хочется, чтоб мне ребра переломали? К тому ж, это мои коллеги, я им говорю то, что считаю правильным». А он свое: «Они должны спуститься!» Потом я отправился в душевую. Еще когда-то я в книжке вычитал: голый человек в себе не уверен. Тут как раз поднимается директор из шахты,— а директора все под душем мылись. Он пошел в душевую. Хотел от меня улизнуть. Но я к нему подхожу и спрашиваю: «Ну как?» — «Слушайте, хоть тут оставьте меня в покое!» А я ему: «Ну как же, пятьдесят-то человек...» — «Ох, вы же известный мучитель! Ладно, мы согласны!» Вот, думаю, я был прав.

Впоследствии я как-то рассказал об этом случае молодым ребятам, они посмеялись. Я им отвечал: «Всегда следует использовать каждую возможность, чтоб чего-нибудь добиться для рабочих». Мой принцип: для людей, которые меня выбрали, добиваться всего, что только возможно.

Были у нас выборы в наблюдательный совет[7]. Приезжаем мы в Гладбек. Там нас уже рабочие ожидали, ну, с шахты «Вильгельмина Виктория», ее в свое время пытались закрыть. Они мне и говорят: «Клеменс, мы выдвинем тебя в наблюдательный совет». Но я им ответил: «Нет, я отказываюсь, ваше предложение не имеет смысла, напрасно стараетесь. В наблюдательный совет я не хочу входить». И объяснил им: «Никакой никому пользы не будет, если я там двадцать или пятнадцать тысяч марок стану получать в год ни за что ни про что, шахтерам это не поможет, и у меня руки будут связаны». Участие рабочих в управлении я представляю себе, конечно, иначе. На мой взгляд, должно быть так, чтоб у нас было больше прав, чтоб не просто два-три члена совета от нас было, не так, чтоб пять человек от предпринимателей, да пять от рабочих, и еще один член совета — беспристрастный, а он-то, конечно, вовсе не беспристрастный, ясно, возьмет чью-то сторону. Участие рабочих я там себе представляю так, чтобы все работающие могли участвовать в управлении. К примеру, член производственного совета пусть бы имел право голоса при планировании. А до сих пор что? Я как член совета участвую в решении только, если кого-то увольняют, если кого-то следует наказать,— в малоприятных решениях я участвую. Надо, чтоб мы контролировали расходы. Чтобы член совета имел право проверять финансовые отчеты, а если он не в состоянии этого сам сделать, чтобы имел право привлекать специалистов. Они уж проконтролируют по его поручению все отчеты, чтобы предприниматель не мог поступать, как ему вздумается, чтобы не втирал очки рабочим: вот, мол, с какими мы убытками работали.

Мне еще не доводилось слышать, чтобы в какой-нибудь стране, как у нас, правительство платило бы деньги, если предприятие закрывается, да платило бы за уничтожение народного добра. Я считаю, что наша первоочередная, первостепенная задача в том, чтобы в горном деле были изменены формы собственности. Потому что предприниматели не в состоянии руководить горным делом, они это доказали. Последние события с совершенной очевидностью показывают, что горным делом нельзя управлять на основе частной собственности. Более того: если уж речь идет об энергии, а это не только уголь, это и электроэнергия, и атом, и нефть, все сюда входит, так все эти отрасли следует национализировать. В общем, надо бы все эти отрасли перевести в общественную собственность, все энергетическое хозяйство.

Однажды меня изобразили в образе Пеппоне[8]. Приходит как-то один шахтер ко мне, приносит мне церковную газетку: «Гляди-ка, тут про тебя в газете написано».

---

[7] Наблюдательный совет — орган, определяющий основное производственно-сбытовое направленне предприятия; в совет входят представители владельцев акций и администрации, часто привлекаются также профсоюзные функционеры, которых путем подкупа пытаются склонить на сторону предпринимателей.

Я спрашиваю: «Где?» А там написано: «Всем известно, кто в красном царстве Пеппоне». А наш пастор — вроде бы дон Камилло. Это было, когда вышла та картина, я ее еще не видел. А скоро появилась статья по случаю шестидесятилетия этого пастора, он живет метрах в трехстах—четырехстах от нас, там как раз, где церковь, ее недавно построили, а раньше здесь церкви не было. Так вот, они написали, будто я им чинил препятствия, когда они звонили в колокола, но «теперь Пеппоне успокоился». Пастор, тот всегда удивлялся, как это я получал голоса всех рабочих, ведь большинство людей тут принадлежит одной религиозной общине. А редактору я сказал: «Хоть мое имя и не стоит, все равно каждый понимает, кто Пеппоне и кто Камилло. Вы все время твердите о нас как о своих противниках, а ведь эпоха гонений христиан давно миновала. Папа нынче приглашает на беседу Громыко, какие уж тут интриги между Пеппоне и доном Камилло». И что ж вы думаете, в следующую субботу, дня через три-четыре, они печатают: «Об этом говорит весь Ботроп: Пеппоне, Клеменс К., поздравил дона Камилло, пастора Л., с шестидесятилетием. Он заявил: «Эпоха гонений христиан...» Вот что этот тип тиснул в газете. Пришел ко мне приятель, принес мне эту газету, а сам хохочет. Сидели у меня еще шахтеры: «Нельзя этого так оставить. Они обязаны дать опровержение. Ты ж его не поздравлял». Ну да вся эта история пустячная. Мы над ней только посмеялись.

А вот когда меня уволили, 19 июня 1961 года, наши тоже выпустили газету, «Молния» называлась, шахтерская газета, выпустили ее нелегально. И тоже дали шапку: «О чем говорит Рейнбабен» и написали: «Как только Пеппоне уволили, напротив ворот шахты поставили статую святой Барбары, покровительницы горняков». Верно, так оно и было. «Вопрос к дону Камилло: если Пеппоне вернется на шахту, святой Барбаре вновь суждено исчезнуть в подвале?» Против меня затеяли процесс, пытались пришить дело, возводили напраслину, будто это я выпустил ту газету. Но я ее не выпускал, ее выпустили другие. А в суде мой противник сказал: «Ну и что ж, пусть не К. выпустил эту газету, но мог бы использовать свое влияние и предотвратить ее выход». Тут все рассмеялись, мой защитник тоже рассмеялся...

Мы на шахтах собирали подписи против ремилитаризации, против атомного вооружения. Ну и тарарам же поднялся! Вызывали наших людей в полицию, начали судебные преследования. А мы вдобавок приняли ряд политических решений... Когда меня увольняли, позже, на процессе, мне предъявили обвинение, что это под моим влиянием все эти годы общие собрания на шахтах принимали политические решения, а по статуту предприятий я на это не уполномочен. Значит, я нарушил статут предприятий. Но я судье прямо сказал: «Вы ведете процесс против политических убеждений». А он мне: «Нет». А я повторяю: «Да, да... Разве это преступление, если я по убеждению коммунист?» Он отвечает: «Нет, это не преступление». Я и говорю: «Ну вот, а я-то стою тут из-за своих убеждений».— «Нет же, откуда вы это взяли?» — стал он со мной спорить. Я опять говорю: «Нет, вы ведете процесс против политических убеждений, ведь меня же уволили в связи с запросом в бундестаге...» А еще в июне, да, в июне, в бундестаг поступил запрос, его направили пятнадцать депутатов от ХДС. Они все под ним подписались, разные там были люди, известные члены ХДС в бундестаге, они все подписали этот запрос: «Почему на предприятии, которое является федеральной собственностью, председатель производственного совета все еще коммунист?» Н-да, прошло немного времени, и это попало во все газеты. А через день-другой я вылетел вон. «Настоящим сообщаем, что вы уволены по известным вам причинам». Вот вам и все основание для увольнения. А ведь они обязаны указать причины, ведь тех причин, что мне известны, для увольнения недостаточно. Решали те причины, которые известны предпринимателю. Но они, предприниматели, нам сказали: им не надо никаких причин. Они еще в суд подали — так и по сей день ничего не решено. Процесс все тянется. Хоть я уже пять лет и четыре месяца как уволен. Меня снова вызывали в суд, решили внести согласительное предложение. Да вот расходы-то по процессу между нами разделили. Я был главным обвиняемым, должен уплатить 4 260 марок. Н-да, а как их уплатить, сам не знаю, я им написал: «Я получаю только пенсию, и такую сумму не смогу уплатить».

---

* Пеппоне – персонаж из франко-итальянского кинофильма «Дон Камилло», злобного, клеветнического фильма, направленного против борьбы итальянских коммунистов за права трудящихся.

Перевод с немецкого А. ГРИЩЕНКО

Анкета «Иностранной литературы»

В этом номере мы заканчиваем публикацию (начало см. в №№ 2, 3, 4) ответов зарубежных писателей и деятелей культуры, принявших участие в анкете, посвященной 100-летию со дня рождения В. И. Ленина и содержащей два вопроса:

1. При каких обстоятельствах Вы впервые познакомились с именем Ленина?

2. В чем Вы видите актуальность ленинизма сегодня?

БЕТТИ КОЛЛИНЗ (АВСТРАЛИЯ)

Впервые я услышала о Ленине во время второй мировой войны. Моя приятельница рисовала тогда на продажу для Фонда медицинской помощи России черно-белые силуэты Ленина. Создание этого фонда, сбор теплых вещей и другие кампании по оказанию помощи русскому народу в его борьбе с нацизмом служили выражением нашего восхищения и надежды на счастливый исход той жестокой битвы, в которой нашим народам пришлось взяться за оружие.

В результате этой первой «встречи» я вступила в ряды всемирного социалистического движения.

С годами мое представление о ленинизме расширилось и углубилось, но в своей основе не изменилось. Его теоретические положения, претворенные в жизнь, остаются и в наши дни основополагающими в борьбе человечества за свое освобождение. В нашем мире отчуждения я все чаще и чаще задумываюсь над тем, каким будет человечество, когда станет свободным.

Я думаю, что, если бы Ленин дожил до наших дней, он, несмотря на необычайную противоречивость нашего времени, все же мог бы сказать: «Я верю в людей».

КАМЕН КАЛЧЕВ (БОЛГАРИЯ)

Когда я впервые услышал имя Ленина? Мне трудно это сказать, так же, как трудно определить, когда я впервые увидел солнце, небо, землю... Потому что имя гения подобно природе, свету и воздуху — оно с нами, даже когда об этом не думаешь.

Однако я могу точно сказать, когда впервые прочитал его произведения. Это было в 1935 году в Софийской центральной тюрьме, куда меня, в ту пору комсомольца, заточили болгарские фашисты. Политзаключенные всерьез занимались политическим просвещением. В нелегальных кружках мы изучали основные произведения теоретиков коммунизма. И вот первой книгой, которую я прочел в кружке философии, была знаменитая книга Ленина «Материализм и эмпириокритицизм». А второй — «Государство и революция». Эти две книги стали для меня, если можно так выразиться, первыми уроками ленинизма, великого учения гениального человека, который положил начало новой эре в жизни человечества. И я никогда не забуду этой духовной встречи с Лениным, определившей начало моей новой жизни, мою судьбу. Эти

две книги раскрыли мне сущность мировоззрения, которое с тех пор стало и моим мировоззрением и которое всегда помогает мне в трудных схватках идеологической борьбы. Первая книга своим ярким полемическим тоном научила меня с непримиримой последовательностью бороться с фальшивыми идеями псевдореволюционеров, а вторая — сделала из меня трезвого реалиста, способного в то же время смело мечтать о завтрашнем дне, о завтрашнем устройстве мира... Что бы я ни читал после этого у Ленина (а я внимательно прочел все его работы), я все же всегда мысленно обращался и к тем двум первым книгам, ставшим для меня символами ленинизма. И я очень счастлив, что именно они познакомили меня с великим гением человечества.

МАРИЯ БАНУШ (РУМЫНИЯ)

КОГДА СЛОВО НЕ МЕРКНЕТ

Я отношусь к тому поколению и к тем людям интеллигентного труда, чья судьба неотделима от Ленина и его дела. Давно, в годы молодости, еще до первой мировой войны, в моей жизни произошел решающий перелом: я избрала путь революции, путь Ленина.

По складу характера я не являюсь человеком действия. Склонившись над книгами, я в них искала ответа, **главного** ответа на мучительные вопросы, не дававшие мне покоя. Как жить? В чем заключается мой долг перед эпохой, перед современниками? Как может противостоять интеллигент той гигантской волне насилия и зверства, которую фашизм всех мастей обрушивал на человечество? Как помочь своими слабыми силами разрушить здание ненависти, лжи, эксплуатации, выросшее на фундаменте несправедливого строя?

Я обратилась к Гегелю, потом к Марксу, Ленину.

В то время было непросто достать марксистскую литературу. В книгах на немецком и французском языках, которыми снабжали меня друзья, была сладость запретного плода...

Чем прочнее утверждался в Румынии фашизм (с 1938 года и далее), тем опаснее становилось посещение коммунистических кружков, тем труднее было достать марксистскую книгу. Но именно тогда — между 1938 и 1940 годами — я прочитала «Государство и революцию» и «Материализм и эмпириокритицизм» на французском языке.

Реальное существование Советского Союза, первого могучего социалистического государства, было живым подтверждением правильности ленинской теории. Советский Союз был олицетворением мысли, воплощенной в действительность, противостоявшую бронированной мощи гитлеровцев.

Мне не хочется прибегать к словам, отдающим мистикой. И все же, восстанавливая в памяти после стольких десятилетий — и каких десятилетий! — наше тогдашнее душевное состояние, я могу найти только одно слово, способное передать ту одержимость, страсть, отчаяние, надежду, с которыми мы обращались к ленинизму, погружались в его глубины. Слово это — **спасение.** От скудости бесплодных концепций мы спасались в ленинизме, ставшем для нас высшим образцом слияния теории и действия.

В ленинской теории, претворенной в дела, мы находили тот единственный ответ, который человечество, осознавшее свое назначение, могло противопоставить многовековой несправедливости, порабощению и новому, фашистскому изуверству.

Жестокие преследования обрушились в начале 40-х годов на коммунистическую партию и ее единомышленников. В ту пору я жила в небольшом шахтерском городке в Трансильвании. Мой муж — инженер — работал на строительном предприятии, возводившем жилые дома для рабочих.

Кто-то предупредил нас, что за нами установлена слежка. Надо было немедленно оставить городок и вернуться в Бухарест.

В поездах то и дело проводились облавы. Захватить с собой марксистские книги было невозможно. Сжечь — рука не поднималась. Что делать? Где укрыть их? Мой муж придумал выход. Инженер-строитель, он мог, не вызывая подозрений, взобраться по лесам под самую крышу возводимого здания.

Там, за стропилами, он и припрятал несколько книг, которые мы берегли как зеницу ока,— и среди них две ленинские работы. Долгое время моему пылкому воображению, плененному духом революционной романтики, хранение ленинских работ под крышей рабочего дома представлялось некой метафорой, драгоценным символом. И в трудные, трагические минуты жизни я в этой мысли черпала утешение и силы.

Но история — с ее сложной чередой событий и превращений — продолжала формировать меня, как, впрочем, и всех остальных. И незаметно преобразила нас. Сегодня я отказалась от этого сентиментального и простенького символа и полагаю, что сам Ленин первым осудил бы суеверный культ захороненных слов.

По-ленински подходить к проблемам революции и судеб человечества означает ныне решать их в гуще вечно обновляющейся жизни, сверять их постоянно по ком-

пасу живой действительности. Только в этом случае гениальная ленинская мысль сохранит свою необыкновенную притягательную силу, ту струящую свет новизну, что некогда преобразила нашу молодость.

ПААВО РИНТАЛА (ФИНЛЯНДИЯ)

ЧТО ДЛЯ МЕНЯ ЗНАЧИТ ЛЕНИН

(Ответы на вопросы корреспондента АПН)

Я хотел бы сравнить два исторических документа 1918 года: договор, заключенный белой Финляндией с кайзеровской Германией, и договор между Финляндской Социалистической рабочей республикой и РСФСР.

Сравнивая эти соглашения, я пришел к выводу, что они стали — по крайней мере для меня — конкретным отправным пунктом для понимания взглядов Ленина. Как красная, так и белая Финляндии подписали свои документы в начале марта.

Давайте положим их рядом.

В договоре Финляндской Социалистической рабочей республики с Российской Советской Федеративной Социалистической Республикой говорится:

— Торговым судам обоих государств предоставляется право свободно заходить в порты друг друга.

— Советская Россия передает безвозмездно Финляндии всю собственность, находящуюся на ее территории и принадлежавшую русскому государству, и возвращает Финляндии финские суда.

— Советская Россия отдает в полную собственность Финляндии Петсамо (Печенгу), а Финляндия в свою очередь отдает Советской России крепость Ино и т. д.

В договоре белой Финляндии с кайзеровской Германией мы читаем:

— Финляндия предоставляет Германии военные базы.

— Финляндия обязуется не вступать в какие-либо договорные соглашения с другими государствами без консультации и согласия с Германией.

— Германия имеет право контролировать внешнюю торговлю Финляндии.

Даже поверхностное сравнение двух договоров, заключенных в одно и то же время, по-моему, не требует комментариев. Они ясно говорят сами за себя.

Правда, уместно заметить, что, к счастью для финского народа, договор с Германией после ее поражения в первой мировой войне автоматически потерял силу. Но его идейные основы поддерживались определенными кругами Финляндии до 1945 года, пока реалистическая политика Паасикиви не положила этому конец.

Договор, заключенный с Советской Россией, руководимой Лениным, имеет принципиальное значение и по сей день. Это был договор между только что получившим самостоятельность государством и великой державой, и, что особенно важно, он был заключен на основе равноправия.

Ленин явился первооткрывателем совершенно нового измерения (выражаясь языком математики) во взаимоотношениях между народами и государствами. Это, на мой взгляд, первопричина продолжающегося и сегодня влияния ленинизма на жизнь и судьбы Финляндии.

Ленину часто приходилось бывать в Финляндии. Он ведь за девять поездок провел в нашей стране в общей сложности свыше трех лет. Недавно я написал радиопостановку о переезде Ленина в 1907 году из Хельсинки в Турку и далее на ближние острова, откуда он совершил переход по льду на пароход «Боре I» и вырвался на свободу, обманув сыщиков царской охранки.

В этой радиопередаче события рассматриваются не только в историческом плане. Актеры, играющие реально существовавших людей, которые помогали Ленину, должны были ответить на вопрос:

— Если бы Ленин был сейчас жив и отправился бы по тому же маршруту, в чем он мог бы убедиться?

Ответы были такими:

— По крайней мере в том, что ему уже не надо было бы скрываться в Финляндии.

— Что и в настоящее время есть еще на земном шаре страны, где ему пришлось бы скрываться под именем «доктора Мюллера».

— Он убедился бы и в том, что, хотя сейчас в некоторых странах государственная полиция его и не арестовала бы, ему лучше было бы сохранять инкогнито...

Ни один писатель не сможет раскрыть тему или дать живой характер человека, если он не считает их близкими себе и важными. Думаю, что это служит, хотя и косвенным, но достаточно ясным ответом на вопрос: «Что для меня значит Ленин».

П. ТОПЕР

НА ПИСАТЕЛЬСКОЙ ВСТРЕЧЕ В БЕРЛИНЕ

Творческие встречи между советскими писателями и писателями других социалистических стран давно уже стали доброй традицией и потеряли характер первых знакомств и общих бесед. Сейчас за одним столом встречаются друзья, которые хорошо знают друг друга и у которых есть потребность обменяться накопленным опытом и вместе искать пути решения сложных проблем. Дискуссия между советскими писателями и писателями Германской Демократической Республики, состоявшаяся в Берлине 4—5 декабря 1969 года, еще раз подтвердила это.

Четверть века, прошедшая со дня победы над фашизмом, была временем становления и возмужания социалистической литературы, которая во всех молодых социалистических странах выдвинула много талантов и сегодня «во весь голос» говорит о жизни своих народов — о глубокой перестройке общественных условий и человеческого сознания, о трудностях движения по новому историческому пути, о неодолимости нового. С каждым годом растет удельный вес социалистической литературы в литературе мировой, и книги писателей социалистических стран завоевывают все большую читательскую аудиторию в самых разных частях земного шара. С каждым годом становится яснее общность многих процессов, идущих в литературе этих стран, их взаимное влияние и взаимное обогащение.

И когда на встрече в Берлине возникал разговор о «творческих импульсах», которые одна литература дает другой, то справедливо назывались не только книги советских писателей, давно и хорошо известные в ГДР, но и произведения немецких писателей старшего и молодого поколений, определяющие сегодня лицо литературы Германской Демократической Республики и вызвавшие большой отклик в Советском Союзе.

Предметом обсуждения на этой встрече, ставшей естественным продолжением предыдущих совместных мероприятий советских писателей и писателей ГДР, был облик революционера нашего времени, каким он предстает в жизни обеих стран и их литературах. Значение этого вопроса не требует особых доказательств в сегодняшних условиях, когда так усилились нападки на социалистический лагерь, когда и справа и «слева» слышны голоса, отрицающие за мировой системой социализма роль ведущей революционной силы современности. Не требует особых доказательств и важность писательского разговора на эту тему, потому что революционер, передовой человек своего времени, несущий в себе то новое, что есть в действительности,— важнейший и одновременно труднейший для художника жизненный материал.

Об этом говорил в своем вступительном слове первый секретарь Союза немецких писателей Герхард Хеннигер:

«Наша сегодняшняя тема актуальна с двух точек зрения. Во-первых, творческое воплощение революционных тенденций повседневной жизни социалистического общества представляет собой важнейшее условие создания в искусстве правдивого образа человека нашего времени, а это есть основная задача нашего творчества. Постоянно заново находить эти революционные тенденции, воплощать их в произведениях искусства и тем самым способствовать укреплению их в жизни — вот важная, если не важнейшая, задача социалистического писателя.

Во-вторых, именно в силу этого обстоятельства революционность нашего обще-

ства все больше и больше подвергается фальсификации и нападкам со стороны наших врагов, которые отрицают революционный характер достижений наших народов, говорят о «предательстве» революции, об «идеологии благосостояния» и т. д. В этом пункте троцкисты и ревизионисты подают друг другу руки».

При полном единстве исходных посылок, в дискуссии не было недостатка в спорах. Она затронула широкий круг вопросов, как жизненных, так и творческих, как теоретических, так и практических. В ней дружественно соседствовали выступления писателей, идущих прежде всего от своего творческого опыта, от художественной практики, и выступления критиков, анализирующих эту практику. Впрочем, провести четкую грань здесь было бы трудно; и писатели, и критики широко привлекали свидетельства самой жизни, выступали также и как публицисты, историки, социологи. Дискуссия была конкретной. Нельзя не обратить внимание на то, как широко и свободно ее участники оперировали материалом и советской, и немецкой литератур. Это относится и к основным докладчикам (Вернер Нойберт — с немецкой, Лев Якименко с советской стороны), и к многочисленным ораторам — С. Залыгину и О. Готше, М. Шатиряну и А. Курелло, Э. Шиму и М. В. Шульцу, К. Ковальджи и Г. Канту, И. фон Вангенхейм и Э. Ренеру, и др.

Дискуссия, естественно, включила в себя и разговор об отношении к традициям прошлого, действующим в современности. Подход к этому важнейшему вопросу идейной борьбы наших дней определялся ленинским учением о двух культурах в каждой национальной культуре. Об этом говорила Е. Книпович, возглавлявшая на встрече советскую делегацию:

«Современность всегда связана и с прошлым, и с будущим. Анна Зегерс справедливо говорила на 4-м съезде немецких писателей в 1966 году, что если посмотреть на немецкое прошлое, которое определяет трудности сегодняшнего дня, то можно различить целых три прошлых — прусское, веймарское, гитлеровское. И к заслугам немецких писателей, и старших и молодых, таких, как Шульц, Нолль, Фюман, относится то, с какой последовательностью и мужеством они извлекали в своем творчестве уроки из печального опыта истории. Но, дорогие друзья, у вас есть и великие традиции, и это — в известном смысле слова — наши общие традиции. Они идут от Томаса Мюнцера (который мне лично очень близок как историческая фигура, ближе, чем деятели французских крестьянских войн) до Карла Маркса и Фридриха Энгельса, до Карла Либкнехта и Розы Люксембург. Мы часто говорим «Несмотря ни на что!» — как это говорил Либкнехт, как это говорил Тельман. Прекрасное революционное наследие немецкого народа следует подымать, как и революционное наследие всех народов.

Задача дня — двинуть в бой все, что связано с ленинскими, с марксистскими традициями в нашем прошлом».

Всем нам, приехавшим в Берлин, было приятно встретить наших старых друзей, немецких писателей, хорошо известных в Советском Союзе. В дискуссии приняла участие и председатель немецкого Союза писателей Анна Зегерс, чье творчество пользуется в нашей стране такой популярностью, какая редко выпадает на долю зарубежного писателя.

Хочется отметить несомненный успех встречи. Конечно, писатели создают свои книги (а критики — свои статьи) не во время дискуссий, а дома, за письменным столом. Но после подобных дискуссий писатель возвращается к своему письменному столу с новыми мыслями, «чуточку умнее», как сказал, закрывая последнее заседание, Ю. Брезан. В совместном коммюнике, озаглавленном «В духе ленинской партийности», справедливо говорилось, что «встреча по своему содержанию представляет интерес для международной дискуссии о сущности революционера нашего времени».

Журнал «Иностранная литература» печатает в этом номере выступление в дискуссии Фрица Зельбмана, писателя и политического деятеля, ветерана немецкого революционного движения, автора известных романов («Долгая ночь», «Возвращение Иоахима Отта», «Сыновья волков») и недавно вышедшей автобиографической книги «Альтернатива, Баланс, Вера». Текст выступления Фрица Зельбмана дан по стенографической записи, в переводе с немецкой рукописи.

ФРИЦ ЗЕЛЬБМАН

ЗАДАЧА, КОТОРАЯ СТОИТ ПЕРЕД НАМИ

Я принадлежу к тем, кто начинал не как писатель; в литературу я пришел из политики, и в моем выступлении политики будет, возможно, несколько больше, чем это обычно принято на литературных дискуссиях.

Проблема «Образ революционера в литературе», которую мы здесь обсуждаем, чрезвычайно важна для нас, для писателей Германской Демократической Республики. Это вопрос об основной задаче, стоящей перед нашей литературой,

литературой социалистической и реалистической, которая призвана воплощать в художественных образах нашу действительность; это вопрос о роли литературы в жизни и ее влиянии на читателей.

Суть дела состоит в том, что революция, как известно, отнюдь не заканчивается с захватом власти пролетариатом; с этого, по существу, лишь начинается процесс революционного преобразования общества, процесс, который, как говорил Маркс, может длиться очень долго — до тех пор, пока пролетариат не вычистит всю грязь прошлого. И покуда этот процесс продолжается, ситуация остается революционной. Следовательно, революционером в наши дни является тот, кто способствует победе социализма над капитализмом, и Ленин считал чрезвычайно важным, что в обществе, строящем социализм, эту роль берет на себя рядовой рабочий, передовик, новатор, который, таким образом, активно участвует в процессе революционного преобразования действительности.

Какова же роль нашей литературы в идеологической борьбе между капитализмом и социализмом?

Мы, писатели Германской Демократической Республики, живем и работаем в сложных условиях; линия фронта, говоря языком военных сводок, проходит через нашу страну, через территорию, на которой живет население с общим языком, с общими культурными традициями. Линия фронта между капитализмом и социализмом проходит в нескольких сотнях метров отсюда, у Бранденбургских ворот, и нам следует всегда помнить о воздействии, которое наша литература оказывает не только у нас, на наших людей, в нашей республике, но и в другой части Германии, в Западной Германии и в Западном Берлине.

В наших условиях революционер тот, кто стал передовиком на производстве, передовиком в общественной жизни, новатором, рационализатором; это человек, который все свои силы отдает делу революционного преобразования, который борется за новое, изменяет обстоятельства, изменяет самого себя. Мы встречаемся с ним в жизни каждодневно. Но как сделать этот образ убедительным, как показать его революционную сущность? Вот, по моему мнению, чрезвычайно важный, решающий вопрос. Он важен еще и потому, что, только используя все выразительные средства, какими обладает художественная литература, мы, писатели, можем осуществлять свое влияние и по ту сторону границы.

Я хотел бы совсем кратко остановиться на ситуации в Западной Германии, точнее, на позиции западногерманского рабочего класса и вообще левых, потенциально революционных сил в ФРГ. Тут перед нами открывается весьма сложная и дифференцированная картина. Несомненно, что у значительной части рабочих в Западной Германии притупилась острота классового сознания, несомненно, что они находятся под сильным влиянием потребительской, мелкобуржуазной идеологии. На первый взгляд, западногерманский рабочий класс, в противоположность, скажем, французскому или итальянскому, даже идеологически интегрировался в системе буржуазного общества. Однако рабочий класс Западной Германии нельзя рассматривать как нечто однородное. В нем можно наблюдать довольно своеобразное расслоение.

Я не буду сейчас говорить о действительно классово сознательных рабочих, которые поддерживают Германскую коммунистическую партию и число которых невелико,— выборы в бундестаг это показали, и на этот счет не следует строить иллюзий.

Среди западногерманских рабочих есть довольно значительная привилегированная прослойка, рабочая аристократия, интегрированная господствующей монополистической системой, весьма заинтересованная в возрастании своей части национального дохода — это очень существенно для самосознания данной прослойки,— заинтересованная также в том, чтобы более широко, чем сейчас, участвовать в управлении предприятиями.

Однако вот на что следует обратить внимание. Я в этом году четырежды был в Западной Германии и внимательно всматривался во все, что там увидел. Бросается в глаза, что самую черную работу в ФРГ делают сейчас иностранные рабочие. Это можно заметить уже начиная с железнодорожного вокзала. На вокзале стоит немецкий рабочий, фуражка на затылке, и смотрит, как итальянец подметает перрон. Во всех гостиницах, где бы я ни останавливался, горничными были сплошь иностранные девушки, преимущественно из Югославии, они с трудом понимали немецкий язык. Иностранные рабочие — это низший слой, они убирают мусор и делают всякую другую черную работу. И отношение рабочей аристократии к этим иностранцам можно сравнить с отношением белых квалифицированных рабочих в США к неграм.

Но и в рабочем классе Западной Германии не все, естественно, принадлежат к рабочей аристократии. В сентябре этого года, незадолго до выборов, произошло событие, которое многих поразило, даже потрясло: на заводах концерна «Хёш» в Дортмунде внезапно вспыхнула стихийная забастовка. Все рабочие сплоченно вышли на улицу. Они не только бросили работу, они вышли на демонстрацию. То же произошло в Киле на верфи «Ховальдт» и в некоторых других городах. Рабочие, которые там бастовали, не были коммунистами, они даже не были близки к

ним. Но чтобы понять их настроение, надо обратиться к их экономическому — весьма низкому — положению. То есть это значит, что в ФРГ существует большой слой рабочих, которые живут гораздо хуже, чем живет рабочая аристократия, и эти неорганизованные рабочие вдруг начали борьбу за свои права. Повторяю — это были рабочие, не организованные в профсоюз, вот что весьма существенно в условиях Западной Германии: забастовка разразилась стихийно, и профсоюзы потом судорожно старались взять ее под свой контроль, частично поддержав требования рабочих.

Конечно, эти малооплачиваемые рабочие тоже подвержены влиянию господствующей в ФРГ потребительской идеологии, но о них нельзя говорить как о полностью интегрированных господствующей системой монополистического капитала.

Нечто иное представляет собой молодежь, особенно учащаяся молодежь. Здесь можно наблюдать полное, радикальное отрицание капиталистической системы — впервые в послевоенной Западной Германии, причем в масштабах, которые не могут быть объяснены лишь недостатками системы высшего образования в Западной Германии, до сих пор предельно авторитарной. Это протест более широкий — против капиталистической системы, которую молодежь считает не способной к обновлению, насквозь прогнившей, системой, которую необходимо сменить.

Думаю, что нам следует присмотреться повнимательней к этой молодежи.

Есть люди, которые уверяют, что западногерманский рабочий класс, как и вообще современный рабочий класс, не является больше носителем революционности. Эти идеи развивает в своих книгах Герберт Маркузе, и они всем нам знакомы. Сейчас я бы хотел процитировать высказывания человека из более близкой нам среды. Я имею в виду писателя Ганса Магнуса Энценсбергера.

Год назад Энценсбергер заявил: «Имеют ли вообще индустриально развитые общества революционное будущее? История не дает ответа на этот вопрос. Пролетарские революции прежних времен, их победы и поражения относятся к ранней фазе индустриализации. Их совершал пауперизированный рабочий класс, руководимый строго организованной классовой партией. Направляемая из центра агитация, создание законспирированных кадров и классическая военная тактика баррикад и уличных боев решали исход борьбы. Для индустриально высокоразвитых стран этот образец еще ни разу не оказывался применимым. Исключения вроде Чехословакии и Восточной Германии ничего не доказывают; там победила насильно импортированная революция, до последней детали скопированная по чужому образцу и связанная с ранней ступенью индустриализации».

Это типичное высказывание Энценсбергера, совершенно не учитывающее реальные силы нашего общественного развития и закономерность происходящих у нас перемен; оно представляется мне важным для анализа особенностей мышления многих, кто называет себя «революционером» в современном капиталистическом мире.

Энценсбергер идет еще дальше, он заявляет: «Господствующему классу противостоит скорее конгломерат действительных и потенциальных противников, которому уже нельзя дать однозначного определения. Его составляют группы, несовместимые до гротеска: учащиеся, дезертиры, безработные, философы, хиппи, студенты, негры, пенсионеры, которых лишила работы автоматизация, старые коммунисты, иностранные рабочие, неудовлетворенные женщины, горняки, участники пасхальных походов — список можно продолжать до бесконечности, варьируя его в зависимости от местных условий».

Энценсбергер заключает: «Отсюда, между прочим, становится ясным, что классовая основа этой оппозиции слаба и неоднородна».

Все это служит Энценсбергеру обоснованием теории о том, что рабочий класс не может уже считаться носителем революционной идеологии. И надо сказать, подобные ложные идеи широко распространены среди западногерманской молодежи, прежде всего среди студенчества.

В Штутгарте, в Вольтеровском клубе, на одной из дискуссий, в которой я принимал участие, выступил юный студент (разумеется, с бородой — хотя, замечу кстати, я ничего не имею против бород), который заявил: «Но ведь ваш рабочий класс перестал быть рабочим классом, пролетариатом, перестал быть революционным, поскольку он у вас владеет средствами производства». Нас это утверждение может только развеселить, но там подобная аргументация не вызвала улыбки. Она показательна для большого числа молодых людей в Западной Германии. По их мнению, рабочий класс вообще больше не является революционным. Отсюда распространенная среди них «левацкая» идеология. Один хорошо знакомый с этой средой оксфордский профессор говорил недавно в комментарии для РИАС: «Идеология этого «нового пролетариата» (то есть студентов, интеллектуалов) представляет собой смесь из учений Ленина, Мао, Кастро, Маркузе, Розы Люксембург». И это не так уж далеко от истины. Я убедился в этом во время своих дискуссий с ними. Они все читали немного Ленина, немного Мао, немного Кастро, дневник Че Гевары и в лучшем случае одну-две книжки Маркузе. Вот

весь идеологический багаж этих молодых людей. Все это сдобрено изрядной дозой волюнтаризма, радикализма, анархистских представлений и — что, пожалуй, едва ли не самое важное — ненавистью к авторитетам. Все дело в том, что эти молодые люди хотят решительных перемен и, одновременно, не верят, будто в Федеративной Республике что-то может измениться.

Мне приходилось во время каждой из этих дискуссий сталкиваться с такого рода упреком: вы, дескать, больше не революционеры, вы же теперь являетесь централизованной бюрократической властью, а всякая власть есть зло. Захват власти явился грехопадением пролетариата, подобно грехопадению Адама и Евы. Грехопадение пролетариата, по их мнению, состоит в том, что он, захватив власть, потерял характер революционной силы, хотя и утвердил за собой право на дальнейшее существование.

Об одной из таких встреч в Бергедорфе, районе Гамбурга, газета «Вельт» поместила отчет на четырех столбцах под заголовком «Они там думают только о своем куске хлеба». Радикальные молодые люди, с которыми я встречался в ФРГ, действительно говорили мне: «Вы ведь там тоже думаете только о своем куске хлеба, значит, у вас точно так же все заражены потребительством, как здесь, в Западной Германии. Вы превратились в обывателей и больше не думаете о революции. Ведь у вас теперь власть, и вам это нравится, так что надеяться на вас больше нельзя».

Можно заметить, что в этих дискуссиях важную роль играет проблема «третьего мира», причем так называемая «реальная» политика «преуспевающих» социалистических стран противопоставляется героизму партизан, которые сражаются в горах. Симпатии молодежи на стороне партизан, борющихся с оружием в руках, а поскольку мы «реальные» политики, то нас они списывают со счетов.

Протест против условий жизни в Западной Германии, которые им хорошо известны, уживается в них с ложными мнениями о социализме, о котором они знают понаслышке. И вот что при этом интересно: вся эта путаница из анархистских, сектантских, антисоветских, антиавторитарных идей перекликается с ревизионистскими взглядами, проповедуемыми, скажем, Эрнстом Фишером. Например, Эрнст Фишер тоже считает, что свобода возможна только вне трудовой деятельности; этот тезис он пытается подкрепить ссылкой на неверно истолкованные слова Маркса о царстве необходимости и царстве свободы. Или утверждение Фишера, будто ленинская интерпретация марксизма была применима лишь к конкретным условиям царской России, а уж потом возведена во всеобщую догму. По Эрнсту Фишеру, марксизм-ленинизм понимает революцию как единовременный акт, и то, что следует за ней, контрреволюционно, поскольку централизация власти, бюрократия, отчуждение остаются и в условиях победившего социализма. Так что налицо близкое родство ревизионистской теории со взглядами анархиствующей молодежи.

Я думаю, мы должны помочь этой молодежи, ее лучшей, здоровой части. Ни в коем случае не следует судить о ней только отрицательно, по первому впечатлению, какой бы путаной, с нашей точки зрения, критически настроенной, подчас даже враждебной она нам ни представлялась. Мне приходилось много спорить с этими молодыми людьми; не думаю, что я кого-нибудь успел убедить, но мне удалось добиться того, что наиболее оголтелых крикунов и демагогов они сами вышвыривали за дверь. Нет, это в основе своей неплохая молодежь, и мы ни в коем случае не должны оставлять ее одну — ведь это наша молодежь. Конечно, эти ребята так радикальны лишь в студенческие годы, став зрелыми, они очень часто «врастают» в окружающее их общество; но ведь приходят все новые и новые. У нас должен быть свой позитивный подход к этой части западногерманской молодежи, и ни в коем случае, я думаю, не следует упускать ее из виду.

Мы должны помнить, что эта молодежь ищет в литературе образ героя-революционера, она буквально жаждет его, а мы, к сожалению, не всегда в достаточной степени удовлетворяем эту жажду. Эта молодежь горит воодушевлением, она хочет изменить мир и изменить как можно скорей. Это ее стремление надо стараться ввести в верное русло. Думаю, что общими декларациями, передовыми статьями, статистикой, пропагандистскими брошюрами мы немногого добьемся. Только подлинно художественные литературные произведения, отвечающие чувствам этих молодых ребят, способны на них воздействовать.

Как же мы, писатели, воплощаем в наших книгах образ современного революционера? Трудность не в том, что мы не знаем, где его искать. Мы знаем, где он живет и как его зовут, на каком предприятии он трудится. Вся проблема состоит в том, чтобы суметь достойно воплотить образ этого революционера средствами литературы, и здесь первостепенное значение приобретает вопрос о том, как добиться такого соответствия новой формы и нового содержания, чтобы этот образ предстал перед нами воочию.

Вам, советским писателям, это было легче. У вас была героическая революция, была гражданская война, которая дала литературе таких героев, как Чапаев,

бойцы Первой Конной и многие другие, была трудная пора восстановления, отраженная в литературе, начиная с «Цемента» Гладкова, у вас была Великая Отечественная война, выдвинувшая множество героев, которых воспела ваша литература. Я вспоминаю сейчас, как в 1928—1929 годах я в первый раз был в Советском Союзе. Среди самых памятных моих впечатлений была встреча в Иваново-Вознесенске с одним участником революции 1905 года. Он рассказывал об этих событиях нам, группе немецких студентов — вместе со мной там был Герман Матерн, был Антон Аккерманн. У нашего собеседника была только одна рука, другую он потерял в гражданскую войну. И он казался нам сказочным богатырем. Эти героические традиции помогают вашим писателям говорить о сегодняшней действительности.

Нам сложнее. У нас есть литература, рассказывающая об огромной перестройке людей «военного поколения». Мы можем рассказать о борцах Сопротивления. Но если для вас герои гражданской или Отечественной войны жили в сознании всего народа и сейчас живут в его памяти, то у нас Сопротивление для большинства людей в годы войны не было реальностью. Нашей литературе предстоит еще многое сделать...

В самом деле, я вспоминаю сегодня о 1945—1946 годах и вижу, что в этом времени был свой героизм, видимый невооруженным глазом,— тогда надо было браться за работу, надо было творить, и ты чувствовал себя участником великих перемен, участником революции. Но вот — досрочный пуск турбины в Люббенау, о котором я недавно смотрел передачу по телевидению; эту махину пустили на пять дней раньше срока, и тот, кто знает энергетическую ситуацию в нашей стране, поймет, как это для нас много и как это трудно было сделать. Однако героизм ли это? Есть ли в этом революционность? Да, это героизм, как говорил Ленин, героизм будничной работы, и наша обязанность средствами искусства показать этот повседневный героизм сознательных, передовых рабочих, которые строят свою страну, в подлинном его величии. Наша литература еще должна решить эту проблему взаимоотношений обыденной повседневности и человеческого героизма. Мы пока не в полной мере умеем это делать. Мастер Фальк [1] — не вершина наших возможностей, тем более что он уже становится литературным штампом. Но это задача, которая стоит перед нами, и думаю, что мы, писатели, сумеем с ней справиться.

Перевод с немецкого М. ХАРИТОНОВА

г. Берлин
декабрь 1969 г.

---

[1] Популярный герой серии телевизионных спектаклей В. Вогатского.

ЛИГЕ ЛЕВЫХ ПИСАТЕЛЕЙ КИТАЯ 40 ЛЕТ

Прошло сорок лет с тех пор, как 2 марта 1930 года на собрании революционных литераторов в Шанхае было принято решение о создании Лиги левых писателей Китая. Возглавляемое Лу Синем, это литературное объединение за шесть лет своего существования сыграло важную роль в сплочении и организации передовых литературно-художественных сил страны. Членами и сотрудниками его были такие известные писатели, как Мао Дунь, Юй Да-фу, Тянь Хань, Хун Шэнь, Цюй Цю-бо, Ся Янь, Цао Юй, Пу Фэн, Ху Е-пинь, Инь Фу, Жоу Ши, Ян Хань-шэн, Дин Лин, Эми Сяо (Сяо Сань) и многие другие, чье творчество явилось значительным вкладом в новую китайскую литературу. Лига активно сотрудничала с Международным объединением революционных писателей (МОРП), секцией которого она являлась, с его печатными органами — «Литературой мировой революции» и «Интернациональной литературой», выходившими в Москве. Поэт Эми Сяо был постоянным сотрудником этих журналов, регулярно освещавшим на их страницах литературную жизнь Китая. Лига проводила также большую работу по переводу на китайский язык лучших произведений советской литературы. Одним из ее начинаний в этой области явилось издание собрания сочинений М. Горького.

С первых дней своего существования Лига левых писателей активно боролась с различными реакционными течениями и направлениями в китайской литературе того времени. Лиге принадлежит, в частности, заслуга разоблачения прогоминдановской «националистической литературы» — ультрашовинистической и антисоветской. После критических выступлений Лу Синя, Цюй Цю-бо и других членов Лиги эта реакционная, откровенно расистская и националистическая «литература» практически утратила всякое влияние в стране.

Левая лига объединила вокруг себя Китайское поэтическое общество, Лигу левых театральных деятелей, Лигу левых художников и ряд других прогрессивных групп и организаций 30-х годов. Это явилось большим вкладом в развитие демократической культуры.

Деятельность Лиги левых писателей и близких к ней прогрессивных организаций была тесно связана с деятельностью Коммунистической партии Китая, несмотря на жесточайший гоминдановский террор и постоянные гонения. В феврале 1931 года в Шанхае были казнены пять членов Лиги, молодые революционные писатели — Ли Вэй-сэнь, Ху Е-пинь, Жоу Ши, Инь Фу и Фэн Кэн. Позже был схвачен и казнен Цюй Цю-бо. Многие члены Лиги — среди них известная писательница Дин Лин — были брошены в тюрьмы. Но Лига была верна принципам интернационализма, она продолжала действовать и бороться, подготовив благотворную почву для появления прогрессивной китайской литературы в годы антияпонской войны, для развития литературной жизни освобожденных районов и литературы молодой Китайской Народной Республики.

Тем более трагично, что сегодня в Китае деятельность Лиги левых писателей предана хуле и поношению, объявлена «черной страницей» в истории литературы. И это не удивительно, ибо для маоистов вся история литературы — и китайской, и мировой — состоит только из «черных страниц». Имена почти всех участников Лиги в нынешнем Китае опорочены или замалчиваются, а их произведения запрещены. Несколько бывших членов Лиги, доживших до 60-х годов — среди них Тянь Хань, Ся Янь, Ян Хань-шэн и другие,— стали жертвами «культурной революции». Маоисты дошли до надругательства над памятью жертв гоминдановского террора, над памятью казненных гоминдановцами Жоу Ши и Цюй Цю-бо, не пощадив даже могилу Цюй Цю-бо.

Интернационалистические традиции Лиги левых писателей Китая, память о ее замечательных деятелях, столько сделавших для укрепления братских связей революционной литературы Китая с советской литературой, живы и будут жить. Деятельность Лиги активно изучается, лучшие произведения ее участников исследуются и переводятся на русский язык. В марте этого года специальная научная конференция, организованная Институтом востоковедения Академии наук

СССР и журналом «Иностранная литература», была посвящена 40-летию со дня основания Лиги.

В этой конференции приняли участие ведущие китаеведы Москвы и Ленинграда, сотрудники Института востоковедения и «Иностранной литературы», члены Общества советско-китайской дружбы, ветераны войны, издательские работники, журналисты, писатели, переводчики.

В своем вступительном слове профессор Л. З. Эйдлин выразил надежду, что это юбилейное заседание явится не только данью глубокого уважения советских ученых и общественности памяти замечательных деятелей китайской культуры, искренних и верных друзей Советского Союза, но и станет достойным вкладом в дело подлинно научного изучения истории китайской литературы.

В докладе о политическом положении в Китае в первой половине 30-х годов Л. П. Делюсин дал анализ той обстановки, в которой протекала деятельность Левой лиги. Он рассказал о реакционной политике тогдашней правящей партии — гоминдана, опиравшейся на армию и бюрократический аппарат, о жесточайшем терроре против КПК и других левых сил, всю тяжесть которого пришлось вынести на себе и Лиге левых писателей.

О международных связях Лиги левых писателей, об ее постоянном и тесном сотрудничестве с МОРПом рассказал М. Е. Шнейдер. Члены Лиги принимали активное участие во всех мероприятиях МОРПа, активно пропагандировали в Китае советскую литературу и марксистско-ленинскую литературную критику.

Профессор Н. Т. Федоренко в своем докладе «Писатели Левой лиги в журналах Международного объединения революционных писателей» привел интересные данные о публикациях на китайские темы и о переводах с китайского, появлявшихся в 30-е годы на страницах морповских журналов — «Вестник иностранной литературы», «Литература мировой революции» и «Интернациональная литература».

Среди этих материалов большие обзорные статьи Эми Сяо — «Движение пролетарской литературы в Китае», «Литература китайской революции», статья «Террор против культуры при режиме Чан Кай-ши» и др. В 1931 году в журнале «Литература мировой революции» было опубликовано «Воззвание» Лиги левых писателей к международной общественности с протестом против белого террора в Китае, а в 1932 году — обращение МОРПа «Ко всем революционным писателям мира» в связи с японской агрессией против Китая, которые нашли горячий отклик во многих странах. В разделах «Международная хроника» и «Факты и документы» («ИЛ») регулярно публиковались информации о деятельности Лиги левых писателей и других революционных организаций.

В 1935 году под редакцией Эми Сяо вышло два номера «Интернациональной литературы» на китайском языке.

Большой интерес вызвал доклад В. В. Петрова — «Борьба Лиги левых писателей против националистической литературы», содержащий немало новых данных о реакционной расистско-националистической литературной группировке 20—30-х годов, которую гоминдановская правящая верхушка усиленно опекала и пропагандировала в качестве образца для подражания. Докладчик рассказал о том, как литераторы-националисты призывали к «священной войне» против СССР, проповедовали «единство желтой расы», восхваляли Чингисхана и Батыя и готовы были ради достижения своих целей подчиниться японским милитаристам. Для гоминдановских националистов были характерны культ войны и жестокости, постоянное разжигание шовинистических настроений и антисоветской истерии, их идеология представляла собой смесь милитаризма, фашизма, антисоветизма и великодержавного национализма. Лига левых писателей вела с националистами непримиримую борьбу и сумела разгромить их идейно. К сожалению, сейчас, несколько десятилетий спустя, мы являемся свидетелями того, как в Китайской Народной Республике ядовитые идеи великодержавного шовинизма и ярого антисоветизма были приняты на вооружение маоистами, которые вновь усиленно разжигают антисоветскую истерию.

Доклады Л. Е. Черкасского («Китайская революционная поэзия 30-х годов»), А. Р. Чичасовой («О Лиге левых театральных деятелей») и С. А. Торопцева («Китайская прогрессивная кинематография начала 30-х годов») были посвящены революционным творческим объединениям, возникшим при непосредственном содействии и под руководством Лиги левых писателей. Такими были Китайское поэтическое общество, Лига левых театральных деятелей, организация левых кинематографистов. Все они стремились приблизить искусство к массам, демократизировать художественные формы и язык, расширить тематику произведений, сплотить воедино революционно настроенных деятелей искусства.

С интересными сообщениями выступили В. Н. Рогов и В. Ф. Сорокин. Профессор А. Г. Крымов поделился своими воспоминаниями о многих участниках Лиги левых писателей, которых ему довелось знать лично.

Научная конференция в Москве продемонстрировала глубокий интерес и подлинное уважение, какие вызывают в Советском Союзе передовые революционные и интернационалистические традиции Лиги левых писателей Китая, прогрессивной китайской литературы.

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ

ЗАРУБЕЖНЫХ ГАЗЕТ И ЖУРНАЛОВ

БОЛЬШОЙ И ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР

Этой весной трудовая Венгрия отмечала 25-ю годовщину освобождения от фашистского ига, четверть века созидания в стране нового строя. Естественно, что в венгерской общественной жизни, характеризующейся в последние годы повышенной активностью, широким и конструктивным обсуждением наиболее актуальных проблем, доминировало связанное с этим юбилеем подведение итогов пройденного пути и определение на этой основе задач на будущее. Естественно также, что не остались здесь в стороне и венгерские писатели.

Редакция литературно-художественного и критического журнала «Уй Ираш» распространила среди писателей анкету, содержавшую следующие пять вопросов:

1. Как и где Вы встретили освобождение Венгрии? Где Вы находились в годы второй мировой войны?

2. Какую роль сыграл в Вашей жизни этот огромный переворот, как повлиял он на Вашу творческую программу? В каком произведении Вам удалось наилучшим образом показать преобразования, произошедшие за эти 25 лет?

3. Как Вы считаете, даст ли наша литература потомкам подлинную картину минувших 25 лет или она останется должником с точки зрения отображения наиболее существенных событий и характерных явлений? Короче говоря: о чем следовало бы еще написать?

4. В чем Вы видите наиболее характерное отражение сдвигов, произошедших после освобождения?

5. Какие нерешенные вопросы в жизни общества и в области искусства волнуют Вас больше всего? С чем Вам приходится чаще всего спорить?

Уже сама постановка вопросов свидетельствует о том, что составители анкеты рассчитывали на большой и откровенный разговор. И они не ошиблись. В первых номерах журнала этого года опубликованы чрезвычайно разнообразные и обстоятельные ответы 46 писателей, поэтов, драматургов. Среди них мы видим и хорошо известных советскому читателю Йожефа Дарваша, Лайоша Мештерхази, Имре Добози и других, а также пока еще менее знакомые у нас имена. На анкету «Уй Ираш» ответили и представители старшего поколения, пришедшие в литературу еще до 1945 года,— Петер Вереш, Золтан Зелк, Пал Сабо, и художники, творческая деятельность которых началась уже после освобождения,— Михай Ваци, Лайош Галамбош, Карой Сакони...

Несмотря на разнообразие ответов, на критический подход участников обсуждения к проблемам развития сегодняшней Венгрии и современного венгерского искусства, можно сделать вполне определенный вывод: подавляющее большинство деятелей венгерской литературы твердо стоит на социалистических позициях.

Ответы на первый вопрос дают представление о позиции, которую занимали в 1945 году лучшие представители венгерской литературы. Все они по меньшей мере находились в оппозиции к фашистскому режиму. Из числа писателей, опубликовавших ответы в журнале, 15 человек весной 1945 года скрывались от властей, чтобы избежать призыва в армию, депортации и т. п.; двое были непосредственными участниками движения Сопротивления, один находился в гитлеровском концлагере, один был полковником Советской Армии.

Все литераторы, выступающие на страницах журнала, подчеркивают, что освобождение означало решительный поворот в их жизни, а для тех, кто к тому времени уже вступил на стезю творчества,— и в их творческой программе.

«Именно освобождению,— пишет Лайош Мештерхази,— я обязан жизнью, обязан тем, что могу писать и публиковать свои произведения».

По признанию Дёрдя Шомьо, великий переворот не только спас ему жизнь, но и возвратил к участию в общественной деятельности, восстановил связь с нацией, к которой он принадлежит.

Писатели самых различных поколений единодушны в оценке той огромной роли, которую сыграли в жизни страны низвержение фашистского режима и последовавшая за этим народно-демократическая революция.

«С того момента,— говорит Лайош Галамбош,— как я увидел первого советского солдата, развитие мира вместе с его успехами и трагедиями представляется мне единой восходящей прямой. Правда, эта восходящая линия берет свое начало раньше. От предков — красноармейцев 1919 года. Или даже еще раньше — от казненных на площади в Эперьеше девяти мужчин, членов семьи Галамбош... Я верю, что в 1945 году в жизни страны, в жизни каждого венгра началась новая эпоха, подобной которой никогда не было в истории Венгрии».

Этим словам Л. Галамбоша вторит представитель старшего поколения писателей, Йожеф Дарваш, который подчеркивает, что освобождение дало ему и его современникам

«...редкую в истории возможность собственными руками воплощать на деле свою жизненную программу».

Мнения писателей относительно развития венгерской литературы и того, насколько полно отражает она коренные изменения в жизни страны за эту четверть века, разделились. Многие из них дают безусловно положительный ответ на этот вопрос. Имре Кеси, например, убежден, что

«не может быть такого положения, когда литература какого-либо народа в той или иной мере не создает картину, отражающую содержание наиболее существенных событий не столь уж краткого исторического периода».

Некоторые авторы отдают в этом отношении пальму первенства поэзии. Так, по мнению Имре Добози,

«именно поэзия дает не только наиболее полную, но и наиболее богатую оттенками картину изменений, наступивших после освобождения... В меньшей степени это относится к другим жанрам».

Значительная группа писателей отвечает на этот вопрос несколько уклончиво. Например, Дёрдь Ронаи полагает, что

«сказать, оставила ли современная литература достоверное представление о минувшем 25-летии, смогут только грядущие поколения... При этом я подозреваю, что подлинной картиной будут считать совсем не те или, во всяком случае, не в первую очередь те произведения, которые создавались в спешке специально с целью нарисовать такую верную картину».

Примерно такой же позиции придерживается и Золтан Зелк, по мнению которого

«за минувшие 25 лет создано много неудачных и лишь несколько выдающихся произведений. Возможно, настало время для так называемой критической оценки. Но кто обладает такими способностями и знаниями, чтобы разделить произведения, написанные за эти 25 лет, на шедевры, оставляющие потомкам достоверное отображение эпохи, и работы, авторы которых лишь напрасно переводили бумагу?»

Следует отметить, что большинство ответов на этот вопрос содержит именно критическую оценку. Такой подход характерен для представителей различных поколений, для мастеров всех литературных жанров, причем весь тон подобных высказываний свидетельствует отнюдь не о стремлении перечеркнуть очевидные достижения венгерской литературы, а скорее о предъявлении к ней, о предъявлении писателями к самим себе все более высоких требований. О том, что современная венгерская литература еще не поднялась до масштабного, глубинного исследования, обобщения и отражения с помощью средств искусства главных событий, главных процессов развития страны и общества, говорят Иван Болдижар, Эндре Веси и многие другие.

Мотивируя подобную точку зрения, Бела Абоди утверждает, что

«...современник событий, сопереживающий все их детали, не всегда и даже очень редко способен подняться до осмысления общей картины развития».

А Тибор Череш полагает, что это и не входит в число задач, стоящих перед литературой.

Очень обстоятельно излагает в сущности аналогичные взгляды по этому поводу и Михай Ваци. В то же время он отмечает, и с этим трудно не согласиться, что к данному вопросу не следует подходить с излишней прямолинейностью, ибо

> «...цели искусства нельзя сводить к задачам, стоящим перед исторической наукой, кроме того, сегодня действительно еще нет достаточных возможностей для того, чтобы посмотреть на существующие ценности с некоторого отдаления».

По мнению М. Ваци, изменения в сознании людей, развитие революционного духа более полно и последовательно выражаются венгерской поэзией и главным образом, хотя и не исключительно, поэтами, вышедшими из рядов народной интеллигенции. Этого, как считает М. Ваци, никак нельзя сказать о прозе, которая, за исключением очень немногих блестящих произведений, до сегодняшнего дня не смогла увековечить, запечатлеть чрезвычайно важные события и человеческие ценности. Он говорит, в частности, об отображении событий первой мировой войны, о крушении венгерской монархии и «историческом рывке» 1919 года, о зарождении венгерского фашизма, о скромном по масштабам, но от этого не менее искреннем движении Сопротивления, которое существовало в годы войны с гитлеризмом, об отображении таких значительных событий, как осуществление земельной реформы, об исторической роли и жизни рабочего класса.

М. Ваци считает, что в венгерской литературе еще нет

> «достаточно убедительных и выпуклых образов современного революционера, коммуниста, нет также достойных работ о судьбах венгерской интеллигенции. Пожалуй, наиболее полное отражение в целом ряде удачных рассказов, нескольких хороших романах, публицистических работах и главным образом, хотя еще неизвестно, насколько это является достоинством, в социографических исследованиях получили перемены, происшедшие в деревне».

Нет сомнений, что эта критика заслуживает серьезного внимания. Деятели венгерской литературы занимаются не праздной самокритикой, но демонстрируют конструктивный подход к поднятым проблемам. Подавляющее большинство литераторов, ответивших на вопросы анкеты, подчеркивает, что перед писателями, драматургами, поэтами Народной Венгрии стоят чрезвычайно важные и сложные задачи, что им, как говорит Петер Вереш, еще предстоит «написать все и обо всем». Любопытно, что многие авторы ответов (Ласло Андраш, Эндре Веси, Лайош Холлош Корвин, Имре Сас, Дюла Фекете и др.), не сговариваясь, употребляют то же самое выражение.

Характеризуя понимание задач, требований, предъявляемых к литературе, стоит возвратиться к высказываниям М. Ваци, который делает главный упор на то, что

> «задачи литературы и, видимо, всех других видов искусства имеют в наше время общественный характер, ибо она, подобно наукам, и в том числе философии, служит достижению определенных общественных целей. При этом литература выполняет свое общественное призвание только в том случае, если она обладает историческим видением, если она подмечает и исследует существенные, определяющие явления, те явления, которые решающим образом влияют на судьбы миллионов людей».

С мнением М. Ваци как бы перекликаются ответы ряда других писателей. Дёрдь Шомьо, например, подчеркивает, что

> «в нашу эпоху невиданного развития исторических и общественных наук, в эпоху, когда на пленку фиксируются движущиеся изображения и человеческий голос, в эпоху отточенных документальных форм главная задача искусства состоит в том, чтобы оно не скользило по поверхности времени, а искало и находило свою специфическую сферу отображения глубинных событий».

Многие литераторы подчеркивают, что в сегодняшней Венгрии налицо все условия, необходимые для того, чтобы искусство, и в том числе литература, отвечало этим высоким требованиям.

> «Сейчас,— отмечает Дёрдь Ронаи,— настало время, созрели подлинные возможности для того, чтобы написать все, что необходимо написать».

В своих ответах на анкету «Уй Ираш» писатели отмечают кардинальные сдвиги в стране за годы народной власти, в особенности после 1956 года, и в то же время со всей страстностью обрушиваются на имеющиеся промахи и недостатки, поднимают многие нерешенные еще вопросы, вновь и вновь возвращаются к проблеме роли деятелей искусства в решении задач строительства социалистического общества. Один из вопросов, затрагиваемых в этой связи,— проблема общественного долга писателя. В последние годы в Венгрии проходило немало дискуссий на эту тему. Естественно, что и сейчас этот вопрос был поднят на страницах журнала.

«Совместимы ли вообще обязанности, в особенности революционный и, если хотите, партийный долг, с суверенностью писателя? — спрашивает Йожеф Дарваш.— Кое-кто утверждает, что это две вещи несовместимые, что писатель или пользуется суверенитетом, или руководствуется общественным долгом. Что касается меня,—продолжает Й. Дарваш,—то я никогда не мог принять это «или—или»... Я глубоко убежден, что писатель может понять подлинное содержание своего общественного долга только на основе максимального суверенитета. Разумеется, каждый решает эту задачу в меру своего таланта...»

Большой разговор о проблемах литературы и общественного развития, начатый редакцией журнала «Уй Ираш», как нам представляется, верно отражает обстановку, характерную для идеологической, творческой жизни в стране. Тот факт, что в ходе этого разговора поднимаются многие сложные вопросы, преобладает дух конструктивной критики, ведется вдумчивый поиск, свидетельствует о том, что наши венгерские друзья используют, говоря ленинскими словами, лучший способ отпраздновать годовщину освобождения — сосредоточивают внимание на нерешенных задачах, ищут наиболее эффективные пути для их успешного разрешения.

Л. ЯГОДОВСКИЙ

«РАЙ РЯДОМ», ИЛИ ИСТОРИЯ ОДНОГО АВАНГАРДНОГО ТЕАТРА

Около года назад культурная элита Нью-Йорка, равно как и «хиппиобразная» богема, обитающая в тамошнем Монмартре — Гринич-виллидже, жила в предвкушении «интеллектуального угощения», как выражаются в англоязычном мире. Из Европы после долгих лет изгнания возвращалась театральная труппа, руководимая Джулиэном Беком и его супругой Джудит Мэлайна. Бурная творческая история «Ливинг тиэтр» (это название можно перевести как «Жизненный театр») до того, как труппа со скандалом и помпой покинула родные берега, плюс почти пятилетнее общение с европейской, а значит, весьма искушенной по части наиновейшего искусства публикой, давали все основания ожидать очередной в том сезоне сенсации.

Сенсации, увы, не получилось, точнее, получилась антисенсация. В многочисленных статьях, посвященных приезду и представлениям «Жизненного театра», сквозило разочарование, а то и раздражение. Некоторые серьезные авторы и профессиональные театроведы пытались разобраться в причинах этого разочарования и дать анализ двадцатилетнего пути театра. Особого внимания заслуживает, пожалуй, статья профессора теории драмы Йейльского университета Ричарда Гилмана, опубликованная в одном из последних номеров журнала «Атлантик» и озаглавленная «Театр неведения».

Однако в интересах тех, кто, быть может, ничего не знает о «Жизненном театре», придется вкратце рассказать его историю. Этот театр, возникший в конце 40-х годов, поначалу ничем не выделялся среди многочисленных «художественных» или «экспериментальных» трупп Нью-Йорка. Не имея сколько-нибудь четкой общественно-эстетической программы, он искал себя в языково-формалистических опытах Гертруды Стайн, в психологически изощренном мире стриндберговской «Сонаты призраков», в метафизичности Элиота и буйстве ранних вещей Брехта; он обращался к «театру в театре» Луиджи Пиранделло и разрушал себя в бессистемных, спонтанных действиях — так называемых «хэппенингах».

В конце 1950-х годов Джулиэн Бек и Джудит Бек (Мэлайна) становятся сторонниками концепции «театра жестокости», выдвинутой три десятилетия назад французским режиссером Антоненом Арто. Она основывается на принципе разрушения сценической иллюзии и непосредственного, шокового воздействия спектакля на зрителя.

Бек и Мэлайна неоднократно высказывали свое недовольство существующим порядком вещей и картинами жестокости на сцене стремились показать бесчеловечность окружающего их мира.

«Склонность к насилию,— заявляли они,— самое темное место в человеке. Поэтому осветим его! В этом свете мы увидим масштабы системы, обнаружим ее краеугольный камень, увидим, на чем она стоит, найдем в ней двери. И тогда мы разобьем замки и распахнем ворота всех тюрем».

Несмотря на то, что социальная критика, содержащаяся в спектаклях Бека и Мэлайна, носила сплошь и рядом анархистски-абстрактный характер, а профессионализм

в труппе соседствовал с самой откровенной самодеятельностью, «Жизненный театр» в конце 1950-х годов, как пишет Р. Гилман, привлекал симпатии американских интеллектуалов хотя бы своей убежденностью, что

«драма должна быть захватывающей, затрудненной, острослободневной, полной открытий и беспокойства,— своего рода личной схваткой».

Эта направленность, по словам Гилмана, импонировала взыскательным любителям сценического искусства, с горечью констатирующим, что отечественный театр стал «напустейшим из искусств и социальным явлением оглупляющей бессодержательности».

Но как раз в то время, когда труппа выходила, казалось, на национальную арену, начался конфликт четы Беков с «системой». Театр был закрыт властями, а сами они на несколько недель оказались за решеткой.

«Критики, вынюхивающие сенсацию,— пишет Р. Гилман,— кинулись утверждать, что они (Бекн.— *Г. З.*) стали жертвами притеснения со стороны властей, посягающих на искусство и идеи, однако было ясно, что в действительности дело выглядело вовсе не так зловеще».

Бекам был предъявлен иск на 25 тысяч долларов за неуплату в течение многих лет подоходного налога. На суде руководители театра предстали в ореоле мученичества, причем, как свидетельствует Р. Гилман, Джудит Мэлайна

«мастерски разыграла сцену яростного, перемежаемого рыданиями обличения судьи и всего социального порядка».

Именно после этого инцидента Бекн с группой энтузиастов покидают Штаты и направляются в Англию с намерением продолжать «борьбу театра против тирании» — теперь уже на европейской земле. Там, среди языковой и художественной разноголосицы Старого Света «Жизненный театр», по утверждению Р. Гилмана,

«решительно изменился: целиком стал пеистово-евангелической группой, одержимой политикой за пределами политики, и впервые приобрел характер подлинного коллектива, который жил общиной и строил репертуар на основе собственных видений и собственной фантазии, не полагаясь, как это бывало в прошлом, на чужие произведения».

С чем же вернулся театр на родину? Свои представления в Нью-Йорке труппа открыла «Антигоной», но это «Антигона» особого рода, «Антигона», пронизанная «собственными виденнями». Джудит Мэлайна, говорит Р. Гилман,

«перевела (и переписала) брехтовскую адаптацию гельдерлиновского варианта софокловской трагедии... Да, это драма, но делается все, чтобы она не была драмой. Беки, как скоро выясняется, полны враждебности к классике, что лишь частично объясняется антиинтеллектуализмом... а скорее продиктовано понятным раздражением, которое вызывают традиционные методы постановки трагедий... Соответственно в спектакле нет ничего «искусственного» и возвышенного, не говоря уже о величественности. Он насквозь экспериментален, причем не столько в области техники, сколько в области духа. Исполнители, следуя воле постановщиков, елико возможно, стараются освободиться от текста. Театр без малейших колебаний искажает сюжет и структуру, дабы выявить наисовременнейшие (и наиочевиднейшие) вещи и сообщить представлению сиюминутную злободневность. Самый ритм спектакля — судорожный, лихорадочный, нарочитый — свидетельствует о желании нарушить и разрушить величественные, торжественные, а потому удручающе скучные пропорции греческой трагедии как культурного наследия... Чистая зрелищность, которую Беки всегда почитали своим главным театральным достижением, выражается здесь в эффектных групповых построениях, выходах актеров в зал — который, разумеется, представляет мир,— в коллективной речи и жестах отчаяния, боли, безумия, взрывами чувств и их угасанием, многозначительными паузами, причем хор становится воплощением действия и страстей, вместо того чтобы быть комментатором событий».

Мнение, высказанное Р. Гилманом на страницах солидного и вполне консервативного бостонского издания, разделяют и авторы радикального калифорнийского ежемесячника «Рэмпартс» Джоун Холден и Р. Дж. Дэвис:

«...Джулиэн Бек и Джудит Мэлайна говорят, что с конца 1940-х годов они считают себя анархистами, что они прошли длительный срок ученичества в «театре отчаяния», размышляя над пороками мира. И вот теперь они, по собственному глубокому убеждению, нашли панацею для излечения этих пороков... «Жизненный театр» развивает приемы навязчивой сосредоточенности на чем-то одном, выведения в физически осязаемый ряд того, что скрыто в человеке, бессловесной коммуникации между исполнителями... Пока большая пресса не окрестила это

направление, назовем его «экстатическим театром», ибо предельной интенсификацией эмоций актера, подчеркнутой экспрессивностью его сценического поведения он ставит целью привести зрителей в состояние экзальтации и тем самым дать им возможность «очищения».

Как же, однако, расценивают деятельность «Жизненного театра» его вдохновители, руководители и бессменные члены труппы? Какие цели — художественные и иные — ставят они перед собой? Может быть, по возвращении на родину их окружила стена предвзятости и непонимания, о которую разбиваются любые высокие стремления? Выслушаем поэтому другую сторону, благо Р. Гилман предоставляет ей трибуну на страницах «Атлантика», обильно цитируя высказывания Беков.

«Мы являем собой группу людей, которые собрались, чтобы вместе пережить определенные физические действия, эмоции, слова, звуки, движения, все что угодно и, наверно, даже больше, не знаю, и чтобы один, или несколько, или все зрители так или иначе почувствовали, что с ними что-то происходит, как они меняются, растут, как одному или всем участникам становится легче, и от этого происходят действительные перемены в жизни... Мы говорим по существу то же самое, что проповедовали ранние христиане... очень простые вещи, настолько простые, что они становятся безумно сложными из-за своей простоты: мы можем жить в мире друг с другом, не прибегать к насилию, помогать друг другу, у нас достаточно всего, и можно найти способ, чтобы все шло как надо... Мы можем сделать жизнь лучше, проще, просто любить друг друга».

С этой проповедью вселенской, всечеловеческой, всеисцеляющей и всеутоляющей любви, которой учит Джудит Мэлайна, перекликается пророческая убежденность ее супруга:

«Если будет мир в душе
Будет мир в семье
Если будет мир в семье
Будет мир среди соседей
Если будет мир среди соседей
Будет мир в стране
Если будет мир в стране
Будет мир во всем мире»

Эти бесхитростные строки занмствованы из рабочих заметок Джулиэна Бека к их самому претенциозному спектаклю — «Рай рядом». Именно здесь наиболее полно раскрылась поэтика и политика труппы, и именно этот спектакль окончательно рассеял надежды поклонников театра.

Как рассказывает Р. Гилман, спектакль начинается с порога. По зрительному залу бродят измученные полуодетые люди, громко жалуясь: «Мне не разрешают путешествовать без паспорта», «Мне запрещают курить марихуану», «Я не знаю, как прекратить б... войны», «Мне не позволяют раздеться». Все это по замыслу символизирует протест против ограничений, налагаемых режимом, а в чисто театральном смысле означает, что «всякая преграда между сценой и аудиторией, между актером и зрителем разрушена». Затем начинается собственно представление, во время которого исполнители вышколенными группами изображают то коллективных жертв совокупного зла мира, то участников некой религиозной процессии, несущей ему избавление. Сцена — не только место и центр действия, но алтарь, к которому должны устремиться зрители-прихожане.

В соответствии с театральной программкой «Рая рядом», пишет Р. Гилман, на которой изображена лестница и каждая ступенька ее означает какую-нибудь «малую» революцию — «революцию культур», «революцию откровения» и т. д.,— на сцене разыгрывается серия неких ритуалов восхождения к Раю, то есть к «Революции».

«Ступени расположены таким образом,— поясняет Джудит Мэлайна,— что хотя и представляют собой известную последовательность, с каждой из них вы можете попасть на небо, на каждой сумеете достичь высшей милости» («Куда ни повернись, повсюду рай»,— иронически комментируют авторы «Рэмпартса»).

От «Видения жизни и смерти американского индейца» зрителя ведут к «Нью-Йорку, где восемь миллионов человек пребывают в критической ситуации», затем приглашают участвовать в «Ритуале всеобщего общения»: актеры прикасаются к актерам, актеры прикасаются к зрителям, зрители прикасаются к актерам. Иногда это общение, преодолевающее пресловутую некоммуникабельность индивидуумов в индустриальном обществе, происходит в молчании, иногда сцена взрывается заклинаниями: «Заново изобрести любовь!», «Избавиться от власти федеральных властей!», «Будьте черными и будьте белыми!», «Научимся писать Р-А-Й!» Вдруг на подмостках появляется Джулиэн Бек и вопрошает с библейским пафосом: «В нескольких кварталах отсюда, в тюрьме на Атлантик-авеню томятся полторы тысячи заключенных. После спектакля

мы идем туда и освободим их. Кто с нами?!» После спектакля никто, разумеется, никуда не идет, узники остаются за решеткой.

«На сцене беспрерывно говорят,— свидетельствует профессор Гилман,— и все это чистой воды болтовня, напыщенная, самодовольная велеречивость, торжество клише и ходячих мнений. Нам говорят то, что мы уже знали раньше и сочли бесполезным, сочли пустыми с л о в а м и... Этот лучший мир насквозь риторичен и легковесен».

На одной из ступеней к Раю-Революции, в «Развенчании мифа об Эдеме», зрителей приглашают подойти к сцене, все берутся за руки, образуют круг.

«Понятно, что им хочется какой-то физической разрядки,— продолжает свой рассказ Гилман,— хочется обоюдного тепла, хочется забыться. Они хотят обрести общность безо всяких слов и идей, хотят взаимной поддержки, чтобы сделать что-нибудь необычное, в ы б и т ь с я и з к о л е и. И когда следует приглашение раздеться, многие принимают его без особого рвения, хотя в большинстве случаев и без излишней стыдливости, но, как кажется одетому наблюдателю, с каким-то печальным чувством временного освобождения, свободы, ведущей в никуда».

Кстати, именно во время одной из таких «свободных» игр «революционеры» вступили в очередной конфликт с «системой»: полиция усмотрела нарушение общественного порядка и вынуждена была принять меры, пресекающие показ обнаженной натуры.

Представление завершается ритуальной сценой «Улица», во время которой «Рай» выплескивается за двери помещения, где каждый волен уже блаженствовать как ему заблагорассудится. Дж. Холден и Р. Дэвис иронизируют по этому поводу:

«Главное отличие спектакля «Рай рядом» от жизни в нашем раю состоит в том, что вы присутствуете на представлении вечером, в зале и платите за это деньги, тогда как жизнь в раю протекает на улице, в дневное время и каждый участвует в ней совершенно бесплатно... Делать вид,— продолжают авторы «Рэмпартса»,— что революция тем самым уже совершилась, значит просто бежать от политики в волшебство, если, разумеется, вы действительно не убеждены, что перемены придут сами собой в каждом из нас поочередно».

Самое же печальное состоит в том, что, довольствуясь формулой «Если я счастлив, то в мире все в порядке», уверовав в социальные перемены, которые придут посредством «высвобождения личности», проповедуя «ненасильственную анархистскую революцию, которая, начинаясь с индивидуума, на нем же и кончается», энтузиасты «Жизненного театра», быть может неприметно для самих себя, приходят к приятию существующего положения вещей. Именно об этом с достаточной степенью убедительности говорит Джонатан Копплмэн, студент Драматической школы при Йельском университете:

«Мне кажется, что беда «Жизненного театра» заключается в том, что он целиком увяз в обществе, которое ненавидит. Его участники уперлись взглядом в общественный порядок, общественный порядок уставился на них, и они, словно завороженные, не могут ни двинуться с места, ни представить себе ничего другого, что выходило бы за рамки этой ситуации. Я думаю, что «Жизненный театр» — очень американский по самой своей сути, так как в своем отношении к обществу, в своей реакции на него они исходят из предположения, будто сами-то они к нему непричастны... Они неотделимы от своей противоположности, и когда они говорят о свободе, это воспринимается как тоталитаризм. Получается заколдованный круг, они посмотрели на Горгону и остолбенели, их взгляд прикован только к ней».

Беки не только пребывают в полнейшем неведении относительно того, что происходит в мире, пишет Р. Гилман, но и не желают, чтобы их просвещали.

Сама по себе история «Жизненного театра», который, кстати, снова покинул Штаты, не представляла бы широкого интереса, если бы не сопрягалась с судьбами радикально-авангардистской культуры в Америке. Чем стал как будто многообещавший художественно-интеллектуальный авангард в США? Куда он движется? Какое место занимает или займет в тех массовых антивоенном и демократическом движениях, которыми охвачена страна?

Искусство, отторгнутое от жизни, в наши дни уже не пользуется кредитом у серьезных людей. Художник-отшельник, замкнувшийся в «башне из слоновой кости», давно вышел из моды. Даже модернистские художественные направления сплошь и рядом берут на вооружение лозунги «реальности», «жизни», «политики», а новейшие их разновидности прямо декларируют неприятие искусства вообще именно за то, что оно — искусство, нечто созданное, не безусловное, выходящее за пределы «сырых» фактов действительности, а следовательно, лживое, противоречащее ей. Так возникла вещность в

романе, где место человека заступает предмет. Так возник «поп-арт», который выдает за живопись и скульптуру саму натуру, скомпонованную, разумеется, согласно внутреннему «видению» творца. Так возникли «хэппенинги».

Все это объявляется высшей формой реализма, ибо, в самом деле, что может быть реальнее консервных банок, выставленных там, где красовались безнадежно устарелые, потому что «не живые», человеческие фигуры и бюсты, или реальнее уличного скандала, нарочито разыгрываемого на перекрестке и привлекающего порой куда больше зрителей, нежели душевные излияния принца датского?

По ходу спектакля «Рай рядом» один из актеров для пущей убедительности кричит в зал: «Это не выдумка, все это взаправду!» Процитировав реплику актера, профессор Гилман с грустью замечает: «Нет, это не взаправду, все это выдумка!».

Искусство, превращаемое в жизнь, и жизнь, превращаемая в искусство,— примерно так можно определить главный творческий «принцип» новейших модернистов. Принцип этот не приносит, однако, плодов ни в жизни, ни в искусстве. Поэтому недалеки от истины авторы журнала «Рэмпартс», когда пишут:

> «В 50-х годах авангард отражал Страдание, теперь он тешит себя мыслью, что совершил революцию, провозглашая Радость. Но ни одно движение, чьи интересы сходятся единственно на индивидууме — будь то угнетенном или освобожденном,— не может представлять опасности для системы, основанной на индивидуализме. Заботой подлинного авангарда должно стать не просто понимание происходящего, а действие, не изменения в сознании, а замена институтов. Пусть проблемы пола останутся частным делом — лишь бы частная собственность стала общественной».

Г. ЗЛОБИН

НАШИ ГОСТИ

ГЛАВНОЕ — ЖИЗНЬ, ЧЕЛОВЕК

Редакция принимала у себя не так давно большую группу венгерских писателей. Кое-кто из них — старые знакомые журнала; Золтан Фабиан бывал здесь, и на страницах журнала опубликован его роман «Три крика» [1]; стихи Яноша Чанади печатались у нас уже в 1964 году; один из самых крупных поэтов сегодняшней Венгрии Ласло Беньямин был представлен советскому читателю в обстоятельном критическом разборе Л. Илеша [2].

С другими венгерскими гостями редакция журнала знакомилась впервые — с прозаиком Акошем Кертесом, с молодыми поэтами Магдой Гутаи и Агнеш Керестеш (она также критик, сотрудница венгерского журнала «Критика»).

Привычной в таких случаях «разминки», нащупывания тем, контактов, собственно говоря, на этот раз не было: подлинный интерес к литературной жизни Венгрии, к основным проблемам ее нынешнего дня сразу сделал разговор оживленным и непосредственным.

О чем спорят в литературных кругах? Какие дискуссии ведутся на страницах печати на собственно литературные и на общественные темы? А каково отношение к модной на Западе теории отмирания художественной литературы? О чем преимущественно пишут ведущие литераторы? Каковы творческие планы самих гостей? Какие книги 1969 года они назвали бы лучшими?

Вот тут, после первой волны вопросов, возникла небольшая пауза. Гости переглядывались — кому отвечать? Первой заговорила самая молодая и самая решительная — Агнеш Керестеш, худенькая, похожая на девочку. Начала по-русски, но тут же, боясь скованности, перешла на родной язык.

ЛАСЛО БЕНЬЯМИН

— Одна из наиболее горячо обсуждавшихся у нас тем за последнее время,— говорит она,— это положение молодых в литературе. Была проведена даже конференция, где руководство Союза венгерских писателей встретилось с нашей литературной молодежью. Щедро откликнулся и один из ведущих наших литературных журналов «Уй ираш» («Новые произведения»), посвятив дискуссии два номера. В первом выступили писатели старшего поколения, которые поделились с молодежью своим опытом, рассказали и о подводных камнях, особенно опасных в начале творческого пути. В следующем номере слово было предоставлено молодым, которые затрагивали — причем остро, хотя и не всегда конструктивно — общее положение в литературе, говорили о проблемах, возникающих у них в связи с собственным творчеством, ратовали за создание самостоятельного журнала, где бы публиковались произведения самых молодых, даже начинающих [3]. Дискуссия продолжалась три месяца, критика обобщила ее материалы, почти вся периодика так или иначе высказалась на темы, поднятые в ходе обсуждения — о положении молодых писателей, о будущем нашей литературы.

[1] См. «Иностранную литературу», № 11 за 1964 год.

[2] См. «Иностранную литературу», № 4 за 1969 год.

[3] Недавно в будапештском Издательстве художественной литературы вышел альманах, где представлены самые молодые поэты Венгрии. Возможно, альманах будет ежегодным.

— Это была интересная и пылкая дискуссия,— включился в беседу Ласло Беньямин.— Тем она и хороша, что откровенна, отражает реальные проблемы действительности. Так же необходима была, кстати сказать, дискуссия, связанная с новым экономическим укладом нашего хозяйства,— спор шел о том, разумно ли к учреждениям культуры, издательствам, театрам и так далее подходить с теми же экономическими мерками, что и к другим хозяйственным предприятиям. С огромной страстью обсуждалась у нас, да и сегодня еще обсуждается, «Антология», составленная Имре Чанади. Вопрос вроде бы частный, но корни его уходят глубоко. Я выступил в защиту этой «Антологии», отстаивал право составителя подбирать произведения так, чтобы в них отразилось движение, история эпохи. Это реалистический подход к литературе, и он имеет право на существование. А вот дискуссия об отмирании литературы в век техники,— усмехается Беньямин,— носит, на мой взгляд, псевдонаучный характер. Такая постановка вопроса ложна сама по себе. И дискуссия эта интересна лишь постольку, поскольку поднимает вопрос о том, какое влияние оказывает развитие науки и техники на литературный процесс. Только с этой точки зрения! — подчеркивает писатель.— Литература представляет собой одно из средств познания мира, такая форма познания совершенно отлична от научного познания. Мне кажется, это очевидно для каждого. У литературы и науки пути познания различны, они не заменяют друг друга.

МАГДА ГУТАИ

Л. Беньямина поддерживает и Акош Кертес:

— Ведь наука, каждая ее отрасль в отдельности, занимается только определенным сектором, сегментом жизни, а литература сразу берет широкую общественную среду. Кроме того, наука сейчас очень дифференцирована, и каждая отрасль узкоспецифична. Но всеобщую картину жизни могут передать только литература и искусство, причем воздействуя не только на разум, но и на эмоциональный мир человека.

— Тут мы, пожалуй, увлеклись,— смеется Л. Беньямин.— Что-то я не вижу сейчас особенно обобщающих произведений в искусстве. Скорее можно наблюдать распыленность. Вот недавно была у нас конференция «круглого стола». На ней сравнивали нынешнее искусство со сказочным гусаром, который, фигурально выражаясь, разбирает красавицу принцессу на части, с тем чтобы потом чудодейственными (значит, художественными!) средствами ее оживить,— и ему действительно это удается, и принцесса становится краше прежнего. Может быть, в сказке оно и так, но вот в литературе занимаются пока в основном лишь расщеплением жизни, но не находят еще средств ее воссоздать. Я говорю не только о венгерской литературе, но и о мировой литературе вообще в главных ее тенденциях. С моей точки

АГНЕШ КЕРЕСТЕШ

ЗОЛТАН ФАБИАН

зрения, она сейчас на спаде. Это сказывается и на формальной стороне творчества. На той же конференции «круглого стола» много говорилось о нивелировке стиля, о массе стилистически безликих произведений...

Магду Гутаи — первый томик ее стихов вышел совсем недавно, и конечно он у нее с собой — волнует, естественно, дискуссия о молодых писателях. Поэтому она охотно отвечает на вопрос, как можно оценить итоги этой дискуссии и что она дает для развития молодой поэзии.

— Для меня лично эта дискуссия важна вот чем. Я жила и работала несколько изолированно от других, и мне было интересно, как молодые писатели живут, что они чувствуют и думают, как работают. Похож ли их путь на мою личную судьбу. Мое поколение часто называют аполитичным поколением. Но вот эта конференция длилась три дня, и на ней речь шла, я бы сказала, не столько о литературе, сколько о политике — оказывается, она интересна и важна всем нам. Значение этой конференции, на мой взгляд, заключается в том, что она дала нам возможность приобщиться к литературе, в результате нас заметили. При этом мы остались сами собой. Но как эта конференция повлияет на наше творчество и как мы будем работать дальше, об этом мне сейчас говорить трудно.

— Одно, мне кажется, ясно,— говорит Агнеш Керестеш,— главным для литературы по-прежнему остается жизнь, человек. Люди рождаются, живут, любят, ненавидят, умирают, и одна из главных функций литературы, по-моему, показать процесс становления жизни во всех его гранях, в непосредственной связи его с временем, с развитием и с влиянием традиций.

— К слову о традициях,— говорит Золтан Фабиан.— Сейчас у нас и среди писателей, и среди читателей наблюдается большой интерес к литературе факта — документальной и социографической...

З. Фабиана не случайно наталкивает на этот разговор упоминание о традициях: венгерская социографическая литература родилась в тридцатые годы, когда группа выдающихся писателей стала изучать и обобщать жизнь простого венгерского народа и в первую очередь самого обширного его слоя — крестьянства. Талантливые произведения Ласло Немета, Дюлы Ийеша, Петера Вереша и других влились тогда свежей демократической струей в венгерскую литературу. Недавно Дюла Ийеш, создавший в 1936 году неувядающее произведение «Люди пушты» (столько же роман, сколько и яркое социологическое эссе), вернулся к своим героям и рассказал о резко изменившейся судьбе бывших батраков и безземельного крестьянства. Это послужило своего рода толчком для писателей самых разных поколений. Отвечая возросшему и требовательному интересу общества к своей стране, они с педантичностью ученых и увлечением поэтов стали исследовать социальную жизнь современной Венгрии во всех возможных ее аспек-

АКОШ КЕРТЕС

ЯНОШ ЧАНАДИ

тах. Традиция возродилась — однако на новом материале, в новом времени.

— Сейчас задумано у нас издание книги, в которую войдет целая серия очерков о различных районах нашей родины,— рассказывает Фабиан.— Писатели скрупулезно и всесторонне изучают жизнь каждого из них. Очень интересной обещает быть работа Акоша Кертеса, писателя, героями книги которого обычно являются представители рабочего класса. Его очерк выйдет в этой серии и даст полную социографию одного из самых сложных районов неподалеку от Будапешта. Сейчас наша главная забота — чтобы получилась не лакировочная книга, приукрашивающая и замазывающая трудности, а чтобы она отражала действительное положение вещей, критиковала недостатки смело — ведь только так можно двигаться вперед. Интересен замысел у Яноша Чанади — он собирает материалы о крупном общественном деятеле, министре земледелия, юность которого прошла в политэмиграции в СССР...

Л. Беньямина просят рассказать о его ближайших творческих планах.

— Сейчас мне легче ответить на этот вопрос, чем обычно, потому что я не планирую стихов наперед и вообще пишу мало. Больше читаю. Но сейчас передо мной грандиозная задача — я собираюсь переводить Маяковского. Очень меня волнует предстоящая работа, хочется с максимальной полнотой уловить дух этого великана...

Естественно, редакцию журнала живо интересуют новые талантливые произведения, родившиеся на венгерской земле.

Гости единодушно первым называют роман Дёрдя Г. Кардоша «Семь дней Абрахама Богатыря», затем — «Посетителя» Дёрдя Конрада, «Французский хутор» Кароя Сакони. Очень хвалят они и только что вышедшую книгу новелл молодого талантливого писателя Эрвина Лазара — «Лопата угля для Нелли».

Е. МАЛЫХИНА

СРЕДИ КНИГ

ИЗДАНО В СССР

В БОЮ НЕТ СТАРОСТИ

Глаза Истории. Поэты Индии о Владимире Ильиче Ленине. Составитель А. Сухочев. Переводы с языков народов Индии. Москва, «Прогресс», 1970. 176 стр.

Каждый народ вносит свою лепту в раскрытие новых граней ленинского образа. «Ленин — это глаза Истории!» — сказал индийский прозаик Кришан Чандар, писатель одной из тех стран, которые, по выражению Ленина, веками удерживались колонизаторами «вне истории». «Ленин всегда был другом народов Азии. Он протянул им руку дружбы тогда, когда судьба не благоприятствовала этим народам, когда силы империализма раздирали Азию на части».

С этими словами Кришана Чандара перекликается высказывание его соотечественника романиста Яшпала. Выявляя преемственную связь между идеями ленинизма и борьбой угнетенных народов Востока против империалистического гнета, Яшпал пишет: «...Ленин помог индийцам понять, что господство империализма нельзя уничтожить отдельными актами самопожертвования или деятельностью выдающихся личностей, что этого может добиться лишь народ своими организованными усилиями. Индийские революционеры поняли, что борьба народов за независимость должна стать общенациональным движением, должна принять массовый характер. Все, чего достиг сегодня народ Индии, он достиг благодаря пониманию этой истины, открытием которой мы, да и не только мы, индийцы, но и борцы за народное дело во всем мире, обязаны великому Ленину».

Сборник стихов «Глаза Истории», изданный к столетию со дня рождения Ленина, представляет передний край прогрессивной литературы Индии.

Расширяя жанровые рамки книги, составитель сборника включил в него статьи и высказывания о Ленине, принадлежащие ряду видных писателей и общественных деятелей. Преклонение перед великим подвигом В. И. Ленина, его трудом на благо человечества звучит в словах М. К. Ганди, Джавахарлала Неру, Саджада Захира, Ходжи Ахмада Аббаса, в приведенных нами высказываниях Кришана Чандара и Яшпала.

Сборник по объему невелик. Составитель отобрал только часть достойных ленинской темы стихов. Выбор сделан удачно; поэтам столь разнообразным не тесно в рамках книги, как не тесно и в литературе.

Говорят, что любовь слепа. Но в искусстве любовь художника зряча. Под пером художников острого социального зрения образ Ленина обретает пластическую ясность. Ленин — первый мыслитель века, строитель нового общества

Всем народам и странам дорогу открыл к свету.
Во всемирном застолии держит он речь — Ленин.
Эта речь всем понятна, раскрыл существо жизни
И сумел ее в точное слово облечь — Ленин.

(Али Сардар Джафри «Ленин». Перевод с урду А. Ревича)

Сегодня день рожденья человека,
Который создал первую на свете
Счастливую и мирную страну!

(Бимолчондро Гхош. «Его имя сияет в веках». Перевод с бенгали М. Ваксмахера)

Кто он,
вручивший надежду тем
Кто обездолен

и сир?
Кто он, мыслитель,
зодчий, творец,
Строящий
новый мир?

(Гидугури Сурьям. «Звезда путеводная наша». Перевод с телугу М. Курганцева)

Обостренное чувство истории заставляет поэтов соединять «вчера» и «завтра». Проясненное ленинскими идеями художественное видение поэта направляет по верной тропе его поиски обновления общества, его стремление внести свет и смысл в драму мироздания. Поэты Индостана обязаны Ленину оптимистическим взглядом на историю человечества:

Миру надежду сегодня дают
Освобожденные разум и труд.
Годы свободы и счастья грядут.
Радуйся, радуйся, радуйся, люд!

(П. Джива. «Жизнь Советов». Перевод с тамильского Ю. Александрова)

Многие поэты, убежденные в неизлечимости собственнического строя, зовут к революционной перековке мира.

Мы срываем оковы руками,
Что привыкли к труду искони.
Развевается красное знамя,
Разгораются красные дни.

(Панчал Дзанардан. «Развевается красное знамя». Перевод с маратхи Ю. Александрова)

Провидцы национальной судьбы, поэты Востока видят в победе революционно-гуманистических идей путь к счастью своей страны.

И Азия наша будет
жить под яркой звездой.
Встанут рабочие люди
в один побеждающий строй.

(Аннабхау Сатхе. «Ленина воспоем!» Перевод с маратхи В. Куприянова)

Тема Советского Союза, социалистического сообщества — важная линия книги. На каждом стихе — чекан души поэта, свидетельствующий о его благородной общественной и человеческой позиции как друга родины ленинизма, родины Октября.

Обращаясь к Стране Советов, Мухаммад Икбал восклицает:

Как солнце ты взошла для нас, о родина
труда!
. . . . . .
Глядят, глядят на твой восход и Запад,
и Восток.
Сияй, чтоб мир холодной тьмы позор свой
видеть мог!

(«Солнце». Перевод с урду Ю. Александрова)

В Индии с ее тысячелетними художественными традициями быть поэтом, достойным этого звания,— не так уж просто. А для творческого воплощения ленинской темы нужно особое чувство гражданской ответственности. И тогда традиционная индийская вина начинает звучать по-новому.

В сборник включены стихи поэтов разных поколений. Но дух и строй их поэзии как бы уравнивает всех в возрасте. И более того. Чем мудрее стихи, чем полнее первоматерия их пропитана ленинской человечностью, чем острее ударная сила искусства, тем моложе поэт. В бою нет старости.

И. РАВИНОВИЧ

НОВАЯ ПОЭТИЧЕСКАЯ СЕРИЯ

Около двух лет назад на наших книжных полках стали появляться тоненькие книжечки небольшого формата. С их обложек на читателя глядели лица известнейших поэтов современности — Жака Превера и Сальваторе Квазимодо, Юлиана Тувима и Роберта Фроста, Антонио Мачадо и Витезслава Незвала, Янниса Рицоса и Нурдаля Грига, Назыма Хикмета и Леопольда Седара Сенгора. В каждую из книг этой новой серии, которую выпускает издательство «Молодая гвардия», вошло примерно от двадцати до сорока стихотворений и маленькое критико-биографическое предисловие.

Можно ли составить представление о творчестве крупного поэта, прочитав всего несколько десятков его стихотворений? Любители поэзии могут сказать, что если стихи выбраны удачно, то даже такое непродолжительное знакомство будет полезным. Ведь оно приоткроет поэтический мир автора, позволит так или иначе уловить и некоторые особенности художественного мастерства поэта.

Успеху серии «Избранная зарубежная лирика» способствовал не только удачный выбор авторов, но и участие в ней опытных поэтов и переводчиков, таких, как М. Вакмахер, Евг. Долматовский, М. Кудинов, Д. Самойлов, А. Сергеев, Б. Слуцкий и другие. Они, как правило, и составляли книги серии.

Любая антология немыслима без жертв. Трудности начинаются уже с предисловия. В крайне сжатой форме — всего две-три странички — нужно набросать портрет избранного поэта. Авторы предисловий к уже вышедшим книгам серии решали эту задачу каждый по-своему.

Порой вступительные статьи похожи на краткую биографическую справку, дающую лишь самый необходимый минимум сведений о творчестве поэта (предисловие Е. Солоновича к сборнику стихов Сальваторе Квазимодо). Иногда в них предпринята попытка хотя бы очень сжато и по необходимостн бегло охарактеризовать творчество поэта в целом (очень неплохо получилось, например, «Слово о Мачадо» М. Самаева). А сборник лирики Роберта Фроста открывается стнхотворением Эдуардаса Межелайтнса, посвященным встрече с американскнм поэтом. Завершает же книгу краткое послесловие А. Сергеева, излагающее главные факты жизни Фроста.

Но предисловие — лишь небольшая часть целого. Судьба же всей книги зависит прежде всего от выбора включенных в нее стихотворений.

В книгу Роберта Фроста, составленную А. Сергеевым, в осиовном вошли лирические поэмы-размышления. «Повествовательным» и «драматическнм» стихотворениям в ней почти нет места. Такой выбор вполне закономерен. Ведь философская лирика — главное в поэзии Фроста. У себя на родине он стал знаменит как певец Новой Англии. Поэтому не удивительно, что описания суровой природы этого края занимают в сборнике такое место. Роберт Фрост обладал неповторимым уменнем видеть и слушать природу, уменнем, родившим его со знаменитым американским философом-натуралистом XIX века Генри Дэвидом Торо, так же, как и Фрост, мечтавшим «воспеть весь мир от корня до цветка».

В лирике Фроста за пейзажем, за сценками из быта сельскнх жителей обычно стоят мысли и чувства, уводящие нас к широким общечеловеческим проблемам. Природа в его стихах, представленная во всем ее многообразии, всегда выражает человека — главного героя его поэзии. Легко сослаться на стнхотворение «Пучок цветов», открывающее книгу, весь маленькнй сюжет которого подчинен смыслу двух последних строк: «И порознь мы всегда работаем для общего труда».

Однако идеи поэта далеко не во всех случаях выражены в столь однозначно-афористической форме. Гораздо чаще они впушаются всей поэтической структурой стихотворення. Таковы «Весенние озера», «Недалеко, неглубоко» и одно из самых знаменитых стихотворенй Фроста — «Березы». В нем Фрост признался:

Земля — вот место для моей любви.
Не знаю, где бы мне любилось лучше.

(Перевод Л. Сергеева)

Эти слова выразили главный мотив его лирики. Именно таким поэтом-гуманистом, воспевшим землю и все земное, предстает Роберт Фрост перед читателями этого сборника.

В книжке замечательного испанского поэта Антонио Мачадо (составитель М. Самаев) также главенствуют лирические настроения, навеянные природой и бытом его родины, личными переживаниями Мачадо, постепенно подводящими его к поздней патриотической поэзии, созданной в годы гражданской войны. Отрывки из «Стихов о войне», полных горечи и боли за Испанию, изрытую «окопами, рвами и фронтовыми щелями», завершают сборник.

Иной получилась книга стихотворе... Нурдаля Грига, составленная Н. Крымовой. Да это и не могло быть иначе. В отличие от Фроста и Мачадо, в общем-то оставшихся верными лирическому мироощущению, найденному в ранних книгах, Нурдаль Григ от романтики юношеских стихотворений, посвященных дальним морским плаваниям и написанным не без влияния Киплинга, пришел к героике гражданских чувств. И хотя при составлении сборника была сделана попытка в какой-то мере учесть разнообразие поэтических интересов Грига, все же гражданская лирика совершенно закономерно заняла в нем главное место.

«Гранатами можно сжечь траву, но нельзя убить способность земли вновь покрываться травой»,— сказал поэт. Эти его слова, вынесенные на обложку, сразу вводят читателя в мир лирики Грига. Отрешенному раздумью, внешне бесстрастному наблюдению в ней нет места. Стихотворения Грига всегда эмоционально накалены, всегда в движении. Вот одно из них — «Лучшие». Словно предчувствуя раннюю смерть во время полета на бомбардировщике над фашистской Германией, Нурдаль Григ писал о патриотах, отдавших жизнь за родину:

Каждый, кто знал их живыми,
Памятью этой богат.
Мужество, стойкость — наследством
Дети погибших хранят.

(Перевод Евг. Долматовского)

Мужество и стойкость — лейтмотив всей романтической поэзии Грига.

Гражданская и социальная тематика преобладает и в сборниках Назыма Хикмета (составитель Б. Слуцкий), Витезслава Незвала (составитель Н. Николаева) и Яниса Рицоса (составитель Евг. Долматовский).

И, наконец, книга стихов Юлиана Тувима. Не ограничивая себя каким-либо одним аспектом поэзии Тувима, составитель Д. Самойлов попытался дать читателю хотя бы минимальное представление о многообразии его творчества. Среди переводчиков — известнейшие наши поэты, так непохожие друг на друга: А. Ахматова, М. Светлов, С. Маршак, И. Сельвинский, К. Симонов. Из щедрого богатства красок книги естественно возникает и сложный, многообразный облик художника, поэта, посвятившего себя слову. Сам Юлиан Тувим так пишет о смысле и цели труда своей жизни:

И так в глухом единоборстве
Вторгаться строго и сурово

Словами в сердце, сердцем в слово —
Существовать в упорстве.

(Перевод Д. Самойлова)

Уже можно сказать, что первые книги серии «Избранная зарубежная лирика» удались. Думается, что составители продолжат поиски, не станут ограничиваться публикацией сделанных ранее переводов и шире обратятся к стихам, еще неизвестным русскому читателю, или, когда это нужно, закажут новые переводы. Интересно было бы познакомиться в рамках этой серии с творчеством поэтов, у нас еще не переводившихся. И не только поэтов нашего века, но и более ранних эпох.

А. ГОРБУНОВ

НИЧЕМ СЕБЯ НЕ ТЕША

Карсон Маккаллерс. Сердце — одинокий охотник. Перевод с английского Е. Голышевой. Послесловие С. Майзельс. Москва, «Молодая гвардия», 1969. 318 стр.

Маленький южный американский городок, давно знакомый нам по романам Фолкнера, рассказам Колдуэлла. Может, чуть более индустриализованный — на окраине несколько текстильных фабрик. Зной. Пыль. Скука. В маленьком городке живут «маленькие люди» — глухонемой гравер по металлу Сингер, негр-врач Копленд, рабочий-агитатор Блаунт, школьница-подросток Мик Келли, хозяин кафе Бреннон. Каждый одержим своей идеей или страстью, каждый одинок. Каждый занимает свое место в романе Маккаллерс «Сердце — одинокий охотник».

Доктор Копленд, посвятивший жизнь борьбе за права негров, не в силах поднять и объединить придавленный вековым рабством народ. Человек суровый, негибкий, грубо пытающийся навязать свои взгляды домашним, он терпит полное крушение и в личной жизни — уходит жена, дети вырастают чуждыми ему и его идеям. Джейк Блаунт мечтает сплотить всех угнетенных, заставить их прозреть. Но его протест — это бунт в одиночку. Не видя вокруг единомышленников, не представляя толком путей борьбы, Блаунт постепенно озлобляется, становится алкоголиком. Мик Келли, одаренная девочка, одержимая любовью к музыке, одинока в своей семье, поглощенной ежедневной борьбой за существование. Биф Бреннон, по иронии судьбы оказавшийся хозяином кафе, далек от мыслей о наживе. Он хочет понять самое сокровенное в окружающих его людях и таким путем постигнуть смысл жизни.

Интересы героев не сталкиваются, их судьбы не пересекаются. Но всех их, по мнению Сингера, роднит одно: «У всех четверых есть то, что они любят больше, чем еду, сон, вино или общество друзей». И еще — тяга к загадочному Сингеру. Вынужденные молчаливость и спокойствие делают его идеальным собеседником для этих людей, переполненных своими неотступными и неосуществимыми замыслами. В общении с ним они видят выход из своего одиночества. Для Копленда — это единственный белый, уважающий его расу; для Блаунта — человек, понимающий нужды угнетенного пролетариата; для Мик (самое парадоксальное) глухонемой Сингер — тонкий ценитель музыки.

Постепенно образ немого, всеобщего друга и утешителя, гиперболизируется. Молчаливый человек, бродящий по ночным улицам, становится известным всему городу. «Евреи говорили, что он еврей... В одном запуганном властями профсоюзном комитете текстильщиков шепотом передавали, что немой — организатор из комитета производственных профсоюзов. Одинокий турок... убеждал свою жену, что немой — турок... Какой-то деревенский старик утверждал, будто немой из одного с ним округа...» И людям было легче переносить свое одиночество.

Но только читатель да еще, пожалуй, Биф Бреннон догадываются, что у немого есть своя тайна. Он так же нуждается в иллюзии, как и те, кто ищет у него утешения. И так же одинок, как они. Его кумир — слабоумный глухонемой Антонапулос. Поглощенный удовлетворением лишь самых примитивных потребностей, он отвечает равнодушным безмолвием на все излияния и заботы Сингера. Но как Копленду, Блаунту, Мик в молчании Сингера чудится глубочайшее понимание и сочувствие, так Сингеру в молчании Антонапулоса видится какая-то высшая истина.

Говоря о своем романе, Маккаллерс определила его как «ироническую притчу о фашизме, если показывать духовную, а не политическую сторону этого явления». Этот замысел отчетливо просматривается и в композиции романа. Если представить себе ее графически — это конус. Его венчает фигура слабоумного Антонапулоса. Все чаяния, мечты и надежды героев обращены к Сингеру, а он сам — к Антонапулосу. По сути, это роман о тщете упований, обращенных к кумиру.

Однако стройная концепция талантливого автора отступает под напором жизненного материала. Во второй половине романа Маккаллерс почти забывает о своей конструкции. Спокойное повествование, раскрывшее духовную жизнь героев, не сталкивающихся в личных конфликтах, сменяется бурей конфликтов социальных.

Копленда, пытавшегося вступиться за сына, изувеченного в тюрьме, до полусмерти избивают в полицейском участке. Неизлечимо больной, он вынужден бросить работу и отправляется доживать свои дни на ферму к тестю. Блаунту приходится покинуть город под угрозой ареста. Мик оставляет мечты о музыке и поступает продавщицей в магазин — семье необходим лишний заработок. Все эти конфликты не свя-

заны с личностью немого. Но именно они, а не самоубийство Сингера, который застрелился, узнав о кончине Антонапулоса, определяют дальнейшую судьбу героев.

Не все персонажи романа изображены писательницей с одинаковой силой. Самый схематичный и сконструированный, конечно — Сингер. Иногда кажется, что духовная жизнь немого остается для автора не менее загадочной, чем для героев его романа. Зато запоминается Мик Келли (образ отчасти автобиографический), с ее по-детски противоречивой духовной жизнью. Тут инфантильность и необычайная сила, глубина переживаний, тоска по идеалу и отчаянный пессимизм, эгоизм юности и способность к самопожертвованию. И все окружение Мик — ее младшие братья и соседские ребятишки — оживают, освещенные ее отраженным светом. Даже бессловесный крошечный Ральф, на которого Мик из «эстетических» соображений напяливает кружевной чепчик, сбивающийся ежеминутно набок, так как ребенок из него давно уже вырос, даже этот Ральф кажется неповторимой индивидуальностью.

Особое место в романе занимает хозяин кафе Биф Бреннон. Это достаточно обеспеченный человек, чтобы быть защищенным от напора внешних сил. Правда, в конце романа кафе становится убыточным предприятием из-за равнодушия к делу его владельца. Он бескорыстен — прощает Блаунту долг да еще дает деньги на дорогу; ставит инвалидам бесплатно спиртное; не закрывает на ночь кафе, хоть это и убыточно (а вдруг забредет на огонек какой-нибудь одинокий прохожий?). Биф собирает газеты и журналы: его интересует все, что происходит в мире, что было и что будет. Для него одного Сингер не кумир, а объект наблюдения, как и другие завсегдатаи кафе. Как всякий наблюдатель, он пассивен; быть может, поэтому его образ кажется несколько бледным, расплывчатым. Но именно он чаще всего выражает авторское отношение к происходящему. И не случайно последние страницы книги посвящены Бреннону: «...на миг наступило просветление, и ему открылась картина человеческой борьбы и доблести... Но только на миг. Тут же его одолели дурные предчувствия, его пронзил страх... А когда... он снова вернулся в дом, он совладал с собой и, ничем себя не теша, стал ждать восхода солнца».

Советский читатель знакомился с творчеством Маккаллерс в обратном порядке. Сначала появился на русском языке ее последний роман — «Часы без стрелок»[1]. Переведенный сейчас — «Сердце — одинокий охотник» — вышел в 1940 году и был первым произведением писательницы. «Ничем себя не теша», она дала картины из жизни Америки тридцатых годов. Прошли десятилетия, но темы расовой дискриминации и духовной разобщенности людей по-прежнему составляют основную проблематику современной литературы США. И голос писательницы, ее гнев и боль звучат с той же силой, что и тридцать лет назад.

К. АТАРОВА

[1] См. рецензию В. Рубина в «Иностранной литературе» № 9, 1966.

ИЗДАНО ЗА РУБЕЖОМ

ТРАДИЦИИ ЧЕШСКОЙ МАРКСИСТСКОЙ КРИТИКИ

Jaromir Dvořák. Zdeněk Nejedlý (1878—1938). A nova česká literatura. Olomouc, Universita Palackého v Olomouci, 1969.

Первого президента Чехословацкой Академии наук Зденека Неедлы (1878—1962) знают у нас не только по его трудам. Люди старшего поколения помнят Неедлы как одного из основателей Общества экономического и культурного сближения с новой Россией, созданного в 20-е годы вопреки официальному антисоветскому курсу тогдашнего чехословацкого правительства. Историки-слависты среднего поколения с гордостью называют себя его учениками — во время второй мировой войны он читал курс истории славян на истфаке МГУ.

Ученый разностороннего дарования и энциклопедических знаний, З. Неедлы оставил заметный след во многих отраслях чешской науки. Он был историком самого широкого профиля. Главной его специальностью считалась история музыки: на протяжении десятилетий Неедлы был профессором музыковедения Карлова университета в Праге, ему принадлежит «История чешской музыки», капитальные исследования о гуситской песне, о Б. Сметане, о З. Фибихе. Он очень много сделал также и для чешской гражданской и политической истории и истории культуры вообще, для изучения чешской литературы. Среди многочисленных трудов, созданных им,— «Спор о смысле чешской истории» и «История чешского народа», история за тысячу лет города Литомышль, монография об идеологе и первом президенте чехословацкого буржуазного государства Т. Г. Масарике, сотни статей на различные научные и злободневные политические темы. В области истории литературы им написаны фундаментальные исследования об А. Ирасеке и Б. Немцовой, работы о В. Галеке, И. Волькере. В тридцатые годы Неедлы начал работу над монографией о В. И. Ленине, два тома которой вышли в 1937—1938 годы

Но при всем том Неедлы меньше всего был кабинетным ученым, хотя он и проводил бесконечные часы за книгами и архивными материалами. Неедлы обладал ярким общественным темпераментом, который особенно полно раскрылся после сближения этого университетского профессора в начале 20-х годов с Коммунистической партией Чехословакии. Неедлы был среди первых чешских деятелей культуры, принявших Великую Октябрьскую социалистическую революцию. Своим авторитетом крупного ученого он немало способствовал распространению коммунистических идей среди чешской интеллигенции. Неоценимы его заслуги перед новой чешской литературой.

Начало 20-х годов ознаменовалось в Чехословакии рождением революционной литературы — литературы Гашека и Ольбрахта, Неймана и Волькера, Незвала и Ванчуры. Неедлы сразу же оценил богатейшие возможности и перспективы нового направления, стал его защитником и пропагандистом. Основав культурно-политический журнал «Вар», Неедлы полностью доверил его литературный отдел молодому поэту и теоретику новой литературы И. Волькеру; позже здесь выступал со своими статьями начинающий критик Б. Вацлавек. Так Неедлы стал крестным отцом молодой чешской марксистской критики, многие представители которой были и в буквальном смысле этого слова его учениками, так как слушали его лекции на философском факультете Карлова университета. В 1922 году при журнале «Вар» была организована знаменитая дискуссия о пролетарском искусстве, на которой с докладом выступил И. Волькер, дискуссия, положившая начало формированию первой чешской программы социалистической литературы.

На всем протяжении межвоенного периода Неедлы неизменно поддерживал линию КПЧ как в политике, так и в области культуры. В 30—40-х годах он активно участвовал в антифашистском движении. А после второй мировой войны Неедлы вновь показал себя блестящим полемистом, борясь за высокие идейные и эстетические принципы культуры социалистической Чехословакии. В эти годы им написаны такие известные работы, как «Коммунисты — наследники великих традиций чешского народа», «О реализме подлинном и мнимом» и целый ряд других.

Наследие Зденека Неедлы поистине обширно и необычайно разнообразно. Но нельзя сказать, чтобы оно было в достаточной степени исследовано и освоено, особенно в его литературоведческой и литературно-критической части.

И тем отраднее был выход в свет в 1969 году монографии Яромира Дворжака «Зденек Неедлы и новая чешская литература (1878—1938)», подробно освещающей участие З. Неедлы в литературной жизни с девяностых годов прошлого века вплоть до начала второй мировой войны, направление и методологию его трудов, эволюцию его философских и эстетических воззрений.

Автор монографии Я. Дворжак, доцент университета Палацкого в Оломоуце, занимается творчеством З. Неедлы и вообще чешской марксистской критикой уже много лет. Он известен также неутомимой деятельностью по изданию трудов критиков-марксистов. Быть может, от навыков скрупулезного научного комментирования такие качества монографии Дворжака о Неедлы, как обилие фактического материала, обстоятельная документированность, обширная система примечаний, да и сам ее стиль — очень экономный, несколько суховатый. И все же книга написана отнюдь не в описательной манере.

Основное содержание монографии составляет анализ эволюции мировоззрения и научной методологии Зденека Неедлы. Дворжак чужд слепого апологетизма в отношении к Неедлы, он стремится оценивать его наследие критически и объективно, но с тем большей обоснованностью отвергает он обнаружившееся в недавнем времени у части чешской творческой интеллигенции нигилистическое отрицание этой крупнейшей фигуры социалистической культуры Чехословакии.

Я. Дворжак подмечает в З. Неедлы черты, роднящие его с представителями чешского национального Возрождения XIX века: разнообразие и почти универсальность интересов, пристальное внимание к национальному вопросу, к национальной традиции. Но с первых самостоятельных шагов на научном поприще Неедлы отличало не только это внимание к национальным проблемам, но и умение выделить в прошлом подлинно прогрессивные тенденции и показать их актуальность для современности.

В студенческие годы большое впечатление на З. Неедлы произвели лекции Т. Г. Масарика, бывшего тогда профессором Карлова университета, и молодой историк примкнул к его сторонникам, так называемым «реалистам». Но глубокий демократизм Неедлы обусловил его особую пози-

цию в рамках этого направления, которую Я. Дворжак применительно к канону первой мировой войны характеризует как «революционный демократизм». Логическим развитием этой позиции под влиянием Великой Октябрьской социалистической революции был разрыв Неедлы со сторонниками Масарика и принятие им марксизма.

Этот шаг имел принципиальное значение и для Неедлы как ученого. Если в начале пути он был близок к позитивизму, то теперь он перестраивает свою методологию на основе марксистского учения.

Приветствуя и поддерживая молодую революционную литературу, Неедлы стремится привить ей бережное отношение к наследию прошлого, к национальным аспектам культуры. Неедлы, как пишет Я. Дворжак, «вполне сознавал необходимость борьбы на два фронта: с одной стороны, против буржуазии, перед лицом которой он должен был отстаивать понимание роли народных масс, а с другой стороны — против части левой интеллигенции, которая недооценивала культурное наследство и возможности использования его лучших достижений».

В период между двумя войнами Неедлы был занят прежде всего большими монографическими трудами. Но он продолжал выступать и как литературный критик. Надо особо отметить его принципиальные статьи в дискуссиях о творчестве И. Волькера, о новой чешской драме. Однако значение Неедлы для литературы этих лет определяется не только его собственными выступлениями, но и благотворным влиянием его концепции на формирующуюся марксистскую критику Чехословакии. Ее высокий профессиональный уровень, ее стремление соединить страстную публицистичность с научной объективностью — все это сближало молодую критику с З. Неедлы.

Чешская литература богата славными революционными традициями. К их числу относятся и традиции чешской марксистской критики, выработавшей в 20—30-е годы принципы подхода к литературе, которые имеют непреходящее значение.

Традиции З. Неедлы, традиции Ю. Фучика и Б. Вацлавека — это традиции партийной принципиальности в соединении с чутким вниманием к эстетической сущности искусства. Это традиции глубокого уважения к национальному своеобразию искусства и литературы в соединении с пролетарским интернационализмом и ненавистью к националистической узколобости. Это традиции мобилизации всех здоровых сил культуры на борьбу за свободу и социализм.

Изучение этих традиций существенно не только для академической науки. Обращение к ним — насущная потребность сегодняшнего литературного развития. Об этом убедительно напомнила книга Я. Дворжака.

С. ШЕРЛАИМОВА

ПОЭТ НЕУТОМИМОГО СЕРДЦА

Mihai Beniuc. Poezii (1938—1968). Bucureşti, Editura pentru literatură. 1969.

Михай Бенюк — поэт неутомимого сердца. С 20-х годов, когда появились в журналах его первые стихи, и по сегодняшний день он идет со своим народом, и поэзия его обращена к будущему. На пути историческом, как и на пути жизненном, и на пути всего народа и самого поэта были подъемы и спуски, перевалы и крутые повороты. И в летописи времени, которую составлял поэт, каждый этап отмечен стихами. Последняя книга Бенюка называется скромно — «Стихи», но каждый раздел ее, несущий название соответствующего сборника, говорит об истории, прожитой человеком в тесном единении со всей страной: 1938 — «Песни гибели», 1943 — «Потерянный город», 1946 — «Человек ждет восхода солнца», 1951 — «Знамена», 1954 — «Яблоня у дороги», 1957 — «Сердце старого Везувия», 1961 — «Материя и мечты», 1963— «На струнах времени», 1964 — «С зажженными фарами», 1968 — «Мозаика». Здесь не все заголовки книг, представленных в «автоантологии» Бенюка (всего их двадцать две!), но если внимательно всмотреться даже в перечисленные названия и даты, то нетрудно представить себе, хотя бы пунктирно, творческий путь поэта, внутренний пафос поэзии Бенюка, поэта, всегда шедшего в передовой когорте бойцов своего поколения, о котором он сказал:

Кем только не были!
Детей учили,
Из пулеметов мы строчили.
Мы агитаторами были,
Поэтами — кем только не бывали![1]

Когда одно за другим, и в который раз, перечитываешь стихи Бенюка, невольно задаешь себе вопрос: в чем таится секрет его поэтической неутомимости? И ответ находишь в его же стихах. В одном из стихотворений Бенюк назвал себя «барабанщиком новых времен». Это действительно так: его место поэта и гражданина было и есть в общенародном строю. Но быть барабанщиком — значит идти всегда впереди, быть самым жизнерадостным на тяжелом марше, быть отчаянно смелым и шагать вооруженным только поэзией перед наступающими цепями. Движение — суть поэзии Бенюка, основная его метафора, главный лейтмотив и образ. Крестьянская телега и сани, волы и кони, корабли и самолеты, человек, идущий по краю пропасти и штурмующий скалы «в лоб»,— все эти реалии, претворенные в образы, и есть, пожалуй, основа поэтического языка Бенюка. Конечно, поэт куда более широк, но все-таки в основе всего его

[1] Здесь и далее стихи даны в переводе автора рецензии.

поэтического восприятия мира главным остается динамика, сущность его — движение. Только уловив это, можно понять его беспокойное и неутомимое сердце.

Как крестьянин средь тугих снопов,
Въеду я во времена достойно,
Грустную насвистывая дойну,
На возу — холме своих стихов.

Так начинается одно из самых ранних стихотворений Бенюка. Это очень емкие строки, это — и поэтическое кредо, и мечта. Но прежде чем стихи нагромоздились целым возом величиной с холм, поэту предстояло еще пережить целую эпоху вместе со своим народом, эпоху, начавшуюся с прорастания мечты о социальной справедливости и завершившуюся бурным строительством социализма.

Вступая на тяжелый путь социальной борьбы, поэт должен был обладать отчаянной удалью, неистребимым упорством:

Без бубенцов. Лишь свист саней
Сквозь века, снег, грязищу черную.
Пустил во весь опор коней,
Ни бога не боясь, ни черта, я.

Нужно было иметь великую цель, верить в нее до конца, подчинить все достижению этой цели, как Христофор Колумб:

Волн соленых гребни, завитушки,
Им корабль — подобие игрушки.
Не велик он и сколочен хрупко.
Не корабль, а утлая скорлупка —
Каравелла, только каравелла,
И играет с нею пена смело.
— То Колумб, его,— ворчат акулы,—
Жаждою богатства захлестнуло.
— Христофор,— фонтан пускает кит,—
Мнит, что будет рай земной открыт.
Угрожают пенные валы:
— Погоди, наденут кандалы...—
Дует ветер, парус шевеля.
А Колумбу видится — Земля!

Все движение стихов Бенюка, все стремление его беспокойной души подчинено открытию нового мира, завтрашнего дня. «Я болен лихорадкою движенья»,— говорит он о себе. И в другом месте: «Ведь неподвижность — наш смертельный враг».

Где-то, говоря весьма условно, на полпути творческого движения Бенюка возникает еще один «постоянный» образ, без которого также трудно понять сущность всей его поэзии,— это образ яблони у дороги: так называется стихотворение, а по нему и весь сборник 1954 года, образ, повторяющийся и в других стихах поэта. Яблоня у дороги предстает как символ бескорыстия, самоотдачи, служения людям И образ этот вовсе не статичен, как это может показаться на первый взгляд. Щедрость души и творчества, личное бескорыстие, сливающееся с великими целями общей борьбы,— это чистота движения, крылья свободного полета. И недаром щедрую яблоню своей поэзии Бенюк посадил у дороги, чтобы ее плодами мог воспользоваться каждый страждущий путник. У придорожной яблони краткий привал, а потом снова поход:

На струнах, время, ритм свой отбивай!
Заря зажглась полоской отдаленной.
Вот вспыхнет новый день из края
в край -
Мечты, солдаты бравые, в колонны!

Движение вперед никогда не прекращается для поэта, который, как знамя, несет идеал служения людям:

С собою расстаешься без страданья
Ежеминутно, но себе никак
Сказать не соберешься: «До свиданья!»
Иль пожелать хотя бы всяких благ.

Ты все спешишь — ведь ждут *другие люди*,
И забываешь, торопясь всегда,
Что на прямом твоем пути не будет
С самим собою встречи никогда.

Поэзия самоотдачи, поэзия вечного поступательного движения, неутомимого стремления к высокому общественному идеалу — это и есть поэзия Михая Бенюка, такой она и предстает «во весь рост» в его последней книге «Стихи».

Ю. КОЖЕВНИКОВ

ПЕРПЕТУУМ-МОБИЛЕ

J. M. G. Le Clézio. Le Livre des fuites, roman d'aventures. Paris, Gallimard, 1969.

Некий Молодой Человек — его так и зовут в романе: Jeune Homme Hogan, или J. H., или Jeune Homme, или Hombre, а впрочем, также Искуир, Хуанито Ольгасан, Джон Тревелер (если угодно, его можно назвать и Ж. М. Г. Леклезио, по имени автора «Книги бегств»),— некий Молодой Человек Оган бежит из большого современного города.

Все начинается в тот день, когда, оглянувшись, он замечает стены — тонны кирпича, оклеенные цветастыми обоями, крашеные, одетые пестрой шерстью ковров, покрытые пластиковыми панелями,— и сознает, что это — тюрьма. Стены украшены картинами, тарелками, безделушками, стрелами, терракотовыми масками. И над диваном еще остается место, куда можно бы повесить «плакат, большой плакат... Гевару, например,— знаешь, ту фотографию, где он мертвый, рот приоткрыт и видны зубы, которые блестят. Но, пожалуй, нет, это уж слишком. Хотя, вообще-то, большой плакат было бы неплохо: Кассиуса Клея, Мао Цзэ-дуна, Бодлера...» («...Стены сверху донизу были бы уставлены книгами и журналами и, чтобы разрядить унылую монотонность обложек и переплетов,— несколько гравюр, рисунков, фотографий: «Святой Иероним» Антонелло де Мессины, деталь «Триумфа Святого Георгия», «Тюрьма» Пиранези, портрет Энгра, небольшой пейзаж Клее, выполненный пером, фотография Ренана...» — нет, это не продолжение цитаты из «Книги бегств»; это из повести другого французского писателя, Жоржа Перека)[3].

Итак — «воздуха! воздуха!» — Молодой Человек бежит от вещей, от комфорта, бежит из тюрьмы цивилизации изобилия. В стареньком дребезжащем автобусе мчится

[3] Повесть «Вещи» была опубликована в «Иностранной литературе» № 2 за 1967 г.

он, оставляя за собой дома и улицы, километры тротуаров, огни реклам. Он предается одиночеству движения. Он стремится навстречу приключениям, ведь «Книга бегств» — «приключенский роман». Путь его прихотлив и случаен, нарочито не определен географическими названиями, не локализован. Продиктован одним — ненавистью, отрицанием оставленного позади.

Но ничто не остается позади, потому что ненависть Огана — ненависть к самому себе: «человеку белой расы, долихоцефалу со светлыми волосами и круглыми глазами... говорящему, думающему, мечтающему, чувствующему на языке, именуемом французским».

Существует множество форм бегства от действительности («человек, который спит» [4], герой одноименной повести уже упомянутого Перека, также пытается бежать — в равнодушие, в дремоту, в анонимное прозябание). Но все они, как убеждается Оган, тщетны.

Невозможно затеряться — затерять себя — в бесчисленных улицах чужого города.

Нельзя забыться — забыть себя — ни в чаду опьянения, ни в постели с купленной женщиной.

Бесплодны попытки приобщиться — приобщить себя — к «экзотической» жизни, ибо экзотизм только «выдумка белого человека, вытекающая из его меркантильной концепции культуры».

Безостановочное бегство ведет Молодого Человека из Европы в Азию, из Азии в Америку. Он бежит действительности, но он бежит и мечты: он не дает себе поблажки, роздыха, не ищет укрытия ни в одном из мифов, взращенных в его сознании: «Бежать, бежать не останавливаясь. Уехать, покинуть это место, это время, эту кожу, эту мысль... Бежать, то есть предать то, что вам было дано, выблевать все, что было поглощено на протяжении веков... Проникнуть в себя, растворить себя, испариться в пламени сознания, стать пеплом, тотчас, скорей, не откладывая. И прежде всего обратить в пыль свое имя, свою маску. Скинуть панцирь из картона и гипса, *снять грим*».

Вышедший через год после студенческих манифестаций и баррикад мая 1968 года, роман Леклезио, хоть в нем эти события не поминаются ни словом, позволяет проникнуть в умонастроения молодой интеллигенции, одержимой ненавистью ко всем ценностям буржуазной культуры, и прежде всего к индивидуализму, воспринимаемому как обман. В умах этой молодежи возникают парадоксальные представления, что признание себя неким «Я» — «Я», которое определено и отграничено именем, профессией, национальностью, местом жительства, взглядами,— является подчинением буржуазному стереотипу, согласием носить ту маску, которую накладывает окружающее общество, унаследованная культура, родительские гены. Законный протест против деперсонализации в обществе, окружающем эту молодежь, принимает форму отрицания личности. Отсюда жажда анонимности, растворения «Я» в «Мы» как разрыва всех традиционных связей, как необходимого условия социального обновления, «залога революции».

В романе Леклезио, проникнутом духом радикального самоотречения, в то же время — впервые в молодой французской литературе — возникает сомнение: а не есть ли это еще одна форма бегства от действительности, смена одного стереотипа отчуждения другим? Подобно тому как замена фотографии Ренана фотографией Че Гевары или Кассиуса Клея — свидетельство не столько торжества революционного мировоззрения, сколько торжества моды над идеей, мгновенной утилизации идеала неокапиталистическим обществом.

Своеобразный руссоизм был присущ Леклезио с первого его романа «Протокол», написанного шесть лет тому назад, когда автору, студенту филологического факультета, было двадцать три года. Адам Поло — герой «Протокола», бежавший (тоже бежавший!) то ли из казармы, то ли из дома для умалишенных, сводит жизнь к ряду простейших актов: валяется нагишом на солнцепеке, бродит по городу вслед за собакой, утоляет чем попало голод и жажду, а если для этого необходимо украсть — ворует. Так или иначе Адам хочет остаться и остается Чужим, Посторонним.

В противоположность шизофренической робинзонаде Адама (заметим, что Адам — синоним Человека, следовательно — тезка Молодого Человека), его асоциальности и непричастности М. Ч. Оган ищет человеческих контактов, которые помогли бы ему понять мир. Да, М. Ч. предается одиночеству бегства, но «бегство не может быть одиночеством». И пусть одно исключает другое, роман Леклезио полон подобных противоречий, потому что автор не пытается утаить своей ошарашенности непримиримыми противоречиями жизни. Протокол «неконтактности» сменяется в «Книге бегств» записью страстных, доходящих до одержимости попыток выйти на связь. В пьяном бреду кабака, перекрывая гул голосов и рев музыкального автомата, Молодой Человек настойчиво кричит в ухо случайной спутнице: *«Скажите мне! почему люди! не разговаривают!.. люди живут вот так! вместе! и не знают зачем! не хотят! знать! зачем! ничего не говорят! они застыли! онемели! мне больно! от этого безмолвия! невозможно! услышать ни слова! никого нет! никогда и никого! я не понимаю!»*

Пустота и безмолвие — вот от чего, оказывается, бежит Оган. Перед ним мелькают гигантские шумные столицы, сменяются гудящие машинами автострады. Почему же он ничего не слышит? И все настойчивее звучит в романе тема внутренней пустоты, внутреннего безмолвия, которое он несет с

[4] Рецензия на эту книгу была опубликована в «Иностранной литературе» № 2 за 1968 г.

собой, «точно глухой, для которого все люди немы».

«Я покинул мой мир и не нашел иного. Вот трагическое приключение. Я пустился в путь, но пока никуда не прибыл. Все теории были ложными, все громкие слова, которыми набили мне голову, ничего не стоили». Бесцельное бегство — печальная судьба того, кто ненавидит и отрицает, не чувствуя за собой возможности «изменить жизнь людей, подобно Иисусу Христу или Энгельсу».

В стремлении забыть свою «цивилизацию без тайн» Оган взывает к природе. Но ему не дано забыться, ибо в самом сердце прекрасного гнездится уродство. На пути Молодого Человека встают лепрозории и резервации, города, где не моются, где не едят, где не читают и не разговаривают, пустыри нищеты, горы нечистот, «места, где приключение зовется — круп, туберкулез, оспа, дистрофия, брюшняк». М. Ч. Оган не может забыть об этом, не может вернуться к сверкающим магазинам, кино и барам, к заново выкрашенным церквам, к книжным революциям, дискуссиям об ангажированности и дезангажированности, к рассуждениям о значимом и значущем, к словопрениям умов, не ведающих, что такое голод. «И не тут ли поистине должно закончиться бегство?» — задает себе вопрос Молодой Человек Оган и молодой человек Леклезио; не в этих ли городах-лепрозориях нужно остановиться, чтобы понять жизнь и понять себя?

Признаемся, в этом изложении петляющий маршрут М. Ч. весьма спрямлен: иначе пришлось бы просто переписать полностью «Книгу бегств» с ее нарочитой нелогичностью, разорванностью, нежеланием сводить концы с концами, с вызывающим стремлением автора то отделять, то не отделять себя от героя, напряженным лиризмом глав, написанных в третьем лице, превращением героя в некий квант своего поколения, некий момент волнового движения сознающей себя энергии, границы которого предельно размыты: «То был один из дней нашего века на одной из улиц одного города, на земле, под небесами, в заполняющем все воздухе и свете. То было около полудня, среди зданий, воздвигнутых человеком. Шел дождь, светило солнце, дул ветер...»

Впрочем, похождения Молодого Человека перемежаются главами — они называются «Самокритика»,— где Леклезио прямо от себя говорит с читателем, вернее, рассуждает с самим собой о том, зачем и как он пишет этот роман.

«Я уже написал тысячи слов на больших белых листах размером 21×27. Я пишу густо, с силой нажимая на шариковую ручку, положив лист наискосок. На каждой странице я умещаю примерно 76—77 строк. Считая около 16 слов на строчку, я пишу 1216 слов на листе. К чему продолжать это занятие? Оно лишено всякого смысла, никому не интересно. В конечном итоге литература, вероятно, нечто вроде последней доступной человеку игры, последнего шанса бегства». Но эта горькая самооценка не приводит Леклезио в тупик герметизма и мазохистского упоения некоммуникабельностью. Если его и грызут естественные сомнения в значимости того, что он делает, то именно потому, что он рвется к людям — «я обращаюсь к живым, я говорю миллионам глаз, ушей, ртов, скрытых за стенами»,— и потому еще, что при всем своем неприятии мира он в этот мир влюблен страстной любовью. Безграничная множественность бытия влечет его, как магнит частичку железа — частицу этого бытия,— он хотел бы все вместить в свою книгу и приобщить читателя ко всему сущему.

Невозможность вместить *все* в слово, разрыв между движущейся безостановочно мыслью и фиксацией ее в слове, мука неполной адекватности слова подчас вызывают желание кончить «полной немотой», но жажда общения сильнее, и именно она — а не желание следовать моде — толкает Леклезио на то, чтобы перепробовать все средства запечатления мира в маленьких черных значках на белых листах бумаги. Ему хочется добиться такой степени конденсации жизни на страницах книги, чтобы эти страницы были прожжены, чтоб рухнула «крепостная стена», защищающая и отделяющая его от мира.

Он готов поэтому открыть блокнот и просто записывать всех, кто проходит перед его глазами:

«Девочка с лейкопластырем на обеих коленках.

Мужчина, похожий на Хемингуэя.

Мужчина с винным пятном на ляжке.

Женщина, больная чахоткой...» и т. д.

Он готов вспомнить все ругательства на знакомых ему языках: «Сволочь! Дерьмо! Негодяй! Шпик! Шулер! Жулик! Чудовище! Дурак! Свинья! Кретин!..» (и так далее, на трех страницах).

Он готов начать очередную главу о похождениях Молодого Человека фразой «Оган вышел в пять часов», наплевав на буку, которым вот уже несколько десятилетий стращают молодую литературу (ни у кого, кроме ретрограда и эпигона, не поднимается в наше время рука написать «Маркиза вышла в пять часов», повторяют вслед за Валери все теоретики нонконформизма).

Он готов использовать любой прием — от включения в текст расписания поездов или списка авиационных тарифов до прозы такого накала, когда лирическое напряжение переплавляет ее в поэзию: многие страницы «Книги бегств» заставляют вспомнить «Сезон в аду» Артюра Рембо.

Он хотел бы писать просто, как говорят. «Писать, как поют, как вопят или хотя бы так, как прикуривают сигарету от спички и тихонько курят, думая о том о сем». К этой «немыслимой простоте» Леклезио идет путем окольным и извилистым, попадая то в трясину, из которой читателю неискушенному трудно выбраться, то на торную дорогу, где читатель искушеный обнаруживает избитые и давно оставленные колеи. Но за всем этим стоит не фиглярство, а потребность выразить сложность жизни, многооб-

разие и многозначность общественных связей и разрывов. И в этом его полемическая трактовка понятия «открытое произведение», ставшего лозунгом европейского неоавангардизма.

В последнем эпизоде «Книги бегств» Оган добирается до городка Белизарио Домингос. Здесь, на берегу океана, в тени под аркадами дома на центральной площади, медленно глотая душистые дольки апельсина и сплевывая в пыль зернышки, он думает, что, пожалуй, находится у цели. Что можно, пожалуй, остановиться. Что здесь, в Белизарио Домингос, он, пожалуй, ощутил покой и волю. Но оказывается, жители города — слепы. Они все почти работают на кофейных плантациях и все почти слепы, потому что симилиум — кофейная мушка — заносит в кровь человека невидимых паразитов, и люди слепнут, а хозяин плантаций не соглашается засыпать их ДДТ, так как не хочет потерять урожай. «Прекрасное внезапно обнаружило свою трагическую тайну, она прорвала его, как гнойный нарыв».

Но Леклезио не ставит на этом точку: вместо традиционного слова «конец» он пишет «продолжение следует». На остановке автобуса в Белизарио Домингос, где царит «чудовищный покой», Молодой Человек расстается с читателем, чтобы продолжить свое бегство.

В этом открытость романа, который не сводится к ставшей уже общим местом пессимистической критике цивилизации изобилия. Так же как Жорж Перек, покидающий своего «человека, который спит» на перекрестке, пережидающим дождь вместе с другими, Леклезио оставляет себе, герою и читателю неугасающую надежду на то, что бегство «от» может стать бегом «к».

Л. ЗОНИНА

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ

АНГЛИЯ

«ДОБРОЕ УТРО, БРАТЬЯ!»

Так называется автобиографическая повесть ветерана-коммуниста Джека Дэша, рассказывающая о жизни и борьбе лондонских докеров. Его товарищи, как и он сам,— люди, с детства познавшие нужду, в полную меру испытавшие горечь безработицы и произвола хозяев, однако не сломленные тяжелым трудом, не потерявшие воли к борьбе.

В коммунистическую партию Джек Дэш вступил в годы гражданской войны в Испании. С тех пор он стал одним из активных участников борьбы против фашизма в Англии. Летом 1937 года тысячи рабочих лондонских фабрик, заводов и доков дали решительный отпор отрядам английских фашистов, которые намеревались промаршировать по улицам рабочих кварталов.

«No pasarán!» — они не пройдут! — сказали мы, рабочие Лондона,— пишет Джек Дэш.— В грозном молчании тысячи людей заполнили улицы, ведущие из Сити в Ист-Энд. Наши плечи и руки сомкнулись, создав несокрушимую преграду. И отряды Мосли не прошли».

В наши дни Джек Дэш становится одним из инициаторов создания «Комитета по связям», известного во всей Англии. Задача комитета состоит в активном отстаивании прав трудящихся и организации согласованных действий в то время, когда профсоюзные руководители бездействуют.

Бесправие и нужду можно победить только в упорной и организованной борьбе — таков лейтмотив книги «Доброе утро, братья!», адресованной автором товарищам по борьбе и всем тем, кто этой борьбе сочувствует.

ИНТЕРЕС К ПОЛЬСКОМУ ИСКУССТВУ

Большая выставка «Тысяча лет польского искусства» состоялась в Лондоне; она была посвящена развитию польского искусства от раннего средневековья до наших дней. Ее организаторами были Королевская академия изобразительных искусств, министерство культуры ПНР и польские музеи.

Экспозиция, которую обозреватели назвали крупным событием в культурной жизни Лондона и всей Англии, вызвала большой интерес у критиков и искусствоведов. Во многих рецензиях говорится об «отличном подборе» ценных экспонатов, иллюстрирующих динамизм польского искусства». Английская печать напомнила также об усилиях поляков, направленных на спасение произведений искусства в период второй мировой войны. Президент Королевской академии изобразительного искусства назвал эту выставку «автобиографией польского народа».

БОЛГАРИЯ

ИЗДАЕТ «НАРОДНА КУЛТУРА»

Книги более 3 тысяч наименований общим тиражом свыше 35 миллионов экземпляров — таков итог деятельности издательства «Народна култура», которое не так давно отметило свое 25-летие. Первой книгой, которую выпустило издательство, была советская: «Ленинградцы» Николая Тихонова. Болгарских печатников не останавливало отсутствие в то время нужных шрифтов, красок, бумаги. Со временем «Народна култура» превратилась в одно из крупнейших, передовых издательств страны. Оно дало болгарским читателям книги многих классиков мировой литературы. Всего за четверть века были изданы произведения зарубежных авторов из 69 стран мира. В их числе — 1 200 книг советских

авторов общим тиражом 14 миллионов экземпляров. Издательством был осуществлен выпуск серий: «Избранные романы», «Мировые образы», «Советские поэты», «Современные поэты мира», «Рассказы со всего света», «Театр», «Книги для всех», «Юношеское чтение» и др.

Многие книги издательства получили премии на международных конкурсах за высокую культуру оформления, и среди них: «Мамаша Кураж и ее дети» Б. Брехта (художник И. Кьосев), «Неизвестный молодец» Р. Босилека (художник А. Поплилов), «Ромео и Джульетта» В. Шекспира (художник О. Йончева).

В ближайшем будущем болгарские читатели получат книги двух новых серий: «Шедевры советской поэзии» и «Классика». Последнюю откроют «Декамерон» Боккаччо, «Дон Кихот» Сервантеса, «Кентерберийские рассказы» Чосера, «Война и мир» Толстого, «Камо грядеши» Сенкевича, сборники произведений Флобера, Диккенса, О'Генри, Чапека, Пефи, а также «Античная поэзия», сказки «Тысяча и одна ночь», «Испанский театр» и другие. Одновременно издательство начинает выпуск книг — биографий писателей, чьи произведения войдут в серию «Классика», а также книг, рассказывающих о времени, в которое эти произведения были созданы.

БОЛГАРСКОМУ ТЕЛЕВИДЕНИЮ — ДЕСЯТЬ ЛЕТ

Общественность страны отметила десятилетие со дня создания национального телевидения. На торжественном собрании в Софии выступила Леда Милева, директор болгарского телевидения. Она рассказала о развитии телевидения в стране, о росте числа телезрителей, о популярности таких передач, как «По всему свету и у нас», «Спектр», «Атлас», «Семена и борозды», «Поющая камера» и других. Неизменным успехом пользуются русские и советские пьесы, отметила докладчица. С интересом встретили зрители пьесу М. Шатрова о пятидесятилетии В. И. Ленина, а также постановку комедии И. С. Тургенева «Провинциалка». Регулярно, 21 числа каждого месяца по болгарскому телевидению в серии «Классика советского кино» демонстрируются фильмы, созданные в СССР в 20—30-е годы и в период Отечественной войны.

ВЕНГРИЯ

«КАНИКУЛЫ» — НОВЫЙ РОМАН МЕШТЕРХАЗИ

Новый роман Лайоша Мештерхази «Каникулы», по отзывам критиков, отличается от всего того, что было им до сих пор написано. Роман автобиографичен, но и здесь писатель остался верен своей манере придавать произведениям художественной литературы остропублицистический характер.

Автор описывает Венгрию тридцатых годов, в период между двумя войнами. Эпиграфом к роману Мештерхази поставил слова: «Позволим себе видеть наше прошлое таким, каким оно было в действительности». Писатель строго придерживается этого правила, пишет рецензент газеты «Непсабадшаг», не дает себя увлечь эмоциям детских воспоминаний, не идеализирует атмосферу того периода. Мештерхази, по словам рецензента, ищет и находит характерные черты того времени, показывает начало активной борьбы против устоев старого мира.

Последние годы, пишет далее рецензент, в венгерской литературе появились произведения, авторы которых поставили перед собой задачу показать без прикрас прошлое их родины. Роман Мештерхази, по мнению критика, принадлежит именно к таким произведениям, хотя в его основе лежат не большие исторические события, а кропотливый анализ сил и явлений, под воздействием которых формировалось поколение тех, кому сейчас пятьдесят.

«МИРОВАЯ ЛИТЕРАТУРА» ДЁРДЯ ЛУКАЧА

Вышла в свет вторая часть избранных работ Дёрдя Лукача — «Мировая литература», которая содержит статьи о зарубежных писателях. Первая часть — «Искусство и общество» — была издана в 1968 году. В нее были включены работы Лукача по теории искусства. Вскоре ожидается выход следующих томов серии: «Венгерская литература — венгерская культура», «Мой путь к Марксу» (сборник работ по философии) и «История эстетики».

Том «Мировая литература» включает статьи о Шекспире, Сервантесе, Лессинге, Гёте; статья о Скотте, взятая из «Исторического романа» (1937 г.), посвящена сопоставлению родовых особенностей драмы и романа. В сборник вошел фрагмент из книги «Бальзак, Стендаль, Золя».

Часть материалов сборника посвящена проблемам новейшей литературы. Ведущее место при этом отведено Томасу Манну («Кафка или Томас Манн»). В статье «Выдающиеся русские реалисты — социалистический реализм» Лукач, как пишет венгерская печать, «анализирует проблемы новейшей социалистической литературы».

ГДР

РЕШАЮЩИЙ ДЕНЬ В ЖИЗНИ РЕГИНЫ

Берлинский театр имени Горького поставил пьесу Зигфрида Пфаффа «Регина Б.— один день ее жизни». Первоначально драматург написал пьесу для радио, а затем переработал ее для театра.

Героиня пьесы — Регина Байер, мать двух внебрачных детей, женщина со сложным прошлым, переменившая множество профессий. В день, который описан в пьесе, перед ней, квалифицированной работницей одного предприятия, встает вопрос: сумеет ли она добиться решающей перемены в

Сцена из спектакля «Регина Б. — один день ее жизни».

(Еженедельник «Зонтаг»)

своей жизни? Она хочет пойти учиться, стать инженером. Отчасти это вызвано желанием удержать возле себя своего друга — изобретателя Крюгера. Однако это только одна сторона проблемы. Регина решается встать на новый, нелегкий путь (шесть лет учебы!) еще и потому, что в ней самой произошла кореиная перемена: у нее возникли повышенные запросы и требования к себе и к жизни.

Решение Регины вызывает как бы цепную реакцию: окружающие ее люди каждый по-своему реагируют на него. Это дает возможность драматургу показать среду, в которой живет Регина, раскрыть на примере своей героини проблемы, которые стоят перед женщиной в современном обществе, еще не преодоленные трудности.

Режиссер Ганс-Георг Зимген пригласил на роль главной героини молодую актрису из Эрфурта Карин Грегорек, прекрасно сыгравшую эту роль.

Недавно пьесе Пфаффа «Регина Б.» была присуждена литературная премия Демократического женского союза ГДР.

ОПЕРА ГЕРШВИНА НА БЕРЛИНСКОЙ СЦЕНЕ

Опера выдающегося американского композитора Гершвина «Порги и Бесс» с успехом поставлена в берлинском театре «Комише опер». Все билеты были раскуплены за несколько недель до спектакля. Каждое действие оперы публика сопровождала долгими овациями.

Критики отмечают, что столь заслуженный успех выпал на долю театра в основном благодаря работе главного режиссера Вальтера Фельзенштейна и его ассистентов Геца Фридриха и Хорста Зегера. Текст либретто был переведен заново. На главные роли театр пригласил американскую певицу Кэролайн Смит-Майер и негритянского певца Каллена Мэйдена. Роль Спортинг Лайфа, сложная в вокальном и хореографическом отношении, была поручена известному артисту, исполнителю эстрадных песен Манфреду Кругу.

«Событием года» названа эта постановка в комментариях агентства АДН.

ФРГ

ЗИГФРИД ЛЕНЦ: «ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА»

«Ваш роман «Урок немецкого» издан тиражом 175 000 экземпляров, переведен на многие европейские языки. Как вы сейчас, достигнув литературной славы, относитесь к тому писателю, которого считали своим великим учителем и который всегда служил вам образцом,— к Хемингуэю?»—с таким вопросом корреспондент дюссельдорфской газеты «Дейче альгемейне цейтунг» обратился к западногерманскому писателю Зигфриду Ленцу.

«...Который служил мне образцом, — подхватил Ленц,— и от которого я медленно, но верно отошел. Молодой человек и море... Это прошло. В моих ранних рассказах герои, как правило, оказываются в исключительных ситуациях, борются и в конце концов терпят крушение в противоборстве с самими собой и с окружающим миром. А такие ситуации вовсе не требуются. Мир может рухнуть для человека и в повседневной жизни, за чашкой чая — вспомните Чехова... Вот так, пытаясь критически «свести счеты» с современностью, я вырвался из-под влияния Хемингуэя».

«Почему в ваших произведениях,— спросил корреспондент,— повествование часто ведется от первого лица и роль рассказчика играет, так сказать, не беспристрастный летописец, а заинтересованный свидетель событий?»

«Я выбираю «первое лицо»,— ответил писатель,— так как убежден, что автор должен быть участником событий, а не парить над ними. Ведь он несет ответственность и не может не быть заинтересованным лицом. В конце концов автор, как и любой человек, связан с конкретными условиями».

«С кем мы встретимся в ближайшее время — с Ленцем — рассказчиком, романистом или драматургом?»

«С драматургом и критиком. В дюссельдорфском городском театре готовится постановка моей новой пьесы «Глазная повязка», а в издательстве «Гофман уид Кампе» весной выйдет сборник моих критических статей о творчестве Бёля, Хемингуэя, Фолкнера, Андре Мальро и других писателей».

«Книга руки»—«пособие» по хиромантии (Моидадори); «Магические искусства» — «свидетельства белой и черной магии. Советы, как стать волшебниками, амулеты, зелья, магические рецепты и формулы» (Бьетти); «Адский словарь» Коллен де Планси — с иллюстрациями «самых известных демонологов XII века» (Бомпиани); «Литературный альманах Бомпиани 1970 года», посвященный различным нелепым изобретениям, бесполезным и эксцентрическим патентам и т. д. Издательство «Мурсия» выпустило «Энциклопедический словарь загадок и головоломок» — в нем помещены сведения о всевозможных ребусах, кроссвордах, шарадах и т. п., содержатся 860 головоломок различного рода. Значительное место в подарочных изданиях занимают жизнеописания знаменитых людей — от автобиографии звезды немого кино Франчески Бертини до биографий Наполеона и Муссолини. Широко представлены различные кулинарные и гастрономические «трактаты», книги для снобов и коллекционеров — о старинной мебели, часах и прочих антикварных предметах.

На прилавках книжных магазинов Рима и Милана громоздятся горы детективных и приключенческих книг, преимущественно переводных, невысокого качества. Приятное исключение среди подобного рода книг, как пишет корреспондент газеты «Паэзе сера либри», сообщивший эти факты, составляют серии изданий по итальянскому искусству и работы о старом Риме, а также переиздания некоторых классиков и современных авторов, но удельный вес этих книг и внимание, уделяемое им рекламой, невелики.

ДЕБЮТ... АННЫ МАНЬЯНИ

Знаменитая итальянская киноактриса Анна Маньяни недавно дебютировала на телевидении. Она начала работать одиовременно над шестью женскими образами в многосерийном телефильме «Сто лет истории Италии

Анна Маньяни в одной из новых ролей на телевидении.
(Газета «Унита»)

в образах женщин» по сценарию и под руководством Альфредо Джаннетти. Среди создаваемых Маньяни образов — римская зеленщица конца прошлого века, жена бедного итальянского эмигранта начала нынешнего столетия, вдова, помогающая антифашисту бежать из заключения.

Журналисты, бравшие у актрисы интервью, поинтересовались, почему она, столь популярная во всем мире киноактриса, совсем перестала в последние годы сниматься в кино. Анна Маньяни ответила: «Потому, что наше кино стало нищим, жалким, убогим. Потому, что оно предлагает мне не роли живых людей, а карикатуры, нелепые маски, а я должна верить в те образы, которые воплощаю на экране. Мои персонажи должны быть настоящими, а не фальшивыми, они должны быть взяты из жизни, ведь жизнь — бесконечно богатый источник вдохновения. Я снималась в таких прекрасных фильмах, как «Рим — открытый город», и теперь не хочу компрометировать себя и свои любимые образы.

Разве вы не видите, до чего довели итальянское кино?— продолжала Маньяни.— Сплошь монотонные и глупые, похожие один на другой «вестерны», или вульгарные коммерческие ленты с «сексом», или грошовые комедии. Итальянское кино переживает тяжелый период. Но не всегда так будет. От реализма никуда не уйдешь. Можно искать другие пути, проводить эксперименты, но он в конце концов обязательно предъявит свои права, и с этим ничего не поделаешь.

Тридцать лет назад,— ска-

зала в заключение Манъяни,— в итальянском кино можно было видеть только личных секретарш, сципионов африканских, рогоносцев да белые телефоны. Понадобилась такая катастрофа, как вторая мировая война, чтобы впустить на экран подлинную Италию бедняков, безработных, простой люд, составляющий основную часть населения. К счастью, сейчас создалась иная атмосфера, которая может оказать большое влияние на кино и может вновь заставить его отражать действительную жизнь нашей страны...»

МОНГОЛИЯ

ЮБИЛЕЙ КОМПОЗИТОРА

Более трех десятилетий народ Монголии поет песни Б. Дамдинсурэна. Его творчество началось с песни о Халхин-Голе, в которой славилась победа советских и монгольских войск над войсками японских империалистов в 1939 году. С тех пор Дамдинсурэн написал десятки песен, камерных произведений, оратории и кантаты, симфонические поэмы и сюиты. Дамдинсурэн — автор музыки Государственного гимна Монгольской Народной Республики. Одна из его опер — «Среди печальных гор» — выдержала на сцене Театра оперы и балета около двух тысяч представлений.

Недавно монгольская общественность отметила 50-летие композитора, дважды лауреата Государственной премии Б. Дамдинсурэна. За выдающиеся заслуги в области музыкального творчества композитору присвоено почетное звание Народного артиста МНР.

В интервью для печати в связи с юбилеем композитор рассказал, что только что закончил новую оперу «Золотой бокал».

«ОТ АНГАРЫ ДО УССУРИ»

Такое название носит книга монгольских литераторов, совершивших летом прошлого года поездку по Сибири и Дальнему Востоку. Читатель найдет в ней стихи, очерки, путевые заметки и репортажи известных писателей: Б. Явуухулана, Л. Чойжилсурэна, Д. Пурэвдоржа, Н. Жамбалсурэна, Д. Няма и других.

«Наша группа в составе десяти человек,— рассказал секретарь Союза монгольских писателей Д. Тарва,— имела счастливую возможность совершить поездку по маршруту Иркутск — Братск— Хабаровск — Иман — Чита — Улан-Удэ. Мы побывали у строителей одной из крупнейших в мире гидроэлектростанций на Ангаре, у хлеборобов, рабочих, животноводов, пограничников».

В книге помещено много фотографий о жизни и труде советских людей.

ОАР

СОЗДАНА АКАДЕМИЯ ИСКУССТВ

По сообщению журнала «Аль-Адиб», в ОАР объявлено об учреждении в Каире Академии искусств, которая будет координировать деятельность пяти институтов — классической музыки, арабской музыки, балета, театрального искусства и кинематографии.

ФЕСТИВАЛЬ ПРОВИНЦИАЛЬНЫХ ТЕАТРОВ

Как сообщает корреспондент еженедельника «Аль-Мусаввар», в курортном местечке Рас аль-Барр, недалеко от Александрии, состоялся фестиваль театрального искусства, в котором приняли участие коллективы и ансамбли народного творчества пяти египетских провинций. Это третий фестиваль подобного рода. (Первый состоялся три года назад в Каире, второй — в позапрошлом году в Александрии.)

Первое место на фестивальном конкурсе заняла пьеса «Если взял, верни», написанная двумя авторами из провинции Кальюбия — Али Абд аль-Мумином и Махмудом ас-Сабки. Второй премии удостоена комедия «Абу-Зуэйзаа» драматурга Фахима аль-Кады из провинции Дакахлия. Третье место завоевала пьеса «Ах, городок!», показанная труппой дворца культуры города Бенха (ее автор, Вахид Хамид,— также из провинции Кальюбия).

В рецензии, напечатанной еженедельником «Аль-Мусаввар», отмечается социально-критическая направленность большинства показанных на фестивале пьес. Так, в комедии «Абу-Зуэйзаа» высмеиваются все еще бытующие предрассудки и суеверия, вера в так называемых «вали» (местных «святых»), которую используют разные проходимцы в своих корыстных целях. Пьеса «Ах, городок!» напоминает, по словам рецензента, «Ревизора» Гоголя, действие ее происходит в современном египетском сельскохозяйственном кооперативе.

Во время фестиваля состоялся также конкурс ансамблей народного творчества.

ИЗДАЕТСЯ НОВЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

В Каире вышел первый номер «Журнала института арабистических исследований». На 450 страницах номера помещены статьи по актуальным вопросам арабского языка, литературы, истории и этнографии. Автор одной из статей, известный ученый, доктор Мухаммед Хальфаллах, пишет о будущем арабского литературного языка и о том, как облегчить его изучение.

ПОЛЬША

О ЛЮДЯХ И ДЛЯ ЛЮДЕЙ

Общественность страны недавно отметила 70-летие известного польского графика Тадеуша Кулисевича, профессора Варшавской академии изобразительных искусств, воспитавшего целое поколение польских художников. Имя Кулисевича стало известным в 1928 году, когда вскоре после окончания учебы он получил пер-

Рисунки Тадеуша Кулисевича из циклов «Шлембарк» (вверху) и «Мексика».

(Еженедельник «Польское обозрение»)

вую высокую награду за работу, представленную на Всепольской выставке графики. За два года до этого, в 1926 году, Кулисевич попал в захолустную горную деревушку Шлембарк, познакомился с жизнью и трудом ее обитателей. Действительность, с которой столкнулся художник, была далека от слащавых представлений о жителях горного края. Кулисевич создал портреты жителей Шлембарка — лица, полные отчаяния и печали, на которых лежит неизгладимая печать вечной нужды и тяжелого труда. Многие годы Шлембарк оставался главной темой творчества Кулисевича, а выставки созданных там гравюр стали подлинным событием в культурной жизни страны.

Послевоенный период творчества Кулисевича открывается циклом «Варшава, 1945». «Разрушенная Варшава, — рассказывает Кулисевич,— произвела на меня неизгладимое впечатление. С трудом узнавал я знакомые места, отыскивая среди развалин хорошо известные мне улицы и дома. Я исколесил ее вдоль и поперек, блуждал средн груд кирпича и камня, взбираясь на вершины развалин, минуя воронки и рвы, оставшиеся от бомб. Я выходил спозаранку из дому и возвращался с наступлением сумерек, чувствуя себя не в силах оторваться от этой Варшавы, думать о чем-то другом. Все увиденное я тут же зарисовывал. Так появился этот цикл, состоящий из ста рисунков, которые позже я выполнил в туши и сепии, заменив карандаш пером и кистью».

В последующие годы Тадеуш Кулисевич создал цикл рисунков «Солдаты войны и мира» и цикл о Вьетнаме «Борцы за свободу и демократию». В эти же годы появляются его знаменитые циклы рисунков: «Кавказский меловой круг» и «Мамаша Кураж», посвященные театру Бертольта Брехта.

Художник побывал во многих странах: Франции, Бельгии и Голландии, Индии и Мексике, Советском Союзе, Италии и Бразилии. Альбом художника заполнен рисунками, путевыми набросками. Все они объединены общей темой — люди, их труд и повседневная жизнь. Сейчас Кулисевич работает над иллюстрациями к новому изданию произведений Брехта, а также над циклами «О женщине» и «Горные пейзажи».

Творчество Кулисевича получило высокое признание на родине и за рубежом. Кулисевич — лауреат премии Варшавского горсовета, кавалер ордена Трудового Знамени 1-й степени; в 1952 и 1955 гг. он дважды был удостоен Государственной премии за творческие успехи. Министр национальной обороны присудил ему премию за цикл рисунков на военные темы. Кулисевич удостоен премии ЮНЕСКО за работы, представленные на биеннале в Венеции, первой премии на биеннале в Сан-Паулу. За цикл рисунков об Индии Художественное общество Калькутты присудило ему почетную медаль. В 1965 году Кулисевич был избран почетным членом Академии художеств во Флоренции.

ГОТОВИТСЯ ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ КОПЕРНИКА

В 1973 году, когда весь мир будет отмечать 500-летие со дня рождения Николая Коперника, в Польше будет завершено издание полного собрания сочинений великого польского астронома.

Заведующий сектором коперниковских исследований Института истории науки и техники Польской Академии наук доктор Павел Чарторыский рассказал в интервью для печати, что полное собрание сочинений Коперника, работа над которым идет вот уже третий год, выйдет в трех томах и на трех языках. Сейчас готовится к изданию первый том, который будет включать цветную репродукцию собственноручной рукописи Коперника «Об обращениях небесных сфер».

Готовится к выходу также второй том, в котором будет опубликован текст главного труда Николая Коперника — «Об обращениях небесных сфер» с предисловием и пояснительным комментарием. Книга впервые была опубликована в 1543 году в Нюрнберге. После долгих скитаний рукопись в 1953 году вернулась на родину: она была передана правительством ЧССР в дар краковской Ягеллонской библиотеке.

«В третьем томе будут опубликованы менее известные работы Николая Коперника, под названием «Орега Minora»,— сказал далее Чарторыский.— Этот том будет состоять из четырех частей. В первую вой-

дут астрономические сочинения: «Commentariolus, или Первый вариант гелиоцентрической теории» и письмо Коперника первому польскому картографу Бернарду Ваповскому, в котором излагаются некоторые математические понятия. Вторая часть — это экономические сочиниения Николая Коперника: трактат «Dissertatio de optima monetae cudendae ratione». В третью часть включены художественные произведения Николая Коперника — перевод с греческого на латынь писем Феофилакта Симокатты. И, наконец, в четвертую часть — переписка Коперника.

Мне хочется подчеркнуть, что все тексты взяты из оригинальных рукописей, хранящихся в библиотеках Польши и за границей, причем большая часть находится у нас».

Помимо полного собрания сочинений Коперника готовится также серия «Коперниковские исследования», включающая работы видного исследователя трудов Коперника и его эпохи, ныне покойного, профессора Александра Биркенмайера.

В серию «Коперниковских исследований» войдет также работа доктора Мечислава Марковского «Буриданизм в Польше в докоперниковский период — исследования по истории философии и науки Краковского университета в XV веке».

ЭКРАНИЗИРУЕТСЯ «ПОТОП» СЕНКЕВИЧА

Вслед за героями книг «Крестоносцы» и «Пан Володыевский» свою новую жизнь на экране вскоре обретут герои еще одного произведения Генрика Сенкевича — «Потоп». Над этим фильмом, посвященным героической борьбе польского народа против шведского нашествия в XVII веке, в настоящее время работает режиссер Ежи Гоффман. Фильм будет состоять из двух серий, разделенных, в свою очередь, на четыре части: «Измена», «Пробуждение», «Победа» и «Оленька». Продолжительность демонстрации «Потопа» составит 6 часов.

«Мне бы хотелось,— заявил режиссер корреспонденту Польского агентства печати,— создать фильм-эпопею, напряженный и динамичный, хотелось, чтобы в нем ощущалась готовность народа на жертвы ради свободы, чтобы на примере отдельных человеческих судеб были показаны усилия польского народа в борьбе за независимое существование».

Начало съемок фильма намечено на осень. В «Потопе» будет немало батальных и других массовых сцен. Для этого требуется сшить свыше 20 тысяч костюмов.

Еженедельник «Фильм» сообщает о предстоящей экранизации еще одного произведения Г. Сенкевича — романа «В пустыне и пуще»,— которая будет осуществлена режиссером Владиславом Слесицким. Сценарий этого фильма, который будет цветным, уже написан. Некоторые эпизоды, вероятно, будут сниматься в Советском Союзе.

РУМЫНИЯ

ПРЕДСТОЯЩИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ИМЕНИ ЭНЕСКУ

В сентябре нынешнего года в Бухаресте будет проходить пятый международный фестиваль и конкурс имени Джордже Энеску. Это мероприятие, организуемое в честь памяти великого румынского музыканта, стало традиционным и завоевало международный престиж.

Конкурс и фестиваль, проводимые каждые три года,— большое культурное событие, свидетельствующее о видном месте, которое принадлежит творчеству Энеску в сокровищнице современной музыки.

В предстоящем конкурсе смогут участвовать молодые исполнители всех стран мира, которые 31 декабря 1970 года будут не старше 33 лет. Конкурс будет проходить по отделениям: скрипка, фортепиано, пение (женщины и мужчины). Предусмотрено несколько основных и дополнительных премий.

Одновременно с конкурсом организуется второй международный симпозиум по музыковедению имени Джордже Энеску. На симпозиуме будут обсуждаться темы: «Румынские музыкальные произведения и тенденции в рамках современного развития музыкального искусства»; «Фольклор в музыкальном творчестве XX века»; «Джордже Энеску — композитор, исполнитель и педагог».

США

СОВЕТЫ «ДЕЛОВЫХ ЛЮДЕЙ»

В прессе появился доклад, составленный группой специалистов крупнейшего американского банка «Чейз Манхэттен», которая недавно совершила «культпоход» на Бродвей, по основным театрам Нью-Йорка. Авторы доклада пришли к выводу о катастрофическом положении театров на Бродвее и вне его. В прошлом году, говорится в докладе, там провалилось 20 постановок, и «бродвейские ангелы» (так называют бизнесменов, финансирующих театры) понесли убытки на сумму в 5 200 тысяч долларов. Когда после первой постановки был исключен из репертуара музыкальный боевик «Ля страда», это обошлось «ангелам» в 650 тысяч долларов убытка. А провал спектакля «Дорогой мир» им «стоил» 720 тысяч долларов.

На самом Бродвее бездействуют пятнадцать театров, пишут авторы доклада. Число пустующих театров в этом году почти в два раза больше, чем в прошлом: сейчас там идет только 17 постановок, год назад их было 29.

«Люди, отвечающие за постановку пьес,— это в основном артисты, которые больше заботятся об искусстве, чем о деньгах,— наставительно пишут авторы доклада.— Но сейчас они должны интересоваться и деловой стороной постановок».

Руководителям театров рекомендуется шире использовать для привлечения зрителей опыт рекламных агентств. Зрителям, посещающим театр в первый раз, например, советуют оказывать специальные знаки внимания, как это делают авиационные компании. Никогда не следует объявлять, что все билеты проданы, наставляют банкиры, это может отпугнуть потенциального зрителя.

Главный деловой совет авторов доклада — просить субсидий у правительства, поскольку банки теперь не склонны вкладывать деньги в искусство, которое все чаще приносит убытки.

«АЛИСА В СТРАНЕ ДАЛИ»

Под таким заголовком еженедельник «Нью-Йорк таймс бук ревью» опубликовал сообщение о выпуске издательствами «Рэндом хаус» и «Мэканас пресс» в серии «Люкс» книги «Алиса в стране чудес» с «оригинальными» иллюстрациями Сальвадора Дали.

«Увы! Бедная Алиса! Ее встреча с хитрым и опытным торговцем фантазией, шутовским принцем сюрреализма Сальвадором Дали, несомненно, самое прозаическое из всех выпавших на ее долю приключений»,— пишет в еженедельнике Грейс Глюк.

«Люкс» — это роскошное издание, выпускаемое ограниченным тиражом. Качество иллюстраций (считающихся оригинальными) настолько страдает при повторном печатании, что обычно книги серии «Люкс» выпускаются в количестве не более 350 экземпляров, а цена их приближается к тысяче долларов. Нынешнее издание «Алисы» включает 200 экземпляров по 750 долларов и 2500 экземпляров по 375 долларов. Листы дорогой бумаги с прекрасно отпечатанным текстом («единственное достоинство этого сомнительного предприятия», по словам Грейс Глюк) собраны без переплета в полотняной коробке, отделанной кожей. Фронтисписом служит «оригинальная» гравюра Дали, создавшего 12 «фантастических» клише, «сильно подрывающих его авторитет», как пишет рецензент, который основывается на признании его ранних работ. «Рядом с этой мазней-однодневкой блестящие рисунки первого иллюстратора «Алисы» — карикатуриста из английского журнала «Панч» Джона Тенниэла — выглядят шедеврами... Читателей, которые любят «Алису» за ее собственные достоинства, вполне устраивает обычное издание за 2 доллара 45 центов, выпущенное тем же издательством в серии «Современная библиотека» с великолепными иллюстрациями Тенниэла».

ТУРЦИЯ

ЛИТЕРАТУРА ИЛИ СОЦИОЛОГИЯ?

Стамбульский журнал «Ени эдебият» провел дискуссию об актуальных проблемах литературы, в которой приняли участие видные критики и литературоведы: Тахир Алангу, Хильми Явуз и Конур Эртоп, а также прозаики Рауф Мутлуай, Мустафа Байдар и другие.

По мнению Алангу, в течение нескольких последних лет наблюдается усиление читательского интереса к литературе социологической, политической и документальной. Это, по мнению критика, в какой-то мере объясняет отсутствие в последнее время значительных произведений как прозы, так и драматургии.

Рауф Мутлуай высказал убеждение, что прогрессивная роль литературы в развитии турецкого общества не подлежит сомнению. По мнению писателя, все социальные проблемы, ныне актуальные, обсуждаемые социологами, были выдвинуты в литературе пятнадцать—двадцать лет назад, однако тогда, по разным причинам, они не получили должного решения. Мутлуай считает, что некоторый застой в развитии литературы объясняется ее несколько затянувшимися поисками новых путей воздействия на читателя. «К сожалению,— заявил Мутлуай,— в те времена, когда писатели сидели в тюрьмах и подвергались преследованиям, они брали на себя более значительные общественные задачи, которые ныне передоверили политикам. Новое поколение писателей должно вернуть литературе ее общественную роль».

К этому мнению так или иначе присоединилось большинство участвовавших в дискуссии литераторов, приведших некоторые конкретные примеры. «Если в 1950 году,— сказал Хильми Явуз,— простой описательный очерк Махмуда Макала «Наша деревня» вызвал бурный отклик в стране, то ныне, когда в Турции печатаются произведения Маркса, от писателя, естественно, ждут большего. Не случайно бестселлером года стало не художественное произведение, а социологическая книга Авджиоглу «Общественное устройство Турции».

Заключая дискуссию, Алангу отметил тем не менее, что некоторые известные мастера создали в последние годы выдающиеся произведения, которые не были в достаточной мере оценены критикой хотя бы потому, что их общественное значение не может проявиться за короткое время. Среди названных книг — романы «Мать-держава» и «Волчий закон» Кемаля Тахира, «Мемо» Кемаля Бильбашара, мемуары «Молодость и литература» старейшего романиста Турции Якуба Кадри, повесть «Морские скитальцы» Джевдета Шакира, а также книги стихов Октая Рифата и молодого поэта Исмета Езеля.

ПРЕМИИ ОБЩЕСТВА ТУРЕЦКОГО ЯЗЫКА

Печать сообщила о присуждении премий Общества турецкого языка. В жанре рассказа премии удостоен Орхан Кемаль за сборник «Прежде хлеб». За книгу стихов «Дождливое море» премия присуждена поэту Неджати Джумалы. Отмечен премией перевод «Ро-

бинзона Крузо» Даниеля Дефо, выполненный Акшитом Гёктюрком.

ФИНЛЯНДИЯ

О СТАРОМ И НОВОМ

В Рабочем театре города Тампере недавно состоялись премьеры двух спектаклей: «Три сестры» А. П. Чехова и «Мир еще так молод» финской писательницы Элви Синерво. «Две пьесы и два писателя, столь, казалось бы, далекие друг от друга по времени и по духу, воспринимаются как единое, целостное явление: изображение старого, уходящего мира дополняется картиной мира нового, который еще молод,— пишет известный театральный критик Майя Савутиэ в газете «Кансан уутисет».— Элви Синерво, как автор современный, знает, сколько активности требуется от человека, чтобы хоть немного изменить мир. Рядом с верой и надеждой, выраженной в пьесе Чехова, новый мир Синерво требует действия».

По мнению критика, основная тема обоих авторов — человек и его окружение. Высоко оценивая постановку Рабочим театром «Трех сестер», М. Савутиэ подчеркивает также важность новой постановки пьесы Элви Синерво после пятнадцатилетнего перерыва.

ДВЕ КНИГИ ВЕЙЁ БАЛТЦАРА

Финская печать уделяет внимание двум книгам 27-летнего писателя Вейё Балтцара, первого в Финляндии цыганского писателя. В течение года вышли две его книги: автобиографический роман «Жгучая дорога», а также роман «Кровавое обручение». Герой первого романа, молодой цыган Виктор, со своей женой и детьми бродит по жгущим их ноги дорогам нищеты в поисках средств к существованию. Будучи мобилизован в армию, он дезертирует, попадает в тюрьму и только там получает возможность сдать экзамен за курс народной школы. Впоследствии Виктор мечтает о том, как он станет студентом университета, выучится на врача... В романе много острых социальных зарисовок, показанных на фоне живых картин быта цыган.

О том, что «цыганский вопрос» в Финляндии приобрел немалую остроту, свидетельствует тот факт, что положение цыган дебатировалось в печати и на заседаниях парламента в 1967 году. Поэтому романы Вейё Балтцара восприняты финским читателем и критикой как явление не случайное, закономерное.

«Роман «Кровавое обручение» — правдивый рассказ о жизни цыган в нашем обществе,— писал рецензент Туула Саарто в газете «Кансан уутисет» по поводу выхода второй книги В. Балтцара.— Наше общество никогда до конца не осознавало существующих в нем несправедливостей. Расовая дискриминация у нас — это не только предрассудок в сознании людей, но и социально-политическая и моральная проблема. Цель книги — приблизить эту проблему вплотную к читателю, ибо он совсем не задумывался над фактом существования цыган в нашем обществе».

Традиционная кровная месть, которую, как долг, предстоит совершить герою книги Антону, приводит его к размышлениям об истинных причинах сложившейся ситуации: корни внутренних распрей племени кроются в большем зле — угнетении национального меньшинства большинством. «Они притесняют нас так, что у нас почти нет никаких средств к существованию. Нам не дают работы — ведь мы цыгане, наши дети лишены возможности ходить в школу... Число ремесел, которыми мы могли бы заниматься, столь ограничено, что нам в этом случае не избежать столкновений друг с другом...» — говорит Антон.

Герой первого романа Вейё Балтцара, отмечает критик, мечтает лишь о получении образования, а герой второго романа думает уже о том, что «мир должен измениться, а этого моему поколению не видать. Об этом, новом мире мы можем только мечтать».

Сцена из спектакля «Мир еще так молод».

(Газета «Кансан уутисет»)

ФРАНЦИЯ

ЭКРАНИЗИРОВАН РОМАН «ЭЛИЗА, ИЛИ НАСТОЯЩАЯ ЖИЗНЬ»

Известный кинорежиссер Мишель Драш закончил съемки фильма по роману Клер Эчерел «Элиза, или

Известный мим Марсель Марсо показал новую программу в парижском «Театр де ля мюзик». Среди номеров Бипа — не только обычные для него сатирические и юмористические сцены, но также серьезные социально-политические «зарисовки». На снимке: Бип в новой программе.

(Газета «Юманите»)

Настоящая жизнь», удостоенному премии «Фемина» за 1967 г. (см. сообщение в «Иностранной литературе» № 1, 1968). Этот роман, переведенный на русский язык, рассказывает о жизни и борьбе французских и алжирских рабочих, а также затрагивает тему войны в Алжире. Вся эта проблематика, по свидетельству корреспондента еженедельника «Леттр франсэз» Ж. Ланглуа, беседовавшего с постановщиком фильма, считается, хотя и неофициально, запретной во французском кино. Рабочий или работница, по словам Ланглуа, могут стать героями фильма, но в какой-то определенной ситуации, типичной для приемов и сюжетов коммерческого кино, как-то: любовная интрига, судебное расследование и т. д., где их показывают в отрыве от своей классовой среды. Корреспондент отмечает смелость кинорежиссера, нарушившего этот запрет.

Во время беседы Мишель Драш сказал, что главная тема фильма — борьба против расизма — представляется ему очень важной и потому он работал с большим вдохновением. В главной женской роли снималась Мари-Жозе Нат.

Трудно было изыскать средства на съемки фильма, продолжал режиссер. Сам он вложил в это дело крупную сумму, но в основном работу финансировало правительство Алжира. Были и трудности технического порядка: негде, например, было снимать «заводские» сцены.

Теперь все позади — фильм отснят. Но, сказал Мишель Драш, осталась еще одна серьезная задача — добиться того, чтобы фильм был допущен на экраны.

ЭЛЕКТРОННАЯ ТЕХНИКА В ТЕАТРЕ

В парижском театре ТНП проводится интересный опыт по использованию электронной техники. С помощью электронно - вычислительной машины путем специального программирования вскоре станет возможным безошибочно предугадывать успех или провал новой постановки. Через два дня после генеральной репетиции в ЭВМ будут вводиться обобщенные данные относительно появившейся в печати критики, колнчества заранее заказанных и проданных билетов в кассе театра. «Электронному оракулу» потребуется всего несколько секунд, чтобы уточнить среднее число будущих представлений с учетом минимального показателя доходов, позволяющих покрыть общие расходы.

Опытом в театре ТНП, однако, не ограничиваются технические нововведения в мире театрального искусства. Во дворце Шайо оборудована телевизионная студия, оснащенная тремя камерами, которые передают на экраны, размещенные в пунктах продажи билетов, точную ситуацию в зрительном зале на каждом представлении.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

ПРЕМИИ ДЕТСКИМ ФИЛЬМАМ

На четвертом Международном фестивале детских фильмов, проводимом ежегодно в Тегеране, фильмы Чехословакии получили восемь наград (в прошлом году — пять), сообщает информационный бюллетень «Ческословенски фильм».

Премии «Золотая статуэтка» за лучшее кинопроизведение удостоена лента режиссера Радима Цврчки «Жираф в окне». Золотые медали по категории развлекательных фильмов получили мультфильм режиссера Божены Можишовой «Не качать» (для детей в возрасте от 5 до 9 лет) и мультфильм режиссера Бржетислава Пояра «Фанфарон, маленький клоун» (для юношества).

Чешские фильмы удостоились также наград, присуждаемых различными иранскими жюри и учреждениями. В этом году денежную премию в размере 100 000 реалов (которой в прошлом году удостоился режиссер Зденек Милер за фильм «Бархатка») министерство культуры и искусства Ирана присудило режиссеру Франтишеку Выстрчилу за мультфильм «Космодром 1999 года». Этот фильм удостоен также Золотой эмблемы иранской фильмотеки «ШАХРЕ-ФАРАНГ». Иранское телевидение наградило кубком и дипломом фильм «Не качать». Союз кинокритиков присудил два почетных диплома: фильму режиссера И. Пинкавы «Молчание мужчин» и фильму режиссера З. Миллера «Крот и Зеленая звезда».

РЕДКОСТНАЯ НАХОДКА

Необычное открытие было сделано в художественном музее Карловых Вар. Директор музея И. Коуделка, изучая богатейшую коллекцию графики, хранящуюся там, по некоторым признакам предположил, что один из офортов создан Иоганом Вольфгангом Гёте. В коллекции музея, как сообщила печать, уже есть двенадцать работ — гравюры и рисунки — великого немецкого поэта, мыслителя и художника. Внимательно изучая офорт, Коуделка укрепился в первоначальном предположении, а затем нашел даже инициалы Гёте,

которыми подписана работа. Гёте изобразил горный пейзаж и на его фоне — рисующего горы художника. По мнению специалистов, пейзаж очень напоминает виды Крушных гор, где бывал Гёте.

Как известно, Гёте тринадцать раз приезжал в Карловы Вары, и именно здесь сохранились его гравюры и рисунки.

ЧИЛИ

СКОЛЬКО СТОИТ «УТЕЧКА УМОВ» ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ?

Печать латиноамериканских стран в последнее время все чаще пишет об усиливающейся «утечке умов» в США. Согласно опубликованным в чилийской газете «Меркурио» данным Межамериканского экономического и социального совета за 1969 год каждый пятый гватемалец, четвертый никарагуанец и третий сальвадорец, получившие у себя на родине дипломы, работают на североамериканцев. Только за последние пять лет в США эмигрировало около 3 тысяч латиноамериканских специалистов с высшим образованием.

Ежегодно из стран Латинской Америки в США переселяется столько же врачей, сколько их выпускают три крупнейших латиноамериканскнх университета. В то же время, как указывают чилийские эксперты, «в Латинской Америке ощущается острый недостаток специалистов».

«Латинская Америка,— писал обозреватель «Меркурио»,— несет огромные потери в результате «утечки умов», что ведет к застою в ее развитии». Потери эти не только духовные, но и материальные. Ведь, к примеру, стоимость подготовки специалиста с высшим образованием в Аргентине составляет 20—50 тысяч долларов. Не случайно американский журнал «Ю. С. ньюс энд уорлд рипорт» писал, что в результате «утечки умов» из разных стран мира Соединенные Штаты получают «многомиллиардную иностранную помощь».

ШВЕЙЦАРИЯ

«РУССКИЕ ВЕЧЕРА» НА УЛИЦЕ СТАРОЙ ТАМОЖНИ

В Лозанне на улице Старой таможни проходят вечера русской литературы, организуемые местным отделением общества «Швейцария — СССР».

...Устроители вечера, посвященного творчеству А. С. Пушкина, вначале волновались: удастся ли передать в переводе на французский язык кристальную ясность, выразительность и красоту гениального пушкинского стиха. Однако Пушкина поняли, его стихи были восторженно встречены слушателями.

Следующий вечер был посвящен творчеству Максима Горького. На нем присутствовали студенты и преподаватели Лозаннского университета, рабочие и служащие, ветераны рабочего движения. Была организована выставка, посвященная жизни и деятельности великого пролетарского писателя. С напряженным вниманием собравшиеся слушали «Песню о Буревестнике»...

А совсем недавно на улице Старой таможни звучали стихи М. Ю. Лермонтова на русском и французском языках. В ближайшее время предполагается провести литературные вечера, посвященные творчеству А. П. Чехова, В. В. Маяковского, Л. Н. Толстого.

ШВЕЦИЯ

ЮБИЛЕЙ СКАЛЬДА

Многие из песен о родной природе, о море, написанных Эвертом Тобом, любимы в Швеции. Он — один из наиболее популярных современных скальдов: поэт-песенник, музыкант, писатель.

Недавно общественность Швеции тепло поздравила Эверта Тоба по случаю его 80-летия.

ЧЕХОВ — С НЕИЗМЕННЫМ УСПЕХОМ

Пьесы А. П. Чехова «Вишневый сад», «Чайка», «Дядя Ваня» хорошо известны любителям театра в Швеции: они ставились много раз, с неизменным успехом.

В конце прошлого года в Стокгольме режиссер Кеве Хьельм осуществил новую постановку «Трех сестер». Зрители тепло приветствовали Аниту Бьерк, Кристину Адольфссон, Хариет Андерсон и Матисса Хенриксона, выступивших в ведущих ролях.

Тогда же шведские зрители увидели на сцене Королевской оперы премьеру балета Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта». Спектакль, прошедший с успехом, поставлен английским хореографом Кеннетом Макмилланом.

ЮГОСЛАВИЯ

НА ЭКРАНАХ «БИТВА НА НЕРЕТВЕ»

Суровой зимой 1943 года на берегах бурной горной реки Неретвы разыгралось ожесточенное сражение между гитлеровцами и отрядами молодой Народно-освободительной армии Югославии. Положение югославских частей, которые вели тяжелые оборонительные бои, осложнялось тем, что в их составе было несколько тысяч раненых. Югославские воины с честью выдержали это испытание.

Именно этот момент из истории народно-освободительной борьбы положил в основу своего нового фильма «Битва на Неретве» югославский кинорежиссер Велько Булаич, автор таких известных картин, как «Козара», «Скопле, 1963», «Взгляд на солнце», удостоенных многих международных наград. «Битву на Неретве» Велько Булаич задумал еще 7 лет назад, но несмотря на большую подготовительную работу в то время не смог приступить к съемкам. И только в 1967 году он начал снимать свою киноэпопею.

Замысел Булаича привлек к себе внимание многих кинематографистов как в Югославии, так и за рубежом. Ведущие роли в фильме были поручены актерам разных стран. В нем снимались: советский актер Сергей Бондарчук, американец Юл Бриннер, итальянка Сильва Кощина, американец Орсон Уэллес, немец Курт Юргенс и многие другие.

Сам режиссер говорит о своем фильме следующее: «Я снимал «Битву на Неретве» для современного поколения, снимал для того, чтобы нынешние зрители, особенно молодежь, имели представление об этом событии. Ведь в кинозале одновременно находятся разные люди — рабочие и интеллигенты, старики, дети, и они все принимают близко к сердцу. Сейчас, когда съемки завершены и фильм уже идет на экранах, я могу откровенно сказать, что никогда больше не смогу сделать такой широкой киноэпопеи, как «Неретва». Шесть лет я отдал этому фильму и в конце концов счастлив, что он получился таким, каким я его представлял. Было очень трудно, особенно последние два года, но теперь все позади».

Премьера фильма состоялась в Сараеве. Среди приглашенных были гости из-за рубежа: киноактеры, а также очевидцы и участники битвы на Неретве в 1943 году.

Югославская критика оценивает фильм «Битва на Неретве», как кинопроизведение большого гуманистического звучания.

ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЛИКВИИ

Много лет посетители музея великого черногорского поэта Петра Петровича Негоша в Цетинье могли видеть только фотокопию рукописи его знаменитой поэмы «Горный венец». Оригинал разыскивался, строились различные предположения, возникали опасения, что он утрачен навсегда. В течение ста двадцати трех лет, с момента опубликования поэмы Негоша в 1847 году в Вене, местонахождение оригинала оставалось неизвестным.

Недавно эта драгоценная рукопись была обнаружена в австрийской библиотеке Белого двора и передана музею Негоша в Цетинье. Вместе с рукописью музею Негоша передан экземпляр первого венского издания «Горного венца».

ЮАР

ОТРЕЗАНЫ ОТ ВНЕШНЕГО МИРА

За последние 13 лет, по свидетельству корреспондента английского еженедельника «Нью стейтсмен», цензура Южной Африки запретила более 13 тысяч печатных изданий. Автоматически запрещаются все издания, выходящие в социалистических странах, включая произведения Льва Толстого, Гоголя и Пушкина. Под запретом все книги, в которых выражается критическое отношение к расистскому режиму в ЮАР. Сквозь барьер цензуры не проникают произведения Эрскина Колдуэлла, Джона О'Хары, Уильяма Фолкнера, Теодора Драйзера и многих других западных писателей.

Южная Африка, по словам корреспондента, практически отрезана от внешнего мира. В стране существуют десятки законов, направленных на подавление всякого свободомыслия. Один из них — закон о борьбе с подрывной деятельностью—рассматривает чтение запрещенной литературы как уголовное преступление, караемое не только денежным штрафом, но и тюремным заключением.

Бдительного ока цензуры не минуют газеты, журналы, настольные календари, пьесы, фильмы, картины, почтовые открытки, скульптурные произведения и граммофонные пластинки.

Талантливому южноафриканскому художнику Джулиану Мотау было двадцать лет, когда он погиб в 1967 году. Он создал серию рисунков, посвященных тяжелой жизни его родного племени венда в условиях апартеида. Репродукция воспроизводимого здесь рисунка Мотау, датированного 1967 годом, заимствована из английской газеты «Морнинг стар».

ЯПОНИЯ

ЗАКРЫТ ЕЩЕ ОДИН ТЕАТР

Уже не впервые японская печать сообщает о закрытии старейших театров. Около полутора лет назад такая участь постигла театр «Курэха» (см. «Иностранную литературу» № 3, 1969). Теперь пришла очередь токийского театра миниатюр «Суэхиротэй». Японские зрители лишились еще одной сцены, с которой каждый вечер звучали слова «ракуго»— рассказчиков-импровизаторов, представителей древнейшего в Японии вида искусства. Театр, просуществовавший более ста лет, закрылся из-за финансовых трудностей.

Как свидетельствует печать, подобная участь постигает не только театры. Недавно разорилась крупная кинопромышленная компания «Никкацу»; из года в год уменьшается количество кинотеатров.

ПЕРЕИЗДАНЫ СТИХОТВОРЕНИЯ МИКЕЛАНДЖЕЛО

Полное собрание стихотворных произведений великого скульптора Микеланджело на английском языке в переводе американского лингвиста Джозефа Тузиани впервые вышло в свет десять лет тому назад и быстро разошлось. Недавно, по инициативе ЮНЕСКО, сборник переиздан и включен в итальянскую серию «Коллекции выдающихся памятников литературы», выпускаемых ЮНЕСКО.

История литературы знает немало переводов стихов Микеланджело на английский язык. Ими занимались Вордсворт, Лонгфелло, Джон Аддингтон Саймондс, Уильям Уэлс Ньюэль и Джордж Сантаяна. Однако все прежние издания ограничивались лишь переводом разрозненных стихотворений или поэм. Ни один из этих переводов, по мнению специалистов, за исключением, быть может, некоторых вариантов, принадлежащих перу Вордсворта или Лонгфелло, не передавал чеканной строгости лучших стихов прославленного ваятеля, «дилетантских, резких, грубых», по его собственным словам, что было присуще той эпохе, но необычайно искренних и смелых. Таким образом, перевод Тузиани представляет собой первый полный перевод на английский язык стихотворений Микеланджело. В него включены все до сих пор не переведенные стихи — эпитафии, стансы, отрывки, цитируемые другими авторами, стихи, найденные немецким ученым Карлом Фреем, и т. д. Сборник содержит также юмористические стихи, отдельные четверостишия, незаконченные песни, сонеты и мадригалы.

Авторы этого номера

ХЕНРИК КАЙШ — HENRYK KEISCH (род. в 1913 г.).

Немецкий прозаик, поэт, драматург и театральный критик (ГДР). В годы фашизма был участником движения Сопротивления во Франции. В 1938 г. за сборник стихов «Жизнь не сон» («Das Leben kein Traum») Союзом защиты немецких писателей в эмиграции был награжден премией имени Генриха Гейне. Как соавтор сценария фильма «Гауптман из Кёльна» был удостоен Национальной премии. В русском переводе этот сценарий опубликован в журнале «Искусство кино» (№ 11, 1956), а фильм под названием «Капитан из Кёльна» шел на советских экранах.

Публикуемый в этом номере рассказ «В свободу надо прыгнуть» войдет в готовящийся в ГДР к 25-летию победы над фашизмом сборник автобиографических рассказов немецких писателей «Первый миг свободы» («Der erste Augenblick der Freiheit»). Редакцией «Иностранной литературы» он получен в рукописи.

■

НИКОЛАЕ ТЭУТУ — NICOLAE TAUTU (род. в 1920 г.).

Румынский поэт, прозаик, драматург, лауреат Государственной премии. Автор многих книг стихов, рассказов, пьес. На русский язык переведены его рассказы «Два брата, два героя», «Ни за что на свете», вошедшие в сборник «Утренняя звезда», а также роман «Свершение».

Стихотворение «Remember» было напечатано в газете «Скынтейя».

■

БЕРНАР КЛАВЕЛЬ — BERNARD CLAVEL (род. в 1923 г.).

Известный французский писатель, автор более десяти романов, из которых многие имеют автобиографический характер. В годы войны был участником движения Сопротивления. Советские читатели знакомы с творчеством Б. Клавеля по трем переведенным на русский язык романам: «Чужой дом», «Он хотел увидеть море», «Сердца живых», входящим в тетралогию «Великое терпение» («La grande patience»).

В этом номере мы предлагаем вниманию читателей роман «Плоды зимы» («Les fruits de l'hiver», 1968), являющийся заключительной частью тетралогии, за который Б. Клавелю была присуждена крупнейшая литературная премия Франции — Гонкуровская, и почти одновременно творчество его было удостоено Большой премии города Парижа. Роман печатается в журнальном варианте.

■

МАКС ЦИММЕРИНГ — MAX ZIMMERING (род. в 1909 г.).

Немецкий поэт и прозаик (ГДР), лауреат премий Генриха Гейне и Генриха Манна. Годы фашизма провел в эмиграции. Автор сборников стихов «Облик времени» («Im Antlitz der Zeit», 1948), «На свежем утреннем ветру» («Im herben Morgenwind», 1953), «Отрезки пути» («Wegstrecken», 1966) и др., романа «Фосфор и сирень» («Phosphor und Flieder», 1954), книг об Андерсене-Нексе и Маяковском. Стихи М. Циммеринга неоднократно печатались в нашем журнале и других советских изданиях.

Публикуемое стихотворение получено редакцией в рукописи.

■

МАРГАРЕТ ШЕДД — MARGARET SHEDD.

Американская писательница. Автор коротких рассказов, публиковавшихся в журналах «Нью-Йоркер», «Харперс» и других, и романов «Вернись на берег» («Return to the Beach»), «Беги» («Run»).

Рассказ «Вечный свидетель» («The Everlasting Witness») взят из сборника рассказов американских писателей, получивших премию О. Генри («Prize Stories 1964. The O.Henry Awards»).

МУХАММЕД АЗИЗ ЛАХБАБИ — MOHAMED AZIZ LAHBABI.

Марокканский поэт и философ, видный деятель культуры, пишет на французском языке. Автор сборников стихов «Песни надежды» («Chants d'espérance», 1952), «От мрака к свету» («Misères et lumières», 1958), за который ему была присуждена «Большая премия независимого Марокко».

Публикуемые стихи были напечатаны в сборнике «Мой голос ищет путь к сердцам» («Ma voix à la recherche de sa voie», 1968).

■

ЭМИЛИЯН СТАНЕВ (род. в 1907 г.).

Видный мастер современной болгарской прозы, лауреат Димитровской премии, народный деятель культуры Болгарии. Лучшие произведения Э. Станева составляют неотъемлемую часть национального литературного богатства.

Советские читатели знакомы с его творчеством по переведенным на русский язык рассказам, повестям «Похититель персиков», «Тихим вечером» и роману «Иван Кондарев». Будучи гостем «Иностранной литературы», Эмилиян Станев рассказал редакции о своей новой книге «Легенда о Сибине, князе преславском» (беседа опубликована в № 4 за 1969 г.), которую мы печатаем в этом номере. «Легенда о Сибине» войдет также в состав сборника «Избранное» Эмилияна Станева, который готовится к выпуску в издательстве «Прогресс» в серии «Библиотека болгарской литературы».

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Н. Т. ФЕДОРЕНКО

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
С. А. ГЕРАСИМОВ, Л. П. ГРАЧЕВ, Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, М. И. РУДОМИНО, А. Н. СЛОВЕСНЫЙ, Б. Л. СУЧКОВ, П. М. ТОПЕР, С. П. ЧЕРНИКОВА, К. А. ЧУГУНОВ (зам. главного редактора), **М. А. ШОЛОХОВ, К. ЯШЕН.**

Художественный редактор **С. И. Мухин.** Технический редактор **Л. Д. Фарафонтова**
Адрес редакции: Москва, Пятницкая ул., д. 41. Телефон 233-51-47

А 04273. Сдано в производство 9/III 1970 г. Подписано к печати 16/IV-70 г.
Бумага 70×108¹/₁₆=9 бум. л.=18 п. л. (25,2)+2 вкл. Уч.-изд. л. 27,85. Зак. 859.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 80 коп.

ИНДЕКС 70394